

1941–1945
КОМИССАРЫ НА ЛИНИИ ОГНЯ

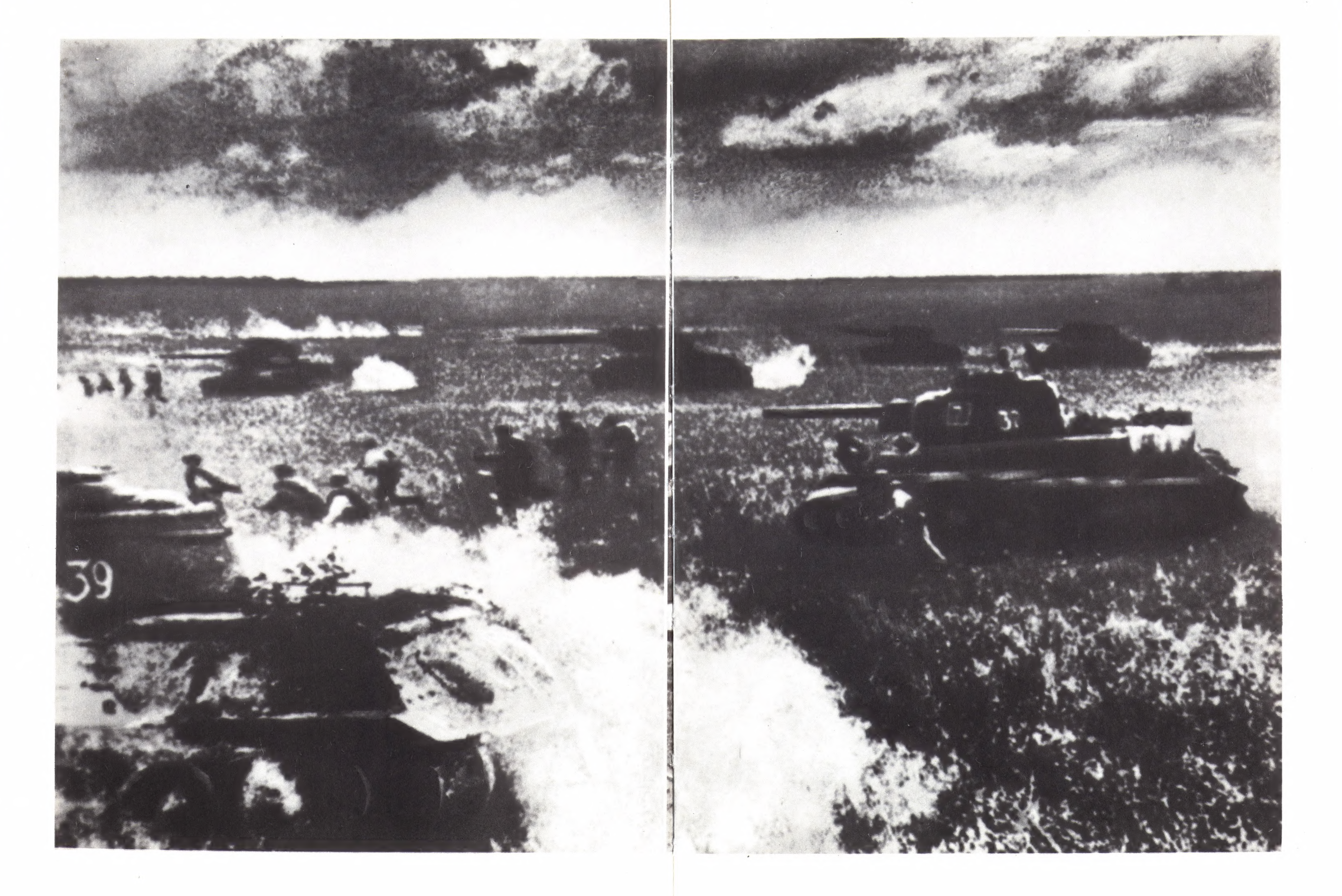


На земле

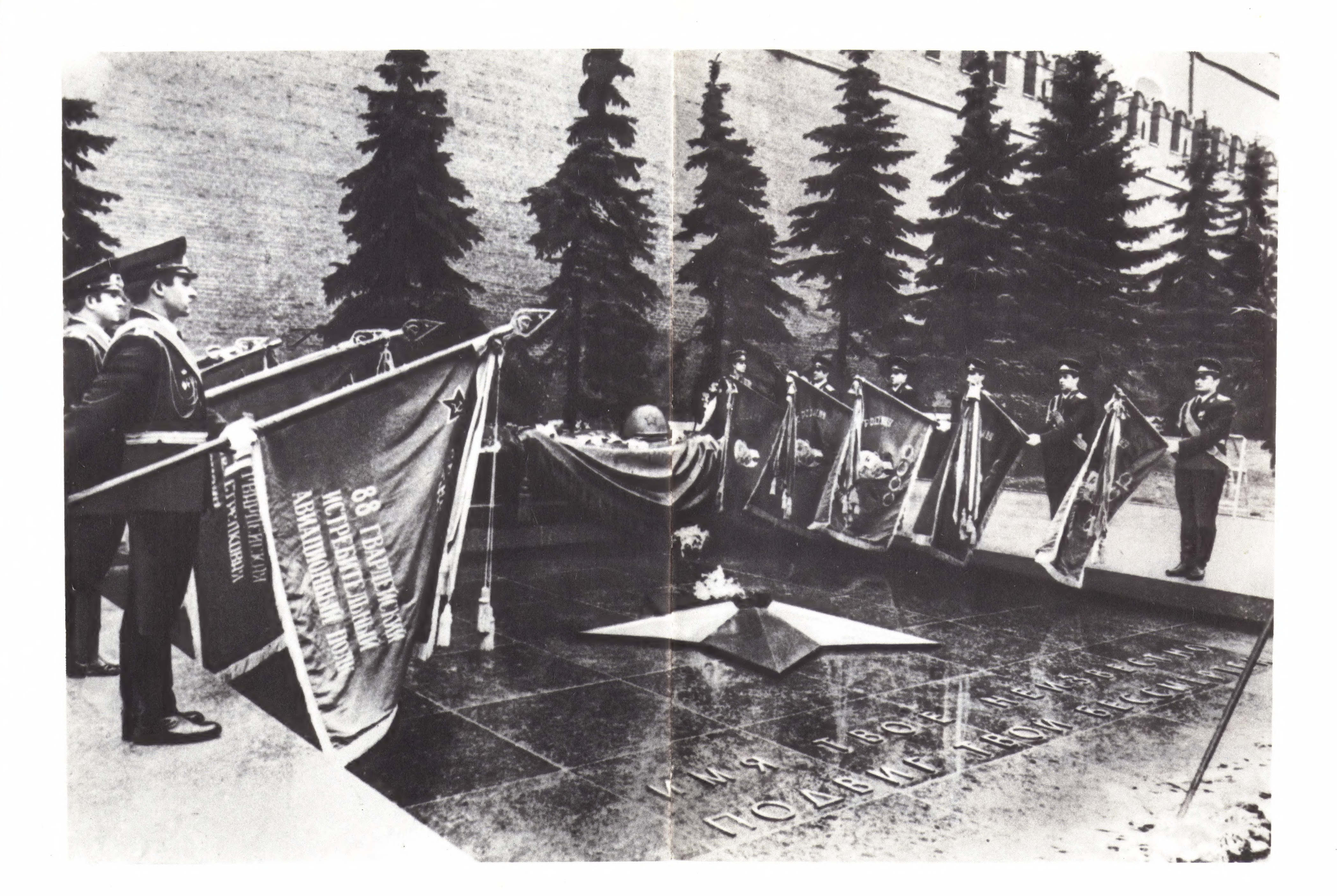
КОМИССАРЫ НА ЛИНИИ ОГНЯ






39




88 ГВАРДЕЙСКИЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК
ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО
ПОДВИГ ТВОЙ


КОМИ
1941

ССАРЫ

НА ЛИНИИ ОГНЯ

НА
ЗЕМЛЕ

КОМИССАРЫ НА
ЛИНИИ
1945

И ОГНЯ

Москва
Издательство
политической
литературы
1984

63.3(2)722
К63

Под общей редакцией *Б. А. Костюковского*

Составитель *Г. М. Миронов*

К63 **Комиссары** на линии огня, 1941—1945. На земле / Сост. Г. М. Миронов; Под общ. ред. Б. А. Костюковского.— М.: Политиздат, 1984.— 431 с., ил.

Настоящая книга посвящена 40-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Публикуемые очерки советских писателей, журналистов, участников войны отображают бессмертные подвиги политработников частей и подразделений Сухопутных войск, всегда находившихся на линии огня, среди бойцов переднего края. Это они — герои книги и многие тысячи других, о ком еще предстоит написать,— в критический момент сражения первыми поднимались с пламенным призывом «Коммунисты, вперед!». И примером своим увлекали солдат и офицеров, вдохновляли их на разгром ненавистного врага.

Одновременно выходят также книги, посвященные политработникам Военно-Воздушных Сил и Военно-Морского Флота.

Книга адресуется широкому кругу читателей.

К $\frac{0505030202—286}{079(02)—84}$ 151—85

63.3(2)722
9(С)27

1

Михаил
МАТУСОВСКИЙ

Хоть седеют давно виски,
Для меня вы еще не стары,
Замполиты, политруки,
А по-прежнему — комиссары.

Ваше слово на той войне,
К сердцу путь самый главный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров.

Обжигая командой рот —
Видно, участь у вас такая...—
Всюду первыми шли вперед,—
За собою нас увлекая.

И у вражеской высоты,
Там, где выживем мы едва ли,
Вы, срывая с себя, бинты
Вместо знамени поднимали.

Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары,
Замполиты, политруки,
А по-старому — комиссары.

В догоревшей дотла избе,
Продержавшись пять суток кряду,
Тот, последний, патрон себе
Оставляли вы как награду.

А наутро — в огонь опять,
И дорог впереди без счета.
Побеждать или умирать —
Ваша главная партработа.

Так вели вы свои полки
Сквозь страдания и пожары —
Замполиты, политруки,
А по-старому — комиссары.

1 Заказ 4650

Константин
СИМОНОВ

КОМИССАРЫ

Человеческая память не делит людей на живых и мертвых. Одни пали на поле боя; другие прошли через всю войну. Но все они — и те, кто ушел, и те, кто остался,— пока они живы в твоей памяти, остаются для тебя живыми людьми.

Среди многих людей, с которыми я в разные годы встречался на фронте, в моей памяти живут те армейские политработники, которых я мысленно по-прежнему называю комиссарами. И не только потому, что в ту пору, когда я их встречал, существовал институт военных комиссаров, и не только потому, что они носили тогда комиссарские звания, а еще и потому — и это, наверное, самое главное,— что они были комиссарами по духу и то высокое понятие, которое мы вкладываем в слово «комиссар», подходило к их образу жизни, к их поведению на войне.

Я вспоминаю четырех комиссаров. Двое из них отдали жизнь за Родину, а двое, пройдя всю дорогу войны от начала до конца, остались живы, и у меня есть счастливая возможность до сих пор писать им письма и получать от них ответы.

Комиссара 287-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии старшего политрука Никиту Алексеевича Балашова я встретил впервые в конце августа сорок первого, в боях под Одессой, в разбитом бомбежкой и артиллерийским огнем маленьком

хуторке Красный Переселенец. Об обстановке этого дня скупыми, но достаточно выразительными словами говорит лежащее передо мной сейчас на столе старое боевое донесение: «287-й стрелковый полк отражает многочисленные атаки врага. В бой брошены все резервы: разведвзвод, саперная рота и химвзвод...»

Я увидел в тот день Балашова, только что вышедшего из многочасового непрерывного боя. Он был без фуражки, в совершенно выгоревшей гимнастерке и пыльных рваных сапогах. Он был усталый, но веселый, потому что полк отбил за день все атаки. И таким же веселым, задорным, не теряющим присутствия духа я видел его на следующий день на переднем крае, когда его полк отбивал новые атаки, а их было на следующий день четыре и каждая, как было написано потом в донесении, «силою до полутора полков».

Этот человек поразил меня в те дни не только своим хладнокровием и веселым бесстрашием, но и цельностью своей натуры, полнотою той душевной жизни, которой он жил на войне. Казалось бы, до предела поглощенный войной, он ни на йоту не утратил интереса к той, прежней, оборвавшейся мирной жизни, читал наизусть стихи, вспоминал в самых живых подробностях довоенные литературные вечера в Военно-политической академии, где он учился, хвалил одни книги и ругал другие, с пристрастием допрашивал меня — где, на каких фронтах те писатели и поэты, которых он видел на литературных вечерах. И в особенности спрашивал о тех, чьи стихи он помнил и любил. Война не вышибла из него ничего человеческого, она была не в силах переменить его. Если можно так выразиться, он был нравственно сильнее ее. И, наверное, именно поэтому был любимцем и душою полка, в чем я смог собственными глазами убедиться на следующий день, когда мне пришлось быть с ним на переднем крае среди людей, которых он знал так же хорошо, как хорошо они знали его.

Таким он запомнился мне там, под Одессой,— веселым, бесстрашным и человечным. Очень усталым и в то же время неутомимым.

А потом я видел его еще раз, уже мельком, зимой, во время

нашего контрнаступления под Москвой, в метельный день, под Богородицком. А больше не видел, но навсегда запомнил этого — одного из первых встреченных мною на войне, комиссаров.

Пятнадцатого мая 1943 года умерший от ран замполит дивизии гвардии полковник Балашов был похоронен в Сухиничах, на площади Ленина. Его провожали в последний путь две тысячи бойцов и командиров его дивизии, а от Военного совета 16-й армии надгробную речь произнес ее командующий генерал-лейтенант Баграмян, сказавший, что дивизия потеряла пламенного большевика, смелого воина, человека, который беззаветно любил Родину и беспредельно ненавидел врага...

Андрей Семенович Николаев был почти ровесником Балашова. Когда началась война, ему тоже не было сорока, но предвоенная судьба его сложилась так, что он встретил войну не старшим политруком, как Балашов, а корпусным комиссаром, членом Военного совета армии.

Я встретился с Николаевым на Чонгаре и Арабатской стрелке во время самых первых боев за Крым.

Уже спустя много лет после войны в воспоминаниях генерала армии Павла Ивановича Батова я прочитал его характеристику Николаева, которая поразила меня совпадением с моими собственными представлениями об этом замечательном человеке. «Ему, как и многим товарищам,— писал о Николаеве Батов,— испытавшим чрезвычайное выдвижение в конце тридцатых годов, было туговато. На Хасане он был комиссаром полка. Теперь — член Военного совета отдельной армии, действующей на правах фронта. С командующим у них не было взаимного понимания. Не будучи в состоянии поправить командарма в главном, Николаев исправлял частности, уезжал в полки, в родную для него стихию боя... Николаев-то был к опасностям боевой обстановки равнодушен, наоборот, его как будто приводило в хорошее настроение сознание, что он вполне делит эти опасности с массами бойцов и офицеров».

Я привел слова Батова. А вот что записано об Андрее Семеновиче Николаеве в моем собственном дневнике: «Как я понял из его поведения, он считал неправильным самому непосредственно вмешиваться в решения командования при

отсутствии абсолютно критической обстановки. Так он считал с точки зрения комиссарских принципов и комиссарской этики, как он их понимал. А по складу своей души, когда было тяжело и когда ему казалось, что бойцам плохо и что они чего-то не понимают и чего-то боятся, то для себя лично он находил простое решение: быть там, где тяжело, сидеть вместе с этими бойцами или идти вместе с ними. Необходимость поступать так он относил в первую очередь к себе и во вторую — к тем командирам, которые поставили своих бойцов в то или иное трудное положение, и считал, что командира, имеющего привычку отдавать неоправданные приказания, лучше всего лечить от этой привычки, поставив его самого в те условия, в которых находятся люди, выполняющие это его приказание».

И еще одна выписка о Николаеве из того же дневника:

«...Николаев быстро встал, отряхнулся и, не оборачиваясь, пошел вперед. Все следующие восемьсот метров мы шли под минометным огнем.

Рота была в первый раз в бою под огнем, и все больше бойцов ложились и дальше двигались только ползком или просто лежали, не вставая, прижавшись лицом к земле. Первый раз Николаев лег от неожиданности на землю, так же как и все мы, но теперь безостановочно шел, не пригибаясь даже при сравнительно близких разрывах. Шел с таким видом, такой походкой, что казалось: идти вот так же, как и он,— это единственное, что возможно сейчас делать. Он шел зигзагами вдоль цепи, то влево, то вправо, мимо упавших и прижавшихся к земле людей. Он неторопливо нагибался, толкал бойца в плечо и говорил:

— Землячок, а землячок! Землячок! — и толкал сильней.

Тот поднимал голову.

— Чего лежишь?

— Убьют.

— Вот я стою, ну и ты встань, не убьют. А лежать будешь — скорей убьют. На ходу-то трудней в нас попасть.

Примерно так, с разными вариантами, говорил он то одному, то другому. Но главное было, конечно, не в словах, а в том, что рядом с прижавшимся к земле человеком стоял другой —

спокойный, неторопливый, стоял во весь рост. И тот, у кого оставалась в душе хоть крупица самолюбия и чувства стыда, не мог не подняться и не встать рядом с Николаевым».

Таким был в бою этот комиссар, благодарно вспоминая которого я потом, уже после войны, написал повесть о комиссаре, назвав ее «Пантелеев».

Герой этой повести погибает в Крыму в сорок первом году.

В жизни было по-другому. Мне выпала неожиданная радость уже после Крыма еще раз, в апреле сорок второго года, встретить Николаева в Москве. Это были нелегкие для него дни. Освобожденный от должности члена Военного совета армии, он писал рапорты о перемещении на любую должность, лишь бы с немедленной отправкой на фронт.

Мы провели с ним день. Он не говорил ни слова об обстоятельствах своего смещения. Не берусь судить, было ли в его душе чувство обиды или не было — он за весь день ни разу, даже вскользь, не упомянул об этом. В этот день вдруг, как бы освободившись от обязанности говорить о вещах, имевших отношение к его прямому делу — войне, он с каким-то удивившим меня юношеским, романтическим чувством говорил о чистоте души, которой не хватает людям и которая, как он считал, окончательно придет только тогда, когда всюду, на всем земном шаре, будет социализм. В тот день среди всех этих разговоров я как-то вдруг понял, что те жизненные привычки, которые я замечал за ним раньше,— жесткая койка с солдатским одеялом, умеренная до удивления еда, непременно собственноручное пришивание подворотничков и чистка сапог — были не только привычкой, как мне это казалось раньше, но и результатом его взглядов на поведение человека.

Вскоре после этой встречи Андрей Семенович Николаев уехал воевать на Юг комиссаром 150-й стрелковой дивизии и погиб в начале июня во время тяжелых боев под Лозовой.

А Дмитрий Иванович Еремин, комиссар 104-го артиллерийского полка на Рыбачьем полуострове, с которым я впервые встретился осенью сорок первого года за Полярным кругом, далеко на Севере, к счастью, жив и здоров. И передо мной на столе лежит его письмо, в котором он пишет о том, что его старший

внук уже отслужил в Советской Армии, внучка обещает принести правнука или правнучку, а он сам недавно отметил важную дату — пятьдесят лет со дня вступления в партию.

Дмитрию Ивановичу уже много лет теперь. А в моей памяти он живет сорокалетним батальонным комиссаром, душою того заполярного артиллерийского полка, который останавливал в сорок первом году огнем своих орудий немцев, пытавшихся прорваться с материка на полуострова Средний и Рыбачий.

Еремин был к началу войны уже старожилом этого самого крайнего северного участка фронта; сидел со своим полком там, на полуостровах, еще с финской войны; знал на Рыбачьем и Среднем каждый камешек, каждую скалу и расщелину; знал каждого человека в своем полку, был заботливым хозяином. И клуб у него был свой, и самодеятельность, и свои поэты полковые. Был он человек спокойный, хозяйственный, с юмором и лукавой хитринкой.

Таким он был в мирное время, таким, не переменившись, впрягся и в войну. Вроде бы оставался неторопливым, а все поспевал. Где люди полка — там и он, всегда с ними: то на огневых, то на наблюдательных пунктах.

Там, на Севере, сами условия войны, вечные непогоды, долгая полярная ночь, жизнь в скалах, где и окоп-то не вырыть — надо его буквально вырубать,— тяжелая долгая позиционная война — все это вместе взятое как-то особенно заставляло ценить ту, с хитринкой, житейскую мудрость, которая была в комиссаре полка; его умение пошутить и над непогодой, и над неуютом; его неунывающую способность сохранять юмор в самой, казалось бы, гнетущей обстановке.

Этот жизнерадостный человек, с его неиссякаемым юмором и непоказной, обыденной, каждодневной храбростью, словно нарочно был создан для той заполярной фронтовой жизни.

Начав войну в Заполярье, Дмитрий Иванович Еремин довоевывал ее на Юге, прошел всю Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию — начальником политотдела артиллерийской дивизии. Был ранен и контужен; одного сына потерял на Курской дуге, а со вторым дошел до конца войны, до Победы.

Отвоевав войну, а потом, после войны, проработав еще

много лет в ДОСААФе, живет сейчас в Ставрополе уже старый, но еще бодрый духом человек с веселой неунывающей комиссарской душой — полковник в отставке Дмитрий Иванович Еремин.

Зимой 1963 года, в Волгограде, в двадцатую годовщину Сталинградской битвы, среди приехавших на годовщину ветеранов я увидел высокого, смуглого, моложавого генерал-лейтенанта. Лицо его мне казалось очень знакомым, но в первые минуты я никак не мог вспомнить: где я его видел? И вдруг вспомнил: здесь же, неподалеку, в нескольких километрах отсюда и видел! Только был он тогда не генерал-лейтенант, а бригадный комиссар Греков.

Бригада, или, как тогда ее чаще называли,— группа полковника Сергея Федоровича Горохова, дралась с немцами на самой северной окраине Сталинграда, в районе Тракторного завода и поселка Рынок, а Владимир Александрович Греков был тогда комиссаром бригады — молодой, подвижный, стройный, чернявый, похожий чем-то на Григория Мелехова, каким я его себе тогда мысленно представлял. И даже где-то осталась его тогдашняя фотография вместе с командиром бригады Гороховым на их наблюдательном пункте, в одном из крайних домов поселка Тракторного завода. А потом мы ходили с ним в батальон к старшему лейтенанту Вадиму Ткаленко, а потом пробирались в роту по узкой тропочке под прикрытием крутого откоса волжского берега.

И когда я потом писал повесть «Дни и ночи» о тех днях в Сталинграде, я часто вспоминал и Горохова, и Грекова, и Ткаленко. Не будь тех встреч с ними на том клочке волжского берега, который они, окруженные со всех сторон, так до конца и не отдали немцам, не было бы и книги.

А встретившись через двадцать лет, мы пошли с Грековым туда, где он воевал вместе со своими товарищами, и целый день лазили по берегу, и он узнавал то одно место, то другое, то один НП, то другой, то третий, то вдруг видел под снегом очертания ямы, где когда-то была ротная землянка, в которую угодило прямое попадание, то вдруг останавливался и вспоминал людей своей бригады, погибших вот здесь, на этом самом месте, и

вот здесь — в другом, и в третьем. Вспоминал имена и фамилии и особенности характеров этих давно погибших людей. Вспоминал с такой точностью, как будто и не прошло двадцати лет.

Он вспоминал обстоятельства тех дней с несравненно большей точностью, чем я, и я подумал тогда, что хотя у меня, журналиста, цепкая профессиональная память, но у него, комиссара, память сильней, глубже. Наверное, потому, что я тут только присутствовал, а он воевал и сейчас как бы заново переживал каждую понесенную тогда людскую потерю. И, наверное, нет цепче памяти, чем память о том клочке земли, на котором стояли насмерть!

Мы не раз после этого встречались с Грековым совсем в других местах — в Белорусском округе, где он служил, но у меня было такое ощущение, что, где бы он ни служил, он всюду возит с собою в душе и в памяти тот клочок сталинградского берега и тех людей, чьим комиссаром он был тогда.

С дней Сталинградской битвы прошло двадцать восемь лет, но генерал-полковник Греков и по сей день — военный человек, и служебные заботы все еще не дают ему закончить ту книгу, которую он давно задумал и над которой давно работает,— книгу о незабываемом, о людях той сталинградской бригады, которой он был комиссаром...

31 марта 1971 года

Конст. Симонов

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ...

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

...Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.

...Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

22 июня 1941 года



Сергей
СМИРНОВ

«Я — КРЕПОСТЬ: ВЕДЕМ БОЙ...»

Брестская крепость спала спокойным, мирным сном, когда над Бугом прогремел первый залп фашистской артиллерии. Только бойцы пограничных дозоров, которые залегли в кустах у реки, да ночные часовые во дворе крепости увидели яркую вспышку на еще темном западном краю неба и услышали странный нарастающий свист. В следующий миг грохот сотен рвущихся снарядов и мин потряс землю.

Густая пелена дыма и пыли, пронизанная сверкающими, огненными вспышками взрывов, заволокла всю крепость. Рушились и горели дома, и люди гибли в огне и под развалинами. У домов комсостава в северной части крепости и около здания пограничной комендатуры на Центральном острове с криками метались по двору обезумевшие, полураздетые женщины с детьми и падали, пораженные осколками. В казармах на окровавленных нарах раненые; бойцы с оружием и без оружия поспешно бежали вниз по лестницам, в подвалы, ища укрытия от непрерывного, нарастающего артиллерийского огня и бомбежки.

Неизбежное замешательство первых минут усиливалось еще из-за того, что в казармах почти не оказалось командиров: они, как обычно, в ночь с субботы на воскресенье ночевали на своих квартирах, а с бойцами оставались только сержанты. Те из командиров, которые жили в домах комсостава в северной части крепости, с первыми выстрелами бросились к своим солдатам в казармы Центрального острова. Однако мост, ведущий туда, находился под непрерывным пулеметным обстрелом — видимо, гитлеровцы заранее перебросили сюда своих диверсантов, и они, засев в кустах над Мухавцом, огнем преградили путь к центру крепости. Десятки людей погибли в то утро на этом мосту, и лишь немногим командирам удалось проскочить его под пулями и присоединиться к своим бойцам. А другие, жившие в самом городе, не смогли даже добраться до крепостных ворот — плотное кольцо артиллерийского заградительного огня немцев сразу же отрезало крепость от Бреста...

На Южном острове не было наших подразделений. Здесь находились только склады да располагался большой окружной госпиталь,

при котором жила часть медицинского персонала со своими семьями. Первые же снаряды разрушили и подожгли госпитальные корпуса и жилые дома. По двору госпиталя растерянно метались выбежавшие из палат больные. Раненный в голову осколком снаряда, заместитель начальника госпиталя по политической части батальонный комиссар Богатеев пытался организовать сопротивление врагу, но, естественно, врачи, сестры и санитары не могли противостоять отборной пехоте противника. Попытка эта была тут же ликвидирована наступавшими автоматчиками, а сам Богатеев убит. Лишь немногие из больных и служащих госпиталя успели перебежать через мост у Холмских ворот в центральные казармы, а остальные, спасаясь от огня, укрылись в убежищах внутри земляных валов, в подвалах зданий, и вражеские автоматчики, прочесывая остров, перестреляли их или взяли в плен.

На Западном острове немецкая пехота, окружив частью своих сил сражавшиеся группы пограничников, вышла к мосту у Тереспольских ворот цитадели. Большой отряд автоматчиков тотчас же перешел этот мост и, войдя в ворота, оказался во дворе крепостных казарм.

Посредине двора, возвышаясь над соседними постройками и господствуя над всем Центральным островом, стояло большое, массивное здание с высокими стрельчатыми окнами. Когда-то это была крепостная церковь, которую потом поляки превратили в костел. С приходом в крепость советских войск в церкви был устроен полковой клуб.

Войдя во двор цитадели, немцы сразу же оценили все выгоды этого здания и поспешили занять его, тем более что клуб был пуст — в минуты первоначального замешательства никто из наших не успел подумать о том, чтобы закрепиться тут. Немецкие автоматчики установили здесь рацию, а в окна во все стороны выставили пулеметы. Теперь противник обладал ключевой, командной позицией Центрального острова и из клуба мог обстреливать с тыла казармы, плотным огнем разъединяя, разобщая наши подразделения.

Большая часть отряда фашистских автоматчиков двинулась дальше, к восточной оконечности острова, стремясь полностью овладеть центром крепости. Извещенная по радио немецкая артиллерия прекратила обстрел этого участка цитадели.

Прямо против клуба в восточной части острова стояло обнесенное бетонной оградой с железными прутьями полуразрушенное еще в 1939 году здание, где когда-то помещался штаб польского корпуса, располагавшегося в крепости.

Южная часть ограды этого здания тянулась вдоль казарм, образуя как бы широкую улицу. Автоматчики двинулись по этой улице густой нестройной толпой, гортанно перекликаясь и непрерывно строча по окнам казарм.

...И вдруг совершенно неожиданный, ошеломляющий удар обрушился на противника. Какой-то глухой, протяжный шум послышался внутри казарменного здания; двери, ведущие во двор, рывком распахнулись, и с оглушительным, яростным «ура» в самую середину наступающего немецкого отряда потоком хлынули вооруженные советские бойцы, с ходу ударившие в штыки.

В несколько минут враг был смят и опрокинут. Штыковой удар словно ножом рассек надвое немецкий отряд. Те автоматчики, что еще не успели поравняться с дверьми казармы, в панике бросились назад, к зданию клуба и к западным Тереспольским воротам, через которые они вошли во двор. А большая часть отряда, отрезанная от своих, кинулась бежать по улице к восточному краю острова, и за ней по пятам с торжествующим «ура» катилась толпа атакующих бойцов, на ходу работающих штыками. А за ними, также крича «ура», бежали другие бойцы, вооруженные кто саблей, кто ножом, а кто просто палкой или даже обломком кирпича. Стоило упасть убитому автоматчику, как к нему разом бросалось несколько человек, стараясь завладеть его оружием, а если падал кто-нибудь из атакующих, его винтовка тотчас же переходила в руки другого бойца и продолжала беспощадно разить врагов.

Прижатые к берегу Мухавца, гитлеровцы были быстро перебиты. Часть автоматчиков бросилась спасаться вплавь, но по воде ударили наши ручные пулеметы, и ни один из фашистов не вышел на противоположный берег.

Это был первый контрудар, нанесенный германским войскам, штурмующим крепость, и нанесли его бойцы 84-го стрелкового полка, занимавшего юго-восточный сектор казарменного здания.

В ту ночь в расположении полка был только один стрелковый батальон и несколько штабных подразделений. Почти все командиры находились в лагерях с двумя другими батальонами либо ночевали на городских квартирах. Лишь два или три лейтенанта — командиры взводов — спали в общежитии при штабе, да здесь же, в своем служебном кабинете, временно жил заместитель командира полка по политической части, полковой комиссар Ефим Фомин.

Накануне вечером Фомин получил отпуск на несколько дней, для того чтобы привезти в крепость семью, оставшуюся на месте его прежней службы в Латвии. Часов в десять он выехал на вокзал, но билетов на поезд уже не было, и комиссар вернулся в штаб, отложив отъезд на сутки. Он допоздна засиделся... И едва успел задремать, как на крепость обрушились вражеские снаряды и бомбы.

Окна в этой части казарм были обращены на Мухавец, в сторону границы. Несколько снарядов сразу же попали внутрь помещений, вызвав пожары и разрушения. Кое-где пирамиды с винтовками

были разбиты взрывами или завалены, и немало бойцов остались безоружными. Зажигательный снаряд попал в кабинет Фомина, и комиссар, задыхаясь от едкого дыма, едва успел выбраться из своей комнаты.

Он тотчас же принял командование подразделениями полка... Потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть первоначальное замешательство, вооружить бойцов и собрать их в безопасном помещении подвала. Там Фомин обратился к ним с короткой речью, напоминая об их долге перед Родиной и призывая их стойко и мужественно сражаться с врагом. А затем по приказу комиссара пошли в первую штыковую атаку, которая успешно закончилась уничтожением отрезанной группы автоматчиков на восточном краю острова.

Между тем остатки немецкого отряда, бросившиеся назад, к Тереспольским воротам, уже не смогли вернуться к своим. Путь отступления оказался отрезанным.

Около Тереспольских ворот, протянувшись поперек центрального двора цитадели, одно за другим стояли два длинных двухэтажных здания. В одном из них помещались пограничная застава и комендатура, в другом находились казармы 333-го стрелкового полка. В ночь начала войны здесь, как и в расположении других частей, оставалось лишь несколько мелких подразделений. В первые минуты тут, как и повсюду, царила растерянность, и поэтому немецкий отряд, ворвавшийся во двор, без помехи прошел мимо этих зданий.

Но за то время, пока автоматчики заняли клуб и попытались продвинуться к восточному краю острова, где их встретили штыковой атакой бойцы полкового комиссара Фомина, обстановка на этом участке изменилась. Уцелевшие от обстрела пограничники заняли оборону в развалинах своей заставы, почти полностью разрушенной бомбами и снарядами. Появившиеся в казармах 333-го полка командиры быстро навели порядок в подразделениях, бойцы вооружились, а жен и детей командного состава, многие из которых прибежали сюда из своих квартир, надежно укрыли в глубоких подвалах дома. Стрелки и пулеметчики заняли позиции у окон первого и второго этажей, у амбразур подвалов, и, когда уцелевшие в штыковой схватке автоматчики, преследуемые по пятам бойцами 84-го полка, кинулись к Тереспольским воротам, их встретил неожиданный и сильный огонь. Часть гитлеровцев полегла под этим огнем, а оставшиеся поспешили укрыться в здании клуба. Та дорога, по которой они полчаса тому назад вошли во двор крепости, была теперь преграждена...

Все усилия штурмовых отрядов врага пробиться в центральную цитадель на выручку к своим автоматчикам, запертым в здании клуба, терпели неудачу. Мост через Буг у Тереспольских ворот

находился теперь под ружейным и пулеметным огнем — пограничники и бойцы 333-го полка зорко сторожили здесь каждое движение противника, плотно закупорив эту дорогу. Заняв госпиталь на Южном острове, немцы попытались проникнуть во двор центральной крепости по мосту, ведущему к Холмским воротам. Но как раз напротив этого моста в кольцевом здании находились казармы 84-го полка, и комиссар Фомин заранее учел опасность атаки с Южного острова, расставив часть своих людей у окон, обращенных в сторону госпиталя. Огонь из пулеметов и винтовок буквально сметал с моста автоматчиков всякий раз, как те поднимались в атаку...

С удивлением и досадой германское командование видело, что сопротивление крепостного гарнизона не только не ослабевает, но час от часу становится более упорным и организованным и что в крепости то и дело возникают все новые очаги обороны. В центральной цитадели, по существу, полными хозяевами положения были защитники крепости, а группа автоматчиков, запертая в здании клуба, то и дело посылала в эфир отчаянные радиопризывы о помощи...

Упорный бой шел и у восточных, Кобринских ворот крепости. В районе этих ворот стоял 98-й противотанковый артиллерийский дивизион под командованием майора Никитина. В первые же минуты противник направил сюда особенно сильный огонь. Большинство орудий и тягачей было уничтожено или повреждено, и вдобавок подразделение лишилось своего командира. Тогда руководство обороной приняли на себя заместитель Никитина по политической части старший политрук Николай Нестерчук и начальник штаба лейтенант Акимочкин.

Приказав укрыть в надежных помещениях внутри валов женщин и детей, сбежавшихся сюда из соседних домов комсостава, Нестерчук и Акимочкин велели выкатить оставшиеся пушки на валы, организовали доставку боеприпасов из склада, расставили в обороне пулеметчиков и стрелков. И когда немцы, обходя крепость с юго-востока, показались вблизи Кобринских ворот, по ним в упор ударили пушки и пулеметы дивизиона. Противник был остановлен, и атаки его на этом участке одна за другой выдыхались под нашим огнем...

В первый день противнику не только не удалось овладеть крепостью за несколько часов, как он рассчитывал, но его штурмовые отряды были наполовину уничтожены и на многих участках отброшены или отведены назад. Только Южный и Западный острова, где, впрочем, продолжали сражаться группы наших пограничников, немцы удержали за собой. Вся же остальная территория крепости, буквально усеянная трупами в зеленых мундирах, попрежнему была недосягаемой для врага, и там всю ночь без сна

и отдыха трудились советские бойцы и командиры, укрепляя свои оборонительные рубежи и готовясь завтра с рассветом встретить новый штурм.

С самого начала боев, с первых же часов войны одно и то же чувство владело каждым защитником Брестской крепости — от командиров, возглавлявших оборону, до рядовых стрелков. Это была глубокая, непоколебимая уверенность в том, что вероломно напавший враг будет в самом скором времени наголову разбит и снова отброшен за государственный рубеж, что вот-вот на помощь осажденной крепости подойдут войска, стоявшие в окрестностях Бреста, и граница будет прочно восстановлена.

...Прежде всего командиры, возглавившие оборону на Центральном острове крепости, попытались связаться с вышестоящим командованием по радио. Но радиостанций в подразделениях было очень мало, и почти все они оказались разбиты или повреждены артиллерийским огнем противника. Только на участке 84-го полка, где в казармах была оставлена часть имущества полковой роты связи, удалось к середине дня наладить одну из радиостанций. Полковой комиссар Фомин составил несколько шифрованных радиограмм в адрес командования дивизий и велел срочно передать их.

Однако дивизионные, корпусные и армейские радиостанции не отвечали на призывы крепости. Все попытки передать шифрованную радиограмму ни к чему не привели. Казалось, гитлеровцы не только окружили крепость, но и заполнили весь эфир: на всех волнах слышались гортанные немецкие команды, и лишь изредка прорывались отрывочные, яростные возгласы наших танкистов, ведущих где-то бои с танками врага, или выкрики летчиков, дерущихся в воздухе с «юнкерсами» и «мессершмиттами».

Тогда Фомин решил оставить условный код и перейти на открытый текст. Учитывая возможность радиоперехвата противника, он составил преувеличенно бодрую радиограмму, и комсомолец-радист Борис Михайловский сел к микрофону.

«Я — крепость, я — крепость! — понеслись в эфир новые призывы.— Ведем бой. Боеприпасов достаточно, потери незначительны. Ждем указаний, переходим на прием».

Снова и снова повторял Михайловский эти слова, но ответа на них не было. Радиостанция продолжала посылать свои сигналы, пока наконец у нее не иссякло питание, и голос сражающейся крепости замолк в эфире навсегда.

...В непрерывных, ожесточенных боях, в огне непрекращающегося обстрела и яростных бомбежек бесконечно длинной чередой проходили дни, похожие друг на друга. Каждое утро, когда со стороны

города над крепостью, окутанной пеленой дыма и пыли, вставало солнце, оживали надежды людей на то, что этот день будет последним днем их испытаний и что, может быть, именно сегодня они наконец услышат на востоке долгожданный гул советских орудий. И каждый вечер, когда солнце садилось за оголенные пулями и осколками снарядов деревья Западного острова, вместе со светом дня угасали и эти надежды.

Но с первых дней защитники крепости решили не ограничиваться ожиданием помощи и не только отбивать атаки врага, но и попытаться самим прорвать кольцо осаждающих войск. За городом далеко на восток простирались обширные леса и непроходимые болота, тянувшиеся через всю Белоруссию, а в нескольких десятках километров к северо-востоку от крепости начиналась дремучая Беловежская пуща. Если бы удалось прорваться в эти леса, там можно было бы успешно продолжать борьбу, стать партизанами и с боями постепенно продвигаться к фронту.

Начиная с 25 июня почти на всех участках обороны крепости каждую ночь делались попытки прорыва. Но вражеское кольцо было плотным, гитлеровцы держались настороже. Лишь отдельным небольшим группам бойцов удавалось выйти из осажденной крепости.

Наиболее организованные и упорные попытки прорыва предпринимались на участках 84-го и 44-го полков под командованием Фомина и Зубачева. Прорываться решили на северо-восток и на север, и поэтому уже с 24 июня основная масса бойцов, сражавшихся на Центральном острове, сосредоточилась в северном полукольце казарм на берегу Мухавца. В южном и западном секторах, а также в клубе и в ограде бывшего польского штаба были оставлены лишь группы прикрытия.

В самую темную, предрассветную часть ночи два больших отряда, разделенных между собой трехарочными воротами, готовились к броску вдоль всей линии северных казарм. Одной из этих групп прорыва командовал полковой комиссар Фомин. В то же время часть бойцов под командованием Зубачева занимала позиции у окон второго этажа, готовясь огнем поддержать атаку товарищей.

Отражаясь в спокойном ночном зеркале Мухавца, на противоположном берегу то и дело взлетали цепочки ракет, и в их колеблющемся свете за рекой виднелась черная стена земляного вала, занятого немцами. Время от времени оттуда, из-за вала, протягивались в сторону Центрального острова светящиеся пунктиры трассирующих пуль и доносились короткие очереди пулеметов, иногда в ночном небе слышался свистящий шелест пролетающих над казармами снарядов, и во дворе громыхали взрывы. Стоя в простенках между окнами, выходящими на Мухавец, собравшись группами у ворот, бойцы чутко вслушивались и всматривались в очертания

противоположного берега, напряженно ожидая приказа. И когда, наконец, по всей линии атаки со скоростью электрической искры пронеслась команда: «Вперед!» — люди разом бросились на мост, выскакивали из окон на берег и, поднимая над головой оружие, стремительно шли по вязкому, глинистому дну Мухавца — без выстрелов, без криков.

Но им удавалось выиграть всего несколько секунд. При свете ракет противник почти тотчас же обнаруживал атакующих. Огоньки автоматных и пулеметных очередей сверкали по всему гребню вала. Мухавец закипал под пулями, и на мост с двух сторон обрушивался густой огонь пулеметов. Только тогда по всей линии атаки раскатилось злое, яростное «ура», раздались первые выстрелы, и бойцы Зубачева из окон казарм начали обстреливать огневые точки на валу.

Удержать огнем этот первый натиск атакующих бойцов было невозможно. Люди тонули в темной воде Мухавца, падали на мосту, но мимо этих убитых и раненых, сквозь стену пулеметного огня неистово рвались вперед другие, строча из автоматов, забрасывая гранатами огневые точки на валу. Бойцы врывались на вал, яростно работая штыками, и здесь и там огонь врага оказывался подавленным.

Но поблизости, за валом, у немцев наготове стояли подкрепления. Свежие роты автоматчиков бросались на помощь своим, и тотчас же сказывался численный и огневой перевес противника. Продвижение атакующих приостановилось, и командиры, видя, что дальнейшие попытки привели бы к большим и напрасным потерям, отвели остатки своих отрядов назад, за реку. Удрученные неудачей, подавленные гибелью товарищей, люди возвращались в казармы, чтобы на следующую ночь с еще большим упорством повторить попытку прорыва. Так продолжалось несколько ночей подряд, но с каждым разом атакующих становилось все меньше. Противник подтягивал на опасное направление все новые силы, и кольцо осады уплотнялось. Наступила ночь, когда всем стало ясно, что дальнейшие атаки приведут только к полному истреблению гарнизона и ускорят захват крепости противником. Ночью 27 июня очередная попытка прорыва была отбита немцами с особенно большими потерями для атакующих, и в казармы вернулась едва ли половина людей. И тогда Александр Филь, сопровождавший Фомина, при свете очередной немецкой ракеты увидел, что исхудалое, заросшее и закопченое лицо комиссара мокро от слез. Комиссар, все эти дни неизменно сохранявший спокойствие и уверенность, невольно передававшиеся бойцам, сейчас плакал слезами гнева и отчаяния, в которых как бы слились воедино и сознание своего бессилия спасти людей, и острая душевная боль при мысли о погибших, и щемящее предчувствие неизбежной и мрачной судьбы тех, кто пока еще оставался в живых.

Никто другой не заметил этих слез, и комиссар тотчас же справился с минутной слабостью: уже вскоре все услышали его обычный, ровный голос, отдающий распоряжения. В конце концов, даже тогда, когда все надежды вырваться из окружения были потеряны и почти не оставалось веры в то, что на помощь подоспеют свои, борьба все-таки имела смысл. Цель была в том, чтобы продержаться у стен крепости и уничтожить в боях как можно больше врагов, дорогой ценой продавая свою жизнь.

...Непрерывно обстреливая окна, осторожно и недоверчиво солдаты противника приближались вплотную к казармам. Вытянув шеи, автоматчики с подозрением заглядывали в окна, но рассмотреть, что делается в помещении, мешали толстые, метровые стены. Тогда в окна летели гранаты. Гулкие взрывы грохотали в комнатах, осколки, разлетаясь, порой убивали или ранили притаившихся в засаде бойцов, но готовые к этому люди ничем не выдавали своего присутствия, и противник убеждался, что гарнизон покинул свои позиции. Автоматчики с торжествующими криками толпой врывались внутрь сквозь окна и двери, и на них тотчас же кидались бойцы, врукопашную уничтожали врагов и завладевали их оружием и боеприпасами.

Так добывали патроны много раз. Но все равно их было слишком мало — враг наседал все сильнее, и, зная, какой ценой достаются боеприпасы, бойцы расходовали их скупо и расчетливо, стараясь, чтобы каждая пуля попала в цель. И когда однажды кто-то из бойцов в присутствии Фомина сказал, что он последний патрон оставит для себя, комиссар тотчас же возразил ему, обращаясь ко всем.

— Нет,— сказал он,— и последний патрон надо тоже посылать во врага. Умереть мы можем и в рукопашном бою, патроны должны быть только для них, для фашистов.

Немцам удалось занять большинство помещений в юго-восточной части казарм, откуда ушли основные силы бойцов 84-го полка.

...В последние дни июня особенно напряженная борьба шла на северном участке Центрального острова, около трехарочных ворот, где сражались бойцы Зубачева и Фомина — главное ядро осажденного гарнизона. Немцам удалось занять несколько казарменных отсеков, примыкающих к трехарочным воротам с запада, но затем группа, державшая здесь оборону, остановила продвижение автоматчиков внутри кольцевого здания. А бойцы Фомина и Зубачева срывали все попытки врага закрепиться в восточном крыле казарм. Это крыло было тупиковым, и, стоило противнику прочно занять первые помещения, примыкающие к трехарочным воротам с востока, автоматчики смогли бы теснить наших стрелков внутри здания в сторону тупика. Эту опасность сознавали все, и борьба за помещения, смежные с воротами, отличались особым ожесточением. По нескольку раз в день автоматчики врывались туда, но тотчас же,

передаваемый из отсека в отсек, по всей линии восточного крыла казарм проносился тревожный сигнал: «Немцы в крайних комнатах!» — и бойцы не ожидая команды, дружно бросались отбивать эти помещения в бешеной рукопашной схватке. Так продолжалось изо дня в день, и вскоре крайние помещения были до половины окон завалены убитыми гитлеровцами и телами советских бойцов, но и на этих горах трупов по-прежнему яростно дрались гранатами, штыками, прикладами, и всякий раз противнику не удавалось закрепиться в этих ключевых комнатах.

Тогда немецкое командование послало к воротам подрывников. Как только начиналась очередная атака автоматчиков, подрывники по крышам и чердакам пробирались в восточное крыло казарм. Мощные толовые заряды спускались по дымовым трубам в первые этажи, внезапные взрывы обрушивали на головы бойцов потолки и стены, и здание постепенно, метр за метром, превращалось в развалины, под которыми гибли последние защитники этого рубежа.

Здесь, отбиваясь от наседавших автоматчиков, был похоронен под грудой камней писарь штаба 84-го полка, рядовой Федор Исаев, хранивший у себя на груди боевое знамя полка. Здесь, израненные и обессиленные, были захвачены в плен дравшиеся вместе с Фоминым и Зубачевым бойцы Иван Дорофеев, Александр Ребзуев, Александр Жигунов и другие.

Именно здесь 29 или 30 июня во время такого взрыва был завален обломками стен тяжело контуженный и раненый боец Александр Филь. Гитлеровцы извлекли его из-под груды развалин вместе с несколькими другими защитниками крепости и отправили в лагерь для военнопленных.

Что произошло с остальными его товарищами, в том числе с Фоминым и Зубачевым, он не знал. Лишь потом, в плену, ему рассказывали, будто Фомин, оглушенный взрывом, полуживой попал в руки фашистов и был расстрелян ими, а капитан Зубачев якобы погиб в бою. Но все это были только слухи, которые еще предстояло проверить.

...Невысокий, уже начинающий полнеть тридцатидвухлетний черноволосый человек с умными и немного грустными глазами — таким остался полковой комиссар Фомин в памяти тех, кто его знал.

Как музыкант немыслим без острого слуха, как невозможен художник без особого тонкого восприятия красок, так нельзя быть партийным, политическим работником без пристального, дружеского и душевного интереса к людям, к их мыслям и чувствам, к их мечтам и желаниям. И люди сразу чувствовали это. Уже в том, как он умел слушать людей — терпеливо, не перебивая, внимательно вглядываясь в лицо собеседника близоруко прищуренными глазами,—

во всем этом ощущалось глубокое понимание нужды человека, живое и деятельное сочувствие, искреннее желание помочь. И, хотя Фомин всего за три месяца до войны попал сюда, в крепость, бойцы 84-го полка уже знали, что в его маленький кабинет в штабе можно принести любую свою беду, печаль или сомнение и комиссар всегда поможет, посоветует, объяснит.

Недаром говорят, что своя трудная жизнь помогает понять трудности других и человек, сам много перенесший, становится отзывчивей к людскому горю. Нелегкий жизненный путь Ефима Моисеевича Фомина, без сомнения, научил его многому, и прежде всего знанию и пониманию людей.

Сын кузнеца и работницы-швеи из маленького городка на Витебщине, в Белоруссии, он уже шести лет остался круглым сиротой и воспитывался у дяди. Это была тяжелая жизнь бедного родственника в бедной семье. И в 1922 году тринадцатилетний Ефим уходит от родных в Витебский детский дом.

В беде и нужде зрелость наступает рано. Пятнадцати лет, окончив школу первой ступени и став комсомольцем, Фомин уже чувствует себя вполне самостоятельным человеком. Он работает на сапожной фабрике в Витебске, а потом переезжает в Псков. Там его посылают в совпартшколу, и вскоре, вступив в ряды партии, он становится профессиональным партработником — пропагандистом Псковского горкома ВКП(б).

От тех лет дошла до нас фотография комсомольца Ефима Фомина — слушателя совпартшколы. Защитная фуражка со звездочкой, юнгштурмовка с портупеей, прямой и упрямый взгляд — типичная фотография комсомольца конца двадцатых годов. Это один из тех младших братьев Павки Корчагина, которым уже не пришлось участвовать в гражданской войне, но которые по ночной тревоге поднимались с винтовками на борьбу с бандитами в отрядах ЧОНа, слышали над своей головой свист пуль, выпущенных из кулацких обрезов, в распутицу и осеннюю слякоть выходили на субботники с привязанной веревкой подошвой раскисших ботинок, в ветреную уральскую стужу работали на обледенелых лесах Магнитостроя и в глухой тайге создавали город юности Комсомольск.

То была эпоха, бедная материальными благами и богатая энтузиазмом, эпоха жестокой борьбы и крылатых мечтаний, эпоха беспощадной ломки старого, эпоха сказочного новаторства. И она выработала замечательный тип коммуниста и комсомольца — героического рядового солдата своей партии, готового по первому ее зову ринуться в бой на любом участке — строить колхозы в деревне или покорять льды Арктики, возводить плотину Днепрогэса или овладевать профессией летчика-истребителя.

Ефим Фомин вырос именно таким беззаветным рядовым солдатом своей партии. Когда в 1932 году партия решила послать его на

политическую работу в войска, он по-солдатски сказал «есть!» и сменил свою штатскую гимнастерку партработника на гимнастерку командира Красной Армии.

Началась кочевая жизнь военного. Псков — Крым — Харьков — Москва — Латвия. Новая работа потребовала напряжения всех сил, непрерывной учебы. Редко приходилось бывать с семьей — женой и маленьким сыном. День проходил в поездках по подразделениям, в беседах с людьми. Вечерами, закрывшись в кабинете, он читал Ленина, штудировал военную литературу, учил немецкий язык или готовился к очередному докладу, и тогда до глубокой ночи слышались его размеренные шаги. Заложив руки за спину и по временам ероша густую черную шевелюру, он расхаживал из угла в угол, обдумывая предстоящее выступление и машинально напевая свое любимое: «Капитан, капитан, улыбнитесь!»

В Брестской крепости он жил один, и его не оставляла тоска по жене и сыну, пока еще находившимся в латвийском городке, на месте прежней службы. Он давно собирался съездить за ними, но не пускали дела, а обстановка на границе становилась все более угрожающей, и глухая тревога за близких поднималась в душе. Все-таки стало бы легче, если бы семья была вместе с ним.

За три дня до войны, вечером 19 июня, Фомин позвонил по телефону жене из Бреста. Она сказала, что некоторые военные отправляют свои семьи в глубь страны, и спросила, что ей делать.

Фомин ответил не сразу. Он понимал опасность положения, но, как коммунист, считал себя не вправе заранее сеять тревогу.

— Делай то, что будут делать все,— коротко сказал он и добавил, что скоро приедет и возьмет семью в Брест.

Как известно, сделать это ему не удалось. Вечером 21 июня он не достал билета, а на рассвете началась война. И с первыми ее взрывами армейский политработник Фомин стал боевым комиссаром Фоминым.

Комиссар!

Это слово похоже на овеянное славой, пробитое пулями боевое красное знамя! Как ненавидели это слово наши враги, как призывно звучало оно для наших бойцов — защитников Советской власти!

Глубокое, большое содержание вложила в это слово наша история. Ум, честь и доблесть коммуниста, боевой дух своей партии борцов олицетворял в войсках комиссар. И если, думая сейчас о гражданской войне и красноармейцах того времени, мы представляем себе ряды воинов в похожих на богатырские шлемы буденовках, то на первом плане воображаемой картины, впереди рядов этих краснозвездных богатырей, нам рисуется скромная фигура в черной кожанке и с пистолетом в руке — комиссар, ведущий бойцов в атаку.

Этот человек — комиссар — прошел через всю нашу боевую историю. Чрезвычайные комиссары Советского правительства Орджо-

никидзе, Киров и Куйбышев, комиссар Чапаева Дмитрий Фурманов, двадцать шесть гордых мучеников — бакинских комиссаров, смелый комиссар волжских матросов Николай Маркин на корабле «Ваня-коммунист», комиссар Пожарский, ведущий в бой красноармейцев на сопках у озера Хасан, партизанский комиссар Отечественной войны ковпаковец Семен Руднев — это всего лишь несколько имен тех, кто волей и умом коммуниста, своей кровью и жизнью сделали звание комиссара легендарным и славным для нас, ненавистным и страшным для наших врагов.

До войны Ефим Фомин был комиссаром по званию. На рассвете 22 июня 1941 года он стал комиссаром на деле.

Героями не рождаются, и нет на свете людей, лишенных чувства страха. Героизм — это воля, побеждающая в себе страх, это чувство долга, оказавшееся сильнее боязни опасности и смерти.

Фомин вовсе не был ни испытанным, ни бесстрашным воином. Наоборот, было во всем его облике что-то неистребимо штатское, глубоко свойственное человеку мирному, далекому от войны, хотя он уже много лет носил военную гимнастерку. Ему не пришлось принять участие в финской кампании, как многим другим бойцам и командирам из Брестской крепости, и для него страшное утро 22 июня было утром первого боевого крещения.

Ему было всего тридцать два года, и он еще многого ждал от жизни. У него была дорогая его сердцу семья, сын, которого он очень любил, и тревога за судьбу близких всегда неотступно жила в его памяти рядом со всеми заботами, горестями и опасностями, что тяжело легли на его плечи с первого дня обороны крепости.

Вскоре после того как начался обстрел, Фомин сбежал по лестнице в подвал под штабом полка, где к этому времени уже собралось сотни полторы бойцов из штабных и хозяйственных подразделений. Он едва успел выскочить из кабинета, куда попал зажигательный снаряд, и пришел вниз полураздетым, как застала его в постели война, неся под мышкой свое обмундирование. Здесь, в подвале, было много таких же полураздетых людей, и приход Фомина остался незамеченным. Он был так же бледен, как другие, и так же опасливо прислушивался к грохоту близких взрывов, сотрясавших подвал. Он был явно растерян, как и все... Он как бы боялся произнести последнее роковое слово — «война».

Потом он оделся. И как только на нем оказалась комиссарская гимнастерка с четырьмя шпалами на петлицах и он привычным движением затянул поясной ремень, все узнали его. Какое-то движение прошло по подвалу, и десятки пар глаз разом обратились к нему. Он прочел в этих глазах немой вопрос, горячее желание повиноваться и неудержимое стремление к действию. Люди видели в нем представителя партии, комиссара, командира, они верили, что только

он сейчас знает, что надо делать. Пусть он был таким же неопытным, необстрелянным воином, как они, таким же смертным человеком, внезапно оказавшимся среди бушующей грозной стихии войны! Эти вопрошающие, требовательные глаза сразу напомнили ему, что он был не просто человеком и не только воином, но и комиссаром. И с этим сознанием последние следы растерянности и нерешительности исчезли с его лица, и обычным спокойным, ровным голосом комиссар отдал свои первые приказания.

С этой минуты и до конца Фомин уже никогда не забывал, что он — комиссар. Если слезы бессильного гнева, отчаяния и жалости к гибнущим товарищам выступали у него на глазах, то это было только в темноте ночи, когда никто не мог видеть его лица. Люди неизменно видели его суровым, но спокойным и глубоко уверенным в успешном исходе этой трудной борьбы. Лишь однажды в разговоре в минуту краткого затишья вырвалось у Фомина то, что он скрывал ото всех в самой глубине души.

— Все-таки одинокому умирать легче,— вздохнув, тихо сказал он.— Легче, когда знаешь, что твоя смерть не будет бедой для других.

Больше он не сказал ничего...

Он был комиссаром в самом высоком смысле этого слова, показывая во всем пример смелости, самоотверженности и скромности. Уже вскоре ему пришлось надеть гимнастерку простого бойца: гитлеровские снайперы и диверсанты охотились прежде всего за нашими командирами, и всему командному составу было приказано переодеться. Но и в этой гимнастерке Фомина знали все,— он появлялся в самых опасных местах и порой сам вел людей в атаки. Он почти не спал, изнывал от голода и жажды, как и его бойцы, но воду и пищу, когда их удавалось достать, получал последним, строго следя, чтобы ему не вздумали оказать какое-нибудь предпочтение перед другими.

Несколько раз разведчики, обыскивавшие убитых гитлеровцев, приносили Фомину найденные в немецких ранцах галеты или булочки. Он отправлял все это в подвалы — детям и женщинам, не оставляя себе ни крошки. Однажды мучимые жаждой бойцы выкопали в подвале, где находились раненые, небольшую ямку-колодец, дававшую около стакана воды в час. Первую порцию этой воды — мутной и грязной — фельдшер Милькевич принес наверх комиссару, предлагая ему напиться.

Был жаркий день, и вторые сутки во рту Фомина не было ни капли влаги. Высохшие губы его растрескались, он тяжело дышал. Но, когда Милькевич протянул ему стакан, комиссар строго поднял на него красные, воспаленные бессонницей глаза.

— Унесите раненым! — хрипло сказал он, и это было сказано так, что возражать Милькевич не посмел.

Уже в конце обороны Фомин был ранен в руку при разрыве немецкой гранаты, брошенной в окно. Он спустился в подвал на перевязку. Но когда санитар, около которого столпилось несколько раненых бойцов, увидев комиссара, кинулся к нему, Фомин остановил его.

— Сначала их! — коротко приказал он. И, присев на ящик в углу, ждал, пока до него дойдет очередь.

Долгое время участь Фомина оставалась неизвестной. О нем ходили самые разноречивые слухи. Одни говорили, что комиссар убит во время боев в крепости, другие слышали, что он попал в плен. Так или иначе, никто не видел своими глазами ни его гибели, ни его пленения, и все эти версии приходилось брать под вопрос.

Судьба Фомина выяснилась только после того, как мне удалось найти в Бельском районе Калининской области бывшего сержанта 84-го стрелкового полка, а ныне директора сельской школы Александра Сергеевича Ребзуева. Сержант Ребзуев 29 или 30 июня оказался вместе с полковым комиссаром в одном из помещений казармы, когда гитлеровские диверсанты подорвали взрывчаткой эту часть здания. Бойцы и командиры, находившиеся здесь, в большинстве своем были уничтожены этим взрывом, засыпаны и завалены обломками стен, а тех, кто еще остался жив, автоматчики вытащили полуживыми из-под развалин и взяли в плен. Среди них были комиссар Фомин и сержант Ребзуев.

Пленных привели в чувство и под сильным конвоем погнали к Холмским воротам. Там их встретил гитлеровский офицер, хорошо говоривший по-русски, который приказал автоматчикам тщательно обыскать каждого из них.

Все документы советских офицеров были давно уничтожены по приказу Фомина. Сам комиссар был одет в простую солдатскую стеганку и гимнастерку без знаков различия. Исхудалый, обросший бородой, в изодранной одежде, он ничем не отличался от других пленных, и бойцы надеялись, что им удастся скрыть от врагов, кем был этот человек, и спасти жизнь своему комиссару.

Но среди пленников оказался предатель, который не перебежал раньше к врагу, видимо, только потому, что боялся получить пулю в спину от советских бойцов. Теперь наступил его час, и он решил выслужиться перед гитлеровцами. Льстиво улыбаясь, он выступил из шеренги пленных и обратился к офицеру.

— Господин офицер, вот этот человек — не солдат,— вкрадчиво сказал он, указывая на Фомина.— Это комиссар, большой комиссар. Он велел нам драться до конца и не сдаваться в плен.

Офицер отдал короткое приказание, и автоматчики вытолкнули Фомина из шеренги. Улыбка сползла с лица предателя — воспаленные, запавшие глаза пленных смотрели на него с немой угрозой. Один из немецких солдат подтолкнул его прикладом, и, сразу стуше-

вавшись и блудливо бегая глазами по сторонам, предатель снова стал в шеренгу.

Несколько автоматчиков по приказу офицера окружили комиссара кольцом и повели его через Холмские ворота на берег Мухавца. Минуту спустя оттуда донеслись очереди автоматов.

В это время недалеко от ворот на берегу Мухавца находилась еще одна группа пленных советских бойцов. Среди них были и бойцы 84-го полка, сразу узнавшие своего комиссара. Они видели, как автоматчики поставили Фомина у крепостной стены, как комиссар вскинул руку, что-то крикнул, но голос его тотчас же был заглушен выстрелами.

Остальных пленных спустя полчаса под конвоем вывели из крепости. Уже в сумерки их пригнали к небольшому каменному сараю на берегу Буга и здесь заперли на ночь. А когда на следующее утро конвоиры открыли двери и раздалась команда выходить, немецкая охрана не досчиталась одного из пленных. В темном углу сарая на соломе валялся труп человека, который накануне предал комиссара Фомина. Он лежал, закинув назад голову, страшно выпучив остекленевшие глаза, и на горле его были ясно видны синие отпечатки пальцев. Это была расплата за предательство.

Подвиг Ефима Фомина, славного комиссара Брестской крепости, воина и героя, верного сына партии коммунистов, одного из главных организаторов и руководителей легендарной обороны, высоко оценен народом и правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ефим Моисеевич Фомин посмертно награжден орденом Ленина, и выписка из этого Указа, как драгоценная реликвия, хранится сейчас в новой квартире в Киеве, где живут жена и сын погибшего комиссара.

А в Брестской крепости, неподалеку от Холмских ворот, к изрытой пулями стене казармы прибита мраморная мемориальная доска, на которой написано, что здесь полковой комиссар Фомин смело встретил смерть от рук гитлеровских палачей. И многочисленные экскурсанты, посещающие крепость, приходят сюда, чтобы возложить у подножия стены венок или просто оставить около этой доски букетик цветов — скромную дань народной благодарности и уважения к памяти героя.

Александр
КОВАЛЕНКО

ПАРЕНЬ ИЗ РАБОЧЕЙ ДИНАСТИИ

От Советского информбюро
за 24 июня 1941 г.

В течение 24 июня противник продолжал развивать наступление на **Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волынском** и **Бродском** направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной Армии.

Восточный берег Буга у села Цуцнево пологий, изрезанный оврагами, заросшими кустарником. Неподалеку от бревенчатого домика заставы половодье намыло брод. На сопредельной стороне к реке вплотную подступил густой лес. По обе стороны границы прерывистой цепочкой тянутся хутора, все в пышной зелени фруктовых садов.

Июнь 1941-го. 7-я застава 90-го пограничного отряда живет вроде бы обычной жизнью — уходят в наряд и возвращаются с боевой вахты красноармейцы и сержанты; охрана рубежа, воинская учеба, партийно-политические мероприятия. После обеда самый младший на заставе политработник — заместитель политрука Василий Петров идет к начальнику заставы старшему лейтенанту Репенко. Политрук Тимофей Мещеряков накануне уехал в отряд и еще не возвратился, все неотложные дела легли на плечи Василия. Когда они со старшим лейтенантом решили текущие вопросы, Василий сказал:

— Нужно посоветоваться. Завтра встречаюсь с избирателями в сельском клубе, хочу рассказать о людях нашей заставы.

— Дело хорошее,— отозвался Репенко.— Используй стенгазеты, в них найдешь много интересного об отличниках боевой и политической подготовки. Но о международной обстановке поменьше, понял? Трудно иному объяснить, что на том берегу делается.

— Понял вас. Значит, неплохо бы познакомить колхозников с Савиным и Мыршавым. Не возражаете?

— Кандидатуры подходящие, одобряю. Кадровые пограничники, коммунисты. Подбодрят избирателей, да и ты умеешь с народом говорить...

Василий Петров вырос в рабочей семье, до призыва в армию работал токарем по металлу в локомотивном депо станции Малоярославец, где трудились отец и братья. Вся деповская молодежь провожала своего секретаря комитета комсомола на вокзал.

Возле вагона ребята на прощанье наперебой желали одного — успешной службы; отец, всегда немногословный, стиснув в руке кепку, сказал:

— Служи, Вася, как работал.

Окончив курсы замполитруков, Василий уехал на западную границу. Стал он отличным пограничником, за полтора года службы задержал больше двадцати нарушителей. Его политработа, как и боевая служба, оценивалась высоко.

Однажды вместе с сержантом Михаилом Каретниковым Петров обнаружил в одном из оврагов десятерых вооруженных нарушителей. Увидев пограничников, они открыли огонь. Василий не растерялся: сорвал с пояса и метнул в диверсантов гранату:

— Ложись! Иначе всех перебьем!

После короткой схватки уцелевших нарушителей обезоружили, под конвоем доставили на заставу. Неделю спустя, находясь в наряде, замполитрука Петров обратил внимание на примятую траву: роса сбита! Пошел по следу и вскоре настиг ползущего нарушителя, мгновенно обезоружил его, привел и сдал начальнику заставы. Лазутчик опомнился только на допросе...

— Василий мне сразу очень понравился,— говорил на собрании, посвященном выборам в сельский Совет, политрук заставы Мещеряков.— Он прост и доступен, трудолюбив, добр, умеет увлекать бойцов.

Петров творчески относился к политработе, помимо ежедневных политинформаций проводил беседы, готовил с политруком партийные и комсомольские собрания, тематические вечера, активизировал работу спортивных кружков. Он сдружился с многими крестьянами окрестных деревень, часто и увлеченно работал с сельской молодежью. Местные жители относились к Василию с большим уважением, избрали его депутатом сельского Совета. Парни и девушки помогали пограничникам задерживать шпионов и диверсантов. Лозунг «Советская граница на замке!» стал и для местных комсомольцев боевой программой.

Петров был и умелым воином. Из пулемета стрелял лучше всех на заставе. Однажды на стрельбище замполитрука указал на тонкую сосенку, которая росла метрах в двухстах от огневого рубежа.

— Смотрите, чего может достичь опытный пулеметчик. Нужно только тщательно целиться, не волноваться, спокойно нажимать гашетку.

Изготовившись к стрельбе, Василий поправил прицел и дал длинную очередь из «максима»; деревцо упало, срезанное почти под корень.

— Видали?!

...Из этого пулемета доведется Василию Петрову стрелять по фашистам в первые часы войны...

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят...

Эту песню очень любили на заставе, как и во всей стране.

Субботним вечером 21 июня вернувшийся из сельского клуба Петров рассказал товарищам о встрече с избирателями из села Цуцнево. В полночь заместитель политрука ушел проверять посты. Вернулся часа через три очень взволнованный. Докладывал начальнику заставы об увиденном сдержанно, без эмоций и только о том, чему сам стал свидетелем:

— На той стороне неспокойно. Гудят тяжелые грузовики, лязгают гусеницы танков, слышатся команды на немецком...

Такие же вести принесли другие наряды. Обо всем немедленно доложили коменданту участка старшему лейтенанту Говорову. Тот приказал скрытно выйти к реке и проверить, не спускают ли гитлеровцы на воду лодки или другие плавсредства.

Пограничники ушли на задание, но выполнить его не успели: заставу начала обстреливать вражеская артиллерия. Снаряды пронизали двухэтажное бревенчатое здание заставы. Вылетели оконные рамы, посыпались стекла. Пограничники выбежали во двор.

— К бою! — скомандовал начальник заставы. Каждый знал, что должен делать, не зря столько раз объявляли в последнее время учебные тревоги. Согласно боевому расписанию, Петров был обязан занять огневую точку по внешнему кольцу обороны и пулеметным огнем сорвать попытку фашистов форсировать Западный Буг.

Используя скрытые подступы, замполитрука с пулеметчиками Савиным и Мыршавым достигли замаскированного окопа, установили станковый пулемет, заправили ленту, приготовили коробки с патронами.

Гитлеровцы большими группами сосредоточивались на опушке леса, примыкавшей к реке, сбегали к воде, волоча за собой надувные резиновые лодки. Вот солдаты столкнули в воду девять больших лодок, в каждую село десять солдат. Василий с товарищами считали врагов. Группа фашистов собралась воспользоваться бродом. Петров выжидал, обдумывая план действий. Если стрелять по лодкам, пешие гитлеровцы, которые, нащупывая палками илистое, топкое дно, шлепают сейчас по воде, разбегутся. Значит, нужно сначала ударить по ним. Но их много, очень много...

Враги с опаской продвигались к советскому берегу. Вот они уже на середине реки, еще несколько метров — и нужно стрелять. Василий проверил прицел, ощупал ленту, уходящую в приемник, и ударил с близкой дистанции. Падали в воду убитые, уцелевшие метались, пытаясь выйти из-под огня, и наконец бросились вспять.

Замполитрука не стал бить вслед — теперь можно заняться лодками. Петров крутнул послушный ствол пулемета и выпустил длинную очередь по десантникам.

С громким шипением вырывался воздух из продырявленной резины, лодки теряли форму, съеживались, быстро погружались, солдаты барахтались в воде — здесь было глубоко. Петров стрелял до тех пор, пока последний гитлеровец не скрылся под водой. Пулемет замолчал, и заместитель политрука лихо сдвинул на затылок фуражку, устало вытер пот со лба.

— Ну дали мы им. Полсотни явно недосчитаются.

— Всыпали гадам! — радовался возбужденный удачей Савин.

— Будут знать, как соваться на нашу землю! — вторил товарищу Мыршавой.

Василий озабоченно огляделся:

— Хлопцы, надо менять позицию. Нас наверняка засекли, постараются накрыть огнем.

Пограничники перебрались в другой окоп. Отсюда тоже хорошо просматривался весь участок переправы. Снова старательно заработал верный «максимка». Теперь они вели огонь с мыса. Узкий и длинный, густо заросший кустарником, мыс кинжалом вонзался в реку. Однако, как и предполагал Петров, маневр пограничников противник разгадал. Не прошло и пяти минут, как вблизи стали рваться снаряды. Они падали все ближе, ложились гуще, один взорвался совсем рядом. Вскрикнув, опрокинулся на спину тяжело раненный Савин, Мыршавой схватился за плечо.

— Здорово зацепило? — спросил, не отрываясь от прицела, замполит.

— Царапина, Василий...

— Тащи Савина на перевязку. Быстро!

Взвалив на спину товарища, боец нырнул в траншею, побежал по ходам сообщения; Савин стонал. Добравшись до заставы, Мыршавой отнес раненого в медпункт, размещавшийся в блиндаже.

— Он умер,— констатировал военфельдшер; перевязал Мыршавому пробитое осколком плечо. Тот — быстро к начальнику заставы, чтобы доложить об обстановке на мысу у Петрова.

А там снаряды продолжали рваться. Огонь был плотным, осколки начисто срезали кусты, сухо шлепались в песок, с силой ударяли в щиток пулемета. Василий снял станкач с площадки в окоп и, пережидая артналет, сидел на корточках, поминутно высовываясь и оглядывая чужой берег. После обстрела гитлеровцы наверняка попытаются снова форсировать реку, в любую минуту может последовать повторная атака.

Так и произошло. Под прикрытием орудийного и минометного огня к броду спустился батальон вражеской пехоты. Как и раньше, Петров подпустил фашистов поближе и полоснул по ним из пуле-

та. Снова немцы заметались под губительным огнем и, бросая убитых и раненых, повернули назад.

Больше атаки не повторились. Отказавшись от дальнейших попыток перейти реку вброд, гитлеровцы усилили артиллерийский и минометный огонь, многие батареи яростно обстреливали район заставы.

Сломив сопротивление соседней заставы, фашисты атаковали 7-ю с фланга. Пограничники встретили врага дружными залпами, немецкие цепи стали отходить к мысу. Петров, заметив это, развернул «максим» и хлестанул по ним. Понеся потери, гитлеровцы укрылись на хуторе, часть автоматчиков залегла в высокой пшенице. Обогнув опасный участок, они вышли в тыл заставе, предприняли новую атаку и... напоролись на поджидавших их пограничников. Загрохотали дружные, меткие залпы. Фашисты отхлынули.

Василий Петров снова помог товарищам. Его пулемет не умолкал, выкашивая неприятельские цепи. Утром пограничники получили приказ отходить к селу Бортнув. Не успели собраться в путь, как фашисты в очередной раз ринулись на заставу. Атаку удалось отбить с трудом. Оставив десятки трупов, противник и на этот раз откатился.

Теперь можно отходить. Начальник заставы Мирон Репенко подозвал красноармейца Мыршавого:

— Пробейся на мыс, пусть Петров присоединяется к нам. Дойдешь? Другого послать некого...

— Ничего, товарищ старший лейтенант, доберусь.

— Ступай. Мы будем ждать.

Мыршавой убежал. Вернувшись, доложил, сдерживая рыдания:

— Замполитрука весь израненный, в крови. Но отступить отказался, хочет прикрыть наш отход.

Мирон Репенко, сам человек неробкого десятка, был потрясен. Заместитель политрука наверняка пожертвовал собой ради их спасения.

Опять ударили с вражеского берега орудия и минометы. Полуразрушенное здание заставы теперь загорелось. Уходя, пограничники то и дело поглядывали в сторону мыса. Оттуда доносились короткие экономные очереди, четко выстукивал наперекор врагу упрямый одинокий пулемет.

Вскоре немцы настигли отходящих. Начался неравный бой. Пограничники контратаковали врага, и их поддержал пулемет с мыса. Вдохновленный примером Петрова, остался прикрывать отход товарищей ефрейтор Подгайный. Пограничники перешли в контратаку, ударили в штыки и, прорвав кольцо окружения, присоединились к резерву комендатуры.

Позади еще долго слышались пулеметные строчки замполитрука. Василий Петров продолжал вести бой. Неравный. Последний...

Много лет спустя стали известны подробности героической гибели заместителя политрука с 7-й заставы. Закипала вода в кожухе. Василий делал короткие паузы и вновь продолжал стрелять. Он сам уже получил несколько ранений, но усилием воли отгонял забытье и продолжал вести огонь. Когда кончились патроны, фашисты кинулись к пулеметчику, намереваясь захватить его в плен.

— Сдавайся, рус!

— Советские пограничники в плен не сдаются!

И швырнул гранату, вторую оставил себе. Она рванула, когда враги окружили распростертого на песке израненного бойца. Осколки скосили окруживших Петрова гитлеровцев, погиб и храбрец-пограничник.

Командование погранвойск сообщило в Москву о героическом подвиге замполитрука Василия Петрова. Начальник заставы старший лейтенант Репенко написал его родителям: «От имени личного состава и от себя лично благодарю Вас за то, что Вы вырастили такого сына. Пограничники отомстили и будут еще мстить врагам за смерть нашего друга Василия».

Политработник-пограничник Василий Петров, парень из рабочей династии, был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Один из первых Героев Великой Отечественной. Его именем названа пограничная застава.

2 Заказ 4650

Борис
ГОРБАТОВ

«СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ»

Мирной и тихой жизнью жил Максим Афанасьев в родном селе. Работал на тракторе. Ухаживал за девушкой. Откладывал деньги на новый костюм. Потом женился. Было маленькое тихое счастье. Маленькие приятные заботы. О тракторе, о трудоднях, о доме, о новых обоях и пластинках к патефону.

Но вот пришла война. Немец напал на нашу Родину. Куда-то вдаль отодвинулись маленькие семейные заботы. Над большой семьей — над Родиной — нависла беда. Мир пылает. Решается судьба миллионов Афанасьевых. Быть или не быть власти Советов. Быть или не быть нашему счастью.

И когда в первых боях тяжело ранили Максима Афанасьева и товарищи бережно несли его на руках в медпункт, горько шептал он товарищам:

— Эх, так и не успел я стать коммунистом.

Мы нашли Афанасьева на медпункте.

Увидев нас, он попросил подойти ближе.

— Товарищи,— прохрипел он,— у людей спросите: я честно выполнял свой долг. Все скажут. Если придется умереть, убедительно вас прошу — считайте меня коммунистом.

Считайте меня коммунистом. Живого или мертвого. Тысячи просьб об этом. Это самое замечательное, самое великолепное, что есть в нашей великой и святой борьбе.

Никогда не приходилось так много работать секретарю партийной комиссии батальонному комиссару тов. Устименко, как в эти дни.

— Народ требует принимать в партию до боя, в бою. Люди хотят идти в бой коммунистами.

И Устименко, и его комиссия работают прямо в бою. За дни войны разобрано куда больше заявлений о приеме в партию, чем за шесть предвоенных месяцев.

Каждый день рано утром отправляется партийная комиссия на передовые. Чаще всего пешком. Иногда ползком, под артиллерийским и минометным огнем.

Где-нибудь в рощице, подле огневой позиции, у стога сена, или прямо в поле, или за линией окопов открывает свое заседание партийная комиссия. Тут же под рукой фотограф Люблинский,

молодой человек, вздрагивающий при свисте снарядов. Он фотографирует принятого в партию. Нужно срочно изготовить карточку.

Часто бывает, что Люблинский только что установит свой аппарат на треноге, скомандует «спокойно», а вражеский снаряд шлепнется неподалеку и «сорвет съемку», засыплет землей фотографа и его объект. Тогда партийная комиссия быстро меняет свою «огневую позицию». Сейчас Люблинскому стало легче работать. К снарядам он привык и вместо старого аппарата на треноге у него «ФЭД».

Принимаемые в партию приходят на заседание комиссии прямо с передовой. Они садятся на траву.

Волнуются. Один нервно покусывает травинку, другой ждет в стороне, курит.

Свершается великий момент в их жизни.

Они становятся коммунистами. Отсюда они уйдут обратно в бой. Но уйдут людьми иного качества — большевиками.

И хотя вокруг гремит музыка боя, заседание партийной комиссии проходит строго и сурово, как принято. Коротко излагается биография вступающего, взвешивается, прощупывается его жизнь. Достоин ли он высокого звания большевика? Придирчиво и внимательно смотрят на него члены партийной комиссии.

И главный, решающий вопрос задают каждому:

— Как дерешься? Как защищаешь Родину?

Семь километров нес на плечах Василий Копачевский своего командира, своего парторга Бурковского. Вокруг были немцы.

Немцы наседали. Но не бросил Копачевский раненого парторга, положил к себе на левое плечо и нес. А к правому плечу Копачевский то и дело прикладывал винтовку и отстреливался. Так и нес его семь километров до ближайшего села. Но и в селе уже были немцы. Как нашел здесь повозку Копачевский, как ушел от немцев и увез Бурковского? Чудом! Но вот они оба здесь, среди своих, и боец и парторг. Только сейчас заметил Копачевский, что и сам он легко ранен.

Вот и принимают в партию Василия Копачевского, разведчика с бронемашины.

— Как дерешься? Как защищаешь Родину? — спрашивают и его.

Он смущается. Ему кажется — еще ничего геройского не сделал он.

— Буду драться лучше.

— Кто рекомендует?

Парторг Бурковский, которого семь километров сквозь вражье кольцо нес Копачевский, может дать ему лучшую рекомендацию: она скреплена кровью.

Вот стоит перед партийной комиссией сапер Павел Вербич. Двадцать лет ему от роду. Украинец. Молодой боец.

Но уже успел отличиться в боях сапер Вербич.

Он минировал участок под огнем противника. С редким хладнокровием делал он свое дело. Враг бил по нему, по его смертоносным минам. Он продолжал работать.

И, только заложив последнюю мину, ушел.

— Говорят, на ваших минах подорвались четыре немецкие машины и один танк?

— Не знаю,— смущается Вербич,— люди говорят так, а сам я не видел.

Сапер редко видит результаты своего героического труда.

Принимается в партию связист Николай Боев. Только вчера он представлен к награде, сегодня вступает в партию. Боев — морзист. Но эта работа не по нутру ему.

Он рвется в огонь, на линию. И часто в горячем бою добровольно идет с катушкой наводить линию. Он знает — только геройский, только смелый боец может стать коммунистом. Он честно заработал право на высокое звание.

И Копачевский, и Вербич, и Боев приняты в ряды ВКП(б). Они поднимаются с травы радостные, возбужденные.

— Ну,— обращается к каждому из них Устименко,— оправдаете доверие партии?

— Оправдаем.

— Жизнь за Родину не пожалеете?

— Нет, не пожалеем.

И это звучит как клятва. Они уходят отсюда в бой. Нет, не пожалеют они жизни за Родину.

29 августа был принят в ряды партии комсомолец Русинов. 4 сентября он пал смертью героев. Такой смертью, о которой песни петь будут.

— Комсомольцы, ко мне! — кричал он.

И с двадцатью комсомольцами бросился в лихую и последнюю атаку. Это было в бою под Каховкой. К старой песне о Каховке поэты прибавят новые строки о коммунисте Русинове, павшем в бою, как большевик.

В грозные военные дни огромной волной идут в партию бойцы и командиры. Еще крепче связывают они свою судьбу с большевистской партией. Они знают: быть коммунистом сейчас — трудное, ответственное дело. Они рады этой ответственности. Они знают: быть коммунистом сейчас — значит драться впереди всех, смелее всех, бесстрашнее всех.

Они готовы к этому. Они не боятся смерти и презирают ее. Они верят в победу и готовы за нее отдать жизнь.

Такой народ невозможно победить.

Такую партию победить нельзя.

Правда, 1941, 26 сентября

Иван
КАЛЯДИН

ТВЕРДО ВСЕ ВЕРИЛИ

Вдоль белого от пыли шоссе часовыми стояли кряжистые, тоже покрытые пылью осокори, родные братья осин. Дорожная пыль пробивалась сквозь гущу деревьев и смешивалась с пеплом, летевшим от горящего хутора, от плетней, раздавленных гусеницами танков и бронетранспортеров. Вот уже и осокори задымились, но людям некогда было тушить огонь.

Пали, наконец, сумерки на тихие лужайки. Вечерело. Показалось странным, что после нестерпимого грохота боя, скрежета танков, взрывов, команд сюда, на поляны, опустилась тишина. Удивительная, неестественная тишина. Если б не эти облепившие придорожные деревья и траву пыль да пепел, не багровый закат пожарищ, можно было бы хоть на четверть часа забыть о кошмаре схваток и горечи отступления. Да, тишина оказалась хрупкой, а может быть, ее и нет вовсе, и через секунды новый смерч огня обрушится на людей, собравшихся на лесной поляне, неподалеку от реки Горынь.

Врагу не удалось с ходу форсировать водную преграду, и к исходу 1 июля в полосе 19-го мехкорпуса Юго-Западного фронта наступило относительное затишье. Фашисты ночами не воевали, им еще хватало дня.

Передышкой воспользовались политорганы соединения, чтобы в возможно более короткое время провести в подразделениях партийные и комсомольские собрания. Как начальник отдела политической пропаганды корпуса, я не очень надеялся осуществить необходимые мероприятия в масштабе дивизий или полков, мы ориентировались в основном на собрания в мотострелковых и танковых батальонах, в артиллерийских дивизионах. Но вопреки задуманному, получилось все же так, что первым удалось провести именно партийное собрание части. В 86-м танковом полку 43-й танковой дивизии.

Несмотря на тяжелые потери, сложную обстановку, собрание оказалось многолюдным. И это порадовало прежде всего. Все запыленные, усталые, у иных бойцов и командиров белели повязки в коричневых пятнах запекшейся крови. Но не ушли раненые коммунисты в тыл, а набрались сил и отшагали немало километров по передовой. И вот теперь ждут, когда начнется собрание.

Все сидят кто на поваленных снарядами деревьях, кто на пнях, кто вовсе на земле, еще не остывшей после жаркого дня. Было

тихо вокруг. Сидели и ждали молча. Посуровевшие лица. У кого плечи развернуты, не согнуло отступление человека — это хорошо. Но иные сутулятся, обособляются — таких надо подбодрить, влить в них заряд оптимизма.

Секретарь партбюро полка старший политрук М. А. Галкин, встречая каждого коммуниста, заметно волновался. Я его хорошо понимал. От того, как пройдет это первое фронтовое собрание, зависело очень многое. Ведь после него полку предстояло вновь вступить в бой. Об этом знали все собравшиеся и потому спешили на свой первый партийный совет. Острая была необходимость не только подвести итоги 10-дневных боев, определить формы и методы партийной работы и поведения членов партии в новых условиях, но и обменяться соображениями о том, как поднять боевой дух однополчан, воодушевить на нелегкую борьбу с противником, превосходящим нас в силах, средствах, военном опыте.

Накануне собрания секретарь партбюро отправился в боевые подразделения. Говорил с парторгами, рассказывал о намечаемой повестке дня, рекомендовал, как лучше подготовить людей к обсуждению поставленных вопросов, напоминал о времени и месте сбора. Заместитель командира полка по политической части старший политрук А. Л. Каплунов, так же как и Галкин, посетил передовую и провел с подавшими заявления о приеме в партию беседы о правах и обязанностях коммуниста. Оба политработника позаботились и о том, чтобы на время собрания выставить усиленное боевое охранение. Немецкая разведка могла перебраться через реку под покровом сумерек, надо было лишить врага такой возможности.

Пока собирались, среди расположившихся на поляне коммунистов постепенно завязался разговор. Люди преодолели усталость, оживились. Друзья, воевавшие в разных подразделениях, не видевшиеся с начала боевых действий, теперь, встретившись, потянулись друг к другу с новостями, впечатлениями о первых боях, вспоминали обстоятельства гибели или ранения друга, командира.

— Обсудим, товарищи, между собой текущий момент, пока подойдут остальные,— поднялся Галкин.

И эти простые, в прежней жизни обыденные слова теперь всколыхнули коммунистов. Текущий момент... Сейчас он состоял не из анализа учений, маневров, повседневной жизни полка, теперь текущий момент — это победить или погибнуть, быть Родине или... Нет, только быть! Пробираясь на эту поляну под трассами пуль, падая при близких разрывах мин или снарядов, обходя свежие воронки, каждый из коммунистов, без сомнения, думал о главном: предстоит партийное собрание. Жизнь, стало быть, идет своим чередом. И какое это счастье, когда в такой трагический момент ты не чувствуешь себя одиноким, ты — член той партии, идеи которой составляют смысл всего твоего существования, а сейчас — твоей борьбы.

С гордостью, с надеждой, с верой пришли они на первое фронтовое партсобрание. Смахнули оцепенение, усталость, говорили, перебивая друг друга.

— Слушайте, ребята! — воскликнул младший лейтенант Лазний, парторг танковой роты, высокий, красивый, смелый командир.— Боятся они наших танков. Представляете, подвел я к ним свою машину вплотную, гляжу в смотровую щель, на фашистах не только автоматы, но у иных и гранаты на поясах. Ну, думаю, кто раньше: я их подавлю или они метнут мне противотанковую под гусеницу...

— И что же?

— Даю команду механику-водителю: «Вперед», а сам — из пулемета. Они как драпанут в лес. А кто не успел — подняли руки. Завоеватели... Трясутся: рус, никс капут.

— Да, первые пленные,— сказал командир роты Моточка.— А у каждого в ранце всякое барахло, награбленное в местечках да на хуторах.

В другой группе разговор шел о злодеяниях, насилиях, чинимых повсюду фашистами.

В это время и я перебросился несколькими словами с начальником отдела политпропаганды дивизии полковым комиссаром Артемом Карповичем Погосовым.

— Обратите внимание,— говорил полковой комиссар,— какой школой воспитания мужества и храбрости становится война для наших бойцов, командиров, политработников. Какая рождается ненависть к врагу! Она так же необходима для победы, как боевая техника и воинское мастерство.

— Да, многое повидали мы за эти полторы недели,— отозвался я,— грабежи, зверские расправы с мирными жителями. Конечно, они не оставят равнодушными наших красноармейцев. Война не только закаляет волю и характер, но и учит ненавидеть фашистов.

Начальник политической пропаганды дивизии пользовался у бойцов и командиров глубоким уважением. Он строг, требователен, но постоянно заботится о них. У Погосова немалый опыт партийно-политической работы в войсках. За боевые заслуги и мужество, проявленное в боях на реке Халхин-Гол, награжден орденом Красного Знамени, а в ту пору орденоносцев было немного.

Слова товарищей звучали как откровение, точно отражая душевное состояние красноармейцев и командиров в первые дни войны. Говорили о войне, забыли обо всем, что ее не касалось.

Мне запомнился тот вечер. Он выдался на редкость погожим. От реки волнами надвигалась бодрящая прохлада, наступили минуты какой-то особенной, ни с чем не сравнимой тишины. И с еще большей горечью, контрастом ощущалось, какая беда на нас навалилась.

— Внимание, товарищи! — послышался голос секретаря партийной организации.— Начнем собрание. На него прибыло подавляю-

щее большинство находящихся в строю членов и кандидатов партии. Есть предложение приступить к работе. Каково мнение коммунистов?

Раздался гул одобрения. Робкие, нерешительные поначалу аплодисменты перешли вдруг в бурное рукоплескание. Все встали. Никто не проронил ни слова, каждому было ясно: слова ни к чему. Важно одно: мы все единомышленники-коммунисты, и нас никакому врагу не сломить, не согнуть, пока мы вместе.

— Почтим память товарищей, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками!

Все стояли не шелохнувшись, опустив обнаженные головы. У многих набежали слезы на глаза.

— Вечная память героям-коммунистам, отдавшим жизнь за Родину,— говорил секретарь.— Смелому и отважному танкисту подполковнику Злобину, любимцу полка механику-водителю Ефимову, лейтенантам Васильеву и Рою, врачу Наумову, сердечность и заботу которого мы никогда не забудем. Смерть оторвала их от нас, живых и воюющих. Но они навсегда останутся с нами, в наших сердцах. Поклянемся же отомстить врагу за своих боевых друзей!

— Клянемся! — как один человек отозвались коммунисты.

Тут низко над нашими головами пронеслись «юнкерсы» с характерным воем моторов, послышались неподалеку взрывы бомб, ответная стрельба зенитчиков. Затихло там, а над головами в обратном направлении уже несутся бомбардировщики.

Слово для доклада предоставляется командиру полка майору М. А. Воротникову.

— Горе пришло в наш дом, товарищи коммунисты,— начал он.— Обладающий большим перевесом в боевой технике и войсках противник коварно напал на нашу Родину. Но как бы ни был он силен, осуществить свои планы ему не удастся. Наши силы будут крепнуть с каждым днем. Партия делает все, чтобы превратить страну в единый боевой лагерь, мобилизовать народ для сокрушительного разгрома врага.

Подведя итоги прошедших боев, командир полка стал называть отличившихся. Их было много: запомнились мне имена капитана Богачева, старшего лейтенанта Моточки, сержанта Власова, командира орудия Матвеева, младшего лейтенанта парторга роты Лазния, лейтенанта Мерника, башенного стрелка Иратова и других бойцов и командиров. Сказал майор и о потерях, о необходимости беречь людей и боевую технику, тщательно собирать, по крупицам накапливать боевой опыт, делать его достоянием всего личного состава и умело использовать в бою.

Было так тихо на поляне, что мы все звуки слышали: с наших позиций из леса, и с немецких — из-за реки. Обе стороны готовились к завтрашнему бою. Ухо различало милые сердцу вздохи

дизелей наших «тридцатьчетверок» и дальнее злое завывание фашистских танковых моторов.

— Нам есть у кого учиться,— продолжал между тем майор Воротников.

И он называл их. Отважный командир танкового батальона член ВКП(б) капитан Василий Гаврилович Богачев, его подразделение уничтожило в бою под Ровно 11 танков врага, 24 орудия, бронетранспортер и мотоцикл, более двухсот гитлеровцев (за этот бой комбат вскоре был удостоен звания Героя Советского Союза); коммунист Герой Советского Союза капитан Василий Сергеевич Архипов, который своим легким танком Т-26 сжег несколько бронемашин и уничтожил сопровождавших их автоматчиков, доказав тем самым, что и легкие танки в умелых руках являются грозным оружием (впоследствии он стал генералом и дважды Героем Советского Союза).

В заключение командир полка обратился к коммунистам с призывом совершенствовать боевое мастерство свое и личного состава, воспитывать бойцов в духе непримиримой ненависти к фашистским захватчикам.

Трудно писать о событиях, которые происходили более сорока лет назад. Еще труднее передать атмосферу, царившую на нашем первом собрании. Все тогда было необычным, по-новому звучали в устах докладчика впервые услышанные многими бойцами и командирами понятия: «Отечественная война», «освободительный характер войны», «немецко-фашистские захватчики», «смерть немецким оккупантам!»... Это потом, несколько позже, мы привыкли к ним, а тогда, 1 июля сорок первого, на десятый день войны, такие слова и понятия наводили на размышления, будили новые, особенные чувства и мысли. И может быть, именно в тот день перед большинством присутствовавших на собрании коммунистов грозные события, участниками которых они были, предстали во всем своем величии и значимости. В трагическом величии, высокой исторической значимости...

Взяв слово первым, я посмотрел на собравшихся и по их лицам понял, как напряжены у людей нервы, как ждут коммунисты от своих политических руководителей самого важного, самого существенного в оценке сложившейся на фронтах обстановки. И я рассказал о решении Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров от 30 июня о создании Государственного Комитета Обороны во главе с И. В. Сталиным; в руках Комитета сосредоточивалась вся власть в стране; об учреждении Ставки Верховного Главнокомандования; о перестройке на военный лад всей промышленности; об организации в тылу у врага партизанских отрядов; о том, что на смертельную всенародную борьбу подымается наша великая страна.

Главная задача армейских коммунистов, говорил я, продиктована самой обстановкой, сложившейся на фронтах, и состоит в том, чтобы остановить врага, дать возможность Главному командованию отмобилизовать армию, подтянуть из глубины страны резервы и организовать разгром фашистских орд. И мы выполним ее, если будем действовать так же смело и находчиво, как действовали танкисты Архипова и Богачева, мотострелки Иванченко, те герои, чьи имена были названы командиром полка. Надо учиться у них метко разить врага из всех видов оружия, наносить ему максимальные потери, и в первую очередь жечь его танки, уничтожать бронетранспортеры, орудия, пулеметы, живую силу фашистов.

Затем к «столу» президиума — куску фанеры, прибитой к торцу широкого пенька,— подошел старший лейтенант Федор Моточка. Могучего и находчивого воина, командира роты из богачевского батальона, в полку знали и любили все. Это он 27 июня под Дубно в критический момент боя, когда на полк навалились танки и мотопехота двух фашистских полков, вывел свое подразделение в тыл врага и неожиданным, разящим ударом смял боевой порядок немецкого батальона, подбил и поджег пять средних танков, более десяти бронетранспортеров, уничтожил десятки автоматчиков.

Долгим, внимательным взглядом обвел старший лейтенант собрание, снял шлем и, держа его перед собой в полусогнутой руке, глубоко вздохнул. Мужественное, загорелое лицо тронула едва заметная улыбка.

— Как и все коммунисты части, я рад, что нам удалось сегодня собраться вместе. Это собрание навсегда останется в моей памяти. Сколько проживу — не забуду. А понимаю свою боевую задачу так: мы — защитники Родины, завоеваний Великого Октября. В этой войне должно победить не только советское оружие, но и наша коммунистическая идеология. А это зависит в первую очередь от нас, коммунистов. Даю слово большевика: танковая рота, командовать которой мне доверено, выполнит любое задание командования. Мы не пощадим своих сил, а если потребуется — и жизней для разгрома вероломных захватчиков. Нет, мы не спешим умирать. Напротив, хотим жить и сражаться до победы!

Вдруг где-то, почти рядом с нашей поляной, раздался молодой, крепкий голос:

— Хлопцы, получай ужин, наркомовские и табачок, а потом на комсомольское собрание!..

О трудных делах говорили мы в ту минуту, тяжко нам было, но этот неунывающий, задорный тенорок старшины или взводного комсорга-лейтенанта заставил всех по-доброму улыбнуться. Крошечная заминка — и окончил выступление наш товарищ:

— Клянусь своей партии, своим товарищам — для этой победы ничего не пожалеть!..

В этот момент невдалеке разорвался снаряд. Все обернулись к дымящейся воронке. Только успокоились — вновь вздыбилась земля. Неужели поляну берут в вилку? Через несколько секунд и третий снаряд просвистел над головами.

— 105-миллиметровым лупит,— озабоченно проронил кто-то.— Но не по нам.

— Спокойно, товарищи! Немцы не могут видеть нас. Скорее всего, пристреливаются к дороге у опушки леса. Да и укрыться нам есть где при необходимости — рядом овраг,— сказал председательствующий.— Продолжим нашу работу.

— Нас не запугаешь, уже насмотрелись...— вновь заметил тот же голос.

— Верно, нас не запугать,— начал свое выступление политрук Прохоренко.— Сегодня мы со старшим лейтенантом Моточкой и другими танкистами осматривали подбитый нашими бойцами немецкий грузовой автомобиль. И что бы вы думали в нем оказалось? Целый ворох женской одежды и домашней утвари. К нам пришли грабители, бандиты с большой дороги. Много их идет на нас. Но раз их много, то и бить их сподручней. Младший лейтенант Лазний рассказывал здесь, как давил гусеницами гитлеровских автоматчиков. Разбегаются, аж пыль столбом стоит. Значит, бить их можно и нужно. Врагу не будет пощады!

— Слово для выступления старшему лейтенанту Васильеву, командиру танковой роты.

— Помните, товарищи, как сражались под Дубно танкисты и артиллеристы? Погибали, но долг перед Родиной выполнили свято, не пропустили врага. Что говорить, бойцы и командиры с болью воспринимают наше временное отступление. Но партия говорит нам: победа будет за нами. И мы верим — так оно и будет!

Молодой ротный произнес эти слова как клятву и опустился на траву. Председательствующий выслушал его короткое энергичное выступление стоя, даже сесть не успел.

— У вас все?

— Да, остальное доскажут врагу наши танки!..

И тут все зааплодировали: они, его боевые товарищи, тоже так думали.

Выслушали коммунисты краткий рассказ о подвиге секретаря комсомольского бюро полка Карякина. Он смело вышел на единоборство с вражеским танком. И победил! Комсорг метко забросил на жалюзи моторной группы бутылку с горючей смесью. Танк запылал, его экипаж выбрался из машины, но был уничтожен Карякиным из трофейного «шмайсера». Мало того, младший политрук без страха забрался в горящий танк, вытащил оттуда документы, снял пулемет и принес все в штаб полка.

Один из выступавших рассказал: прикрывая отход товарищей,

мотострелок красноармеец Головенко отражал винтовкой и гранатами атаку двух десятков автоматчиков. Командир отделения велел ему отходить, но боец вынул комсомольский билет и отдал сержанту:

— Я еще побуду тут, а вы отходите подальше. Билет возьмите... чтобы в случае чего не попал в руки фашистов...

И продолжал бой. Вблизи оказались два танка. Бросил в один гранату и порвал ему гусеницу. Под второй полетела связка гранат, а вслед — бутылка с «горючкой». Машина вспыхнула. И только тогда боец оставил свой окоп и догнал подразделение. Вот настоящий герой!..

Запомнилось мне и выступление коммуниста Морозова. Он говорил об умелом взаимодействии танкистов с поддерживающими их артиллеристами. И привел такой пример:

— Нашу роту поддерживала батарея лейтенанта Роя. Было это под Ровно. Враг превосходил нас в технике и живой силе. Огнем с фланга артиллеристы уничтожили несколько танков. В этом неравном бою комсомолец Рой лично уничтожил три вражеских машины. Он погиб вместе с расчетом, но не пропустил фашистов.

В других выступлениях коммунисты рассказали об умелых действиях разведчиков группы лейтенанта Плещевского и младшего политрука Редькина в немецких тылах. Собрав необходимые сведения о противнике, они уничтожили на обратном пути танк и до двух десятков солдат.

Предлагали коммунисты способы и средства лучшего обеспечения в боях надежной связью, снабжения сражающихся рот питанием, боеприпасами, газетами, листовками, боевыми листками.

— Вот прочитал сегодняшний боевой листок о подвигах моих боевых товарищей, и на душе потеплело, поднялось настроение. Я почувствовал себя как бы очищенным от дурного налета сомнений, тревог, ощутил локоть товарищей. Значит, и воевать будет веселее!

Это говорил башенный стрелок красноармеец Плотников, передовой комсомолец части; его заявление о приеме в партию предстояло рассмотреть на сегодняшнем собрании.

Затем выступил полковой комиссар Погосов.

— Высока сознательность наших воинов,— отметил он.— В частях дивизии десятки командиров и бойцов ежедневно подают заявления с просьбой принять их в ряды ВКП(б). Пишут их накануне боев, но нередко кровью, в самом бою: воины лучше станут бить врага, будучи коммунистами. И это очень верно! И еще: мы обязаны вести разъяснительную работу, не скрывая и не умаляя опасности, нависшей над страной. Только правда вселяет в бойца уверенность в себе и боевых товарищах.

Решение, принятое собранием единогласно, было коротким, но выразительным: «Умножать настойчивость и силы в борьбе с захватчиками. Стойко защищать каждый рубеж и наносить как можно больше потерь фашистам. Всем коммунистам показывать пример отваги и воинского мастерства. Бить врага не числом, а умением!»

Едва проголосовали за эту резолюцию, как неподалеку, будто подтверждая ее своим «голосом», застрочил наш «максим». Ему ответили вражеские автоматчики. Все насторожились. Командир полка велел узнать, что случилось.

Собрание продолжало работу. Приступили к рассмотрению заявлений о приеме в партию. Первым зачитали заявление красноармейца Свирина: «Моя Родина в опасности. Хочу быть коммунистом, чтобы насмерть бить врага!»

— Какие будут суждения? — спросил председательствующий.

Свирин стоял взволнованный: что скажут его товарищи по оружию? С некоторыми он ходил в контратаки под Дубно и Ровно, на его боевом счету два подбитых танка, десятки уничтоженных фашистов...

Мнение товарищей-коммунистов было единодушным: принять Михаила Свирина кандидатом в члены ВКП(б).

Такое же единодушие проявило собрание в отношении красноармейца Плотникова:

— Знаем Андрея, достоин!

— Немцы его снайперских выстрелов жуть как боятся.

Партийное собрание близилось к завершению, когда вернулся лейтенант, которого комполка послал узнать, что за стрельба на берегу.

— Противник пытался перебросить через Горынь своих разведчиков,— доложил он.— Наше боевое охранение подпустило баркас на близкое расстояние и расстреляло в упор.

Закончилось партийное собрание танкового полка, впервые проведенное в условиях фронтовой обстановки. И над притихшими полями, дубравами, серебристой гладью реки понеслись слова пролетарского гимна. Пели «Интернационал», сняв пилотки, шлемы, каски, фуражки.

Гимн звучал, открывая в знакомых словах сегодняшний, новый, пророческий смысл:

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Твердо все верили в главное: если они, коммунисты, не щадя себя пойдут впереди, крепко сплоченные с народом,— великий гром грянет. Поднимется солнце победы.

Иван
КУРЧАВОВ

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ...

Незадолго до войны комсомолец Арнольд Мери получил новое назначение.

— Вы направляетесь заместителем политрука в отдельный батальон связи,— сказали ему в политотделе.— Помните: он создан на базе подразделения бывшей эстонской буржуазной армии. Единственного, которое вело огонь по рабочей демонстрации в июньские дни сорокового года. Конечно, им прикрывались какие-то темные личности. Но... все же присматривайтесь. Внимательно изучайте людей. Всех под подозрение не берите, но и не доверяйте слепо каждому.

Прошло каких-нибудь несколько месяцев, и началась война, а на войне, как говорится, будь бдителен втройне.

Пора была суровая. Красная Армия отступала. Где же она закрепится и даст решающий бой фашистам?.. Эстонцы уже сражались не на эстонской земле и не знали, что происходит сейчас там, за рекой Нарвой. Молодые граждане Страны Советов, они еще совсем недавно верили тому, что Красная Армия не отступит, ни одной пяди своей земли никому не отдаст.

Не всегда и не во всем мог разобраться и заместитель политрука, хотя твердо верил в конечную победу Советской страны. К правде он шел трудной дорогой.

...Эстонец Арнольд рос и учился в монархической еще тогда Югославии, где все было пропитано антисоветским духом: преподаватели в их гимназии — в основном русские белоэмигранты, гимназисты — их дети. Они признавали одну Россию — царскую и ненавидели Русь народную. В Югославии культивировалось преклонение перед королем, его семьей и троном. А простые и честные русские люди говорили Арнольду другое и называли Советский Союз своим отечеством. Им Арнольд начинал верить больше, чем официальной пропаганде и гимназическим учебникам.

Вскоре с семьей они переехали в Эстонию и поселились в Таллине. И хотя Мери находился теперь близко от Страны Советов, узнать о ней больше, чем в Югославии, не мог. Пропаганда в

Эстонии была пропитана тупой злобой и ненавистью к великому восточному соседу. Особенно в буржуазной армии, где Арнольд начал отбывать воинскую повинность.

Осенью 1939 года, когда буржуазное правительство Эстонии под воздействием демократических сил вынуждено было заключить с Советским Союзом договор о взаимопомощи, судьба свела Арнольда с русскими краснофлотцами. С ними он лежал в госпитале, где было открыто специальное отделение для советских моряков. Выбирая удобные минуты, Мери старался побеседовать с этими людьми по душам и как можно больше понять. У него были сотни вопросов, и он получил сотни твердых, высказанных с горячей убежденностью ответов своих ровесников.

Из госпиталя Арнольд Мери вернулся в свою часть уже сознательным другом Советской страны. И когда в Эстонии летом сорокового года начались бурные события, он самовольно ушел в город, чтобы посмотреть на демонстрацию народа и сказать солдатам правду. За эту правду он был наказан офицером, смертельно боявшимся как правды, так и того, что может последовать за июньской демонстрацией трудящихся. Конечно, второго офицер боялся больше всего.

В Эстонии была восстановлена Советская власть, которая пала в 1919 году под натиском националистической контрреволюции и белогвардейщины. Арнольд Мери в гуще событий. Он хочет знать все о советском строе, часто бывает в частях Красной Армии, подолгу толкует там с красноармейцами, командирами, политработниками. И все, что он услышит нового,— несет людям своего подразделения, убеждает и доказывает, спорит и радуется, когда его правильно понимают.

Но ведь не всем посчастливилось так тесно общаться с советскими людьми, как Арнольду Мери. Поэтому в рядах эстонского территориального корпуса, где он теперь служил, попадались и люди колеблющиеся, слепо верящие слухам. Были в рядах корпуса и затаившиеся классовые враги. Они ждали лишь удобного случая, чтобы вонзить нож в спину, и не теряли времени даром, особенно когда началась война. Они искусно вели разговоры, стараясь идейно разложить, разоружить людей, не имеющих опыта политической борьбы.

Что касается Арнольда, то у него в те дни было одно решение, ставшее законом всей его жизни: биться за родную советскую землю до последней капли крови, а коли придется — отдать за нее и жизнь. Для него родная земля распростерлась от берегов Балтики до Черного моря и Тихого океана. И древний Порхов, тихий зеленый городок на берегах Шелони, который они сейчас обороняли, тоже родной, защищать его надо, как и Таллин или Хаапсалу, Пярну или Курессаре.

Легко сказать: изучи людей. А как это сделать? И времени нет, и бойцы разбросаны в различных местах. Все же Арнольду очень, очень хотелось верить всем, кто воевал рядом. Он знал, что в сороковом году солдаты приняли Советскую власть всей душой. Что ненависть к себе у них воспитали сами немецкие бароны за семь веков жестокого правления на эстонской земле. Барон и завоеватель слились в одно понятие, и ненависть к ним была всеобщей и незатухающей. В сороковом они бежали к своему фюреру, а сейчас в рядах гитлеровской армии возвращались обратно, чтобы снова сесть хозяевами в своих мызах, которые, словно оспа, высыпали по всему лику Эстонии...

Много дел у заместителя политрука. Он все время на ногах: то проведет беседу, то проверит, как накормлены бойцы на самых отдаленных точках обороны, то отругает прижимистого старшину, который бережет сапоги и не замечает, что иной солдат чуть не разут. А ночью перебирается на другой участок. И там тоже свистят пули и шлепаются мины. Надо личным примером подбодрить солдат — не все еще обстреляны, и не все спокойно слушают этот свист над головой и шлепанье мин поблизости.

— Пуля, хоть и говорят про нее, что она дура, знает, кого выбрать. Труса она всегда отыскивает первого: спина — мишень широкая! — шутит он в небольшом окопчике.

— Окружение опасно для неуравновешенных психопатов,— возмущается он уже в другой группе, где только что были слышны разговоры об окружении.— Как это можно окружить роту, батальон или полк, когда кругом леса и кустарники? Настоящие бойцы окружения не боятся и выйдут из него, пробьются к своим. А не пробьются — партизанят, бьют фашиста и в хвост и в гриву.

Прекрасное качество заместителя политрука Арнольда Мери — конкретность. «Настоящие бойцы не боятся окружения». Нужен факт? Пожалуйста! Вчера из окружения вышли вот такие-то группы и на таком-то участке, с оружием и боевой техникой, славными боевыми знаменами и счетом истребленных солдат и офицеров противника. Родина достойно наградила героев.

Арнольд неутомим в работе. Спортивного склада человек, он строен и подвижен. Выправка — можно не задумываясь определять в Пролетарскую дивизию, которая до войны ходила на парадах по Красной площади. Лицо у него загорелое, свежее, нос прямой и аккуратный, глаза голубые, но не холодные, как это иногда бывает, а ласковые и внимательные, волосы светлые и покорно ложатся назад — даже пятерня укладывает их не хуже расчески. Ко всему прочему глаза его постоянно улыбаются.

Быть может, внешняя привлекательность и помогает ему завоевывать расположение к себе. Но не одними внешними данными берет Арнольд. Самое главное — он красив внутренне. Он честен,

справедлив, уравновешен, никогда не накричит на человека без причины, а если и есть причина, все равно кричать не будет: крик — это признак бессилия, это утрата авторитета. Поэтому он никогда не выходит из себя, даже при очень острых ситуациях. Еще в Эстонии был с ним такой случай. Его знакомый дезертировал из части. Мери вызвался отыскать его. «Напрасная затея,— увещевали его товарищи,— парень женился на очень красивой девушке, тесть настроен не ахти как по отношению к Советской власти, не верит в победу наших сил. Вот и уговорил зятя спрятаться и ждать, пока придут немцы. Мол, и жизнь сохранит зять, и жена — молодая и красивая — будет рядом». Парня Арнольд не застал дома. Родители божились и клялись, что сынка они уже давно не видели.

— Вот что,— спокойно сказал Арнольд, посмотрев на часы,— даю срок до двенадцати завтрашнего дня. Если к этому времени он не появится в части, его будет судить трибунал. Если спрячется и останется на оккупированной территории, когда вернемся — мы ведь все равно вернемся,— я отыщу его и своей рукой, вот из этого пистолета, пристрелю как собаку. Это — слово солдата.

Беглец явился в часть рано утром. Он прекрасно воевал, а когда летом сорок четвертого года вступил на землю Эстонии, то, встретив Арнольда, обнял его и сказал: «Ты — настоящий друг!»

Таков этот голубоглазый, уравновешенный, вечно улыбающийся заместитель политрука.

Он много работал и все же не был удовлетворен. Его можно понять: связисты не ходили в атаки и не стояли грудью за какую-то важную высоту. Если они и отбивались, то в составе другого подразделения. Они были настоящими тружениками фронта, но их не так часто замечали и поощряли, хотя они и гибли не меньше стрелков-пехотинцев. А Мери человек действия — ему самому хотелось бежать в атаку с винтовкой, истреблять врага меткими пулеметными очередями.

Но он — воспитанник комсомола — старался быть настоящим солдатом и в своем батальоне связи.

Однажды, в первом часу дня, немцы повели наступление крупными силами. Удар был настолько внезапным, что некоторые подразделения не выдержали натиска и обнажили подходы к штабу корпуса. Немцев кто-то вел, детально зная местность, участки, защищенные слабее других. Может быть, то был Айн Мере, перебежавший на сторону противника? Возможно, выслуживается сейчас перед немцами, показывает, как лучше и быстрее захватить штаб корпуса.

— Отступать, товарищи, не будем,— говорит Арнольд своим друзьям-связистам.— Драться будем насмерть!

Он понимает, что произойдет, если немцы прорвутся к штабу. Старшего командира или начальника вблизи не оказалось. Кто

будет управлять частями и подразделениями, если враг захватит штаб с секретными документами, планом разработанной операции,— какая это находка для фашистского командования!

— Огонь! — командует Мери.

Залп воодушевляет и сплачивает бойцов. Маленькая группа Мери сдержала натиск противника. Отхлынули гитлеровцы. А ведь были уже совсем рядом — Арнольд отчетливо видел их лица, свирепые и раскрасневшиеся.

Атаки продолжались...

На опушке показался немецкий офицер. Лица его Арнольд не различает: далековато. Фашист бежит с пистолетом в руке, оборачиваясь, что-то кричит, жестикулирует, зовет за собой солдат. Те поднимаются и бегут за офицером. С каждой минутой их становится все больше. Сосед Арнольда от возбуждения во весь голос: «А их больше ста, вот собаки!»

Их больше ста, а у Арнольда Мери нет и двадцати, силы, конечно, неравные...

Но знает Арнольд, что, чем больше погибнет здесь вражеских солдат и офицеров, тем меньше пойдет их в наступление на Москву и Ленинград.

После очередных залпов на поле, будто грязные пятна, лежат десятки гитлеровцев. Меткой пулей скошен фашистский офицер — подскочил, пробежал пару метров и ткнулся носом в вырытый кротом бугорок земли. Новые недвижимые пятна появились на поляне, окаймленной лесом и кустарниками.

Так и не дотянулись гитлеровцы до Арнольда и его товарищей, не сумели сбить их с важного рубежа, прорваться к штабу корпуса.

Выстрелы, на этот раз винтовочные, раздались за спиной. Связист, лежавший рядом с Арнольдом, схватился за голову, пытался подняться и не мог — рана была смертельной; другой боец обеими руками схватился за грудь, будто собираясь удержать кровь, которая хлынула теплым красным фонтаном.

Удар был неожиданным. Враг — с тыла. Как могли немцы обойти Мери и его группу, когда слева и справа дерутся свои? Нападение с тыла на горстку слабовооруженных бойцов — что может быть хуже!..

— Огонь! Огонь! Огонь! — не уставал командовать он, теперь уже осыпая пулями кусты у себя в тылу.

Сначала послышались крики, затем стоны, а мгновение спустя наступила тишина.

— Этим, наверное, хватит,— произнес, пытаясь улыбнуться, Арнольд.

— Товарищ замполитрука,— обеспокоенно заговорил солдат,— вы так побелели! Вы ранены?

— Немножко... Пустяк!

Мери говорил неправду — он был ранен в грудь и скрывал свое ранение от товарищей.

— Эх, и перевязать-то нечем,— волновался солдат, который и сам был ранен в последние минуты боя.

Арнольд пересчитал патроны — итог получился малоутешительным. Боеприпасы кончались. На всех лишь две гранаты. Бой был жарким, кто в таком случае скупится на огонь!.. А бой не кончился, он может вспыхнуть с новой силой и каждую минуту. Один Арнольд знал, где находится ближайший склад с боеприпасами. Он оставил за себя солдата и пополз за патронами. Немцы заметили его и открыли огонь. Он припадал к земле, а потом снова коротким, но быстрым рывком устремлялся вперед. На обратном пути Мери был ранен вторично. От потери крови ослаб и временами терял сознание. Ползет-ползет — и вдруг будто куда-то провалится. Сколько лежит без движения, и сам не знает. А придет в себя — снова ползет, волоча за собой цинковый ящик с патронами.

Немцы перешли в очередную атаку.

— Не торопиться, целиться точно, беречь каждый патрон! — приказал Арнольд.

Бой продолжался. Стало совсем туго: многие его бойцы убиты или ранены, о помощи пока не слышно. Да тут еще опять патронная диета...

А противник уже не рассчитывал на авось и сопровождал атаку огневым налетом. Пули беспощадно секли сучья и листья кустарников, и они стояли жалкие и общипанные. Мины рвались то там, то тут, и их осколки, как крупные шмели, жужжали над головой.

Арнольд подбадривал друзей и вел прицельный огонь. Он радовался, когда замечал, как падали фашисты и уже больше не поднимались. Его ранили в третий раз, но и об этом ранении он не сказал никому.

В решающую минуту боя он ввел «резерв главного командования» — две гранаты-лимонки. Их передали по цепи, и тот, кто был ближе к немцам, уложил гранаты с убийственной точностью.

Только успели отойти немцы на исходный рубеж, как тотчас опять завыли мины. Они ложились в расположении группы и рвались оглушающе. Мина разорвалась рядом с Арнольдом, и крупный осколок тяжело ранил его. Мери хотелось кричать от боли, но он сдерживал себя. А боль была сильной; заместитель политрука не знал, что осколок застрял в легких. Дышать становилось все труднее и труднее.

Четыре раны уже были на его теле!

«Лишь бы не потерять сознание на продолжительное время»,— подумал он и подал голос: пусть солдаты знают, что он настроен бодро и верит в успех.— А ведь хороши ребята! — с гордостью проговорил о товарищах. За все время он не услышал ни одной

жалобы; люди гибли безмолвно, не выпуская из рук оружия. Экзамен суровый, и бойцы его выдержали.

В сумерках подоспело долгожданное подкрепление.

— Набил ты их порядочно! — похвалил Арнольда молодой офицер. Заметив, что Мери ранен, что он уже совсем побелел от потери крови, командир позвал санитара: — Перевяжи так, чтоб до госпиталя ничего не случилось! — А Арнольду сказал: — Лечись, друг, без тебя воевать будем!

— Без меня долго не навоюете. Скоро вылечусь... Воевать долго будем — война только началась,— ответил Мери тихим голосом.

Прощаясь с товарищами, Арнольд и не предполагал, что впереди предстояло пережить, перетерпеть, перемучиться почти сто очень тяжких часов, даже худших, чем отражение яростных атак противника.

Его довезли на машине до станции Морино, что в сотне километров от Порхова. Хирург, видавший виды человек, долго осматривал раненого, потом покачал головой и сказал:

— Живучий ты человек, товарищ Мери! Сейчас мы тебя обработаем по всем правилам.

На фронте это делается быстро. Не прошло и десяти минут, как бинты были сняты и началась обработка ран. Хирург еще раз покачал головой, но уже ничего не сказал.

Он приготовился извлекать из груди осколок и не успел. Немцы ворвались в Морино.

Санитары бежали с Арнольдом к станции. Он лежал, завернутый в простыню, и начинал догадываться, что случилось что-то очень скверное.

Его уложили в санитарный вагон, маленький и тесный. Сорок тяжелораненых лежали впритирку друг к другу; воздух в вагоне был тяжелый, в нос било запахом лекарств и запекшейся крови.

Фашисты бомбили непрерывно, и линия ежечасно выходила из строя. Ремонтники гибли на своих боевых постах, но мало что могли сделать. Эшелоны трогались с места и вскоре снова останавливались; редко удавалось продвинуться на один-два километра.

Среди этих эшелонов шли санитарные летучки с большими красными крестами. И по ним тоже вели прицельный огонь немецкие самолеты.

Несколько часов назад крыши были целыми, а теперь Арнольд видел через многочисленные отверстия яркие звезды на темном небе.

— Да тут «веселее», чем на фронте,— с горькой улыбкой проговорил Арнольд, взглянув на соседа справа. Но сосед не ответил — он уже был мертв.

— Что же это, товарищи?! — крикнул один из раненых.—Где же зенитки, черт побери!

— Зенитки стреляют,— тихо ответил Арнольд.— Слышите?

Выстрелы зениток едва угадывались среди воя авиационных моторов, ожесточенной и шумной стрельбы вражеских крупнокалиберных пулеметов и взрывов бомб.

«Сюда бы сейчас полк истребителей и полк зенитчиков,— думал Арнольд.— Зенитные пушки на платформах, зенитные пулеметы на крышах вагонов». Но он понимал, что всего этого мало еще и на фронте, а здесь как-никак тыл... «Возможно, что наступление врага на этом участке было неожиданным и к месту прорыва еще не успели подбросить свежие войска!» — строил догадки Арнольд.

— Надо потерпеть, ребята,— сказал после раздумья Мери.— До утра. А там — Старая Русса...

С каждым часом в душе Арнольда росло ожесточение. Ныли раны, болело сердце. Тяжело было слушать предсмертные слова уходящих в небытие людей, которых он не знал раньше, но с которыми успел сродниться в этом вагоне, прошитом очередями пулеметов, продырявленном осколками бомб. И все же если бы ему пришлось все начинать сначала, он начал бы точно так же — от Порхова. Это — трудный, но честный путь.

— Ребята, нет ли у кого оружия? — спросил он.

— Не торопись, фашисты это сделают вернее! — с горькой иронией ответил солдат из угла. Он подумал, что Мери хочет застрелиться.

— Не для себя... вдруг гитлеровцы ворвутся,— пояснил Арнольд.

— Они еще далеко,— возразили ему.

— Наши стреляют из пулеметов совсем рядом,— сказал Арнольд.— Слышите? Враги близко, они уже вышли к нам во фланг.

Возражавшие прислушались и замолчали.

«А что? Винтовка сейчас не помешала бы,— думал Мери.— Если в открытом поле остановится вагон, а фашисты побегут сюда? Перевернулся на живот, прицелился — и стреляй...»

Он увидел в углу СВТ и обрадовался. Подполз, бережно потянул самозарядную винтовку на себя, пересчитал патроны и решил, что теперь не расстанется с оружием...

Есть ли надобность рассказывать, как продолжался этот страшный рейс? Минута походила на минуту, час — на час и сутки — на сутки. Впереди, позади, слева и справа рвались бомбы.

Арнольд догадывался, что раненым стремились помочь, что многое делалось для их спасения. Поезд уже шел без остановок и два, и три, и пять километров — кто-то впереди еще быстрее восстанавливал разрушенное. Зенитки стреляли чаще, а зенитные пулеметы трещали почти не умолкая. Где-то в стороне прогрохотали танки. Видно, для того, чтобы отразить удар с фланга.

Уже третьи сутки были на исходе, когда в вагон вбежала молодая женщина в красноармейской гимнастерке и с санитарной сумкой через плечо.

Она первым заметила Арнольда Мери и бросилась к нему.

— Жив? Ох ты, миленький, вот молодец! У меня ничего нет в сумке! Я уже все израсходовала. Ой, потерпите, миленькие вы мои!

И, точно повинуясь ее зову, Мери жил.

Уже в госпитале Арнольд получил телеграммы — от трудящихся Эстонии, от защитников Таллина, от родных. Они писали, что гордятся Мери — первым Героем Советского Союза среди эстонцев, одним из первых Героев Великой Отечественной войны, и желали скорейшего выздоровления.

После госпиталя он уехал на Урал, где формировался новый эстонский национальный корпус Красной Армии. Он стал, как в шутку говорили, первым комсомольцем корпуса — помощником начальника политотдела по комсомольской работе (незадолго до назначения его приняли сразу в члены партии). Тысячам молодых воинов он пожимал руки, вручая комсомольские билеты с изображением Ленина. Шагал он со своими боевыми друзьями комсомольцами по многим дорогам войны — под Великими Луками и Новосокольниками, от Эма-Йыги до Таллина, по Муху и Сааремаа, а затем по земле братской Латвии.

Шагал до полной победы над врагом.

Несколько лет назад мне довелось присутствовать на торжественном собрании в Порхове. Арнольда Константиновича Мери избирали Почетным гражданином города. Я искоса поглядывал на него и замечал, как волнуется этот обычно спокойный человек: и когда зачитывали постановление сессии городского Совета, и когда перекидывали через плечо шелковую ленту.

Он по-прежнему, как и сорок лет назад, живет в бывшем пригороде Таллина Нымме. Лишь по праздникам Арнольд Константинович прикрепляет к пиджаку Золотую Звезду Героя и планки, по которым можно узнать о его наградах: два ордена Ленина, два — Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, два — Красной Звезды, «Знак Почета» и многие медали, боевые и трудовые.

Мери — неустанный воспитатель подрастающего поколения: пусть оно знает, как нелегко было бороться за его счастливое настоящее. Член ЦК Компартии Эстонии и депутат Верховного Совета республики, председатель Эстонского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, он страстно пропагандирует дружбу между людьми, всеми силами крепит интернациональные связи и борется за мир, без которого немыслима и сама жизнь.

Борис
КОСТЮКОВСКИЙ,

Вячеслав
РАКИТИН

КОМИССАР БРОНЕПОЕЗДА № 56

Комиссар Черкасского учебного бронедивизиона младший политрук Казарин отдыхал в одесском санатории впервые. Ему здесь все понравилось: и чуткий, заботливый персонал, и разнообразное питание, и огромный песчаный пляж. Погода тоже радовала — стояли теплые солнечные дни. Казалось бы, отпуск начался удачно. Но все омрачали разговоры о близкой войне. Вспоминая курсантов, дивизион, он ощущал тревожащую оторванность от них. И не могли ее заслонить ни беззаботное южное житье, ни шумное море, ни жизнерадостная Одесса. В конце концов Казарин «самовольно» уехал в часть на неделю раньше срока.

Командир бронедивизиона старший лейтенант Ищенко встретил его с заметным облегчением:

— Весьма кстати прибыл, Василий Алексеевич. Тревожно на границе. Я на свой страх и риск приказал привести в боеготовность бронеплощадки и броневагоны. Мало ли что...

— Я сам рад, что дома теперь, Петр Кириллович. Даже там, на отдыхе, люди очень часто поговаривают о войне. Вернулся, чтобы не опоздать к началу,— добавил Казарин. Горькая была шутка.

Младший политрук принялся за обычные дела. Он целыми днями находился с курсантами, да и по вечерам частенько задерживался на службе. Клуб в бронедивизионе был маленький. Поэтому приходилось водить курсантов в городской кинотеатр. Комиссар делал это всегда сам. Он строил подчиненных в колонну по шесть и подавал команду: «За мной, с места с песней, ша-а-а-гом марш!» Курсанты ходили красиво, печатая шаг, строго держа равнение. А как пели! Народ выходил на улицы полюбоваться на бравых парней. И в первую очередь, конечно, девушки. Тут уж курсанты старались изо всех сил.

Казарин всегда шел впереди колонны. Не ради внешнего эффекта — он знал, что не только вся его комиссарская работа, но и эти маленькие парады тоже сплачивали курсантов. В такие минуты они чувствовали в комиссаре не только командира и начальника, но и старшего товарища. Хоть разница в возрасте была невелика — всего пять-шесть лет.

В памятный июньский субботний вечер Казарин подошел к строю почему-то хмурый, чем-то очень расстроенный. И его всегда задорная команда: «За мной, с места с песней...» — прозвучала не очень-то бодро.

Но курсанты все равно прошли по городу лихо.

А под утро грянула война.

В тот же день по приказу командования бронедивизион в полном составе двинулся в Киев. В дороге провели совещания комсостава, актива, партийные и комсомольские собрания. Вскоре на базе дивизиона сформировали бронепоезд. В его состав вошли две бронеплощадки, бронепаровоз и две платформы прикрытия. На вооружении каждой бронеплощадки имелось два 76-мм орудия с углом возвышения до 45° для стрельбы по снижающимся воздушным целям, восемь станковых и четыре танковых пулемета. На бронепаровозе стоял зенитный счетверенный пулемет, на передней и задней платформах — по станковому пулемету.

На одной из бронеплощадок оборудовали командный пункт, где непрерывно дежурил кто-нибудь из комсостава. Кроме рупорной связи, можно было связаться с подразделениями по телефону, а со штабом дивизии — по рации.

Экипаж из ста человек укомплектовали лучшими командирами, политработниками, сержантами и курсантами. По своему составу он был многонациональным, полностью партийно-комсомольским. Кроме артиллеристов и пулеметчиков в него входили взводы разведки, связи, управления, бригада ремонтников и паровозная бригада.

Командиром назначили Ищенко, комиссаром — Казарина.

Так прямо из военной школы в горячие бои вошел бронепоезд № 56. Сразу же получили боевую задачу — охранять и оборонять железнодорожные участки Киев — Тетерев и Киев — Фастов, принимать участие в отражении налетов вражеской авиации.

В день рождения бронепоезда комиссар и парторг Григорий Бочаров провели партийно-комсомольское собрание.

Всем запомнилось выступление красноармейца Маршубы. Утром он слышал по радио, как отряд пограничников под командованием капитана Григория Маршубы — его отца — в районе Бреста принял неравный бой с фашистами. Наши героически сражались до последнего патрона, а затем пошли врукопашную. Александр поклялся собранию быть достойным погибших пограничников и отомстить за отца.

После Маршубы выступил комсорг Яков Бакштейн. Он сказал, что все комсомольцы разделяют горе своего товарища и вместе с ним будут мстить за его отца и погибших пограничников. Как бы ни был силен враг, они не дрогнут.

Казарин, вглядываясь в лица недавних курсантов, говорил суро-

вую правду о том, что война с фашистской Германией будет жестокая и кровопролитная. Много лишений и жертв потребуется для разгрома врага. И каждый должен внести свой вклад в священное дело победы. Родина ценит своих сыновей не по словам, а по делам. На счету каждого бойца должны быть уничтоженные враги, сожженные танки, сбитые самолеты.

На другой день утром Казарин и Ищенко проверяли боевую готовность. Бойцы и командиры уже находились на своих местах. Всюду, как на боевом корабле, царили порядок и чистота. На бронеплощадках агитаторы проводили беседы о бдительности.

Внезапно раздался сигнал воздушной тревоги. Ищенко поспешил в командирскую рубку, а Казарин к пушкарям. Когда немецкие самолеты появились над Киевом, их атаковали истребители, обстреляли зенитки. Бронепоезд также открыл огонь. «Юнкерсы» беспорядочно сбросили бомбы, не причинив никаких повреждений железнодорожному узлу. Кочегар Кваша, весельчак и балагур, утверждал, что главная заслуга в этом принадлежит пушкарям и пулеметчикам «счетверенки». И хотя все знали, что он шутит, каждому было приятно сознавать, что в этой шутке была доля правды.

— Молодцы, ребята! — говорил бойцам после отбоя Ищенко.— Выдержали боевое крещение. Действовали слаженно, четко... А это что такое? — воскликнул он, указывая на борта бронеплощадок.— Я не давал указаний...

Там крупными буквами было написано: «Смерть фашизму!», «Вперед, на разгром врага!»

— Боевые лозунги,— сказал Казарин, улыбаясь.— Вот орлы! Они ведь все у нас без пяти минут командиры. Проявляют инициативу. И в данном случае она полезная, ее следует одобрить.

По мере приближения фронта к столице Украины боевая работа экипажа становилась все более напряженной. Бронепоезду приходилось отражать налеты авиации.

9 июля он с рассвета курсировал по закрепленным за ним участкам дороги. Погода стояла жаркая, парило. Казарин обошел все подразделения, роздал почту. Такую приятную для себя обязанность он выполнял сам. Это, как в недалеком прошлом сопровождение курсантов в кино, сближало его с бойцами. Затем он сел неподалеку от головного орудия и стал просматривать свежие газеты. Бронепоезд подходил к Бородянке. Едва проскочили семафор, как раздался вой сирен. На станции скопилось много эшелонов с грузами. Надеясь на безнаказанность, немецкие летчики так увлеклись, что не заметили подошедший бронепоезд. Казарин бросился к орудию.

— Кожевников, к бою! — скомандовал он командиру головного расчета.

Пушкари мгновенно изготовились к стрельбе. Наводчик Малашенков заметно волновался. Немцы тем временем уже начали бомбежку. Флагман сбросил бомбу и медленно выходил из пике, набирая высоту. Именно в это время Малашенков ударил по нему из орудия несколько раз. Самолет загорелся и рухнул в пшеничное поле. Строй «юнкерсов» нарушился, и они отвернули в сторону. Казарин молча пожал руку Малашенкову. Вскоре наводчика обступили бойцы, он стал героем дня.

Вечером после ужина экипаж отдыхал. Кочегар Кваша решил разыграть Малашенкова:

— Говорят, Ваня, не ты сбил самолет-то, а комиссар.

— Вот ты зубоскалишь,— ответил Малашенков,— а, по правде говоря, он раньше всех увидел «юнкерсы». И огонь я открыл по его команде. Считай, мы сбили самолет вдвоем.

— А что, комиссар дело знает,— сказал один из бойцов.

Обстановка на фронте осложнялась с каждым днем. Враг приближался к Киеву. 11 июля немцы вышли к реке Ирпень в пятнадцати километрах западнее города. А на следующий день их танки перерезали шоссе Киев — Житомир. Командир 4-й дивизии по охране юго-западной железной дороги полковник Мажирин поставил бронепоезду задачу не допустить противника к железной дороге — по ней шла доставка к фронту войск, производилась эвакуация в тыл оборудования промышленных предприятий, населения.

В один из дней командир и комиссар решили перед выходом на боевое задание провести партийно-комсомольское собрание. Но в это время из штаба дивизии по рации сообщили, что в районе деревень Андреевка и Новая Гребля танки противника численностью до двадцати наседают на наш артполк. У артиллеристов кончаются снаряды, их надо поддержать огнем. Часть танков уже вышла к станции Бородянка и угрожает перерезать железную дорогу.

Снова тревога. Снова раздались в боевых рубках четкие команды, затрепетали флажки. Бронепоезд помчался навстречу противнику.

Вот и окраина станции. Не снижая скорости, вышли на открытую позицию и ударили по танкам. Стрельбу корректировал начальник штаба капитан Федор Мартыненко. Снаряды летели со снайперской точностью. Один за другим загорелись три танка. Два из них подбил артрасчет сержанта Федора Смирнова, где наводчиком был Зиятдин Жакупов.

— Надо поздравить ребят,— крикнул Казарин, устремляясь из командирской рубки вниз по лестнице.

— Давай поздравим вместе, я на минутку тоже спущусь.— Ищенко бросился следом за ним.

В это время немцы открыли по бронепоезду огонь. Командирскую рубку пробил снаряд. К счастью, Ищенко уже находился на лестнице. Старшего лейтенанта контузило и ранило осколком в голову. Комиссар подхватил его и приказал быстро прислать военфельдшера Губского.

— Может, сразу в госпиталь, Петр Кириллович? — спросил он.

Ощупывая окровавленную голову, Ищенко сказал:

— Об этом не может быть и речи. Пока меня перевяжут, командуй боем.

Казарин поспешно вернулся в командирскую рубку. Через смотровую щель он увидел, как два танка устремились к переезду, намереваясь отрезать путь отхода. Капитан Мартыненко своевременно заметил опасность и перенес на них весь огонь. Первый танк тут же загорелся от снаряда Жакупова, второй подбил наводчик Малашенков. Остальные танки, не выдержав огня, отошли и в этот день больше не атаковали.

...Коммунисты и комсомольцы, дожидаясь открытия собрания на передней бронеплощадке, обсуждали итоги боя. Шутка ли, подбили пять танков! В президиум избрали комиссара Казарина, парторга Бочарова и отличившихся в бою артиллеристов Смирнова, Кожевникова, Жакупова и Малашенкова. В это время среди собравшихся появился с забинтованной головой командир Ищенко. Все встали. Ищенко махнул рукой:

— Садитесь, товарищи, садитесь.

Казарин подошел к нему, взял под руку и усадил в президиум.

Открывая собрание, Бочаров сказал, что оно проводится по случаю первого боевого успеха. Казарин попросил выступить наводчика Жакупова и рассказать, как ему удалось подбить три танка. Жакупов встал и, преодолевая смущение, заговорил:

— Ну вот, как только мы выскочили на открытое место за Бородянкой, я сразу увидел первый танк. Думаю, надо сначала бить по головному. Быстро поймал его в перекрестие, кричу: «Готово!» Сержант командует: «Огонь!» Просто даже не знаю — нога сама нажала педаль. Смотрю... танк завертелся! Ага, думаю, не любишь!.. А тут гляжу, выползает второй — и разворачивает башню в мою сторону... Я, быстро уточнив наводку, пальнул в него. Он загорелся. Ну а потом, сами знаете, третьего мы рубанули прямо в борт. В общем скажу так: пускай враги помрут сегодня, а мы погодим.

Собрание одобрительно загудело, зааплодировало.

Вторым выступал наводчик Малашенков. Он рассказал, как сбил самолет и подбил два танка.

Казарин вспомнил его растерянное лицо в первом бою и невольно заулыбался: выходит, на войне иногда от испуга до подвига — один шаг. Если бы все так пугались!

Превозмогая боль, попытался встать с места старший лейтенант Ищенко, но Казарин усадил его обратно и попросил говорить сидя.

— Ну что ж, товарищи, я не сомневался, что стрелять вы обучены хорошо. И многие из вас сегодня доказали это. Мне радостно видеть, что ученье не пропало даром. Бейте беспощадно врагов нашей Родины. Новых вам побед!

Наступила пауза. Поднялся Казарин.

— Товарищи! — обратился он к собранию.— Время дорого, и терять его нельзя. Наш командир сказал самое главное. И мне, честное слово, добавить почти нечего. Хочу только отметить, что после этого боя мы лучше узнали друг друга. Вот, например, мы раньше знали о Жакупове лишь то, что он скромный, тихий боец. А сегодня? Сегодня все увидели, что это настоящий герой. Им может гордиться не только казахский народ, но и вся страна. Да, да — вся наша страна! Если все так будут драться с врагом, как Жакупов, Малашенков, Смирнов и Кожевников, земля загорится под ногами гитлеровцев. Учтите, что каждый бой — это экзамен. Сегодня мы выдержали его с честью. Спасибо. Нам предстоят новые испытания, наверняка более суровые. Но я не сомневаюсь, у нас будут и новые победы. Наша сила не только в крепкой броне и хорошем оружии. Любовь к Родине и ненависть к врагу — вот что помогает нам ковать победу!

К вечеру выпустили боевой листок. У стенда собрались красноармейцы. Слышались шутки, смех. Кваша принес гармошку, а красноармеец Илья Ильев — гитару, с которой он никогда не разлучался. Поплыла в сумерки мелодия «барыни», прямо у паровоза раздался топот перепляса. Эх, молодежь!..

Казарин стоял в стороне около старого тополя и удивлялся, какой веселый народ подобрался в экипаже. Ребята на все руки — умеют и воевать, и поплясать, и поработать. Взять хотя бы техников, кочегаров и машинистов. Не знают ни усталости, ни страха. Бронепоезд водят бесшумно, почти без дыма. Порой кажется, что «крепость на колесах» не едет — крадется. А с какой изобретательностью они маскируют ее. Укрывают свежими ветками, деревцами, которые рубят каждую ночь. Рельсы на стоянках покрывают мазутом, мажут глиной, черноземом, чтобы они не блестели. Оборудовали запасные стоянки, где соорудили целые искусственные рощи.

Мысли Казарина прервала вихревая «цыганочка». А ведь и он когда-то давал жару в художественной самодеятельности!.. Младший политрук не удержался, раздвинул бойцов и пошел по кругу.

Ищенко так увлекся этим весельем, что забыл о ранении. Комиссар подошел к нему.

— Докладываю, Петр Кириллович: настроение в экипаже бодрое, боевой дух высокий.

— Вижу, вижу,— произнес Ищенко.— Видел я, как ты рванул «цыганочку». Эх, выступил бы с тобой в паре, да голова гудит. А над чем там бойцы хохочут?

— Да вот кто-то окрестил наш бронепоезд «Борисом Петровичем». Теперь все его так зовут. Стали выяснять, откуда пошло. А Кваша утверждает, что бронепоезд так назвали в честь машиниста, которого тоже зовут Борисом Петровичем. Представляешь этого огромного, невероятно упрямого детину?

— Да, конечно. А что, пожалуй, какое-то сходство имеется.

Оба рассмеялись.

— Но мне помнится, что в годы гражданской войны один бронепоезд тоже звали «Борисом Петровичем». Это, видимо, идет от первых букв слов: броня и поезд... Петр Кириллович, давай сегодня же представим к награде отличившихся бойцов,— предложил Казарин.

— Ну что же, согласен. Заполняй наградные листы, пошлем их командиру 56-го полка 4-й дивизии, которому мы непосредственно подчинены. А теперь давай немного вздремнем. Чувствует сердце, завтра опять предстоит жаркий день.

Тогда еще никто не знал, что впредь все дни будут жаркими.

Бомбежка началась с рассветом. И сразу же после нее немцы повторили попытку захватить Бородянку. Командир полка приказал бронепоезду выйти к станции и отбить противника. Одновременно туда прибыл эшелон танков Т-34. Они стали стрелять по немцам прямо с платформ. Огонь бронепоезда и танков заставил гитлеровцев отступить.

20 июля по приказу командующего Юго-Западным направлением маршала С. М. Буденного бронепоезд убыл в распоряжение командующего 26-й армией генерал-лейтенанта Костенко, с задачей оборонять железнодорожный участок станций Белая Церковь — Мироновка — Канев.

По дороге бойцы занимались приведением в порядок боевой техники, брились, писали домой письма.

Используя затишье, Казарин организовал проведение политзанятий, выпуск боевого листка, инструктировал агитаторов. Нередко проводились партийные собрания, на которых разбирались заявления о приеме в партию. За какие-то две-три недели число коммунистов в экипаже удвоилось.

Время летело в непрерывных боях, передвижениях, дежурствах. Экипаж терял счет дням. Как-то в конце июля, когда бронепоезд находился на станции Шемет, к Ищенко прискакал запыленный всадник и передал просьбу командира кавалерийского корпуса прикрыть части огнем. Согласовав действия со штабом армии, Ищенко дал команду срочно выйти в указанный район. Бронепоезд, замаскированный ветками, устремился на помощь

конникам. Вскоре стала видна картина тяжелого боя: десятка два немецких танков теснили кавалеристов к железнодорожному полотну. Они разворачивались от проселочной дороги к пшеничному полю, стреляя на ходу. Поднимаемые ими облака пыли заволакивали горизонт — создавалось впечатление, что танков много больше.

Подпустив противника на дальность прямого выстрела, бронепоезд открыл огонь. Два танка сразу загорелись. Остальные попали под огонь артиллеристов, занимавших позицию на опушке леса. Конники тем временем вышли из-под удара. Ищенко и Казарин позднее узнали, что танки, атаковавшие конников, были частью передового отряда группы Клейста.

Дерзкими рейдами и меткими огневыми налетами бронепоезд все больше досаждал немцам. Они несли ощутимые потери. А главное, срывались их планы по окружению и разгрому оборонявшихся здесь наших частей. Однажды в Мироновке, куда бронепоезд прибыл на заправку, железнодорожники принесли листовки, сброшенные «юнкерсом». Немецкое командование грозилось отрезать пути отхода «большевистскому бронепоезду» и беспощадно расправиться с его командой. Позднее сбитый летчик показал в штабе армии: «Старшие командиры недовольны нами. От них только и слышишь: «Проклятье, чертовщина, вы ищете советский бронепоезд, как иголку. Позор!»

В те дни на бронепоезде побывал писатель Виктор Кондратенко. Ищенко был на совещании в штабе. Писателя принимал комиссар. Потом Кондратенко писал: «Казарин — худощавый юноша с едва намеченными тонкими бровями — показал журнал боевых действий. Это была скупая, немногословная тетрадь. Но каждая строка говорила о железной воле команды «крепости на колесах», которая твердо решила сражаться с врагом до последнего патрона. «Мы действуем в тылу врага. Фашистам запугать нас не удастся». Этими словами начинался журнал боевых действий».

Немцы возобновили наступление на Киев. Фронт потерял стабильность. Гул боя слышался со всех сторон. Определить, где свои, где чужие, стало трудно. Ищенко все чаще высылал разведчиков. Однажды вечером младший лейтенант Гаврильченко — командир взвода разведки — доложил, что от Кагарлыка к Темпам движутся четыре колонны противника с танками и бронемашинами. Сообщили в штаб 26-й армии. Оттуда поступил приказ остановить продвижение гитлеровцев.

Когда вышли в указанный район, солнце уже садилось, начало темнеть. Километров через десять наблюдатель заметил вдали на проселочных дорогах какое-то движение. Но определить в сумерках, немцы это или наши, было невозможно. Сомнения рассеяли сами гитлеровцы. Они развернули несколько пушек и обстреляли бойцов

восстановительного батальона, работавших на железнодорожном полотне. Бронепоезд с пятисот метров открыл огонь. В считанные секунды было подбито несколько машин, они загорелись. Но досталось и бронепоезду. Прямыми попаданиями снарядов пробило в нескольких местах тендер паровоза. Пришлось отойти к станции Лозорцы на ремонт.

Остановились в низине, заполненной густым туманом. Несмотря на страшную усталость, бойцы и командиры яростно работали всю ночь. Старший механик бронепоезда Васинович и кочегар Кваша раздобыли в ближайшем колхозе пожарный насос и с его помощью закачали воду в тендер паровоза из ближайшего ручья. Затем погрузили вручную уголь. К рассвету бронепоезд вышел на линию в полной боевой готовности.

И, казалось, не было бессонной ночи, тяжелой изнурительной работы. Бойцы выглядели бодрыми, подтянутыми, слышался смех, шутки. Чаще всего они адресовались пожилому артмастеру Мичковскому: он боялся стрельбы. И когда начиналась бомбежка и все кругом грохотало, Мичковский старался спрятать голову и стрелял из своей винтовки не целясь. Это, конечно, дошло до Кваши, и тот не упустил случая побалагурить.

— В кого ты сегодня палил? — спрашивал Кваша с невинным видом у Мичковского.

— Я стрелял по самолетам,— отвечал тот, не подозревая подвоха.

— Так самолеты-то были справа, а ты палил влево.

За этим обычно следовал взрыв хохота. Как-то, желая разыграть Мичковского, Кваша незаметно снял с его винтовки мушку. Рассказал об этом бойцам и просил понаблюдать, как Мичковский будет без мушки целиться в противника.

Это дошло до Казарина. Комиссар не допускал подобных шуток. К тому же он уважал старого артмастера за отличное знание им своего дела. Казарин вызвал Квашу, приказал ему извиниться перед Мичковским и вернуть мушку.

— А зачем она ему? — упирался Кваша, но мушку все-таки вернул.

Внимание комиссара очень тронуло Мичковского, и он смущенно буркнул:

— Молодежь — все им хиханьки да хаханьки. Им бы только зубоскалить.

Как-то в одном из орудий застрял снаряд. Артмастеру предстояло извлечь его. С площадки удалили всех бойцов. Пришел Мичковский. Зная слабости артмастера, Казарин решил остаться с ним и, если потребуется, помочь ему взять себя в руки. Однако Мичковский не проявлял никаких признаков страха. Сняв китель, он неторопливо осмотрел орудие, затем обратился к Казарину:

— Придется выколачивать снаряд банником. Это очень опасное дело. Вам бы лучше уйти, товарищ комиссар.

— А как же вы? — спросил Казарин.

— Если что... без меня обойдутся. И это моя работа. А вот без вас... потруднее будет.

Мичковский вставил в ствол какое-то хитрое приспособление, предохраняющее снаряд от взрыва, и осторожно выколотил его.

Днем позже Мичковский еще раз удивил Казарина. Утром в прифронтовой полосе машинисты попросили артмастера сходить в деревню и купить молока. Он ушел и пропадал более часа. Потом на дороге показалась лошадь в упряжке, которая что-то тащила за собой. Рядом шагал Мичковский.

— Посмотрите! — воскликнул Кваша.— Мичковский, кажись, цистерну молока достал.

Но это оказалась новенькая противотанковая пушка. Кваша поднял артмастера на смех, обозвал Плюшкиным.

— Брошенная она была,— оправдывался Мичковский.— Нельзя оставлять такое добро немцам.

Казарин заступился за Мичковского. Пушку водрузили на переднюю платформу прикрытия и закрепили на шпалах. Позже «сорокапятка» не раз сослужила добрую службу. Особенно в тех случаях, когда цели находились ближе пятисот метров к бронепоезду — в мертвой зоне башенных орудий.

В начале августа обстановка на фронте еще более осложнилась. Противник непрерывно атаковал. Усилились бомбежки, артобстрелы. Все чаще выводилось из строя полотно. Возможности маневра сокращались, приходилось вести огонь с закрытых позиций. Но это значительно снижало меткость стрельбы. Капитан Мартыненко — опытный артиллерист — предложил выдвинуть на ближайшие высоты корректировщиков. С первой группой пошел Казарин.

Результаты стрельбы превзошли все ожидания. Первыми же залпами бронепоезд уничтожил немецкую минометную батарею, хитро замаскированную на опушке леса. А последующими — рассеял автоматчиков, обходивших наш стрелковый полк. Пехотинцы вырвались из окружения и заняли более выгодный рубеж.

Но силы оставались неравными. Части вынуждены были отходить за Днепр. Штаб армии поставил бронепоезду задачу прикрывать отход 97-й стрелковой дивизии.

Седьмого августа представитель связи дивизии предупредил командование бронепоезда, что со стороны деревни Черныши в направлении поселка Трошин ожидается наступление пехоты противника силой до двух полков. Бронепоезд прибыл в указанный район и замаскировался за высокой песчаной насыпью. Укрылся

он очень хорошо, но с этой позиции не просматривался участок местности, на котором ожидалось появление немцев.

Казарин и Мартыненко предложили повторить опыт корректировки стрельбы с наблюдательного пункта. Ищенко одобрил эту идею. НП оборудовали в пятистах метрах от бронепоезда на небольшой высоте, покрытой кустарником. День стоял душный, парило, на горизонте появились тучи. Желая перенять у Мартыненко мастерство корректировки огня, Казарин пошел на НП. Вскоре показалась колонна противника. Казарин тут же дал целеуказание. Немцы наступали из-за возвышенности, шли во весь рост, не ожидая опасности, у многих были расстегнуты мундиры.

Бронепоезд открыл огонь. Стреляли шрапнельными и осколочными снарядами. Казарин отчетливо видел в бинокль, как над головами врагов рвалась шрапнель, как они заметались в панике, пытаясь спастись. Часть из них устремилась к НП. Казарину и Мартыненко пришлось срочно перебраться в бронепоезд. Вскоре фашисты оказались в зоне пулеметного огня. «Борис Петрович» выехал им наперерез и открыл огонь сразу из нескольких пулеметов. Тысячи трассирующих пуль понеслись вдоль лощины. Словно снежный вихрь закружился над обезумевшими фашистами, их передние ряды падали как подкошенные, а задние по инерции напирали.

— Так их, так! — восклицал Казарин.— Ну молодцы, пулеметчики!

— Да, крепко всыпали фрицам. А то, ишь, разгулялись во весь рост, как на параде,— сказал Ищенко.

Но вскоре другой вражеский отряд с орудиями вышел в тыл бронепоезду и открыл огонь с близкой дистанции. Экипаж понес потери — было ранено и контужено несколько человек. Казарин выбежал из командирской рубки и устремился на первую бронеплощадку. Там он занял место раненого пулеметчика и открыл огонь по немецким подрывникам. Как раз в это время гитлеровцы взобрались на насыпь и намеревались заложить под рельсы взрывчатку. Казарин стрелял длинными очередями. Много фашистов упало, остальных словно ветром сдуло с насыпи. Бронепоезд набрал скорость и благополучно отошел.

— Вы стреляли, товарищ младший политрук, почти как наш лучший пулеметчик Саша Чижиков,— сказал командир бронеплощадки лейтенант Черняев.

— Старался изо всех сил, иначе Кваша засмеет,— ответил улыбаясь Казарин.

Потери не остановили гитлеровцев. Подтянув свежие силы, они продолжали атаковать нашу пехоту. И еще шесть раз выходил в этот день бронепоезд на позиции, вел тяжелый огневой бой с

фашистами. Атаки врага прекратились лишь к ночи. Пришла долгожданная передышка.

— Всем отдыхать,— передал комиссар распоряжение командира. А сам, проверив, как несет службу дежурная смена, направился к раненым.

Военфельдшер Губский уже оказал им помощь, и сейчас бойцы, ослабшие от напряжения и ран, дремали.

— Как у вас? — поинтересовался комиссар.

— К счастью, тяжелых ранений нет,— ответил Губский.— И все отказались идти в госпиталь.

— На пример командира ссылаются,— улыбаясь добавил Казарин.

На следующий день части армии продолжали отходить по мосту через Днепр в районе Канева. Бронепоезд прикрывал переправу. Налеты вражеской авиации следовали один за другим. Но истребители и зенитчики отбивали противника. Орудия бронепоезда тоже почти целый день вели огонь. К вечеру Казарин проверил расход боеприпасов и удивился: было выпущено по врагу тысяча триста снарядов. Больше восьми тонн металла. Десятидневная норма.

Когда смеркалось, прибыли на станцию Канев для заправки и сразу же попали под бомбежку. Многие здания, железнодорожные сооружения и пути оказались разрушенными. Но «Борис Петрович» снова остался цел и невредим.

Утром вернулись на правый берег и опять открыли огонь по противнику. Позиция перед мостом была как на ладони и все время подвергалась обстрелу. Приходилось непрерывно маневрировать. Около десяти часов немцы открыли огонь из дальнобойной артиллерии. Впереди и позади бронепоезда разорвалось несколько снарядов. Железнодорожный путь вышел из строя. «Борис Петрович» лишился маневренности. Из-под паровоза с шипением вырвалась струя пара, как бы подчеркивая трагичность ситуации. Это Кваша сбрасывал из котла лишнее давление.

Ремонтники, гремя ломами и лопатами, один за другим выскакивали на полотно. Среди них оказался и Казарин. Он в числе первых подбежал к воронке, дал бойцам указания, затем помчался обратно. Собрал еще отряд и его силами организовал засыпку второй воронки. Конечно, опасность понимал каждый, и все старались работать без подсказки. Но энергичный, сообразительный руководитель в этой ситуации был необходим. Эту роль взял на себя Казарин. Недоволен им был только артмастер Мичковский. Он с тревогой смотрел в небо, затем переводил взгляд на комиссара и наконец смущенно произнес:

— Опасно здесь... Вам бы лучше туда...— Мичковский указал на бронепоезд.

— Ничего, ничего, я заговоренный. Да и что Кваша скажет, если комиссар за броней будет отсиживаться?

Двадцать минут мелькали в воздухе кирки, лопаты, ломы, шлепались на землю шпалы, рельсы. Никто не обращал внимания на пролетавшие со свистом снаряды. Но едва в небе послышался гул вражеских самолетов, бронепоезд прозвенел буферами и скрылся в лесу.

И все же чудес на свете не бывает. Во второй половине дня под колеса головной бронеплощадки угодил крупнокалиберный снаряд. Она сошла с рельсов.

— Эх, черт подери,— выругался Ищенко.— Это, пожалуй, посерьезнее.

— Но не смертельно,— воскликнул Казарин.— Только надо навалиться всем миром.

— Вот что,— сказал, подумав, Ищенко.— Ты, Василий Алексеевич, организуй ремонт полотна. Опыт у тебя уже есть. А я свяжусь по рации со штабом и попрошу прислать кран и техпомощь.

И пошла работа. Сами не заметили, как заменили рельсы и шпалы, засыпали воронки. Затем принялись поднимать домкратами бронеплощадку. Выпуская клубы пара, подъехал кран, и на нем взвод из железнодорожного восстановительного батальона. Общими усилиями бронеплощадку поставили на рельсы. Казарин внимательно рассматривал вмятины на броне, осторожно гладил их рукой, словно это были раны, потом сказал:

— Мы еще повоюем с тобой, «Борис Петрович»!

Теперь надо было срочно пополнить боекомплект и запастись топливом. Прогромыхали по мосту через Днепр на левый берег. На станции Леплево Ищенко вызвали в штаб. Через полчаса он вернулся и принялся рассматривать карту. Старший лейтенант настолько погрузился в свои мысли, что не слышал, как вошел Казарин.

— Не помешаю, Петр Кириллович? — спросил комиссар.

Ищенко поднял усталое лицо, под глазами чернели круги.

— Задачку нам, брат, крепкую поставили,— произнес он глухим голосом.— Сдерживать врага, пока все части не отойдут на левый берег. Понимаешь, что это значит?

— Понимаю: теперь стоять до конца.

— Да, драться на правом берегу до последнего снаряда, патрона. Надо, чтобы каждый это понял.

— Ну что ж,— произнес Казарин, сжимая правую руку в кулак,— пойду поднимать бойцов.

— Может, сначала командиров?..

— Чего уж тут... Давай собирать всех. Задача ясна. Минут за пятнадцать — двадцать управимся.

— Ладно. Только учти — времени у нас в обрез. Два слова

парторгу, два — комсоргу и нам с тобой по паре слов. В общем, на все не более получаса.

Командир и комиссар ошиблись только в одном — собрание прошло за десять минут. Единогласно решили стоять насмерть.

Вскоре бронепоезд медленно пополз по мосту через Днепр на правый берег. Ищенко и Казарин подошли к люку.

— Что загрустил, Василий Алексеевич? — спросил Ищенко, положив руку на плечо Казарина.

— Да нет, я думаю о наших людях, Петр Кириллович. Ведь прошло всего полтора месяца, как вступили в бой. А как все сроднились! Вот сегодня на собрании, глядя на товарищей, я думал, что с такими и помирать не страшно.

— Давай не будем так ориентироваться. Давай лучше жить по рецепту Жакупова: пусть сначала помрут фашисты, а мы с тобой подождем. Так вроде?..

Когда «Борис Петрович» достиг заданного района, он открыл огонь. Мимо шли наши запыленные пехотинцы, ехали повозки с ранеными, проносились автомашины с разным военным имуществом — войска отходили на левый берег.

У головной бронеплощадки остановилась полуторка. Водитель выскочил из кабины и, энергично жестикулируя, что-то спрашивал. Казарин пошел узнать. Оказалось, шофер искал санбат, куда ему надо было доставить шестерых санитарок.

Наводчик Малашенков, увидев в кузове автомашины девушек, приоткрыл дверь бронеплощадки и тотчас разговорился с ними. Они рассказали, что, будучи студентками 3-го курса Киевского медицинского института, ушли на фронт добровольно. Успели побывать на передовой, оказали помощь сотням раненых. Девушки настолько контрастировали с суровой обстановкой войны, что не только Малашенков, но и многие другие бойцы подошли к дверям посмотреть на них.

Внезапно в воздухе послышался свист мины. Малашенков машинально захлопнул дверь. Взрыв раздался совсем близко. Осколки прозвенели по бортам. Казарин почувствовал неладное и бросился к дверям. Перед ним предстала ужасная картина: прямым попаданием в кузов автомашины убило водителя и трех девушек. Из оставшихся в живых две стонали, третья рыдала и просила спасти ее. Казарин приказал перенести раненых на бронеплощадку и сделать все возможное для их спасения.

Губский, повидавший немало всякого на своем веку, был потрясен. Этим девушкам, еще почти подросткам, жить бы да жить. А их жизнь уже оборвалась.

Военфельдшер торопливо резал одежду, накладывал жгуты,

бинтовал раны. Но Казарин видел, что все это не поможет. И сердце его сжималось от жалости.

Не успел Губский закончить перевязки, как одна из девушек умерла, затем вторая. Последней скончалась та, что плакала и просила спасти ее. В подавленном состоянии Казарин пошел к артиллеристам. Малашенков тревожно спросил:

— Ну как они?

Казарин только безнадежно махнул рукой и отвернулся.

— За каждую по танку. За каждую! — произнес сержант Смирнов сурово.— Мы клянемся вам, товарищ комиссар.

Девушек похоронили в воронке от бомбы. На холмике земли Мичковский закрепил кусок жести со скромной надписью, сделанной суриком: «Здесь похоронены шесть санитарок — студенток Киевского мединститута. Вечная им слава и память».

Затем он сорвал несколько ромашек, стоявших у дороги, и положил их рядом с куском жести.

С рассветом снова начался бой, который не стихал весь день. Самолеты противника непрерывно бомбили отходящие части и мост через Днепр. Им удалось повредить одну из опор. Бронепоезд оказался отрезанным — отойти на левый берег он уже не мог.

Во второй половине дня немцы усилили нажим. Полоса земли, занимаемая нашими частями, сужалась. Бронепоезд все время находился на открытых позициях и, непрерывно маневрируя, вел огонь. Стволы орудий раскалялись, в кожухах пулеметов закипала вода. Бронеплощадки были объяты дымом и пороховой гарью. Открывать двери было опасно — кругом бушевали разрывы мин и снарядов.

Казарин, торопливо обходивший боевые рубки, тоже задыхался. Но радовался, видя, как четко бойцы выполняли команды, словно и не было никаких трудностей. Глядя на них, он крепко сжимал челюсти, вытирал кулаком глаза и шел дальше.

Попадавшие в бронепоезд осколки от разрывавшихся мин и снарядов существенных повреждений не причиняли. Они портили ступеньки, рвали поручни, но экипаж надежно укрывала броня. И все же потери были. Одна из мин разорвалась в дверях бронепаровоза. При этом был тяжело ранен капитан Мартыненко и убит сержант Панин. Чуть позже прямыми попаданиями в платформы прикрытия было ранено еще несколько человек.

К вечеру все наши части переправились на левый берег. С ними ушел и восстановительный взвод 26-й армии. Движение по мосту прекратилось. На правом берегу остался один бронепоезд. Все погрузилось во мглу, наступила гнетущая тишина. Лишь время от времени в расположении немцев взлетали осветительные ракеты.

Разведчики доложили, что немцы находятся в пяти-шести кило-

метрах. Железнодорожный путь имеет многочисленные повреждения. Возможность маневрировать сохранилась лишь в пределах трехсот метров.

Казарин, проведав раненых, поднялся в командирскую рубку к Ищенко. Тот уже ждал его.

— Садись, Василий Алексеевич.— Ищенко указал на стул.— Ну, что будем делать? Свою задачу мы выполнили. Но доложить об этом командованию не могу: радист убит, рация разбита. Надо кому-то сходить в штаб и получить указания...

Казарин молчал.

— К тому же у нас нет маневра. Утром налетят «юнкерсы» и добьют. Не хотелось бы делать им такой подарок.

Комиссар продолжал молчать, догадываясь, что скажет дальше командир.

— Взорвать все и отступить... Но без приказа нельзя. Покидать бронепоезд я не имею права. Немцы могут атаковать в любую минуту, а капитан Мартыненко тяжело ранен. Надо идти в штаб тебе, Василий Алексеевич. Ты хорошо знаешь обстановку.

— Честно говоря, Петр Кириллович, не хотелось бы мне оставлять наших товарищей в такую минуту.

— Но пойми, Василий Алексеевич, речь идет о спасении оставшихся людей. Бери младшего лейтенанта Гаврильченко и, как говорится, шагом марш. Жду обратно к рассвету.

Казарин напряженно смотрел в ночную темноту, нервно теребя пряжку поясного ремня.

— Хорошо, Петр Кириллович, я выполню приказ,— произнес он.

Через несколько минут от бронепоезда отделились две фигуры и исчезли в темноте. Комиссар шел первым, с трудом различая тропинку. У моста раздался окрик: «Стой! Кто идет?» Казарин ответил. Часовые сопроводили их в штаб 26-й армии. В политотделе находился бригадный комиссар Колесников. Выслушав Казарина, он сказал:

— Вопрос серьезный. Надо срочно связаться с командующим.

Генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко оказался на месте. Он сразу принял Казарина и попросил подробно доложить обстановку. По его уставшему лицу Казарин не мог понять, что он скажет. В какой-то момент ему даже показалось, что генерал-лейтенант недоволен действиями бронепоезда, но, выслушав доклад до конца, командующий сказал:

— Передайте личному составу благодарность Военного совета армии. Завтра же распоряжусь о представлении всех к наградам. А у меня к вам личная просьба: продержитесь еще день. Один день. Я понимаю, как это трудно. Может быть, даже невозможно. Но надо. Еще раз повторяю, это не приказ, а просьба. Ну а если продержитесь, то с наступлением темноты попробуйте эвакуировать

бронепоезд по частям. Великая бы это была для нас помощь. Ну а если не удастся, снимите все ценное оборудование, остальное подорвите.— Он тяжко вздохнул и повторил: — Остальное подорвите.

Командующий задумался, на его лоб набежали морщины.

— Да...— повторил он.— Обязательно передайте от меня благодарность бойцам и командирам. Герои! Настоящие герои!

Он крепко пожал Казарину руку.

Когда Казарин и Гаврильченко подошли к мосту, уже светало. Погода испортилась — подул холодный ветер, небо заволокли темные тучи. Днепр покрылся белыми гребнями волн. С правого берега доносились глухие разрывы. Вдали виднелся неподвижный бронепоезд. Над ним как воронье кружились «юнкерсы». Потом они медленно разворачивались и уходили обратно. Подойдя поближе, Казарин увидел, что взрывом фугаски сорвало броню с левой стороны паровоза, пробило котел и тендер, оторвало левый цилиндр. Не мешкая, он передал Ищенко благодарность командующего и просьбу — продержаться еще день. Но тот сидел неподвижно, мрачный, осунувшийся, словно он и не слышал Казарина. У комиссара екнуло сердце.

— Ну говори же, Петр Кириллович,— воскликнул взволнованно Казарин.— Что случилось?

— Погиб Кваша,— ответил Ищенко глухим голосом.

Эти слова больно резанули Казарина. Он никак не мог поверить, что уже никогда не увидит этого веселого, славного парня.

— Надо хоронить, пока передышка,— сказал, вставая, Ищенко.— Думаю, времени у нас мало.

Вошел Мичковский и доложил, что могилу выкопали у той воронки, в которой похоронили студенток. Весь экипаж вышел проводить своего товарища в последний путь. Когда опускали тело, машинисты дали протяжный гудок. Израненный паровоз гудел хрипло, словно ему перехватывало горло. И появился еще один холмик со скромной надписью. Мичковского душили слезы, но он все-таки сказал:

— Кто теперь сыграет на гармошке?.. Такого парня потеряли...

Казарину тоже было очень тяжело, и он отвернулся, стараясь смотреть в поле, но взгляд невольно останавливался то на одном, то на другом холмике и жестяной табличке с надписью: «Здесь похоронены...»

Казарин почувствовал, что эти могилы не забыть ему всю жизнь.

В восемь часов утра фашисты нагло полезли к мосту, полагая, что бронепоезд погиб. А он вдруг ожил и встретил огнем из орудий и пулеметов.

Враг отступил.

Ищенко и Казарин распорядились рыть окопы вокруг бронепоезда на тот случай, если придется занять круговую оборону. Снарядов оставалось еще около пятисот, патронов часа на два боя. В случае массированных налетов авиации решили отходить к Днепру и укрываться в дотах, построенных охраной моста.

В двенадцать часов налетело двадцать «юнкерсов». Их тени скользили по полям. Перед бронепоездом головной самолет спикировал, послышался вой падающей бомбы. Экипаж через люки в полу бронеплощадок поспешно отошел в укрытия. Вокруг «Бориса Петровича» вздыбились фонтаны земли. Он окутался черным дымом. Сбросив весь бомбовой груз, самолеты улетели.

Сердце Казарина сжалось... Неужели все кончено? Дым стлался вдоль насыпи, мучительно медленно оседал на землю. И по мере того как он редел, вырисовывались контуры «Бориса Петровича». Ура! Жив!

— А ну по местам! — крикнул комиссар, махнув рукой в сторону бронепоезда.

Пушкари и пулеметчики выскочили из окопов и устремились к бронеплощадкам. Разведчики, связисты и техники заняли круговую оборону.

— Ну как? — спросил Казарин у командира второй бронеплощадки лейтенанта Цепковатого.— Все орудия и пулеметы целы?

— Прямо удивительно, почти ни единого повреждения,— ответил тот.— Хотя, посмотрите, вся земля вокруг изрыта.

— Значит, повоюем еще, ребята,— сказал Казарин, направляясь в командирскую рубку.

Ищенко внимательно рассматривал в бинокль передовую.

— Приготовиться к бою,— прозвучал его голос в рупор.— Бить только по целям. Строго по целям!

Казарин взял у него бинокль и стал считать выходившие из леса танки, за которыми двигалась пехота. Снова ударили орудия бронепоезда, заговорили пулеметы. Огонь поддержали катера днепровской флотилии и артиллерия с левого берега. Немцам снова пришлось откатиться. Казарин обошел бронеплощадки и поздравил бойцов.

В небе раздался мощный гул. На этот раз налетело сорок четыре самолета. Гитлеровцы явно решили разделаться с бронепоездом. Экипажу пришлось снова уйти в укрытия. Бомбежка началась жестокая. Со страшным воем падали пятисоткилограммовые бомбы. На этот раз случилось непоправимое. Паровоз опрокинулся под откос вверх колесами. Заднюю площадку сбросило взрывом с пути, на передней разбило обе орудийные башни.

Горизонт побагровел, вечерело. Перестрелка прекратилась — в это время немцы, как правило, уже не атаковали.

День «Борис Петрович» выстоял.

Ищенко, Казарин и все бойцы печально смотрели на изуродованную броню, вот во что превратилась их грозная «крепость на колесах», их родной «Борис Петрович».

— Ну, братцы, выбора больше нет. Начинайте демонтаж и минирование,— произнес Ищенко с грустью в голосе.

Нехотя приступил экипаж к выполнению приказа. Молча снимали пулеметы, замки у орудий. Работали, опустив головы, не глядя друг на друга.

— Ильев, цела ваша гитара? — спросил Казарин у пулеметчика.

— Так точно, товарищ комиссар. Она еще меня переживет.

— Прекрасно. Принесите-ка ее — изобразите что-нибудь.

Ильев сбегал за гитарой, и над Днепром в вечернем воздухе зазвучала песня: «...Врагу не сдается наш гордый Варяг...»

В полночь, когда на левый берег было перенесено все имущество и неизрасходованные боеприпасы, стали прощаться с искалеченным бронепоездом.

— Прощай, «Борис Петрович», богатырь наш! — произнес Казарин.— Ты сделал все, что мог. Спасибо тебе. Мы уходим, но клянемся вернуться и поставить на этом месте памятник.

Через минуту раздался взрыв.

Казарин выпрямился, поправил ремень и скомандовал:

— За мной, с места с песней!..

Командующий сдержал обещание. Весь личный состав бронепоезда был награжден орденами и медалями. Девятнадцать человек получили орден Красного Знамени, двадцать два — Красной Звезды. Командир бронепоезда Петр Кириллович Ищенко и комиссар Василий Алексеевич Казарин были удостоены высшей награды Родины — ордена Ленина. И произошло это в самом начале войны — в грозном сорок первом...

Прошли годы.

Имя бронепоезда носит одна из улиц Канева, а недалеко от города бойцам бронепоезда воздвигнут величественный памятник — как бы из прошлого вставший «Борис Петрович». Бессмертный «Борис Петрович».

Сейчас в Москве проживают четыре члена экипажа: пулеметчик Чижиков Александр Тимофеевич, наводчик Малашенков Иван Яковлевич, артиллерист Николаев Александр Михайлович и комиссар Казарин Василий Алексеевич.

В марте 1983 года они собирались по случаю семидесятилетия комиссара.

Александр
ХАМАДАН

«ОХ, ОДЕССА, ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ...»

Из далекой и знойной африканской пустыни, минуя моря и страны, в солнечную советскую Одессу пришла радиограмма. Защитники осажденной фашистами крепости Тобрук горячо приветствуют доблестных защитников осажденной Одессы.

— Тобрук — это там, где Ливия,— говорит пулеметчик Свирнин.— Алма-Ата, Хабаровск, Баку, Саратов, Сталинград, Лондон, Архангельск, Сан-Франциско. Сколько городов, сколько людей присылают нам телеграммы...

Улыбки озаряют суровые лица бойцов и командиров на переднем крае нашей обороны.

— За нашей борьбой следит весь мир. Друзья и враги. Одесса — не крепость, это обычный город. Мы, советские люди, делаем ее неприступной,— сказал политрук Козаков.

Он произнес эти слова просто, без рисовки. В его устах они прозвучали естественно. Семь недель политрук Козаков, заменявший погибшего командира роты, лежит со своими бойцами на этой днем горячей, а ночью холодной земле. Пятьдесят дней вот здесь — впереди, слева и справа — идут ожесточенные, упорные бои. Козаков со своими бойцами-товарищами стойко принимает удары атакующего врага. Принимает и отражает. Борьба жестокая и неотступная идет за каждый метр земли.

Вчера противник вынудил Козакова отступить на шестьдесят метров к самому краю лощины. Сегодня утром политрук внезапно контратаковал фашистов и вернул сорок метров. В полдень ему удалось вернуть еще пятнадцать метров. Дальше Козаков решил не двигаться. Холмистого рубежа больше не было: мины и снаряды срыли его. А затем совершенно неожиданно враг, неистово атаковавший этот маленький кусочек арбузного поля, откатился сам.

— Все дело в нервах,— сказал политрук.— Мы, конечно, можем пройти еще двадцать метров вперед. Но видите, укрытий нет, холм рассыпался. До ближайшего рубежа — семьдесят пять метров. Мы должны удержаться здесь или продвинуться на эти семьдесят пять метров.

— Господа фашисты изволят обедать,— сказал Свирнин.

И действительно, наступила тишина. Только какой-то озлобленный фашистский автоматчик бессмысленно срезал головки подсолнухов. Все время молча смотревший вперед на противника боец Орешин вдруг хорошим, мягким голосом запел:

Ох, Одесса, жемчужина у моря,
Ох, Одесса, ты самый родной край.
Ох, Одесса, ты самый нежный город,
Милая Одесса, живи и процветай.

Сейчас, в эти минуты, песня волновала и трогала до слез. Козаков тихо и задушевно сказал: это одессит, рабочий завода имени Январского восстания, парень что надо.

Люди, собравшиеся здесь, раньше не знали друг друга. Война, оборона прекрасной советской Одессы свела их вместе, спаяла в тесную, неразлучную семью: кубанец Алматов, оренбуржец Свирнин, одессит Орешин, узбек Алимов и несколько десятков других самых различных людей. И в семье этой как отец, как старший брат — политрук Козаков.

...Вечером на командном пункте мы узнали, что политрук Козаков ранен двумя осколками мины. Заменил его Свирнин. Два бойца вынесли Козакова из-под огня в безопасное место. Политрука отправили в Одессу, в госпиталь. Он протестовал. Но командир полка приказал, и Козаков подчинился.

Только через два дня на рассвете удалось опять побывать у этих людей. Козакова трудно было узнать. Искаженное гневом лицо его было неподвижно. Он молча вернулся в свое укрытие. Свирнин шепотом рассказывал:

— Политрук был в Одессе и вернулся на другой день. Пришел черный, лица на нем не было. Рана у него неопасная, осколки вытащили из мякоти ноги, сделали перевязку, уложили спать. Утром он добился разрешения — вышел на улицу. В это время началась воздушная бомбардировка. Вражеские самолеты сбрасывали на улицы города тяжелые фугасные бомбы. Стонали женщины, старики...

Отыскав попутный грузовик, Козаков через сорок пять минут был уже на фронте.

Орешин — это было в момент затишья — запел свою любимую песенку. Козаков приказал ему замолчать. Потом, через несколько минут, задыхаясь от волнения, он рассказал бойцам о воздушной бомбардировке города, о женщинах, стариках, детях, о раненых и больных, на которых враги со звериной жестокостью обрушивают бомбы и мины. Он окончил свой рассказ и попросил Орешина спеть. Не задумываясь, политрук заменил слова третьей и четвертой строк песни, и Орешин дрожащим, срывающимся голосом спел:

Ох, Одесса, жемчужина у моря,
Ох, Одесса, ты самый родной край.
Ох, Одесса, ты самый смелый город,
Гневная Одесса, мсти, не забывай!

...Шипящей и визжащей волной накатился огонь фашистских минометов.

— В землю! — крикнул Козаков.

Но сам он остался перед насыпью укрытия и смотрел вперед. Оттуда, от низеньких домиков, развернулся фашистский батальон со знаменем на левом фланге.

Батальон шел в атаку на полуроту. Козаков не давал команды, и пулеметчики лежали напряженные, неподвижные. Он взмахнул рукой, но треска пулеметов никто не слышал. Было только видно, как передние ряды батальона, точно срезанные гигантской бритвой, падали на землю. Ряд за рядом. Минометы умолкли. Козаков поднялся во весь рост и, прихрамывая, побежал вперед. За ним без зова бросились гранатометчики Рубинчик, Орешин, Алимов. Усеивая баштан десятками трупов, фашистский батальон попятился, побежал...

Политрук Алексей Козаков занял новый рубеж в семидесяти пяти метрах от старого. Полурота залегла в обороне за низенькими, разрытыми минами и снарядами холмиками.

Комсомольская правда, 1941, 28 сентября

Ирина
ГУРО

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Первопроходцы. Старое русское слово, сопряженное с отвагой, любовью к Отечеству, со стремлением служить ему. Слово, связанное с именами разными, но всегда овеянными славой, запечатленными в памяти народной...

Ранней осенью 1941 года я услышала это слово в необычном применении: тогда первопроходцами звали не только тех открывателей новых земель, о которых мы слышали или читали. Так называли обыкновенных, еще ничем не прославивших себя и свои дела молодых людей, и — в приложении к ним это слово звучало призывом, надеждой, обещанием. Ибо первопроходцами в памятном 41-м нарекли тех, кто в составе многочисленных отрядов, групп или в одиночку готовились к отправке в тыл врага, на территорию, захваченную им.

В первые дни июля развернулась работа по формированию частей, которым предстояло действовать в ближних и дальних тылах фашистских захватчиков. Центр этих многочисленных и своеобразных формирований помещался в одном из московских переулков и получил звучное название — ОМСБОН: Отдельная мотострелковая бригада особого назначения.

Особое ее назначение состояло в том, что бойцы готовились исключительно для операций в немецком тылу. Они могли быть с оружием — в составе партизанских отрядов, оперативных групп, диверсионных десантов. Могли быть и без оружия. Тогда они шли в одиночку, парами или группами для глубокого проникновения в тыл противника.

Все было необычно в эти первые месяцы подготовки. Необычна была посуровевшая Москва, в которой сразу оказалось так много людей в военном. Непривычно было встречать их на милицейских постах, непривычно видеть зеркальные витрины, заложенные мешками с песком, перекрещенные бумажными лентами стекла окон, камуфлированные площади и заводские здания, различные макеты на Москве-реке, зенитные установки в кущах бульваров и на крышах, а надо всем этим, в небе, уже несущем грозу,— неподвижные очертания «воздушных слонов» — аэростатов.

Когда сумерки заливали улицы быстро густеющим мраком, вспы-

хивали синие огоньки маскировочных фонарей. Пронизанная их слабыми лучами, тьма скрывала неустанное движение машин и пешеходов. Родная Москва стала неузнаваемой, остро и четко нацеленной на несокрушимый отпор рвущемуся к ней врагу.

От противника не укрылась наша активная подготовка к войне у него в тылу. «Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем тылу. Эта партизанская война имеет и свои преимущества: она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас... Железным законом должно быть: никогда не будет позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев...» Эти слова были произнесены Гитлером 16 июля 1941 года.

Сегодня мы стремимся в величественной поступи истории услышать шаги отдельных людей, в общей массе бойцов увидеть облик тех, кто составлял армию незримого фронта.

В этом смысле характерна судьба Георгия Кулакова, назначенного тогда комиссаром партизанского отряда Дмитрия Медведева. Этот отряд и явился одним из первопроходцев вражеского тыла: ему суждено было нанести первые удары по коммуникациям врага, одержать первые победы и принести первую славу партизанскому оружию.

Вероятно, пора подготовки, когда люди уже чувствовали себя по ту сторону фронта, потому так глубоко запала в нашу память, что она была полна ожидания. Каждый из бойцов ОМСБОНа напряженно вглядывался в свое будущее, в таинственную глубину «зафронта», которая еще не была освоена нашими отрядами, оперативными группами и разведчиками-одиночками. И если действия в боевых порядках Красной Армии регулировались рамками соответствующих воинских уставов, то поведение бойца *там*, за линией фронта, еще трудно было определить.

Неизведанное начиналось сразу же после того, как солдаты отрывались от своей базы. Уже сам переход линии фронта мог сулить любые неожиданности, ставить непредвиденные препятствия, и только умение преодолевать их могло открыть оперативный простор для выполнения заданий командования, для действий, отработанных на Большой земле.

В дни напряженной подготовки к этому я и встретила впервые Георгия Кулакова.

Последние дни в Москве отсчитывались нетерпеливым стуком сердца, заглушаемым четкими командами на полевых учениях, щелчками выстрелов на длинном поле загородного стрельбища да еще летним шумом подмосковного леса, где шли занятия по ориентировке и маскировке. Незабываемы эти последние дни на Большой земле для каждого, кто стоял на пороге, отделяющем ее от другой — Малой.

Позднее большинство забросов в тыл врага производилось с

воздуха. Но в то время, когда отряд Медведева и его комиссар Георгий Кулаков готовились к отправке, они осуществлялись пешим порядком. И надо ли говорить, каким неизведанно сложным было преодоление линии фронта в этот период напряженных боев!

Переход отряда Медведева намечался на участке Брянского фронта. Ему предшествовало длительное наблюдение. В этой ситуации задача комиссара состояла в том, чтобы повысить в бойцах выдержку и строжайшую дисциплину, ведь малейшее нарушение ее грозило отряду гибелью. А бойцы рвались в бой, и надо было до поры сдерживать их наступательный азарт.

Что именно определило выбор и назначение сравнительно молодого и необстрелянного Георгия Кулакова на должность комиссара отряда Медведева — старого чекиста, опытного разведчика и контрразведчика?

Как известно, в тогдашней практике было обычным делом прикрепление к опытным военачальникам молодых людей, особенно рабочих ребят, которые рвались на фронт. Таким представлялся и коммунист Кулаков. Ему шел тогда тридцать первый год. Уроженец Крыма, он начал свою трудовую жизнь грузчиком; работа и спорт дали ему крепкую физическую закалку. В 1928 году его, активного комсомольца, послали на учебу в Москву. Рабфак имени Артема — первую ступень подготовки — Георгий закончил в 1930-м. Обстановка в стране не позволила ему продолжать образование — ЦК ВЛКСМ командировал в Подмосковный угольный бассейн. Работа на шахтах во многом сформировала его характер, воспитала в нем упорство, отвагу, чувство товарищества. И все же, стремясь продолжать учебу, он поступил в Московский энергетический институт, который окончил в 1936 году. Здесь он был принят в партию.

Обычная по тем временам биография молодого коммуниста. Отличные характеристики комсомола, настойчивое желание вступить в ряды защитников Родины, весь облик Георгия Кулакова и склонили командование к назначению его на ответственный пост комиссара отряда.

Дмитрий Николаевич Медведев сразу расположился к серьезному, подтянутому молодому человеку, сочетавшему в себе выдержку и рассудительность с горячим темпераментом и жаждой активного действия.

Медведевский отряд, как и другие ему подобные, имел задачу помимо прямых боевых действий стать перевалочной базой для разведывательно-диверсионных групп и разведчиков-одиночек. Находясь в беспрерывном движении, чрезвычайно мобильный отряд должен был хорошо ориентироваться в немецком тылу, чтобы отдельными боевыми группами наносить удары по вражеским гарнизонам, громить склады оружия и боеприпасов, срывать доставки

продовольствия, осуществлять диверсии на железной дороге и выявлять немецких лазутчиков. Из этих задач вытекала необходимость овладения подрывным и радиоделом, а также множеством специальностей и навыков, требуемых обстановкой.

Вглядываясь сейчас в фотографии уже ушедших от нас друзей и соратников, задумываешься над тем, какая сила могла столь быстро, буквально на ходу, сделать сугубо штатских людей, подобных Георгию Кулакову, умелыми воинами, солдатами тайного фронта? Конечно, в основном это была сила партийности. Именно она формировала качества, необходимые командиру для того, чтобы заслужить доверие бойцов, обеспечить дисциплину, а главное — дать людям перспективу, веру в победу, вооружить их чувством ответственности и железной дисциплины.

Тридцать два человека было первоначально в отряде — тридцать две судьбы, тридцать два характера. Вместе с командиром комиссар отвечает за всех. Особенно остро почувствовал это Георгий Кулаков, когда впервые услышал слова: «Приказ о переброске вашего отряда на территорию, захваченную врагом, подписан...» Молодой генерал произнес их буднично, но в его взгляде, в том, как он смотрел на троих, стоящих по стойке «смирно», было что-то значительное, поворотное. И каждый из них — командир отряда Медведев, начальник штаба Староверов и комиссар Кулаков в полной мере ощутили важность этой минуты.

С первых же дней по прибытии на участок перехода в тыл врага выяснилось, насколько высок порог, отделяющий Малую землю от Большой. Линия фронта проходила по Десне. Пять раз отряд пытался форсировать реку, но каждый раз ураганный пулеметный огонь врага перекрывал им путь. Пять ночей в мертвенном свете немецких осветительных ракет, пят ночей бесплодных попыток, горького сознания неудачи и потерянного времени, когда дорог каждый миг. Позже поймется, что эти ночи были первым испытанием не только храбрости, но и выдержки членов отряда. Комиссару пришлось поднимать дух бойцов, еще не вступивших в настоящее дело, чтобы сохранять в них волю к новому броску.

Наконец, Медведев принял смелое решение перейти линию фронта днем. И они двинулись.

Был конец августа. Уже начал обнажаться лиственный лес, он стал плохо прикрывать движение горстки людей. Отряд углубляется в заросли. Это еще ничейная, но контролируемая врагом земля. Сейчас первая задача комиссара — предупредить малейший срыв, внушить людям осторожность. Надо во что бы то ни стало незамеченными пройти в тыл врага, отдалиться от линии фронта, не принимать боя даже при столкновении, а встреча с охранением противника вполне вероятна.

И действительно, вскоре, оставаясь незамеченными, бойцы уви-

дели фашистов, расположившихся у костра, ясно услышали немецкий говор. Не начать стрельбу, не напасть на противника — было большим испытанием.

В бой вступили, только когда очутились в наиболее подходящей обстановке, можно сказать, в классической для партизанской войны: разведка донесла о приближении немецкой автоколонны по большаку. Хорошо укрытые в кустарнике обочь дороги, партизаны ждали. И вот первая цель. Первая боевая встреча с ненавистным врагом.

Запомнилось навсегда, врубилось в память: осенний день, желтая листва, закамуфлированный под нее немецкий грузовик с солдатами, легковая штабная машина... Медведев подает знак, и каждый действует по заранее намеченному плану. Треск автоматов, разрывы гранат. Хорошо вооруженный противник уничтожен внезапным и дружным натиском.

С этого момента словно что-то «отпустило» бойцов, они обрели уверенность, увидели врага в панике, услышали беспорядочную стрельбу, а главное, не дали уйти ни одному гитлеровцу. С тех пор, при всем разнообразии боевой обстановки, при всех особенностях возникавших ситуаций, этот первый успех поддерживал боевой настрой отряда.

Молодой комиссар оценил это обстоятельство и не раз в общении с бойцами возвращался к первому боевому крещению в тылу фашистов.

Однако пройдена только часть пути. Отряд следует дальше. И — надо вспомнить это время — к нему то и дело примыкают выходящие из окружения группы наших бойцов. Кулаков знакомится с каждым из них, выслушивает их рассказы. В основном это молодежь, но молодежь, уже прошедшая через бои с превосходящими силами фашистов.

Партизанская война, как скоро понял комиссар, определяет своеобразные формы работы. Воспитание ненависти питается горьким опытом. Перед бойцами разворачиваются все новые картины злодейств фашистов на захваченной ими земле.

Вспоминаю... Разведчица нашего отряда, вернувшись с задания, принесла страшные вести: в деревнях угоняют мужчин и женщин на фашистскую каторгу, стариков с нацистской аккуратностью переписывают и уничтожают в соответствии с «идеей» бесноватого фюрера о «неполноценных расах».

Тогда мы еще так мало знали о запланированных врагом, вычисленных и тщательно подготовленных им акциях массового убийства советских людей. Трудно было представить себе нарисованную нашей разведчицей картину. Позже мы не раз узнавали о подобных фактах, но в описываемое время это были первые, потрясающие уроки войны с жестоким противником, ломающим все представления о цивилизованной нации.

По воле истории именно бойцам тайного фронта выпало на долю погрузиться в самую глубину человеческого горя на родной земле, попираемой гитлеровскими оккупантами. Карать убийц и спасать их жертвы, наносить неожиданные удары, наносить их ценою риска, ценою собственной жизни стало девизом партизанской войны. Из ее особенности и вытекают такие операции, как освобождение советских людей, угоняемых в неволю, организация побегов из лагерей для военнопленных, разгром немецких гарнизонов и многие другие внезапные, отчаянно смелые, «незапланированные» акции.

Георгий Кулаков — человек думающий, стремящийся докопаться до корней любой работы, на которую ставила его партия.

Осознание особенностей своего рабочего места было ему необходимо, как всякому, кто вкладывает в дело не только умение, но и душу. Вот и сейчас... В чем душа его новой работы — работы партизанского комиссара? С чего же начать?

Жизнь подсказывала: прежде всего укрепиться самому. В деле, в бою. И молодой комиссар добивается личного участия в самых опасных операциях отряда. Медведев понял и поддержал его.

В памяти Кулакова много острых зарубок. В книге своих воспоминаний он предельно искренен: да, волновался очень в первую свою схватку с врагом. Страх? Конечно, но страх не за свою «целость» — в такие моменты отступает простой человеческий инстинкт самосохранения, действует лишь страх «рабочий»: страшно не выполнить, завалить задание. Позже, когда он участвовал в знаменитой «рельсовой войне», ушел и этот страх. Его заменила воля — воля к Победе.

Рельсовая война, или, как тогда говорили, работа на «железке»,— самая эффективная форма партизанской борьбы. И самая «рисковая». Уж как берег враг кровеносную систему своей «кампании», как оснащена была охрана железнодорожных путей и мостов: армия специально обученных «банчуков» охраняла «бан» — железную дорогу. Однако никакие меры — ни секреты вдоль путей, ни вырубленный лес и выкошенная трава на подходе к ним, ни тайные мины, ни провода с колокольчиками — ничто не спасало гитлеровцев от того грозного явления, которое они называли «чисто русским варварством», избегая даже слов «партизанское». И оттого именно, что партизаны были плотью от плоти народа, война фашистов с ними почти всегда оказывалась малоэффективной. Конечно, бойцы во вражеском тылу несли тяжелые потери, борьба была неравной, и шла она не на жизнь, а на смерть. Но никогда не исчерпывалась сила народной мести, воплотившейся в партизанском движении. На смену каждого из павших бойцов приходили десятки и сотни новых.

Кулакову не раз приходилось участвовать в операциях на «же-

лезке», но запомнилась первая. Особенно те ее мгновения, когда взрывчатка уже была заложена и отпало главное опасение: успеем ли? А успеть значило уложиться в такое время, чтобы немцы уже не смогли проверить полотно дороги до прохождения эшелона.

Ночь — верная союзница партизан, но она кажется недостаточно темной, когда группа партизан-диверсантов, залегших неподалеку от насыпи, ждет приближения поезда, когда особенно остро воспринимаешь всякий звук, всякое движение, ловишь дальний гудок паровоза, близкое дыхание товарища, треск сучка, перелет ночной птицы в ветвях. А потом все тонет, все поглощается мерным стуком приближающегося состава. Теперь важно только одно — взрыв, а далее наступает привычное: вот заработали партизанские пулеметы, паника у пущенного под откос эшелона, попытка немецких командиров организовать ответную акцию. Но партизанский огонь ведется с хорошо подготовленных позиций, и разгром врага продолжается, пока тихий свист не возвестит отход — это значит, с ближайшего опорного пункта немцев выслан карательный отряд. Подрывники-партизаны уходят в лес, в границы своей зеленой державы. А там штабной курьер снова приносит приказ: идти на выручку другой подрывной группе, взорвавшей мост на другом участке.

И снова впереди идет комиссар. Его личный пример — великое дело.

И все же в чем особенность положения партизанского комиссара по сравнению с армейским? Да взять хотя бы такую ситуацию: к отряду присоединилась группа «окруженцев». Они — с оружием, документами, сохранили воинскую форму во всем. Более того, своими малыми силами провели ряд операций: подорвали машину с вражескими солдатами, разгромили небольшой гарнизон. Люди, вроде, неплохие, только уж больно молод лейтенант-командир. Комиссар приглядывается к нему, вызывает на откровенный разговор. И тот кается: никакой он не лейтенант, а присвоил себе звание «для авторитета» у бойцов. И, надо сказать, заслужил его делом.

Чисто партизанская коллизия. Комиссар понимает это и... поддерживает «самозванца».

Бывает и другое: боевой командир с хорошей армейской выучкой оказывается «дезертиром наоборот». Сбежал с командных курсов, «не мог дождаться, пока отправят на фронт». Мальчишество, вздуть бы его за это, но теперь он хорошо воюет в составе партизанского отряда, где очень пригодилась его, хоть и неполная, выучка.

Так на каждом шагу жизнь подбрасывает неожиданные «сюжеты». И формальный подход тут — гибелен; комиссару приходится постоянно быть начеку, неустанно работать с людьми, воспитывать их в духе ненависти к врагу, в духе бдительности.

Воспитание ненависти. Здесь комиссар опирается на каждодневные факты: в селе, отбитом у врага,— колодец, заполненный трупами. Не бойцов, не партизан — детей, женщин, стариков. Кулаки сжимаются, сердца замирают — нет, к этому нельзя привыкнуть, это нельзя забыть, за это только мстить полной мерой...

Но стихийное чувство надо перелить в сознательную ярость против врага, а значит, разъяснить людям конечную цель войны против фашизма. И какое удовлетворение получаешь от роста, мужания молодых бойцов, может быть, впервые задумавшихся над высшим смыслом своей борьбы.

Воспитание бдительности. Это очень сложно в партизанских условиях, ведь проверка человека идет только «наощупь», своей догадкой. Конечно, враг разными хитроумными способами внедрял своих людей в партизанские отряды, иногда внедрял. Однако большей частью чужаков распознавали, не могли не распознать.

Кулаков вспоминает: пришли в отряд два человека, выдали себя за бежавших из лагеря военнопленных, довольно складно рассказали историю своего побега. Через некоторое время один из них попросился на разговор с командиром отряда и сообщил Медведеву, что подозревает своего напарника — дескать, вернее всего, он завербован немцами, уж очень легко удалось им бежать.

У Медведева и Кулакова оба оказались под подозрением. И действительно, через своего человека в полиции они вскоре выяснили, что пришельцы — агенты гестапо. Агентурная комбинация была задумана прямо-таки по-фашистски: один из двоих должен был выдать напарника, чтобы закрепиться у партизан, войти в доверие, а затем, найдя в отряде помощников, убить командира и комиссара и вывести таким образом из строя соединение, наносящее немцам немалый урон.

Множество документов освещает ту роль, которую сыграли в нашей великой победе народные мстители. История сохранила донесения гитлеровских военачальников различных рангов, горько и зло сетующих на трудности борьбы с «бандами», которые пользуются поддержкой населения. Иногда такие документы попадали в руки партизан и, разумеется, поднимали дух отряда. Постепенно в бойцах укоренялась уверенность в своих силах. Иногда она переходила в лихость, в безудержную удаль, и порой комиссару было нелегко претворить ее в подлинную отвагу, не чуждую строгому расчету и военной хитрости.

Эта наука постигалась на практике боевых операций и их последующих разборов. На ходу, почти на бегу, приобретали навыки борьбы первопроходцы.

Но была еще и обычная политическая работа. Тут тоже существовала своя специфика. Партизанский отряд — не воинская часть с ее более или менее однородным по своей подготовке соста-

вом. Кто такие партизаны, которыми обросло первоначальное ядро отряда Медведева? Это были люди, приходившие в леса из окрестных деревень,— не подлежащие призыву старики, женщины, инвалиды, подростки, даже дети. Далее шли «окруженцы», потерявшие свою часть; военнопленные, бежавшие из лагерей; гражданские лица, спасенные из эшелонов, угоняемых на немецкую каторгу. Партизанам не раз приходилось освобождать таких пленников. Многим из них потом некуда было идти, и они оставались со своими освободителями в их «лесной ставке», принимая на себя тяготы боевой жизни отряда. Вести политическую работу среди такого пестрого «населения», как она ведется обычно в армии, было невозможно, приходилось строить ее в применении к особому складу этой своеобразной общности.

Думая сегодня о Георгии Кулакове, которого уже нет с нами, я вижу в нем не только того, кто был среди первопроходцев нашей партизанской эпопеи, но и одного из ее летописцев. Много мыслей возникает при чтении его книги «Дневник комиссара». Это бесхитростный, честный рассказ об опыте одного из первых партизанских соединений — отряда Медведева.

Конечно, это прежде всего боевой воинский потенциал, он всегда есть в народе — защитнике Родины, но особенно вырастает в годину бедствий.

Выносливость, непрерывная подвижность, постоянное состояние готовности номер один — вот непременные черты партизанской жизни. И здесь проявлялся характер народа, сложившийся в годы строительства социализма. А опыт колхозной жизни? Как выручала хозяйственная смекалка и инициатива в самых неожиданных ситуациях, возникавших в партизанских буднях!

Бесценным оказался и опыт доброго товарищества, ответственности за стоящего рядом, воспитанные в нашей молодежи, усвоенные еще с пионерии, укрепленные комсомолом и партией.

И еще одна черта, свойственная нашему образу жизни,— его демократичность — помогла партизанам в их нелегкой борьбе, когда необходимость крепкой дисциплины, естественно, опиралась на братскую взаимопомощь, чувство равенства и неограниченную возможность для каждого проявить себя во имя Родины.

Да, о многом задумываешься над страницами партизанской летописи. А главное, она помогает постичь простую истину: партизанское бытие, конечно,— подвиг, но в первую очередь — это труд.

«Тяжкий труд. Труд на грани возможного. Днем и ночью, в непогоду, в мороз, в метель,— пишет Георгий Кулаков.— А что можно сказать о моих бойцах, некоторые из которых только вчера окончили школу? Они мечтали о битвах на баррикадах, а им приходилось выполнять трудную работу, бесконечно трудную работу партизана...»

Доблесть партизана на первых порах и заключалась в том, чтобы труд становился первой ступенью к подвигу, обеспечивал его.

Момент неожиданности, внезапно открывшихся новых задач и возможностей,— обычное в жизни партизан. Кулаков вспоминал, например, о том, как партизанам удалось достать взрывчатку, в которой они остро нуждались. Был вскрыт гитлеровский склад, но оказалось, что найденный аммонал отсырел. Вот беда! Однако не отказываться же от такой добычи. И вот была сделана неслыханная проба: двести килограммов взрывчатки сушили над кострами. Взорваться не взорвались, кое-кто только поболел, отравившись испарениями аммонала. Зато пущенная в ход против гитлеровцев их же «отремонтированная» взрывчатка наделала большой переполох в стане врага и стала гордостью партизанских подрывников.

Взаимовыручка, ответственность за товарища — эти качества особенно ценились в условиях полной опасностей партизанской жизни и постоянно воспитывались в бойцах командованием. Так, при одном из налетов на расположение врага диверсионная группа вернулась, потеряв одного из бойцов.

— Как вы могли уйти, не узнав о судьбе товарища? — глядя в усталые лица ребят, спросил комиссар.

И этого было достаточно. Десять человек тут же отправились обратно на поиск. Они нашли своего товарища — он был зверски зарублен топорами полицаев. Решение о мести приняли с ходу. Ворвались в полицейское караульное помещение и разгромили его. Убийцы партизана были уничтожены.

Известно, что партизанские отряды почти всегда встречались с превосходящими силами противника, но внезапность нападения, отчаянность натиска компенсировали это неравенство.

Чисто комиссарской задачей была также работа среди населения освобожденных партизанами районов. Полная оторванность от Большой земли, беспрерывно действующая лживая гитлеровская пропаганда порождали там самые дикие слухи. В этих условиях каждое слово правды было дорого, как хлеб. Достаточно вспомнить обстановку первых тяжелейших дней войны.

В то трудное время партизаны спасали советских людей не только от казни и угона в неволю, но и от отчаяния, от чувства безысходности. Трудно передать взрывчатую силу партизанского слова, исходящего из глуби лесов и несущего свет правды.

Автору этих строк повезло — я находилась в партизанском соединении, где был множительный аппарат. Наши листовки, обращенные к населению захваченных районов, печатались. В распоряжении же Кулакова даже такой примитивной типографии не было. В своем дневнике он сообщает:

«Мы пишем листовки, пишем их от руки, на отдельных листочках бумаги. В наших условиях это нелегкий труд. Ведь в отличие от стенгазеты главное для листовок — тираж. Вот и приходится «печатать тираж» с помощью авторучки. Мы придаем большое значение этой работе. Поднять дух населения, вдохнуть веру в силу Красной Армии, в грядущую победу едва ли не важнее, чем разведка и уничтожение отдельных фашистских отрядов. Люди благодарны нам за правду, бережно прячут они наши листовки, написанные разными почерками, и передают их дальше. Греют душу простые, доходящие до сердца слова...»

А вот одна из листовок: «Братья и сестры, колхозники и единоличники, рабочие и служащие, бойцы, командиры и политработники, находящиеся в тылу фашистских войск! Превратите в сплошной фронт всю временно оккупированную территорию! Отнимайте у фашистов оружие и обращайте его против них же. Уничтожайте их обозы, бейте грабителей-фашистов при их первом появлении. Пусть фашистские гады почувствуют силу и сплоченность советского народа. Кровь за кровь, смерть за смерть! Вот наше правило, вот наш закон. Фашистам нет пощады! Победа будет за нами!

Командир партизанского отряда МЕДВЕДЕВ
Комиссар партизанского отряда КУЛАКОВ».

Комиссарство в отряде Дмитрия Медведева — это начало боевой биографии Георгия Кулакова, школа политической работы. Потом были годы работы в советской разведке, воспитание молодых ее кадров, создание книги «Дневник комиссара». Полковник Кулаков прожил богатую событиями жизнь. Родина высоко отметила его заслуги, среди его наград — высшая: орден Ленина.

Юрий
КАРАГАЧ

Юрий
СУКИАСОВ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ, РАССКАЗАННЫЕ ЗАМПОЛИТРУКА АНДРО ТАТИШВИЛИ

Котовск, 1 августа 1941 г., 14.00

К заместителю командира 29-й отдельной железнодорожной бригады майору Гапоненко, который возглавляет оперативную группу штабрига при нашем 10-м батальоне, из стоящей впереди стрелковой дивизии прибыл офицер связи.

— Соединение покидает свои позиции,— сообщил он.

В это время через Котовск прогрохотал артиллерийский дивизион. «Последний...» — прокомментировал комиссар.

Да, теперь перед нами боевых частей больше не было. Мы остались одни, лицом к лицу с врагом.

— Усильте боевое охранение,— приказал Гапоненко комбату,— попытаюсь связаться со штабом бригады.

Тут на станцию налетели «мессеры», люди едва успели укрыться.

С трудом добрался Гапоненко до помещения начальника станции. Селектор признаков жизни не подавал.

— Попробуйте вызвать штаб по телеграфу,— поторопил майор дежурного телеграфиста. Молчал и телеграф. Связи не было.

Неудивительно: как мы узнали потом, еще накануне немецкая танковая группа, используя преимущества в подвижности и силе, прорвала нашу оборону в районе Винницы, форсировала Южный Буг и покатилась на Первомайск — Одессу. Штаб 29-й уже покинул Первомайск. Ничего этого Гапоненко не знал и решил разведать обстановку сам.

— Ефрейтор Журавец,— заводи! —приказал он водителю «эмки».

Им удалось благополучно проскочить к Балте, потом к Слободке, километрах в двадцати — двадцати пяти от Котовска. Везде был слышен гул боя: враг недалеко.

Вернувшись на место, майор распорядился подготовить оборону станции, батальон отвести на участок Вознесенск—Березовка.

Снова бомбежка. Прямо на мой окоп с диким воем летит целая серия фугасок.

— Воздух! — кричу я и неожиданно покрываюсь холодным потом. Вжимаюсь в переднюю стенку траншеи. Взрыв! Один, другой... Где-то рядом. Земля ходит ходуном. И тишина.

Отряхиваюсь, озираюсь: как товарищи? Интересуюсь, ибо я замполитрука первой роты, коммунист, на меня равняются.

По бледным лицам бойцов вижу: приходят в себя, кто-то даже пытается улыбнуться.

В железнодорожных войсках я с сорокового. В наступательных боях мы обязаны восстанавливать разрушенную стальную магистраль — главную артерию, по которой на фронт идут войска и техника, продовольствие и боеприпасы. Однако за этот месяц мало мы восстанавливали. При отходе задача иная: разрушать полотно, стрелки, сигнализацию, что на военном языке именуется заграждением железной дороги.

Часто, беседуя с бойцами и сержантами, разъясняю горькую необходимость этого дела: никак не могут понять, как это — своими руками уничтожать то, что создавалось дорогой ценой? Сводки Совинформбюро не радуют. Красная Армия почти везде отходит с тяжелыми боями на восток.

— Да,— говорю,— пока мы отступаем, п о к а. Но верьте, будет и на нашей улице праздник. Обязательно! Вчера наш ротный, старший лейтенант Сисакян, рассказал: «Знаешь, что Гитлеру готовят в Одессе?! Сооружены три пояса мощной обороны, корабли с моря, береговая артиллерия, зенитки!» Так что выше головы, друзья!

А насчет заграждения дороги — то и мне не просто. Инженер-путеец, я учился строить, прокладывать путь, так? А вместо этого разрушаю его. Но раз надо, так надо. Пусть вражеские войска забуксуют. Наши соберутся с силами — и ударят. А как же иначе?..

Поняли: уже сверкают глаза, расправлены плечи, держатся веселей.

По указанию комбата имущество и техника были погружены на товарняк и отправлены в Вознесенск через Раздельную — Одессу. Часть двинулась в путь пешим порядком. Для заграждения Котовска оставлен отряд подрывников.

Станция Котовск, 1 августа, 21.00

Командиром группы назначен старший лейтенант Сисакян, политруком — я, в ней три отделения бойцов с сержантами.

— КП — в помещении начальника станции,— объявил перед строем командир.— Связные — красноармейцы Волков и Шишов. С юга станцию заграждать отделению младшего сержанта Елисеева, с севера — сержанта Боброва. Вокзал и ближние строения — отделению сержанта Гнатенко, здесь же буду и я.

Обращаясь ко мне, сказал:

— Товарищ замполитрука, разведите подрывников по объектам.

Когда потом я пришел в кабинет начальника станции, командир ходил из угла в угол — нервничал. Неудивительно: неясная обстановка, внезапно упавшая настораживающая тишина и безлюдье; железнодорожники ушли вместе с нашим батальоном. Не стучат колеса, не слышно паровозных гудков, даже вражеские самолеты что-то перестали летать.

Как оказалось, станция была отрезана уже со всех сторон: пропала телефонная и телеграфная связь со Слободкой на севере, Мардаровкой — на юге, Жеребково — на востоке. Положение осложнялось еще тем, что приказ на уничтожение объектов запаздывал, а без приказа мы имели право взрывать их, лишь когда враг подойдет к нам и мы встретимся лицом к лицу. Мы сами теперь должны определить этот последний момент. И не совершить непоправимой ошибки.

— Слышишь! — тронул меня за плечо командир.

«О чем это он?» — Я ровным счетом ничего не слышал.

Прислушались оба: тишина.

— Видимо, померещилось. Показалось, будто стреляют... Просто шалят нервы.

— Спокойнее, Мартин,— говорю.— Оснований для тревоги нет, а людям передаться она может.

— Знаешь ли,— поясняет,— хуже всего неизвестность... Сколько фашистов? Откуда наступают? И вообще ничего определенного. Может быть, еще наша какая-нибудь часть пойдет, а мы путь порвем. Ох, надоело драпать! — признался он.— Одна отрада, что Одесса подготовится к отпору. А насчет тревоги, замполит, ты прав: быть начеку вовсе не значит нервничать.

Я успокаивал его, пытался шутить, а сам думал: знал бы ты, Мартин, как мне самому тошно! Не меньше тебя чувствую и ответственность, и нависшую опасность. Только владеть собой научился.

Сисакян заглянул мне в глаза, посоветовал:

— Поспи, Андро.

— Не хочу,— отнекивался я, но немного погодя подумал вслух: «Посидеть разве малость? Умаялся немного».— Уселся в кресло, привалился к спинке...

Вдруг кто-то потянул меня за плечо. Слышу чей-то голос:

— Вставай, говорю,— поезд!

— Что? А?!— Я вскочил, рядом стоит Мартин.

— Минуту подремал и — нате!..

— «Минуту»! — старший лейтенант глянул на циферблат.— Добрых шесть часов!

«Неужели шесть?..»

К Котовску приближался поезд, прогудел издали, уже, казалось бы, забытый здесь паровозный гудок.

— Выйди, погляди, Андро!

Котовск, 2 августа, 6.00

Со стороны соседних Борщей шел товарный эшелон.

— Как обстановка, что знаете? — спросил машиниста.

— Ничего хорошего. В трех-четырех километрах отсюда нас обстреляли мотоциклисты, погнались было, но отстали. Может, потому, что развил скорость, может, еще почему...

«Понятно. Скоро здесь будут немцы».

— Прощай, товарищ,— пожал ему руку.— Счастливого пути.

Рассказав о невеселых новостях командиру, пошел проверять объекты. Проверил еще раз надежность минирования, как укрыты люди. Побеседовал, стараясь приободрить: первый бой, никто из нас еще не видел фашистов.

Взрывчатки мало. Заряды подложили лишь под четыре стрелочных перевода у южной и северной окраины станции, под водонапорную башню, аппараты сигнализации и связи. С юга окопалось отделение Елисеева.

— Ну что, младший сержант?

— К подрыву объектов готовы.

— Посмотрим?

Вместе тщательно все осмотрели.

— Хорошо,— оценил я их работу.— А вы как, ребятки? — спросил бойцов.— Перед боем можно и не по-уставному.

— Теперь он,— показывая в сторону противника,— сюда не сунется! — полушутя, полусерьезно заверил белобрысый красноармеец, лицо в веснушках, ямочка на левой щеке, задорное русское лицо.

— Это почему же, Воронин? — полюбопытствовал я.

— Так мы же — сила, товарищ политрук! — Он ткнул себя в грудь и указал на товарищей.— У каждого пушка да по двадцать снарядов! А бомбы?!

«Ничего себе «пушка»... Вооружены обычно: винтовка с двумя десятками патронов («пушка—снаряды») и по две гранаты («бомбы»).

— Это верно,— подхватил я шутку.— Ну а если все же сунется?

— Пусть только попробует! — В его ответе была, конечно, бравада, но и решимость тоже.

— Ну-ну, Воронин,— одобрил я и напомнил: — Главное, товарищи, упредить врага: подорвать объекты, а потом скрытно отойти. В бой вступать смотря по обстоятельствам. Ясно?

— Так точ-чно! — разом как бы выдохнули бойцы, и я пошел дальше.

«Напряжение чувствуется: не за горами враг. Напряжение, но не растерянность, не страх».

Подходил к одному, к другому, знал каждого по имени. Каждому стараюсь сказать какое-либо слово, способное взбодрить, вселить уверенность, найти то подходящее слово, которое так необходимо перед лицом опасности.

Котовск, 2 августа, 20.00

Артиллерийская канонада, весь день доносившаяся издалека, к вечеру усилилась. Орудийный гул все приближался. Снаряды рвутся где-то в стороне. «Обстреливают что-то рядом. Знают, гады: из Котовска часть ушла. Поступит ли приказ? Вряд ли...»

«Гостя» ждем с севера, сюда обращено все внимание комсомольского отделения сержанта Михаила Боброва: Оганез Чилингарян, Ишхан Кюркчян, Сико Сурмава. Сюда пришел и я.

Но что такое? Первые автоматные очереди не с севера, а с юга. Неужто обошли?! Эти опасения подтверждает связной Волков:

— Немцы! Жмут! С юга! — еще не отдышавшись, выговорил он.— Командир приказал подрывать и отходить на юго-восток, к селу Липецкое.

На противоположном конце станции прогремели взрывы — один, второй, еще, еще!.. Как свеча вспыхнул объятый пламенем вокзал, загорелись склады, снова взрывы. «Мартин со своими действует»,— отметил я.

И тут вдали мы увидели фашистов. Они шли, человек двадцать, в зеленых рогатых касках, поводя из стороны в сторону «шмайсерами», которые держали где-то у животов, и строчили короткими очередями. «На всякий случай палят»,— соображаю и говорю Боброву:

— Взрывайте и отходите. Все ручные гранаты — сюда, я и Чилингарян прикрываем.— Пригибаясь, они побежали к объектам.

А гитлеровцы уже недалеко.

— Давай, Оганез, только спокойнее, не мажь.

«Бах, бах» — это наши две трехлинейки. Падает один фашист, заваливается на бок другой, третий... Но остальные безостановочно прут прямо на нашу траншею. Раздаются взрывы, и перед нами, кажется, вздыбливается железнодорожная насыпь, в воздух летят куски шпал, щебенка, песок.

— Ру-ус! Капут! Здавайс! — истошно орут враги.

— Выкуси,— и кричу прямо в ухо Чилингаряну: — Гранаты!— Выдергиваю чеку и швыряю свою, вслед бросает Оганез. Оба спортсмены, мы метнули далеко — грохот, ругань, стоны. Осторожно приподнимаюсь: ага, отбежали влево, в кустарник! Но тут же начинают лупить минометным: осколки, осколки... «Долго нам не продержаться»...

Где-то близко шлепается мина. Оглушило, бросило наземь, в глазах поплыли огненные круги... Прихожу в себя, вскакиваю, выплевываю песок, отряхиваюсь.

— Отходим, Андро! — тянет за руку Чилингарян.

— Минуту, одну минуту! — кричу каким-то не своим голосом.— У меня осталось еще две гранаты!

Опять показались гитлеровцы. Сильно размахнувшись, одну за другой бросаю гранаты.

— Вот вам, гады!

И — тут же взрывы наших зарядов, в воздух взлетают стрелочные крестовины, переводные механизмы, осела и стала заваливаться водонапорная башня. Станция в огне, густом, черном дыме.

Пригибаясь, бежим догонять товарищей. А позади взрывы гремят и гремят...

На окраине догнали своих и двинулись по большаку.

Я шел и думал: далеко не уйти, у врага машины, мотоциклы. Придет в себя, нагонит. То же читал в глазах товарищей.

«Эх, политрук, представитель партии! — мысленно укоряю себя.— Что, раскис? Не имеешь права. Подберись, на тебя люди смотрят!» И уже зычно, весело подаю команду:

— Выше головы, ребята! Не унывать — приказ выполнили, врага остановили! — И завел любимую — «Три танкиста»:

...Там врагу заслон поставлен прочный...

Песню, сначала вразнобой, потом дружнее подхватили бойцы, голоса окрепли, и зашагали люди живее. Но отошли километров шесть, и темп поубавился; устали, сказывалось нервное напряжение. Иду впереди колонны, вдруг слышу — ржание и в сумерках вижу силуэты сбившихся в табун лошадей.

— Кони, ребята! — кричу.— Кони!

Лошади были кем-то брошены на колхозном дворе.

Наездники мы были неопытные, но через несколько минут рысью неслись по неровной ночной дороге. В Березовке наша команда присоединилась к батальону.

Первый бой. Мы только еще учились воевать в те начальные, самые тяжелые месяцы войны. Но, вступив в неравную схватку, все же выстояли, нанесли урон врагу, задержали его продвижение. Это была первая наша лепта, небольшой вклад в далекую еще Победу.

Впереди же была героическая эпопея обороны Одессы.

Александр
ДУНАЕВСКИЙ

НЕ ОТСТУПИЛИ НИ НА ШАГ

Героический 205-й стрелковый полк вдохновляет все полки Красной Армии на новые подвиги, на великую славу, на беспощадную борьбу с фашистами.

Красная звезда, 1942, 25 января

Телеграмма с пометкой «срочно». Из военного отдела «Правды». Нужен очерк о военном комиссаре полка.

Из Мурманска направляюсь в район боевых действий дивизии, тогда еще 52-й стрелковой. Потом она первой на Карельском фронте удостоилась почетного звания и стала именоваться 10-я гвардейская. Ее военком Михаил Васильевич Орлов — человек, скупой на похвалы,— посоветовал побывать в 205-м полку, познакомиться с военкомом полка батальонным комиссаром Иванниковым.

— О нем стоит написать: это, можно сказать, наш заполярный Фурманов. Правда, в первые дни войны не было с ним рядом Чапаева. Командира полка отозвали, нового еще не назначили. Вся ответственность легла на плечи комиссара. И плечи эти выдержали: ему бойцы верят, его слово для них — закон, пойдут за комиссаром без страха и сомнения в огонь и воду.

Кажется, моему собеседнику никакие анкетные листы не требовались. Я узнал: Анатолий Капитонович Иванников родился на Южном Урале, в крестьянской семье. Рано остался сиротой, изведал горькую долю батрака. В поисках работы ушел в город Троицк. Начинал грузчиком на железной дороге, потом слесарил на заводе. В двадцать девятом стал коммунистом и в том же году напрочно, на всю жизнь связал свою судьбу с армией: был красноармейцем, курсантом полковой школы, политруком батареи, секретарем полкового партийного бюро. С тридцать восьмого года стал комиссаром 205-го, переброшенного из Белоруссии на Крайний Север. В советско-финляндскую полк отличился, стал Краснознаменным.

Михаил Васильевич поднялся из-за стола и направился к карте.

— Вот здесь,— прикрыл ладонью цепь озер, высоток, лощин,— полк держит оборону. И не просто оборону — а активную! Первым на своем участке остановил хваленых горных стрелков. А о егерях геббельсовская пропаганда раструбила на весь мир как о покорителях Крита и Нарвика. К Мурманску они пробивались не с моря, а с суши, чтобы лишить нашу страну незамерзающего порта, отрезать город от Большой земли.

О том, что гитлеровское командование предвкушало легкую победу на северном театре войны, я был наслышан еще до поездки на фронт. Видел даже отобранный у пленного немца красочный пригласительный билет на торжественный банкет по случаю взятия Мурманска и карту на немецком языке, где в числе других захваченных наших городов значилась и столица Заполярья.

Но мурманский орешек оказался не по зубам даже отборным немецким частям. В то время когда на других фронтах наши войска вынуждены были отступать, 205-му в районе реки Западная Лица удалось остановить зарвавшегося врага. Душой и организатором этого успеха был батальонный комиссар Иванников. Мое профессиональное нетерпение поймет каждый: поскорее, любым способом добраться до 205-го.

Орлов тут же приказал дежурному телефонисту соединить его с полком и пригласить к аппарату Иванникова.

— К вам едет Дунаевский,— начал военком и, не успев объяснить, кто я и с какой целью направляюсь в полк, отдернул трубку от уха: в ней послышался неимоверный свист и треск. На моей фамилии разговор оборвался. Связь прекратилась ненадолго. Когда телефон снова заработал, в трубке раздался хрипловатый голос Иванникова:

— Никакого Дунаевского мне сейчас не надо. Нам сейчас не до него!

— Как не до него?! Не скромничай, Анатолий Капитонович, тебе есть что рассказать!

— Да рассказать-то есть что, товарищ военком, но...

— Никаких «но»! Кончай разговорчики. Приказываю принять товарища из Москвы как положено.— И повесил трубку.

Хотя стрелка часов неумолимо приближалась к двадцати, ничто в горах не напоминало о наступлении вечера. Светло, почти как днем.

Ждать утра не было смысла, и я отправился в 205-й. К случаю, и посыльный из этого полка оказался в штабе дивизии. Бывший лесоруб из Карелии, поначалу он показался мне человеком замкнутым, неразговорчивым. На мои вопросы о батальонном комиссаре отвечал коротко, несколькими словами:

— Душа человек. Отец-комиссар.

Обычно этим, самым близким с детства словом бойцы называют любимых командиров. Как я ни пытался наводящими вопросами разговорить бойца, выудить из него столь необходимый для очерка материал из первых рук, молчун оставался верен себе. Зато неплохо ориентировался на местности, уверенно вел по извилистой горной дороге. Впрочем, дорогой ее в обычном представлении не назовешь: кругом каменные глыбы, подножья скал, покрытые разноцветным мхом — густо-зеленым, серым, оранжевым. Разросшийся мох

подчас скрывал неровности, а то и подстерегающие опасности. Поспешишь, сделаешь неосмотрительный шаг — и провалишься в расщелину, заполненную водой, а еще хуже — наткнешься на острые камни.

В отличие от других, мурманский участок пустынен, на десятки километров не встретишь населенного пункта, где можно было бы спрятаться от непогоды, согреться, обсушиться. А это так жизненно необходимо при коварной северной погоде: утром греет солнце, днем льет дождь, а к вечеру вдруг завьюжит.

В не отправленном в Гамбург письме убитый немецкий ефрейтор, незадачливый завоеватель здешних мест, сетовал: «Бог создал небо и рай, а черт — Мурманский край». Письмо попало мне в руки в ту самую пору.

Природа щедро разбросала здесь валуны, разрисовала каменистую землю причудливыми расщелинами, где ни окопов, ни траншей не выроешь. Скалы не поддаются ни лопате, ни лому.

И все же мы тут воевали и — особенная гордость — врага не пропустили!

В штабе дивизии меня снабдили картой, напечатанной еще в мирное время. Многочисленные безымянные высотки, отличавшиеся одна от другой лишь голыми номерами. В первые же дни войны они получили у воевавших за них разные названия: Зеленая, Горбатая, Лысая, Важная... Стоило нам лишь поравняться с Зеленой — вершина ее была покрыта мхом и травой,— как вдруг мой проводник, проронивший за всю дорогу два-три слова, заговорил:

— Тут нам ох как досталось. Но немцу не отдали. Отец-комиссар сказал, что за Зеленой — Мурманск. Куда же отступать?..

Я уже не задавал ему традиционных в таких случаях вопросов: «Как отстаивали эту высоту? Кто отличился в боях?» Разговорившийся проводник сам выложил все по порядку.

Зеленая получила еще одно название — Горелая. За нее дрались, как на других фронтах воюют за большой город, как за стратегически важный железнодорожный узел. Фашистские самолеты непрерывно бомбили высотку. Тысячи снарядов, бомбовых осколков вонзились в ее тело. Горели мох, трава, карликовые березки. Казалось, под шквальным огнем плавились камни. Горным стрелкам удалось захватить Зеленую, но ненадолго. Политрук 5-й роты Иван Быков, до войны — сотрудник районной газеты, создал из добровольцев отряд и, напутствуемый Иванниковым, повел на штурм высоты. Перед началом атаки комиссар приказал поставить дымовую завесу, ввести противника в заблуждение, а самим атаковать с флангов.

Операция удалась. Над Зеленой вновь взвился красный флаг, а на гребне и склонах остались трупы убитых немцев, ручные

пулеметы, автоматы и даже пушка, которую Быков обратил против самих же егерей.

Карабканье по серо-бурым валунам оставило свои отметины на моих кирзовых сапогах — тяжелоступах, на коленях защитных брюк, на гимнастерке, пропитавшейся соленым потом... Что и говорить, в неприглядном виде предстал я перед дежурным по штабу 205-го.

— Вы что, один? — удивился он.— А где же ваши люди?

«О каких людях он толкует? — подумалось мне.— Может, решил, что я — офицер связи из той части, которая двигалась из Мурманска на передовую и которую мы обогнали в пути?»

Прервав мои мысли, дежурный продолжал:

— Комиссар о вас уже несколько раз справлялся. Сейчас доложу о прибытии.

Ждать долго не пришлось. Через несколько минут появился рослый, подтянутый человек с двумя шпалами в петлицах.

— Батальонный комиссар Иванников,— представился он, протягивая мне широкую, крепкую ладонь, и, оглядываясь по сторонам, спросил: — А где же ваши веселые ребята?

— Какие ребята? Как видите — в единственном числе...

— А я-то тревожился, прикидывал, где же всех разместить. У нас ведь кругом — одни валуны. До вас фронтовая бригада была. Всего шесть артистов, и то еле устроили. А тут, думаю, целый ансамбль... Теперь, раз вы один, гора с плеч. А за зрителями дело не станет. Песни ваши бойцы и знают, и любят. Быстренько соберем всех свободных от службы. Найдется и баян...

И тут я понял, за кого меня здесь принимают. Сказал, что я только военный корреспондент и ни голосом, ни слухом не обладаю, родители, увы, не наделили музыкальными способностями.

Иванников недоверчиво покосился: не разыгрываю ли? А потом, улыбнувшись, сказал:

— Мне же звонили. Предупредили, кто к нам едет. Я и бойцам объявил. Не скромничайте, пожалуйста! У нас все сойдет, если запоет сам Дунаевский. Только начните, мои бойцы сразу подхватят!

— Если запою,— предупредил я, рассмеявшись,— боюсь, что бойцы не подхватят, а... разбегутся. А этим, неровен час, может воспользоваться противник.

Для большей убедительности пришлось предъявить телеграмму из «Правды» и свое редакционное удостоверение.

Когда на главных направлениях фронтов шли кровопролитные бои, в районе реки Западная Лица, к берегам которой примыкали длинной чередой высотки и лощины, было сравнительно тихо.

В первые дни войны горные стрелки, находившиеся на другом берегу реки, делали вид, что не собираются наступать: спокойно, вразвалочку, группами и в одиночку ходили умываться к реке, распевали песни под губные гармошки.

Переброшенный сюда, на новые позиции, к водному рубежу, 205-й получил задачу — преградить врагу дорогу к Мурманску. Иванников раскусил фашистскую браваду. Собрал коммунистов, комсомольцев и на конкретных доходчивых примерах объяснил, в чем сила и слабость противника. Нельзя недооценивать, но ни к чему и переоценивать его реальные возможности. Недооценка родит беспечность, шапкозакидательство, ослабит бдительность; переоценка поведет к неуверенности в своих силах, посеет, может быть, панические слухи...

Надо было основательно подготовиться к обороне. Речь зашла о необходимости складывать из дикого камня ячейки, траншеи, так как многие сетовали на неподатливость скалистой земли: ее ни тяжелым ломом, ни острой лопатой не возьмешь, не копнешь.

— Верно, не копать, а сооружать надо,— объяснил сомневающимся батальонный комиссар и наглядно показал, каким образом можно выкладывать из больших и малых валунов, разбросанных вокруг природой, индивидуальные окопчики, стенки для ручных пулеметов. Как же все эти нехитрые сооружения пригодились, сколько жизней спасли!

Полярный день на Крайнем Севере — самый длинный. Незаходящее солнце несет в летнее время круглосуточную вахту. Порой не сразу отличишь, когда кончается день и вступает в свои права ночь.

В лощине, стиснутой горами, расположился штаб 205-го и тыловые подразделения. Тут же рядом — отдельная артиллерийская часть. Впереди — водный рубеж: один берег в руках противника, другой — наш.

В ночной тишине вдруг повеяло едким дымом.

— Откуда его несет? — спросил у дежурного по штабу батальонный комиссар Иванников.

— Должно быть, фашисты развлекаются, жгут мох и траву...

Иванников усомнился: немцы — за рекой, а бурый дым стелется со стороны, где 205-й стыкуется с другой частью. Там немцев нет, оборону держат наши, бойцам забавляться кострами ни к чему. Да и травяной дым не такой уж едучий, а от этого глаза краснеют, слезятся. Не дымовая ли завеса противника?

Предположение оправдалось. Воспользовавшись тем, что дивизия держала оборону на широком фронте, егеря просочились на стыке двух полков. Полторы тысячи горных стрелков со знаками эдельвейса на рукавах под прикрытием дымовой завесы спустились

с окрестных высоток в лощину. Шли шеренгами, во весь рост. Шли напролом, используя приемы психической атаки. Рассчитывали, что внезапное нападение застигнет полк врасплох, вызовет панику.

Увидев, что гитлеровцы приблизились к артиллерийским позициям, Иванников принял решение — повернуть тяжелые пушки на сто восемьдесят градусов и прямой наводкой расстрелять егерей. Пришлось и зенитчикам также обратить дула орудий, смотревших в небо, на наземные цели. Под огнем вражеские шеренги расстроились, егеря заметались. Опомнившись, снова пошли в атаку. Им удалось приблизиться к орудиям, и тогда наши пушкари пустили в ход ручные гранаты. Натиск был отбит умелыми действиями артиллеристов. Но вскоре появилась новая шеренга, егеря стали окружать тылы полка, его командный пункт.

Что делать? Оголять передовую — нельзя. Военком решил использовать все наличные силы, включая штабных работников, телефонистов, ездовых, писарей, музыкантов: трубачи вооружились ручными гранатами, повара взяли в руки винтовки...

По оценке комиссара «нестроевая команда» громила фашистов не хуже, чем бойцы строевых подразделений. И это вполне закономерно: все они еще в мирное время успешно сдали нормы на значки «Готов к труду и обороне» 1-й и 2-й ступени. Были среди нестроевиков и «ворошиловские стрелки». Как им пригодилось все это в жаркой схватке с фашистами!

Сам Иванников то ползком, то перебежками добирался до места, где решался успех боя. И словом, и личным примером поднимал бойцов, ободрял их. А они мужественно, решительно бились. Вражеская атака захлебнулась. Оставив множество трупов, противник отошел.

Безымянная долина у ручья стала для гитлеровцев долиной смерти, а для бойцов 205-го — долиной славы. Так назвал эту лощину в своей книге «У хладных скал» генерал-майор Георгий Александрович Вещезерский, бывший командир гвардейской дивизии, в которую входил 205-й полк. Как же не привести слова, сказанные военачальником, воздающие должное храбрецам, воспитанным батальонным комиссаром Иванниковым: «Бой в долине ручья чрезвычайно поучителен. Он сразу распался на десятки мелких, разрозненных, ожесточенных схваток. В этой обстановке, крайне неясной и сложной, все зависело от мужества и расторопности бойцов и командиров. И надо сказать, что они проявили эти качества в полной мере. Дрались храбро, инициативно и находчиво...

Трудный бой выдержал личный состав командного пункта 205-го стрелкового полка. Егеря несколько раз бросались в атаку на горстку бойцов, но были отбиты с большим уроном. Здесь боем руководил батальонный комиссар Иванников, временно

командовавший полком. Анатолий Капитонович — человек темпераментный: выступая перед бойцами, всех увлекал своим воодушевлением. Его любили за простоту и сердечность, уважали за храбрость. В час испытания, когда командный пункт полка окружили егеря, Иванников проявил незаурядные организаторские способности. Он умело расставил людей, разъяснил каждому задачу. Видя, как комиссар спокойно и деловито организует отпор врагу, бойцы проникались уверенностью в успешном исходе боя. А в самую решительную минуту Иванников возглавил контратаку. И враг не выдержал, обратился в бегство».

Приняв удар и отразив его, бывалые бойцы 205-го поверили в успешный исход боя. И не только они. Несколько молодых, еще не обстрелянных красноармейцев из другого подразделения отошли было от передовой, но увидев, как бесстрашно действуют артиллеристы и пехотинцы под командованием Иванникова, подавили в себе страх, присоединились к ним. Подобрав оружие, брошенное противником, они смело разили врага из его же автоматов.

Вот как велика заразительная сила примера!

Радость первого боевого успеха. И горечь первых утрат, невосполнимых потерь. Крылатыми стали слова, сказанные батальонным комиссаром на похоронах погибших товарищей: «У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет». Поэт Константин Симонов, побывавший на Мурманском направлении, быть может, именно от Иванникова услышал эту фразу, и не исключено, что дословно повторил в своем стихотворении.

Летние бои сорок первого принесли полку заслуженную награду. К боевому стягу рядом с орденом Красного Знамени был прикреплен орден Ленина — самая высокая награда Родины. На груди военкома Иванникова появилась еще одна правительственная награда — второй орден Красного Знамени. Забегая вперед, скажу, что среди известных мне политработников — а знал я их немало — не приходилось встречать таких, кто бы за войну был награжден пятью этими славными орденами. Последний — за освобождение Праги — нашел боевого комиссара спустя двадцать лет в Минске, где он живет и по сей день.

Когда глубокой осенью сорок первого я снова посетил 205-й стрелковый полк, Анатолия Капитоновича Иванникова в нем уже не было: его назначили начальником политотдела в сформированную в Мурманске дивизию, получившую название Полярная. Ее костяком стали мурманские коммунисты и комсомольцы. Потом он был комиссаром 313-й стрелковой.

Сколько раз был ранен! На окраине Медвежьегорска Иванникова подстерегла мина. Двенадцать осколков впилось в тело комиссара. В госпитале пробыл недолго: весь забинтованный, побледневший и осунувшийся вернулся на командный пункт, отказавшись от отпуска по ранению.

С Карельского фронта бесстрашного комиссара перевели на Центральный, там доверили возглавить политотдел 15-го стрелкового корпуса, действовавшего в районе Курской дуги. Потом Иванников воевал на Днепре, Припяти, Одере. Когда на Одерском плацдарме противник прижал стрелковый корпус к берегу, на КП позвонил командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Конев. Решительно заявил комкору, что на восточном берегу для соединения места нет, и тут же поинтересовался: где находится комиссар Иванников?

— Он здесь, рядом со мной,— ответил комкор.

— Передайте ему трубку.

Маршал знал Анатолия Капитоновича лично, ценил его, верил ему. Командующий еще раз повторил поставленную корпусу задачу, выразил уверенность, что Иванников будет действовать, как в Заполярье...

...После войны разыскал Иванникова Быков Иван Петрович — тот самый политрук роты Ваня Быков, который по его заданию водил бойцов на штурм высоты Зеленой. Вот строки из его письма: «Дорогой мой комиссар! Замечательный человек, друг души моей! Твой живой образ я пронес в сердце своем и памяти через десятилетия после расставания. Ты мне дал боевую путевку в жизнь. Ты отпечатался в моем сознании как человек орлиного племени большевиков, с несгибаемой волей и богатырским мужеством, глубокой задушевностью и сердечностью, с чутким вниманием к людям. Ты — первый, кто научил Ваню-приписника стилю кадрового политработника, кто точно определил мое призвание к воинской службе.

За все это тебе — от чистого сердца русское спасибо!»

Так написал один политработник другому. Что выше такой похвалы?

Помнит комиссар о своих воспитанниках. О командирах и политработниках, таких, как Быков, комбат Павел Гуреев, командир батареи Иван Кожин, и многих других. Анатолий Капитонович подготовил книгу, назвав ее «Они были героями скалистых высот». Для них, не доживших до Победы, Иванников нашел идущие из сердца слова.

ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

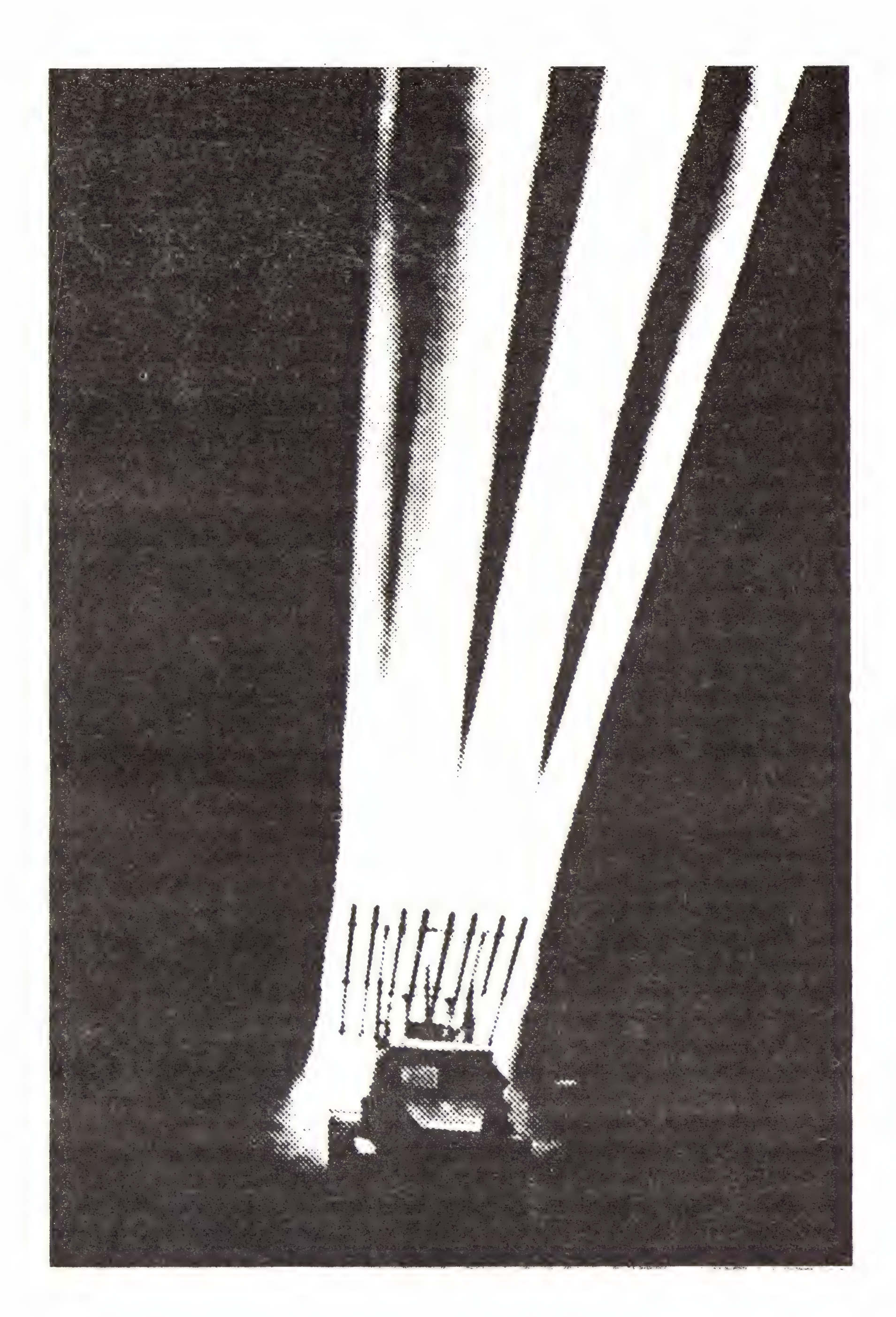
ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ

ПОРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ПОДСТУПАХ МОСКВЫ

С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву...

6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери... Теперь уже несомненно, что... хвастливый план окружения и взятия Москвы провалился с треском. Немцы здесь явным образом потерпели поражение.

Совинформбюро



Валентин
ОСИПОВ

СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 18 ноября 1941 года

В течение 18 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили на **Калининском, Волоколамском** и на одном из участков **Юго-Западного** фронта. Наши войска отражали атаки противника, уничтожая технику и живую силу немцев.

16 ноября грозного 1941 года. Разъезд Дубосеково. Войска немецких армий группы «Центр» всего в 90 километрах от столицы. Это тогда прозвучали слова ротного политрука, ставшие мобилизующим призывом для всех сражающихся: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».

Имя его — Василий Георгиевич Клочков. Оно стало легендарным. О нем и его 27 соратниках по смертному бою поют песни, созданы стихи и поэмы, написаны книги, в их честь сооружены величественные мемориалы. Память о них вечна.

Всего 30 лет прожил ротный политрук.

Что же помогло Василию Клочкову обрести себя для бессмертного подвига? Как и где накопил все те качества, что выливаются для нас в беспредельно емкое слово «герой»?! Как шел он к бессмертному подвигу?

1. ВОЙНА

Накануне... У нас есть возможность достаточно подробно, едва ли не час за часом, проследить, как складывался для Василия Клочкова и его роты этот день, предшествующий Дубосеково.

Из оперативной сводки 1075-го полка, помеченной восемью часами утра 15 ноября 1941 года: «Подразделения продолжают укреплять район обороны». Значит, уже давно не спали.

Генерал Панфилов объезжал позиции. Был он и у разъезда Дубосеково. Что это — случайность? Или он заранее, сообразуясь со своим опытом, понял и предвидел особую ответственность фланга полка, стыка с соседями, требующего его специального догляда? Рядом группа войск генерала Доватора. Разъединение, разбитый стык, опрокинутые фланги — что может быть страшнее?.. Выслушали его советы, как лучше подготовиться к бою.

Нет точных сведений о том, были ли здесь в эти пятнадцать — двадцать минут комроты П. М. Гундилович и политрук В. Г. Клочков. Но позволю себе предположить, что были.

Полдень. В соседней 5-й роте разгорелась перестрелка. По всей видимости, враг предпринял разведку боем. Здесь, в 4-й, вслушивались, тревожились за друзей и готовились, в случае чего, прийти на помощь.

День перевалил на вторую половину. Из воспоминаний комсорга полка Б. Джетпысбаева:

«Пошел в четвертую роту. Навстречу мне Гундилович. Спрашиваю, где политрук. Капитан указал на правый фланг, в сторону разъезда Дубосеково: «Там он, во втором взводе, знакомит солдат с бронебойкой». Я иду по траншее и думаю: «Ну, все понятно. Недавно к нам в дивизию поступили противотанковые ружья Дегтярева. Сам генерал проводил с командирами и политработниками показные занятия, а в конце попросил, чтобы мы каждого солдата познакомили с этим оружием. Вот Василий и старается, он не привык ни одно дело откладывать...»

Солнце шло к закату. Прямо в расположении роты, в окопах состоялся летучий солдатский митинг. Выступил политрук, сказал:

— Врага не пропустим, хотя бы это стоило нам жизни.

Спускались сумерки — в ноябре смеркается рано. Еще одно событие, связанное с Клочковым, о котором рассказал И. М. Дергачев из разведроты:

«У окопов около Дубосеково наша группа, возвращающаяся с задания, встретила политрука Клочкова. Он приказал нам остановиться, выслушал объяснения и велел продолжать следовать на КП дивизии, а нас — меня и еще одного — задержал. Мы получили от него приказ: «Идти на передний край, чтобы уточнить силу противника, скопившегося напротив его роты». Нарушил, как подсказывают мне ветераны, Клочков таким приказом уставной порядок, но думаю, имел на этот счет основание.

Наступил вечер. Рота Гундиловича и Клочкова подготовилась к бою. Кто-то из тех, что занял оборону у Дубосеково, сбегал к будке путевого обходчика, взял кипятку для товарищей...»

Теперь перенесемся с передовой туда, где располагались хозяйство политотдела и редакция дивизионной газеты. Здесь верстали завтрашний номер. Наверное, газету готовили с особой радостью. В ней будет приказ командующего фронтом Г. К. Жукова о награждении панфиловцев за геройские подвиги по защите Москвы еще в октябре, в первый фашистский штурм. И там под заголовком «Орденом Красного Знамени» есть строка: «...политрука Клочкова Василия Георгиевича».

Приказ датирован 7 ноября. Разумеется, многие уже знают о нем. Клочков тоже. Но прочитать смогут лишь завтра. Да только не все прочтут...

Из воспоминаний Петра Ивановича Софронова, одного из полковых офицеров:

«Поздно вечером штаб полка получил боевой приказ Панфилова. Были сразу же вызваны командиры батальонов и рот. Командование полка стало разрабатывать с ними детали. Дольше других задержались капитан Гундилович и политрук Клочков. Сидя за крохотным столиком, с ними о чем-то беседовали командир и комиссар полка...»

Уже вернулись в свои роты такие же, как и Василий Клочков, ротные политруки Андрей Георгиев, Андрей Павлов и Петр Вихрев. На следующий день и они со своими солдатами совершат подвиг, равный подвигу двадцати восьми, и они ценой жизни остановят атаки фашистских танков и посмертно будут удостоены высших наград Родины.

Каждый из них уносил из штаба вместе с приказом не единожды в тот день повторенное напутствие генерала, которое передал им комполка И. В. Капров:

— Важно выиграть первый бой. Выиграть во что бы то ни стало! От этого зависит последующая боеспособность дивизии.

Сутки на исходе. Прибыли посланные Клочковым разведчики. Клочков выслушал их донесение, поблагодарил и, попрощавшись, отпустил отдыхать. Данные, которые он и Гундилович получили в штабе, подтвердились: впереди танки. Но не ведали они, с какой армадой им выпадет сразиться...

На оборонительных рубежах 16-й армии, на позициях панфиловской дивизии предгрозовая тишина. Двухнедельная пауза позади. Немцы еще с утра ударили по правому соседу — 30-й армии генерала Лелюшенко.

Полночь. В типографии газеты «Правда» печатали очередной номер. В нем среди прочего строки: «На Волоколамском направлении части Рокоссовского укрепляют занятые ими позиции». Интересно получилось: написано будто и о 4-й роте, словно побывал у них корреспондент и увидел, как, копая, долбя мерзлую землю, улучшают позицию, что провели митинг и поклялся политрук не отступить, что полны солдатские сердца жаждой боя и порыва ни за что не отдать родную Москву.

Весь день готовились к завтрашнему бою. Спят солдаты. Прилегли и командир роты, и политрук.

На картах по другую сторону фронта штабисты уже нанесли стрелы и стрелки. Одна из них нацелена на Дубосеково. Утро следующего дня показало, что по флангам дивизии и были обрушены особенно сильные удары. В боевом приказе И. В. Панфилова говорилось, что противник сосредоточил для удара несколько дивизий. Сегодня мы знаем, какая это была огромная сила: две танковые и две пехотные.

Утро, вошедшее в историю битвы за Москву...

Из боевого донесения 1075-го полка в штаб дивизии с пометкой

«8-00»: «В 7-00 противник открыл минометный огонь из района Жданово по Б. Никольское, Нелидово, Петелино».

Нелидово, заметим, это один из участков обороны, закрепленный за ротой Гундиловича и Клочкова. Дубосеково — рядом, в девятистах метрах.

Началось!.. Теперь мы знаем час, когда настала пора ротному политруку Василию Георгиевичу Клочкову с боевыми побратимами занять свой последний в жизни огневой рубеж.

Еще строчка в донесении. Не отказать И. В. Капрову в точности понимания того, что вот-вот начнется главное: «Шум моторов, движение пехоты. По-видимому, противник готовится перейти в наступление».

Те, кто ждет в окопах у Нелидово или Петелино, уже, вероятно, видят врага.

Проникнуться бы ощущением того, о чем думают панфиловцы, убедившись, что — началось. Какая же ответственность в эти минуты на каждом из них — от бойца и политрука в окопе до комполка и комдива на КП. За ними Москва. У них работа, у каждого своя, но и единая для всех.

Всем им вчера было неоднократно повторено: Москва — позади, от них зависит все.

Из воспоминаний Г. К. Жукова: «Не помню точно какого числа — мне позвонил И. В. Сталин и спросил:

— Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас это с болью в душе. Говорите честно, как коммунист».

Не подвело Капрова предчувствие. Началось. Из его нового донесения И. В. Панфилову: «Противник возобновляет свое активное наступление».

Да, началось!

Ротный политрук Клочков спешит ко второму взводу.

Как все здесь еще вчера было таким спокойным и мирным! Небольшой, по-зимнему тихий лесок охватывал полукольцом домик путевого обходчика. За ним тускло поблескивали уходящие вдаль рельсы, кое-где тронутые пятнами ржавчины — давно не проходили поезда. Впереди окопов — поле, под снегом чувствуется комкастая пахота. Придет весна, и подобреет, зазеленеет оно, выбьются к солнышку веселые стрелки побегов.

Нет ветра, но взбивается и взвихривается снег: уже издали видно, как вспарывают наст разрывы и прошивают его автоматные и пулеметные очереди.

Из дневника начальника генштаба сухопутных войск Германии Гальдера: «Фельдмаршал фон Бок лично руководит ходом сражения под Москвой со своего передового командного пункта. Его энергия гонит войска вперед...»

Генерал Панфилов всем сердцем своим с теми, кто на передовой.

Командир полка вспоминает, что утром комдив позвонил к нему на КП и поинтересовался, помимо положения на других участках, как подготовлены к обороне у Дубосеково, вспомнил Клочкова и нескольких бойцов по фамилиям.

Из сообщений Совинформбюро: «В течение 16 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах... Наши части отбили ряд ожесточенных атак немецко-фашистских войск. В ходе боев противнику нанесен большой урон в живой силе и вооружении».

Из воспоминаний комфронтом Г. К. Жукова: «Немецко-фашистские войска нанесли мощный удар в районе Волоколамска... Враг, не считаясь с потерями, лез напролом, стремясь любой ценой прорваться к Москве своими танковыми клиньями».

Из воспоминаний командарма К. К. Рокоссовского: «Сразу определилось направление главного удара в полосе нашей армии. Это был левый фланг — район Волоколамска, обороняемый 316-й дивизией и курсантским полком.

Атака началась при поддержке сильного артиллерийского и минометного огня и налетов бомбардировочной авиации. Самолеты, образовав круг, пикировали один за другим, с воем сбрасывали бомбы на позиции нашей пехоты и артиллерии.

Спустя некоторое время на нас ринулись танки, сопровождаемые густыми цепями автоматчиков...»

Но вернемся в ранние часы наступившего дня. Сохранилось самое последнее перед боем свидетельство о встрече с политруком. Оно вошло в книгу А. Кривицкого «Подмосковный караул».

«Мухамедьяров,— пишет он о комиссаре части,— шел из штаба полка на КП четвертой роты. Шел кустарником. Только что противник отбомбил наш передний край. Можно было проскочить в промежутке между новой заварушкой. Панфилов предупредил: «Немцы будут лезть на Дубосеково изо всех сил. Надо посмотреть, что и как у Гундиловича». Вдали показался человек. Глаза у Мухамедьярова острые. Он признал Клочкова, окликнул его. Они сошлись.

— Куда? — спросил Мухамедьяров.

— Да там командир взвода тяжело ранен.— Клочков кивнул головой направо.— Ну мы решили с Гундиловичем, надо мне пойти. Там, видно, сегодня несладко будет.

— Правильно решили,— сказал Мухамедьяров.— Ну, Клочков, иди!»

Клочков спешил к своим соратникам...

Теперь всем известно подробно и в деталях, как проходил, как сложился и как закончился этот бой. Но я напомню главное.

Политрук добрался к разъезду, когда бой был уже в разгаре.

Накатилась первая волна автоматчиков, уверенных в победе. Половина из них осталась у окопов — трупами. Отбили!

Вторая волна — танки. Пока только двадцать. Политрук нашел в себе силы пошутить: «Меньше чем по одному на брата». Танки шли напролом. Четырнадцать из них подбито...

Снова атакующий вал — 30 машин. Вот тут и раздался воодушевляющий и известный сейчас всему миру клич политрука: «...отступать некуда. Позади Москва».

Горят стальные громадины. Но и обороняющихся все меньше и меньше. Кончаются боеприпасы. Молчат противотанковые ружья. Один из немногих оставшихся в живых панфиловцев И. Д. Шадрин вспоминает еще один призыв политрука: «Ребята, не тушеваться! Ведь мы с вами — красноармейцы...» Отбиваются гранатами. Вот и Клочков бросает под лязгающие траки свою последнюю связку. Перебил гусеницу. Но и сам пронзен пулями. Ранение. Смертельное...

Он до конца остался примером своим героям-единомышленникам.

Из последнего письма В. Г. Клочкова матери: «Немецкая свинья ползет на Москву. Но не видать немцам нашей столицы, как свинье неба...»

Из записей телефонных переговоров командующего группой армий «Центр» фон Бока и главнокомандующего сухопутными войсками Браухича в эти же ноябрьские дни:

«— Положение критическое. Я бросаю в бой все, что у меня есть, но у меня нет войск, чтобы окружить Москву.

— Фюрер уверен, что русские находятся на грани краха... Когда же этот крах станет реальностью?

— Что вы спрашиваете! Неужели вы не знаете, что здесь творится?»

Из письма политрука жене, датированного 7 ноября, за 10 дней до гибели: «Воевать я умею неплохо — мое подразделение считается лучшим в части. Буду стараться, чтобы быть героем с присвоением звания Героя...»

2. СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА

1936 год. Вольск. Небольшой городок в Саратовской области, но значительный в довоенные времена центр цементной промышленности. В. Г. Клочкову — 25 лет. Он в ту пору заместитель главного бухгалтера завода «Металлист».

29 июня. В этот день городская газета «Цемент» среди многих иных и прочих публикует заметку, в подписи которой стояло — «В. Клочков».

...Из 27 обнаруженных рабкоровских заметок и статей Клочкова с точно установленным авторством девять посвящены производственным делам на «Металлисте».

Читаю их. Несколько острокритических материалов показывают, как понимал и как осознавал будущий герой-политрук свой долг и обязанности.

21 апреля 1937 года первое в «Цементе» его выступление о положении на «Металлисте». Названа заметка не по-нынешнему лихо — «Идиотская беспечность».

«На складах завода «Металлист» скопилось огромное количество продукции, покупного сырья и изделий собственно заводского незавершенного производства.

...Завод очутился в тяжелом финансовом положении...

Дело снабжения и сбыта на заводе поставлено на самотек. Директор завода Рожков смотрит на все это сквозь пальцы, техноруk же завода Полуботько относится ко всем этим делам безразлично...»

Клочкову этого показалось мало. Видать, дела на заводе и вправду были подзапущены. Не прошло и двух месяцев, в «Цементе» еще два его критических сигнала. Первый — «Маринуют рационализаторское предложение». Подпись — «Клочков». Затем коллективное критическое письмо в редакцию. Три автора у этого письма — Клочков, Сафронов и Шибаев.

Как в бою — залп за залпом. Сразу чувствуется, что всерьез окрепла уверенность начинающего рабочего корреспондента в силе печатного слова.

Один из ветеранов «Металлиста», Н. А. Ермаков, вспоминает: «Его заметки не всем нравились, у некоторых появилось: мешает...»

А опустил ли руки? Потерял ли веру в действенность своей борьбы с недостатками? К счастью, нет. Сознавал, что прав, что коллектив за него, что поддержка партийной газеты значит очень многое. Клочкова трудно сломить. Неотступен был, если верил и если видел необходимость борьбы за правду.

Об этом рассказывают его товарищи по Вольску. Николай Алексеевич Ермаков: «Очень горячий был». Нина Платоновна Чижова: «Сильный душой был человек». Борис Гурьевич Караулов: «Плохо или хорошо, а он не унывал». Нина Георгиевна, жена Клочкова, тоже писала: «Вася был, я бы сказала, что даже слишком пристрастный. Характер у него был упрямый и настойчивый. Уж если что-то ему нужно, он этого обязательно добьется». Характер. Говорят: посеешь поступок — пожнешь характер. А поступки его таковы: «Глушители критики» — новое выступление Клочкова на страницах «Цемента». Статья большая, первая в его рабкорстве на несколько колонок и на видном в газете месте.

«Однажды я написал статью в газету «Цемент», в которой покритиковал Рожкова и бывшего техноруka Полуботько.

На второй день Рожков вызвал меня к себе в кабинет и заявил, что такой критики не простит.

...Он попытался уволить меня, но не подобрал для этого веского материала, пытался снизить зарплату, но также не нашел оснований. Сейчас он со мной не разговаривает».

Директор «Металлиста» опытен, проработал здесь много лет. Но можно догадываться, что в кипении страстей изменило ему чувство справедливости.

Добавим и то, что в газете вскоре появляется статья директора. В ней он так или иначе, но отвечает на критику, рассказывает о том, как изживаются заводские беды.

Конечно, нелегко досталась Клочкову победа. Но знал, не ради себя лично воюет: «Критика у нас является острым орудием в борьбе за выполнение решений партии и правительства нашими партийными, хозяйственными, профессиональными и другими организациями. Критика и самокритика помогают в нашей повседневной работе своевременно исправлять недостатки».

Черты будущего боевого политрука прорезаются не только в критических выступлениях, но и в его информациях, заметках, статьях.

Перечитываю его выступления о производственных делах на «Металлисте». Все они с цифрами, на сопоставлениях, с контрастирующими расчетами.

Легко подмечается такая особенность стиля заметок Клочкова: они густо «населены» именами передовиков, новаторов. Может, это от неопытности рабкора? Нет, это сознательное желание отметить как можно больше товарищей по заводу, отличившихся своей замечательной работой. Отсюда пошел и его комиссарский стиль: всегда видеть передового, равняться на него и равнять по нему других.

И всюду Клочков видит сердцевину человека, обозначает в биографиях, в жизни, в характерах тех, о ком пишет, активную общественную жилку — принадлежность к партии или к комсомолу, к разгоревшемуся в Вольске стахановскому движению, к общественной работе. Борис Сеничкин. Он модельщик, не просто художник своего дела, но и «кандидат партии, хорошо учится в политшколе и на курсах советского строительства при Саратовском облисполкоме». Или пишет о бригадире Соколове: «Прекрасная работа тов. Соколова приблизила его к большевистской партии. В 1936 году тов. Соколов вступил в группу сочувствующих».

Мне почему-то показалось, что, когда Клочков писал о нем, о себе думал. Ведь он тоже в группе сочувствующих.

Чем и как показал он себя в коллективе в эти заводские годы? Он, надо знать, член завкома. Он и рабкор. Казалось бы, и этого уже достаточно. Но биографу нужны подробности.

Ниточка снова потянулась со страниц газеты «Цемент». Читаю, и яснее видится образ Клочкова в многообразных, как выяснилось с помощью его же публикаций, общественных заботах...

Оборонно-массовая работа. 26 октября 1936 года на «Металлисте» заводской вечер проводов в Красную Армию. О нем рассказывает клочковская заметка: тут и торжественное напутствие призывникам, речи, песни, подарки от коллектива. И была клятва новобранцев служить Родине верно и честно... В ту пору Клочков был политруком городского комитета ОСОАВИАХИМ.

Там он впервые был назван политруком, и там начинался политрук Клочков.

Стенная печать. На заводе выпускается газета «За стахановские темпы». Клочков озабочен авторитетом стенгазеты, действенностью ее критики. Достается и заводскому руководству — оно, по мнению рабкора, слишком пассивно относится к выступлениям стенгазетчиков.

Увлечение искусством. 12 февраля 1937 года информация «Готовим постановку «Чужой ребенок». В драмкружке, как узнаю из заметки, вместе с Клочковым служащие, рабочие. А вот его восторженная рецензия на фильм «Ленин в Октябре».

Спорт. На заводе Василий Клочков, что видно из его заметок, тренер сразу двух команд — футбольной и волейбольной. Играющий тренер. На заседаниях заводского профкомитета разгорелись жаркие споры из-за рабочего спорта. Там не все просьбы и претензии своего товарища (Клочков тоже член завкома) восприняли и поддержали. Тогда 2 июня 1937 года появилась его статья «14 рублей на физкультуру»: завком «заморозил тысячу физкультурных рублей», выделенных «Металлисту» ЦК профсоюза цементников.

Правда всегда на его стороне потому, что он сам всегда на стороне правды.

Политическая учеба. В 1936 и 1937 годах в «Цементе» появились четыре статьи Клочкова о политическом просвещении на «Металлисте».

Интересно читать их внимательно. Это не просто, как можно было бы представить, отчет или информация с места события. Они обстоятельны в разборе сильных и слабых сторон политучебы на заводе, конкретными и деловыми советами, анализом методики занятий, а критика — заботливая и опять же подсказывающая, как лучше надо бы сделать. Любопытно, что некоторое время спустя системой политпросвещения на заводе заинтересовался горком партии. «Цемент» помещает обзорную статью завотделом агитации и пропаганды горкома, который подмечает в общем все те упущения, что в свое время подметил Клочков. Значит, широк был политический кругозор будущего политрука.

И наконец, еще одна черточка — дружба с комсомолом. Несколько его корреспонденций рассказывают о работе, учебе и отдыхе молодых рабочих. Суть и тональность их — неподдельная заинтересованность в правильном воспитании молодежи. Он с гордостью, нескрываемо любуясь, сообщает о тех, кто трудится по-настоящему, по-комсомольски, успевая заодно и учиться, и заниматься общественными делами.

Клочков конечно же свой человек в цехах и в бригадах. Он хорошо знает, чем и как живут на «Металлисте» молодые рабочие. Знает, как они работают, чего достигли, недаром пишет об этом со знанием дела. Знает и нужды, не может оставаться равнодушным, если кто-то вдруг на заводе обходит их вниманием.

1 июля 1937 года он печатает обширный отчет с собрания заводского актива, где цитирует острое выступление комсомольца-стахановца Геничкина. Порядком досталось мастеру-грубияну, к тому же помешавшему одному из молодых рабочих заниматься в аэроклубе. Клочков резок в оценке такого поведения: «Неправильное, непартийное».

Из Вольска мне прислали примечательную фотографию: Василий Клочков на комсомольском собрании. Надо думать, что оно было открытым, потому и пригласили.

Собрание, догадываюсь, проходило зимою и в каком-то холодном цехе. Все в пальто, но замечаю, что без шапок. У Василия в распашке воротника белая рубашка и тугой узел черного галстука.

Сфотографирован в упор, крупным планом, с таким же, как и он, молодым человеком.

Лица всех, кого захватил объектив, напряженны, сосредоточенны, ни одной улыбки. Кто-то из рядов, что позади Клочкова, тянет шею, чтоб лучше видеть и слышать. О чем говорит оратор, чему посвящено собрание? Тема, догадываюсь, серьезна.

Талант общественника... Мы отчего-то слишком редко так говорим о тех, кто, подобно Клочкову, увлеченно, добровольно и всего себя отдает людям. Даже простой пересказ клочковских статей и заметок воссоздает облик человека поистине талантливого на любовь к людям и подлинную заботу о них.

Но не только он писал. О нем тоже писали.

1938 год. «Цемент» публикует две статьи о пропагандистской работе, о неуемном стремлении Клочкова к самообразованию, о выполнении партийных заданий и поручений. В эту пору он работает в горторге и готовится вступить в ряды партии.

Автор первой из них, секретарь парткома горторга, пишет о группе сочувствующих. Он употребляет применительно к ним такие слова — «активны, аккуратны». Но вот и упоминание не вообще, а о Клочкове: «Так, например, тов. Клочков и Вантеев

оказались вполне подготовленными, чтобы руководить кружком текущей политики, и неплохо справляются с этой работой».

Вторая статья. Она крупным планом рисует Клочкова. В ней подробная информация о том, какой он пропагандист и что нового привнес в партийное просвещение своего коллектива. Наверное, эта публикация задумывалась редакцией как пропаганда нового для Вольска. Недаром она названа «Наш опыт агитационно-массовой работы»:

«Этот опыт, начатый по инициативе Клочкова и поддержанный парткомом торга, нашел отклик со стороны работников торга. Регулярно второй и четвертый день пятидневки собираются работники конторы на занятия, проводимые тов. Клочковым».

Так начинался путь к подвигу — со становления характера.

3. ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

Осень 1921 года. Саратовская область, где в селе Синодском родился и подрастал Вася Клочков.

Голод! Сестра и брат Клочкова рассказывают: «Все, что посеяли с весны,— пожгло. Ни хлеба, ни картошки. Ни соломы даже. Ходили в лес и собирали желуди и траву. Потом все это сушили, мололи, пекли и варили. Ужасно есть хотелось».

Их вывезли, спасая от смерти, в Сибирь.

«Ехали в красных вагонах с нарами,— рассказывает старший брат.— Ехали месяца полтора. Ехали так, что больше стояли. Мы с Васей просили милостыню. Помню — как забыть такое,— в Уфе нас накормили кукурузной болтанкой и кукурузными лепешками».

На всю жизнь оставила эта дорога свои незаживающие рубцы в памяти не только матери, но и ребят.

«Отец помер от голода». Эта строчка из автобиографии Василия Георгиевича Клочкова, которую он написал в 1940 году.

Мать вспоминала подробнее: «В Самаре в больнице мужа оставила. Больше с ним и не виделась». Да только одна смерть за собой еще две потащила: «Дорогой два самых младшеньких померли».

1926 год. Алтай, село Николаевка. Василию Клочкову — 15 лет. Он назначен заведующим избой-читальней.

«Изба-читальня — это то горлышко, через которое надо раскупорить темноту, невежество, пролить свет знаний. Совместно с партией комсомол — тот штопор, который призван для этого ответственного дела». Это я вычитал в одном из методических пособий ЦК РКСМ того времени.

Надо бы заметить, как строго старались отбирать кадры избачей. ЦК дал директиву: «В избачи надо избирать лучших комсомольцев ячейки, серьезных, взрослых, толковых ребят».

Взрослым Василия можно назвать только с известной долей преувеличения. И комсомольцем еще не был. Но — назначили.

Это только на бумаге все столь спокойно излагается. Мать, представляю, измаялась, глядя на его эту жизнь. До поздней ночи в делах. Утром не разбудить: губы почмокивают, как в детстве, спит сладко, а ведь с вечера сам просил — пораньше... И повадками совсем изменился: «Даешь! Двигаем! Дело требует!» Весны не видит, ласки березовых и черемуховых запахов не чует... Больше всего заботило — помогать мировой революции, подготовиться к вступлению в комсомол и народ приучить в читальню с охотою ходить.

Когда в первые дни сам решил провести беседу — никто не пришел. Ждал долго. Обиделся. Но шло время, и стал понимать, на кого опираться, а от кого подвоха ждать. Сами, пожалуй, придут — без особых объявлений, если лектор из райцентра: об отношении Советской власти к деревенскому вопросу или будет ли война. Агроном приехал — придется побегать по избам, но соберутся, пожалуют кулаки и середняки. Врач — просветительная беседа для женщин: мужиков надо уговаривать, даже и постращать, чтоб раскрепостили жен и бабок своих на вечер, после дойки коров и ужина; сами-то женщины любознательны. На комсомольские посиделки — только клич кинь молодежи, и кое-кто из женатых — демобилизованные или бывшие партизаны — обязательно явятся. Радио из Москвы коллективно послушать, концерт комсомольский к Октябрю и к Первому Мая, занятия по ликбезу, «Правду» или «Бедноту» с важными статьями прочитать — бедняки уже привыкли, только сообщи.

Накурят, хоть топор вешай, семечек под скамейки налузгают, что не веник, а впору метлу доставай, острыми вопросами шишек набьют, но душа у юного избача радуется...

Не придумал я ничего в этом перечне. Уверен даже, что многое пропустил.

Вот каким был Клочков в свои 15 лет, вот как начинал он свою стремительно взрослевшую жизнь. Нужно было обладать действительно заметными для Николаевки талантами комсомольского вожака, обрести доверие, и не только сверстников. Избач — это, значит, человек с определенной политической позицией, приметный и чисто житейскими качествами. Хорошо, что весел и остроумен был Клочков, любил попеть и знал притом множество песен, отчаян был в плясе, сочинял стихи.

Подоспел во всем «красный» год для В. Г. Клочкова. «В 1926 году в том же селе вступил в комсомол»,— сообщает он в автобиографии.

Немного было комсомольцев в районе, еще меньше в селе. Но если уж вступил в ВЛКСМ — будь первым. И первым во всем...

С этого года пошло в Клочкове то, что стремительно расцветало в нем яркими качествами комсомольского вожака. Он был пионервожатым, избирался членом пленума райкома комсомола. Он участник бригад, которые формировались комсомольским или партийным райкомами — на хлебозаготовки, для создания колхоза, на борьбу с кулаками (по Клочкову стреляли), при проведении выборов...

4. СНОВА 1941 год...

Все говорят, что В. Г. Клочков был ярким и незаурядным политруком. Прошло уж столько десятилетий, а его боевые сослуживцы по-прежнему сохраняют в памяти немало интересных штрихов и деталей его облика.

Из воспоминаний ветеранов-панфиловцев А. Л. Мухамедьярова, Г. М. Шамякина, Я. Е. Тумайкина, Ф. Т. Дживаги и других:

— Он показался мне сначала чересчур спокойным и нерешительным. Дивизия вот-вот должна была отправиться на фронт, а в его роте еще не избрали комсорга. Спрашиваю: «В чем дело?» Отвечает: «Людей изучаю, товарищ комиссар». Второй раз прихожу — точно такой же ответ. Не скрою, подумал тогда: «Может, Клочкова заменить другим политруком?» В то время я был еще молод и житейского опыта у меня было маловато...

— Василий Георгиевич вел себя очень мужественно. Не знаю, как это ему удавалось, но он был очень бодрым и даже веселым. Все время подбадривал нашего брата. Очень следил за собой, старался быть аккуратным даже в одежде. То ли привычка такая у него была, то ли для нас старался, чтоб мы видели, как надо устав соблюдать.

— Я убежден, что Клочков как политрук рос и формировался в прекрасных условиях. Он действительно рос на глазах. Не надо думать, что прямо с момента, когда надел военную форму, стал он сразу же абсолютно готовым политработником. Вся атмосфера в дивизии помогала ему разворачивать свои способности, на которые — это уж точно! — он был так богат и которые были в нем щедро заложены всей предшествующей жизнью.

— Клочков не только знал всех солдат по фамилиям, но и достоинства и недостатки каждого.

— Я его, скажу, за песни полюбил. С этого началось. Здорово он их пел! Споет, мы в случае подтянем. Вот на душе и легче. Пел он, помню, чаще всего «Бородино», про Щорса и еще, вот не знаю только, как называется она, там так поется: «Вспомним, братцы, мы, кубанцы...»

— Мне запомнилось, как Гундилович часто хвалил Клочкова за успешное политическое обеспечение роты.

— Клочков был очень требовательным. И не только к подчиненным, но и к себе.

— Они с Гундиловичем всегда из ротной кухни питались. Совсем редко, когда не с нами. Отмечу, как дружили наш командир и политрук, как всегда советовались друг с другом.

— Мы Клочкову как-то сало принесли. Угостили нас в деревне. Так отругал. Приказал больше не брать.

— Было время, когда спать приходилось по часу-два в сутки, а все равно Клочков был опрятен и чисто побрит.

— Клочков не стеснялся мне душу раскрыть. Подсел однажды и фото жены и ребенка показал, стал рассказывать о них.

— Он очень храбрый был. Не скажу, что лихой, это бы нам не понравилось, почто форс выказывать, но опасности в бою не боялся.

Рота любовно и уважительно называла Клочкова Диевым. Это вошло даже в первое донесение о бое у Дубосеково. И именно с этой фамилией документ политуправления попал к писателю Александру Кривицкому. Гундилович потом объяснил Кривицкому, откуда пошло:

— Его настоящая фамилия Клочков, а Диевым его прозвал один боец-украинец, от слова «дие», всегда-то наш политрук, дескать, в деле, всегда действует — ну, «дие», одним словом.

Дополним воспоминания строками из официальных документов.

Из представления генерала И. В. Панфилова в штаб армии:

«В боях в районе Русская Болотица 4.10.41 г. тов. Клочков показал себя волевым и ответственным руководителем. Своим примером он увлекал в бой бойцов и командиров, в результате чего рота успешно выполнила данное ей задание».

Из донесения командарма К. К. Рокоссовского Г. К. Жукову о боевых действиях батальона, где сражалась и рота Клочкова:

«В течение 16—17.10.41 г. шли упорные бои за Болычево. В 17.00—17.10.41 г. противник, удерживая за собой Болычево, перенес удар севернее и окружил 2-й батальон 1075-го стрелкового полка 35 танками в Федосьино и 5 танками в Княжево...» Обойдя деревню с юга, гитлеровцы наткнулись на высоту, обороняемую 4-й стрелковой ротой, политруком которой был Василий Клочков.

Из записей в боевом дневнике штаба дивизии — за 14 дней до боя у Дубосеково:

«2 ноября. Подвиг политрука 4 стр. роты 1075 стр. полка Клочкова Василия Георгиевича».

Продолжим эти свидетельства свидетельствами самого политрука.

Надпись В. Г. Клочкова на фотографии с дочерью перед отъездом на фронт: «И за будущее дочки ухожу я на войну».

Из письма жене и дочери по дороге на фронт:

«Здравствуйте, мои любимые, Ниночка и Эличка! 24.VIII приехали в Рязань, сегодня вечером будем в Москве. Враг совсем близко. Заметно, как по-военному летают наши «ястребки»... Хочется — чертовски — побить паразитов.

Много мы проехали городов, деревень, сел, аулов и станиц, и везде от мала до велика от души приветствовали нас, махали руками, желали победы и возвращения. А беженцы просили отомстить фашистам за то, что они издевались над ними. Я больше всего смотрел на детей, которые что-то лепетали и махали своими ручонками нам. Дети возраста Элички и даже меньше тоже кричали и махали руками и желали нам победы.

...Гитлеру будет та же участь, какая постигла Бонапарта Наполеона в 1812 году.

Наш паровоз повернул на север, едем защищать город Ленина — колыбель пролетарской революции...

Настроение прекрасное, тем более что я всем детям обещал побольше побить фашистов. Для их будущего (конечно, прежде всего для своей дочки) я готов отдать всю кровь капля за каплей. В случае чего (об этом я, конечно, меньше всего думаю) жалей и воспитывай нашу дочку, говори ей, что отец любит ее и за ее счастье... (многоточие автора письма.— *В. О.)*.

Конечно, вернусь я, и свою дочь воспитаем вместе. Целую ее крепко и здорово соскучился за ней, конечно, и за тобой, и тебя целую столько же и так крепко, как и Эличку...»

Из фронтового письма домой:

«...Думаю побывать в Берлине. Уж больно хочется побывать там, где Гитлеру напишут эпитафию: «Собаке — собачья смерть».

Из самого последнего письма жене и дочери:

«Милая жена и любимая дочь! Ваш папа жив, здоров, неплохо воюет с немецкими извергами.

Нинуся, я вчера вкратце написал вам о награде и поздравлял вас с праздником. Сегодня можно описать подробно.

Представили меня к правительственной награде за боевые действия — к боевому ордену Красного Знамени. Это почти самая высшая военная награда. Мне кажется, уж не так много я воевал и проявлял геройства...

Сегодня, Нинок, мы провели праздник в землянках и окопах, но провели неплохо, даже и выпили, конечно, вспомнил тебя и дочку. Жив вернусь, расскажу обо всем, а рассказать есть о чем...

Частенько смотрю фото и целую вас. Соскучился здорово, но ничего не попишешь, разобьем Гитлера, вернусь, обниму и поцелую...»

В конце письма дата — 7 ноября 1941 года.

До Дубосеково оставалось 9 дней...

Павел
ТРОЯНОВСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

От штаба полка до огневых позиций третьей батареи не так далеко, но все дороги, тропки, высотки, лощинки, которые могли бы укрыть человека и боевую технику, густо накрывались артиллерийским и минометным огнем противника. Дрожала земля, колебался воздух, пахло порохом и гарью.

То и дело попадались воронки от снарядов, мин и авиационных бомб, остовы сгоревших машин, опаленные деревья и кустарники. В самых неожиданных местах стояли застывшие, подбитые вчера фашистские танки. С некоторых из них слетели башни — так яростен и могуч был огонь артиллеристов полка.

Повезло с погодой. Было морозно, небо покрыто густыми, низко плывущими облаками. Случись ясно — не стало бы покоя от гитлеровской авиации. Вчера, как подсчитали в штабе, на Скирмановские высоты пикировали сто пятьдесят вражеских самолетов. В батарее лейтенанта Анатолия Егорова было четыре орудия. Сто пятьдесят самолетов, тысячи бомб против горстки неустрашимых бойцов, вдобавок густой артиллерийский огонь.

Все это подмечал, вспоминал комиссар полка старший политрук Федор Бочаров, шагая с заместителем командира части капитаном Иваном Королевым на батарею Егорова. Бочаров только закончил Военно-политическую академию имени Ленина. Горячему и порывистому, ему нелегко работалось на комиссарской должности. Комиссар высок, худ (хотя Королев еще выше ростом). По-офицерски стройный и всегда тщательно, по уставу одетый, он встретил войну далеко на Западе и сейчас служил уже в третьем полку.

Бочаров уважал Королева, признавал его превосходство в боевом опыте.

Вчера, 17 ноября 1941 года, в первый день боев, только что сформированный 694-й артиллерийский полк выполнил свою задачу. Так охарактеризовал его действия в телефонограмме командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский.

Уже в который раз за эти дни Бочаров вспоминал короткую историю становления полка и с удовлетворением, даже с гордостью думал, что труды Московского городского комитета партии, Воен-

ного совета Московского военного округа, командиров и, в какой-то мере, его труды дали хорошие результаты. Вполне оправдалась надежда на студентов столичных вузов и заводских комсомольцев Москвы.

Вспоминались слова А. С. Щербакова, сказанные при проводах полка на фронт:

— Война вас всех застала в начале пути. Я убежден, что через несколько лет вы бы стали хорошими инженерами, технологами, финансовыми работниками, деятелями культуры, квалифицированными слесарями, токарями, хлеборобами. Сейчас Родина уверена, что вы станете отличными воинами...

Грозным оружием против танков оказались 37-мм зенитные орудия, которыми вооружен полк. Тут надо отдать должное начальнику артиллерии 16-й армии генералу Казакову. Это по его инициативе зенитный полк стал противотанковым.

Бочаров и Королев проходили мимо одинокого домика, стоящего на опушке березовой рощи. Три дня назад они тут вместе с генералами Рокоссовским и Казаковым выбирали места для огневых позиций. Командующий армией был уверен, что Скирмановские высоты можно превратить в крепкий противотанковый рубеж. Как же он оказался прав, этот волевой и талантливый военачальник!

Вспоминалось и как он дневал и ночевал в батареях, разъяснял личному составу великое значение артиллерии в боях за Москву. Конечно, говорил он бойцам и командирам, один полк погоду в сражениях не сделает. Но ведь перед частью такую нереальную задачу никто и не поставит. Ее цель — удержать свои позиции, выбить как можно больше фашистских танков.

— Ложись! — крикнул в это время капитан Королев, и Бочаров упал на мокрую землю. Через мгновение заколыхалась земля, раздался звон в ушах. Вблизи один за другим разорвались четыре снаряда.

— Жив? — спросил Королев.

— У Гитлера на меня еще не отлит снаряд,— ответил Бочаров.

— Будь внимателен,— сказал Королев.— Вражеские наблюдатели видят нас.

Действительно, пригибаться приходилось все чаще. Слышались пулеметные очереди. А среди гула разрывов вражеских снарядов и мин можно было различить резкие выстрелы наших орудий. Значит, батарея вступила в борьбу с танками. Выходит, они с капитаном определили правильно направление сегодняшнего удара врага.

Бочаров пошел быстрее и перегнал Королева. Комиссарское сердце, партийная совесть торопили его скорее очутиться с теми батарейцами, которые вступили с танками в смертельный бой.

Вскоре огонь врага стал так плотен и силен, что Бочарову

и Королеву пришлось продолжать путь ползком. Налились как свинцом колени и локти, начали кровоточить исцарапанные руки.

Но вот, наконец, огневая первого орудия. Доклад старшего сержанта Налдеева подтвердил догадки комиссара об ожесточенности боя. Прямым попаданием снаряда на позицию артиллеристов тяжело ранен командир батареи Егоров, ранены политрук Головцев и командир огневого взвода лейтенант Белованенко. Четвертое орудие разбито, командир расчета сержант Байкалов погиб. Первое орудие выведено из строя разрывом мины. В расчете есть раненые.

— Что будем делать, капитан? — спросил Бочаров Королева.

— Налдеев, немедленно эвакуировать раненых,— приказал Королев.— А самому с остальными товарищами быть готовыми применить против танков связки гранат и бутылки с горючей жидкостью.

Бочаров и Королев направились ко второму орудию, которое занимало особенно выгодную позицию для стрельбы по фашистским танкам. До цели оставалось не более пятидесяти шагов, когда автоматная очередь сразила капитана Королева. Бочаров бросился к нему, но оказался бессилен что-либо сделать. Капитан был мертв.

Накрыв товарища его полушубком, Бочаров одним рывком добежал до орудия. Сержант Соколов со своим расчетом вел беглый огонь по танкам. Невдалеке дымными кострами горели две вражеские машины.

Бочаров успел оценить точные действия расчета. И вдруг несчастье. У пушки заклинило затвор. Комиссар и Соколов пытались что-то сделать, по очереди хлопотали у орудия. Тщетно.

После этого комиссар приказывает вывести орудие с огневой позиции. В это время автоматчики врага прорвались на окраину села Ново-Петровское. Оттуда до огневых позиций рукой подать. Бочаров организует из бойцов заслон и ставит ему задачу прикрыть огнем оставшееся в строю орудие сержанта Плохих.

Сам распределяет артиллеристов по окопам, вместе с ними выбирает ориентиры, для каждого бойца находит слова, нужные в этот опасный момент.

Автоматчики тем временем пытаются продвинуться в направлении третьего орудия. Бочаров командует:

— Огонь!

Очереди из шести автоматов и ручного пулемета прижимают гитлеровцев к земле.

— Вот так, сержант, и держись,— говорит он Соколову и направляется к третьему орудию.

Расчет сержанта Плохих уже вступил в бой с врагом. И успел подбить два танка. Сейчас к орудию приближались еще три бронированных машины.

Положение можно было назвать критическим. Весь огонь мощных средств да и все внимание противника сосредоточились сейчас на этом орудии. Не было буквально ни одной секунды, чтобы на огневой позиции расчета не разорвался снаряд или мина.

Сколько-то минут Бочаров с гордостью наблюдал за слаженными, действительно самоотверженными действиями своих воспитанников. Он хорошо знал и всегда выделял этот расчет еще до боев. Семен Плохих был рабочим московского завода «Серп и молот». Наводчик Иван Гусев и подносчик Николай Пленицын только что окончили среднюю школу. Второй наводчик Ефим Дыскин был студентом первого курса одного из московских институтов, а до этого окончил десятилетку в городе Брянске.

Воинскому мастерству учились все они хорошо, старательно, на учебных стрельбах обошли все расчеты полка.

Особые симпатии комиссар испытывал к комсомольцу Ефиму Дыскину. Эрудированный, симпатичный, парень быстро «переквалифицировался» из студентов на артиллерийского специалиста высокого класса.

Выбрав момент, Бочаров перепрыгнул в окоп к артиллеристам. И вовремя: расчет понес урон — только что осколком вражеской мины был убит наводчик Гусев. Дыскин ранен. Плохих по распоряжению комиссара занял место Гусева. А сам комиссар стал командовать орудием.

Фашистские танкисты действовали с наглой уверенностью, лезли, что называется, напролом. Наши артиллеристы умело использовали каждую оплошность врага. Вот один танк остановился для стрельбы, и Дыскин успел всадить в него два снаряда. Другой танк подставил под выстрел защищенный слабой броней борт. И тоже вспыхнул свечой.

— Танки справа,— командует расчету Бочаров.

Падает у орудия Плохих. Дыскин ранен второй раз — в поясницу. У него на мгновение мутится сознание, но только на мгновение. Вот Ефим превозмог себя и снова приник к прицелу. Теперь ему все много труднее: дважды ранен.

Бочаров требовательно смотрит на него, бледного, осунувшегося, и вместо боевой команды кричит:

— Молодец, Дыскин!

Ефим давно отметил про себя: появление на огневой комиссара подбодрило артиллеристов. А сейчас он хвалит, считает его молодцом. Ведь не каждый командир или политработник сумеет управлять орудийным расчетом! А этот командует не хуже сержанта Плохих.

— Дыскин, скорее! — торопит теперь Бочаров. Ефим знает, что в скорости — жизнь. Но очень уж дает себя знать потеря крови.

Вскоре Дыскин вскрикивает от боли. Впервые за этот бой. Его вроде полоснули ножом по спине. Третье ранение! А ближний

танк врага, вот он, надвигается, гремя отполированными гусеницами, гулко бухая из орудия.

— Дыскин, скорее, друг!

Дыскин стреляет. Подбит пятый танк. В это время получает ранение Пленицын — подносчик. Ефим бросается за снарядом и тут же слышит голос Бочарова:

— Дыскин, к орудию! Я сам буду подносить снаряды.

У наводчика обжигает левый бок. Четвертая рана...

В глазах пляшут какие-то темные круги. Ему хочется потрогать глаза руками, но комиссар подает снаряд и кричит:

— В пятидесяти метрах танк! Огонь!

Дыскин видит в прицеле танк и давит на спуск. Стреляет с особенным ожесточением. И несмотря на адскую боль во всем теле, улыбается. Попал!

Седьмой танк подошел еще ближе — Дыскин поразил его всего в тридцати метрах от пушки.

И упал, обессиленный. Это была последняя атака.

Бой затих. Комиссар вынес Дыскина к санитарной машине. Позицию занимала свежая часть из резерва.

Бочаров шел и шатался от контузии. Ему, конечно, тоже надо в госпиталь, но он единственный оставшийся в живых командир, который может и должен правдиво рассказать об этом жестоком бое. Кроме того, надо представить отличившихся к наградам. Командующий армией обещал самые высокие поощрения, если полк отстоит Скирмановские высоты хоть на один день. А они в наших руках после двух суток небывалых боев.

Кое-как добирается комиссар до штаба полка и тут же пишет боевое донесение начальнику артиллерии 16-й армии генерал-майору Казакову. Одновременно оформляет наградные документы. Дыскин представляется к званию Героя Советского Союза, Плохих — к ордену Ленина, Пленицын — к Красному Знамени. Не забыты Бочаровым и другие расчеты третьей батареи.

И только исполнив этот важный комиссарский долг, Федор Бочаров вспоминает о себе: идет в медсанбат. У него стоит гул в ушах, ослабли ноги, болит спина.

После этого дня комиссар Бочаров пройдет дорогами войны через полстраны, через Польшу, дойдет до Германии. Он будет начальником политотдела бригады, дивизии. Станет участником многих боев, воспитает сотни героев. Но главным днем своей войны, главным днем жизни он посчитает день 18 ноября сорок первого года, когда во главе горстки храбрых парней не пропустил танки врага через Скирмановские высоты. На Москву не дал им пройти! Это был день одоления, предвещавший далекую тогда еще победу.

Алексей
ЛОЗОВЕНКО

В ТЕ ДНИ ПОД ХАРЬКОВОМ

(ИЗ ЗАПИСОК ПОЛИТБОЙЦА)

В сентябре 1941 года на Харьковском направлении днем и ночью шли кровопролитные бои. Враг стремился форсировать реку Ворсклу восточнее Полтавы и через Красноград прорваться к Харькову. Тогда на этот участок фронта из Подмосковья прибыла 7-я танковая бригада, в составе которой находился мотострелковый батальон политбойцов.

Политбойцы. Так называли коммунистов и комсомольцев, направленных на фронт в первые месяцы Великой Отечественной войны по специальным партийным мобилизациям в качестве красноармейцев и краснофлотцев. Это они в тяжелые месяцы 1941 года должны были усилить партийно-политическое влияние в действующей армии и флоте, сцементировать ряды защитников Родины, повысить их стойкость и боеспособность.

Мы все были мобилизованы из Ставрополя. С гордостью шли на фронт, получив такое необычное и почетное звание — политбоец.

Обычно политбойцов на фронте распределяли по воинским подразделениям, где они составляли основу партийных организаций, должны были словом и делом, личным примером увлекать красноармейцев на активный бой с фашистами. Но из нас, политбойцов-ставропольцев, сформировали два мотострелковых батальона, вооружили их автоматическим оружием, включили в состав 7-й и 8-й танковых бригад, с тем чтобы эти подразделения вместе с танками стали ударной силой, которую можно будет использовать на самых опасных участках.

В первых же боях наша вторая мотострелковая рота понесла тяжелые потери. Пал смертью храбрых командир взвода лейтенант Давыдов. Ранило командира роты Баранова. Не вернулся с поля боя ротный политрук Полянский. В роте остался лишь один лейтенант Елагин, командир пулеметного взвода. Он принял на себя командование ротой политбойцов, но к исходу дня тоже погиб.

В минуты затишья политбойцы узнали, что замполитрука роты Михайлов ведет боевой счет каждого из нас. В особый блокнот он записывает, сколько врагов уничтожил или пленил каждый из

политбойцов (а пленные были и в 41-м), какие трофеи захватил. Однако эта новость не так привлекла наше внимание, как разбор замполитруком ошибок, допущенных нами во время боя. Отдельные бойцы мало стреляли, некоторые открывали огонь лишь по близким и ясно выраженным целям, другие не умели найти врага в копнах пшеницы и в подсолнечнике... Парторг роты Соболев поручил политбойцам побеседовать с товарищами на эту тему. Вспомнили, как стрельба залпом помогла выбить противника из укрытия. Поэтому все утвердились в мысли, что надо чаще открывать огонь по противнику залпом и не обязательно только по видимым целям. Нужно вести огонь и по площади, где находится или укрылся враг.

В один из дней, под вечер, наша рота, наступая, сделала бросок вперед и залегла. Оглядываясь вокруг, политбойцы в полную меру ощутили, что такое война. Над Рождественкой поднималось к небу сплошное пламя. Гибло все, что создано трудом людей. Вокруг нас вспыхивали осветительные ракеты — значит, враг недалеко. Наступившую темноту то в одном, то в другом месте прорезали струи трассирующих пуль. Слышался пронзительный свист мин. Раненые, кто с окровавленным лицом, кто с перевязанной рукой, кто опираясь на винтовку, шли в тыл, некоторых вели или несли. Уносили убитых.

Исполнявший обязанности командира роты парторг сержант Соболев отдавал приказания: погибших похоронить, наладить связь с соседями, организовать патрулирование, выделить охранение, пополнить боеприпасы... Парторг приказал политбойцам побеседовать накоротке с красноармейцами и подготовить их к отражению ночных вылазок врага.

После неудачной попытки с ходу взять Харьков фашистское командование перегруппировало свои войска, пополнило их живой силой и техникой. Утром 7 октября 1941 года они захватили Константиновку, стали рваться к Алексеевскому и станции Водяной, расположенной на железной дороге Полтава — Харьков.

Подразделения 7-й танковой бригады полковника Ивана Артемьевича Юрченко и комиссара Андрея Федоровича Яцутина от Рождественки спешили на новый участок, чтобы преградить путь фашистам на станцию Водяную. На исходе дня 7 октября батальон политбойцов-ставропольцев вновь вошел в соприкосновение с противником. На всей линии у Константиновки бои переходили в рукопашные схватки. Танкисты, артиллеристы и мотострелки бригады на этом участке стали для врага непреодолимым заслоном. Однако правый фланг бригады у станции Водяной оказался открытым. Сюда и послали наш взвод. Командовать им поручили воентехнику второго ранга Владимиру Королеву. Задача — вместе

с командой подрывников-железнодорожников и бронепоездами оборонять станцию, не дать фашистам перерезать железную дорогу и зайти во фланг и тыл нашей бригаде.

Костяк взвода — политбойцы-ставропольцы. Вот их фамилии: Фирсов, Дворниченко, Федотов, Касаткин, Цыцилин, Чирков, Ендовицкий, Мухортов, Лозовенко, сержанты Соболев, Гавришев, Федоров, Филатов.

Командир взвода Королев потребовал от политбойцов вырыть такие окопы, чтобы в них можно было дневать и ночевать, а главное, если пойдут вражеские танки, то непременно поражать их гранатами или бутылками с зажигательной смесью.

Станцию непрестанно бомбили фашистские самолеты, обстреливала артиллерия. Почти все жилые здания оказались разрушенными или сгоревшими. Фашисты попытались проникнуть на станцию. Однако все вылазки врага мы успешно отбивали.

Через несколько дней положение на нашем участке фронта стабилизировалось. Наладили связь со штабом батальона. И тут получили приказ сняться с позиций у Водяной и перейти в район Алексеевского, где батальон занял оборону. Обрадовался начштаба старший лейтенант Пантюшкин, когда увидел взвод, построенный Королевым.

— Сколько же вас осталось? — спросил он.

— Все двадцать. Убитых нет. Раненых трое, но они в строю,— четко доложил воентехник.

— Знаешь ли ты, Королев, что такое теперь для нас двадцать активных штыков! — воскликнул Пантюшкин.— Во всей первой роте осталось пятнадцать человек, а у тебя во взводе двадцать.

— Не двадцать штыков вернулось в батальон, а все сорок! — сказал комбат Мошиков, подойдя к строю.— Надо считать — сорок бойцов.

Когда Мошиков закончил говорить, Пантюшкин спросил:

— Так откуда же сорок, ведь и раньше у Королева было двадцать бойцов?

— А где эти двадцать были? — вопросом на вопрос ответил комбат.— Ты разве не знаешь, что станция Водяная все еще наша? Эти люди — политбойцы. Они сумели отстоять станцию, потому что один воевал за двоих.

На слова комбата, давшего такую высокую оценку, обернулись все. Суровые, обветренные лица. Мы мокли под проливным дождем, плохо питались, от нас пахло гарью, а уж про сон и спрашивать нечего, так как в эти дни не спал весь батальон. Благодаря стойкости, выдержке, выносливости политбойцов и на данном участке, как и под Рождественкой, немцы не прошли. Село Алексеевское

и станция Водяная остались в наших руках. Это и было тем важным делом, на которое послала коммунистов и комсомольцев ставропольская партийная организация. И этим мы все гордились.

Комбат Мошиков сообщил нам, что лейтенант Янковчук убит.

— Будешь командовать второй ротой,— приказал он Королеву.— Веди своих орлов вон туда.— Мошиков показал рукой на рубеж, который занимали остатки роты.— Там и окапывайтесь. Пошлите за обедом. Нужно организовать отдых политбойцам.

— Есть, товарищ старший лейтенант,— ответил Королев.— Разрешите вести людей на позицию?

— Ведите!

Так взвод политбойцов-ставропольцев стал ротой, и за роту ему суждено было выполнять новые боевые задачи под командованием воентехника Королева.

Первая мотострелковая рота, в которой осталось полтора десятка человек, окопалась на участке в полкилометра — окоп от окопа в сорока метрах. Каждому политбойцу и впрямь надо драться за двоих-троих. Правее первой роты зарывается в землю вторая. И тоже окоп от окопа на значительном расстоянии.

В двух километрах от наших позиций на запад — совхоз «Алексеевский». Он несколько раз переходил из рук в руки. Недалеко от него, у железной дороги, село Покровка. Вчера ее заняли гитлеровцы. Это означало, что они стали угрожать нашему флангу. Обстановка складывалась не легче, чем у станции Водяной. Из 500 политбойцов в батальоне Федора Мошикова осталось чуть более ста человек.

За три недели непрерывных боев политбойцы и их командиры поняли, что у гитлеровцев есть и свои слабости. В ночное время, например, они отдыхают, а дежурные постреливают из минометов, пулеметов и пускают вверх осветительные ракеты. В это время можно ближе подойти к их позициям и внезапно атаковать. Комбат Мошиков навязывал противнику бой за боем. Мы не засиживались в окопах и в хатах, а были на ветру, под дождем, и даже нередко приходилось часами лежать на мокрой земле, покрытой первым снегом. Зато когда наступала темнота, политбойцы, ведомые Мошиковым, обрушивали внезапный удар по противнику, вынуждая его к бегству.

Утром 15 октября стало известно, что немцы подтянули силы. Два свежих полка пехоты нацелились на село Алексеевское, на позиции нашего поредевшего батальона. От окопа к окопу шел, тяжело ступая по замерзшей земле, комбат Мошиков в сопровождении командира минометной батареи лейтенанта Барабанова. Он требовал, чтобы все запаслись патронами, гранатами, непрерывно

наблюдали за противником. Остановился Мошиков в расположении второй роты. Когда наблюдатели доложили, что в совхозе началось движение вражеских войск, Мошиков подошел к окопу сержанта Соболева и попросил, чтобы он вместе с комсоргом Филатовым обошел всех и предупредил каждого политбойца: никакая сила врага не должна заставить его покинуть свой окоп. Если на этом рубеже придется умереть — значит, умрем все. Комбат сказал парторгу, что сам он будет в боевых порядках второй роты.

Соболев и Филатов пошли по окопам. Тем временем наблюдатели доложили, что немцы от усадьбы совхоза тремя волнами продвигаются к Алексеевскому. Странным было лишь то, что враг перешел к наступательным действиям тихо, без артподготовки. Уж не психическую ли атаку затевает?

Бойцы Барабанова открыли огонь из минометов. К счастью, на станцию Водяная подошли два наших бронепоезда. Один из них продвинулся к переезду у села Покровки. Оба открыли огонь по гитлеровцам. Неприятельские цепи расстроились, фашисты заметались по полю, однако часть их все же приблизилась к Алексеевскому. Заработали наши станковые пулеметы. Политбойцы уж готовили к бою гранаты, но вдруг за их спинами что-то зашипело, зарокотало. Почти все инстинктивно пригнули головы, но сразу поняли, что этот гул им не угрожает. Те из политбойцов, которые продолжали смотреть в сторону противника, увидали разрывы десятков снарядов. Гитлеровцы залегли. А те из политбойцов, кто оглянулся, заметили у Водяной непривычное зрелище.

— Гляньте, что творится на станции! — крикнул Дворниченко.

Возле разрушенного здания вокзала поднималось ввысь огромное облако не то пара, не то дыма, не то пыли.

— Это наша «катюша» ударила по гитлеровцам,— пояснил лейтенант Барабанов, когда подошел к окопам роты.— Новое грозное оружие, которого нет у врага.

Залп гвардейских минометов повторился. Бронепоезд, что бил по неприятелю во фланг, усилил огонь. Замолкал один бронепоезд — возобновлял стрельбу другой. Сменив позицию, «катюша» дала еще один залп.

Четыре часа шел этот бой. Немцам не удалось приблизиться к позициям политбойцов.

— Что мы тут сидим? Давай команду «вперед»,— это Фирсов просит командира взвода сержанта Соболева.

— Я бы не против, но нет приказа свыше,— ответил взводный.

— Вон туда глянь-ка,— показал рукой Дворниченко.— Кто это? Что за войско к нам подошло?

В той стороне, куда показал Алексей, шли красноармейцы

какой-то части. Они тянули за собой станковые пулеметы и спешили к усадьбе совхоза «Алексеевский».

Вышло, что и на этот раз советские войска, а в их числе политбойцы-ставропольцы, сорвали попытки гитлеровцев прорваться к Харькову.

Ночь на 16 октября в подразделениях политбойцов прошла спокойно. Курили, шепотом обсуждали положение на участке, а некоторые не вытерпели — прикорнули. На рассвете батальон Федора Мошикова после месячного пребывания в боях, на автомашинах отправился в тыл для пополнения и отдыха.

А война ждала их. 7 января 1942 года 7-я танковая бригада снова грузилась в эшелоны. Приближалась Барвенковско-Лозовская наступательная операция. В ней и будут участвовать бригада, батальон, политбойцы-ставропольцы.

Зима выдалась морозной и снежной. Дороги замело, населенные пункты утопали в сугробах, стоял сорокаградусный мороз. Общая обстановка на фронтах в начале 1942 года менялась для нас в лучшую сторону. Гитлеровцев разгромили под Москвой, отбросили от Ростова-на-Дону и Тихвина. Эти успехи командиры и политработники батальона Мошикова широко использовали для воспитания всех воинов в духе высокого наступательного порыва. Люди понимали, что враг пока силен, но если гитлеровские вояки еще превосходили нас численно и в боевой технике, то морально мы были гораздо сильнее.

Станция Закомельская на Харьковщине — исходный пункт для роты лейтенанта Смелого в предстоящем наступлении. За Северским Донцом — немцы. Мы их должны отогнать от реки и дать свободу жителям Харьковщины. В Боевом листке, выпущенном в роте, говорилось: «Бойцы и командиры! Вы скоро пойдете в бой. Помните слезы Марии Ивановны, хозяйки дома, где мы ночуем перед боем. Такими слезами плачут наши матери, жены и сестры там, за Донцом. Вызволим же их из фашистской неволи. Это наш сыновний долг. Вперед, товарищи! Отлично выполняйте приказы командиров!»

Этот Боевой листок прочитал зашедший в хату начальник политотдела 6-й армии.

— Чья это работа? — спросил он политрука роты Святенко.

Бригадный комиссар подошел с листком к хозяйке дома, прочел его содержание вслух, сказал:

— Это написано о ваших слезах, Мария Ивановна. А вот они,— начальник политотдела обвел рукой находившихся в хате бойцов и их командиров,— отомстят фашистам за все страдания наших людей.

Пожилая женщина расплакалась, а он подарил ей наш Боевой листок как боевую реликвию, как клятву народу.

— Думаю, товарищи, что все так и будет, как написано в Боевом листке.

Обещание, данное жителям Закомельской и начальнику политотдела 6-й армии, воины 2-й роты выполнили с честью. В ночь на 18 января 7-я бригада, взаимодействуя с 411-й стрелковой дивизией, перешла в наступление. Так начался боевой путь роты нового состава, костяком которой оставались политбойцы-ставропольцы.

Северский Донец форсировали по льду. Каждый из населенных пунктов брался мотострелками и танкистами с боя. Когда стрелковые полки обложили фашистов в Балаклее, комбриг Юрченко приказал Мошикову провести свой батальон в тыл фашистской группировки и у села Вербовка перерезать железную дорогу Балаклея — Харьков. Сильный огонь противника, глубокий снег, трескучий мороз мешали выполнению этой задачи. Однако у села Вербовка железная дорога была перерезана. Здесь произошел ожесточенный бой. Гитлеровцы пытались уничтожить батальон, прорвавшийся в их тыл. На участке 2-й роты положение спасли пулеметчики Павел Иванников с политбойцом Алексеем Дворниченко.

От долгого пребывания на снегу, на морозе оружие застыло. Пулеметчик отогревал в руках части затвора, а диск с патронами — на груди. И в тот момент, когда немцы контратаковали роту, пулемет Иванникова молчал. Все понимали, что положение может спасти лишь пулемет, но «дегтярев» молчит. И в самый ответственный момент, когда бойцы роты поднялись для штыкового удара, пулемет Иванникова заработал. Более сорока гитлеровцев сразил политбоец, а остальные, отказавшись от прежнего намерения, быстро отошли к Вербовке. Вот это была радость!

От политрука Святенко мы узнали, какой ценой пулеметчик Иванников помог роте. Отогревая на груди диск с патронами, простудился. Холодный металл прихватил кожу. Она клочьями пристала к диску, грудь ныла и кровоточила. Иванникову была оказана медицинская помощь, а его подвиг отмечен орденом Красного Знамени.

В ночь с 29 на 30 января рота лейтенанта Смелого и политрука Святенко выдвинулась на новый участок, где у села Меловое уже шел бой. Мешал снег. Он был таким глубоким, что остановились подводы стрелковых частей, не могли двигаться и легкие танки. Но все мог преодолеть советский воин. Метр за метром бойцы роты приближались к лощине, откуда била по ним вражеская пушка. Потом фашисты обрушили из Мелового град мин и снарядов. Очень скоро лощина потемнела от воронок. Появились в роте

убитые и раненые. Некоторые бойцы стали пятиться назад. Чтобы упредить возможный отход, комбат Мошиков обратился к роте с призывом:

— Политбойцы! Коммунисты и комсомольцы, герои Рождественки! Нам ли отступать? Вперед, товарищи, вперед!

Первым поднялся с земли политрук роты Святенко, он крикнул:

— Коммунисты, комсомольцы, за мной!

И побежал не оглядываясь. За ним ринулись Будавской, Коломийцев, комсорг Филатов. Когда на бугре собралась почти вся рота, Святенко приподнялся для нового броска, но тут же повалился на бок, прижимая руку к груди. Он смог только произнести: «Ребята, я, кажется, ранен...»

Что же теперь делать?

Меня сразу обожгла мысль: ведь я заместитель Святенко, заместитель политрука! Вскочил и крикнул каким-то чужим и, как мне самому показалось, громовым голосом: «За мн-о-ой! За нашего политрука!» Я кричал еще что-то, но даже сам не понимал что. Не оглядываясь, как Святенко пять минут назад, бросился вперед и только спиной чувствовал: бегу не один. Меня кто-то перегнал, кто-то был близко-близко позади, тяжко дышал в мой затылок и выкрикивал:

— Впере-ед! Впере-ед, ребя-я...

Вот она, минута, которая поднимает тебя на самую немыслимую крутизну. Не стало страха. Только одна мысль: «Вперед! Вперед!» Иначе и быть не могло. Ведь мы же были не просто красноармейцы — политбойцами пришли воевать, партией посланные. На нас смотрели остальные, по нам равнялись.

Политбойцы! Это тысячи и тысячи коммунистов и комсомольцев, мобилизованных на фронт партией в начале войны. Они шли в первых рядах советских воинов. «Мне не раз приходилось разговаривать с направлявшимися в войска политбойцами. Эти люди несли в себе какую-то особую, непоколебимую уверенность в нашей победе»,— писал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в книге «Воспоминания и размышления».

НИ ШАГУ НАЗАД!

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА

Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.

Совинформбюро



Илья
ЭРЕНБУРГ

ПО ЗАКОНАМ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Военные корреспонденты немецких газет всегда находят несколько теплых строк для русской артиллерии и для комиссаров. Известна точность огня нашей артиллерии. Но почему немцев так возмущают комиссары? Обычно гитлеровцы уверяют, что «комиссары насильно гонят солдат вперед»... Это плохая выдумка — даже наивные немки понимают, что насильно народ не заставишь воевать. Немцы, кроме того, знают, что комиссары идут не позади, а впереди бойцов. Гитлеровцам ненавистны комиссары, потому что они как бы олицетворяют душу нашего народа.

Институт военных комиссаров свидетельствует о важности человеческого начала. Командир вырабатывает план атаки. Он живет в мире огневых точек, простреливаемых дорог и блиндажей. Для него холмик, речка, овраг — нотные знаки величественной партитуры. Карта с синими кружками и красными стрелами говорит ему о самом сокровенном. Он знает, что завтра в восемнадцать ноль-ноль первая и третья рота должны занять березовую рощу и выйти к скрещению двух проселочных дорог. План обсуждается в штабе батальона: в маленьком блиндаже при тусклом свете коптилки. И здесь вмешивается комиссар: «Вместо первой роты нужно пустить вторую...» Для комиссара бойцы — живые люди. Он помнит их лица. Он слышит их разговоры. Он знает лихорадку смелости и малодушия. Он подготавливает мужество и стойкость, как интендант подготавливает склады продовольствия.

«Человек решает все» — с этой мыслью мы вышли против германской мощной армии. Мы сохранили веру в человека, когда танковые колонны Гитлера двигались на восток. Мы думали о нашей пехоте, которая задерживает продвижение моторизованных частей противника, о наших рабочих, которые на Урале изготавливают танки, о наших будущих танкистах. И роль комиссаров в Красной Армии определяется советским подходом к понятию человека.

Пройдите в роту, стоящую на передовых позициях. Вот в блиндаже заместитель политрука читает бойцам статью из «Красной звезды». Еще недавно этот заместитель политрука был простым солдатом. Политрук его отметил: он был сообразительней и разви-

тее товарищей. Это комсомолец, слесарь. Он много читал, задумывался над книгами, над людьми, над жизнью. Он не только прочитает статью, он сможет связать ее с окружающей действительностью. Если речь идет о моральном лице гитлеровской армии, он напомнит о том, что видели сами бойцы. Если статья посвящена ночной разведке, он ее оживит рассказом о недавнем подвиге младшего лейтенанта того же батальона. Он ответит на все вопросы. А вопросов немало: «Много ли у Гитлера австрийских солдат?.. Какие у немцев новые пулеметы?.. Правда ли, что Петэн продался немцам?.. Почему англичане не воюют по-настоящему?.. Что делают американцы со своими самолетами?..»

Заместитель политрука несколько месяцев спустя станет младшим политруком. Он будет комиссаром роты. Часть политруков прошла трехмесячные курсы, другим боевой опыт заменил лекции. Конечно, командир батальона разбирается лучше в чисто военных проблемах, нежели комиссар батальона, но и комиссар — военный человек, он может свободно командовать ротой, а в случае необходимости заменить командира батальона. Комиссар полка может командовать батальоном.

Редко увидишь комиссара на командном пункте. Обычно он ведет в бой самую слабую единицу — роту или батальон. Этим объясняются большие потери среди комиссаров — комиссары не только говорят о военной доблести, они ее показывают на своем примере. Обычно в части имя комиссара — символ отваги.

В одной из танковых бригад я встретился с комиссаром батальона Медянцевым. Он много мне рассказывал о храбрости бойцов своего батальона. О себе он молчал. Но бойцы мне рассказали, как комиссар недавно спас один танк: «Подъем был. Танк соскользнул с дороги. Здесь левая гусеница свалилась. Машина застряла. А положение было скверное. Немцы стреляют по танку: у них два орудия там были. А кругом немецкие автоматчики. Комиссар тут как тут. Говорит: «Надо гусеницу нацепить и вытащить машину». Сам с нами работал, прямо под пулями. А полчаса спустя танк уже был в бою...»

Конечно, не дело комиссара дублировать командира. Но я уже говорил, что комиссары — люди с военным образованием, многие из них обладают и военными талантами. Встретился я с комиссаром танковой роты Будниковым. Было это в январе. Наши части наступали. Предстояло овладеть сильным узлом сопротивления. К селу вела одна дорога, и она была сильно укреплена противником. Комиссар предложил идти в обход по снегу, проверил местность, доказал осуществимость маневра. И маневр действительно удался. Наши потери были ничтожны, а немцы оставили две роты убитыми и пленными.

Сущность работы комиссара — это ее конкретность. Перед

лицом смерти неуместны абстрактные разговоры или сухие доклады. Вот шли в январе бои за Можайск. Полковой комиссар при мне беседовал с бойцами. Он рассказывал им о славном прошлом Можайска. Он говорил о том, как в Можайске немцы мучают русских людей. Когда наши бойцы вошли в Можайск, они уже знали, что увидят на одной из площадей виселицу...

Человечность института комиссаров связана с человечностью нашей армии. Когда я разговариваю с немецкими пленными, я вижу перед собой не людей, а усовершенствованные автоматы. Они отучены от мысли, стерилизованы от чувств. Они еще повинуются своим командирам — это автоматизм поступков. Но стоит одному из них задуматься, и он погиб для германской армии: он готов сдаться в плен или дезертировать. Взвешивая накануне майских боев шансы сторон, нужно помнить, что никакое вооружение не может заменить душу армии.

16 апреля 1942 года

Вячеслав
ФЕДОРОВСКИЙ

ГВАРДЕЙСКИЕ ЗАЛПЫ

Свою девятнадцатую весну — весну тысяча девятьсот сорок второго года — я встретил в госпитале на станции Нахабино. Рана, полученная в боях под Москвой, заживала, и в начале июня меня выписали в запасный полк. Долго здесь никто не задерживался — бойцов ежедневно направляли на пополнение различных воинских частей.

Однажды утром меня и еще десятерых бойцов, ранее служивших в артиллерии, вызвали в штаб и представили старшему политруку. На вид ему было не более сорока. Он попросил нас построиться, достал из новенькой планшетки какую-то бумагу и сказал:

— Сейчас я зачитаю список красноармейцев, зачисленных в 37-й отдельный гвардейский минометный дивизион.

— Это что, «катюши»? — спросил кто-то.

— Да, товарищи, это боевые «катюши». Подчеркиваю: часть гвардейская. Служить в ней почетно, но с гвардейцев больше и спрашивают. Надеюсь, вы не боитесь трудностей и оправдаете доверие. Моя фамилия Сазонов, я комиссар части.

Добродушная улыбка и интеллигентная внешность комиссара вызвали симпатию с первого взгляда. Мы быстро сбегали за вещами и уже через десять минут погрузились в подъехавшую полуторку. Комиссар сел в кабину, и машина заковыляла по ухабистой лесной дороге. На обочинах валялась разбитая немецкая техника, виднелись пепелища сгоревших деревень. Часа через два проехали крупный населенный пункт Погорелое Городище. Большинство домов в нем было сожжено или разрушено. В воздухе стоял специфический запах гари.

Проехав еще километров десять, мы свернули с дороги и оказались в живописной березовой роще. Тут и располагался 37-й ОГМД.

Командовал дивизионом майор Чупров. Командирами батарей были лейтенанты — молодые ребята, недавно окончившие артиллерийские училища.

Меня назначили на место погибшего наводчика в расчет первого орудия первой батареи. Командир орудия старшина Хисматуллин в шутку сказал, что у меня будет «самая первая роль» в дивизионе —

первый номер первого орудия первой батареи. Затем познакомил с бойцами расчета Севастьяновым, Фомичевым и шофером Смирновым.

Вечером зашел комиссар, спросил, как мы устроились. Не отказался от предложенного ему чая.

— Я ведь тоже в вашем расчете,— пояснил он.— Так что на боевые задания будем выезжать вместе. Кстати, мне помнится, вы, Федоровский, были комсоргом в техникуме?

Я подтвердил, что после ухода комсорга на фронт исполнял его обязанности.

— Значит, у вас есть кой-какой опыт политработы. А у нас нет замполитрука. Одному мне тяжеловато. Поможете?

Просьба оказалась неожиданной, и я замялся.

— Ничего, ничего, справитесь. Молодость не порок,— сказал комиссар, похлопав меня по плечу.— На первых порах будете выпускать Боевой листок и только. Ну, по рукам...— Комиссар дружелюбно улыбнулся — отказать ему было невозможно.

Так я стал в один день наводчиком и замполитрука.

Время полетело быстро. Командиры батарей целыми днями проводили с нами занятия. Мы изучали материальную часть «катюши», отрабатывали быстроту приведения установок в боевое положение и их перезарядку, тренировались в стрельбе из карабинов, автоматов и противотанковых ружей.

«Катюши» были строго секретным оружием. Чтобы не допустить их захвата немцами, на каждом орудии имелся ящик с толом и бикфордов шнур со взрывателями. За время тренировок и постоянных переездов я настолько привык к этому ящику, что охотно спал на нем. На металлической установке было жестко и холодно, а от деревянного ящика с толом всегда веяло каким-то теплом.

Ежедневно перед отбоем мне приходилось обходить землянки и собирать заметки. Кроме того, для заметок у нас имелся специальный ящик, приколоченный на березе около штабной автомашины.

По утрам комиссар слушал радио и коротко записывал сводку Совинформбюро. После завтрака мы отбирали и редактировали заметки, затем я переписывал их в Боевой листок вместе со сводкой.

Первое время работал нервно, допускал досадные промахи. Однажды озаглавил заметку про нерадивого бойца Гусева следующим образом: «Боец Гусев не выполняет приказ командира». Комиссар прочитал, покачал головой и поправил красным карандашом: «...пытался не выполнить...» Я долго переживал эту ошибку.

Работать с комиссаром было легко и приятно. Он никогда не повышал голоса, не раздражался. Замечания делал справедливо,

они не вызывали обиды. У него хватало времени позаботиться о заболевших, помочь отстающим. Сазонов всегда находил ободряющие слова для тех, кто в них нуждался. Комиссара в дивизионе не только уважали, но и любили.

Однажды мы узнали, что у него приближается день рождения. Долго думали, как поздравить. Кто-то предложил набрать и подарить котелок земляники. Бойцы поочередно ходили в лес, и вскоре ягоды были набраны. Комиссара это очень тронуло, он поблагодарил и пригласил всех вечером на чай с земляникой.

В нашем, то есть «своем», расчете комиссар бывал часто. То заходил по поводу Боевого листка, то выезжал с нами на занятия. Мы привыкли к нему, и, когда его долго не было, нам чего-то не хватало. Но особенно мы любили, когда комиссар заходил вечером на огонек, просто так, посидеть, покурить, поговорить по душам. Бойцы задавали ему вопросы о международных событиях, о положении на фронтах. Он охотно и обстоятельно отвечал.

В начале августа на Ржевском направлении продолжались упорные бои. Дивизион все время был начеку. Командиры батарей выезжали на передовые позиции готовить данные для стрельбы. В один из дней поступили сведения, что немцы подтягивают резервы и сосредоточивают их в небольшой роще у переднего края. Дивизион дал по роще залп и сразу же снялся с огневой позиции. От рощи ничего не осталось. Но фашисты, когда опомнились, обрушили бешеный огонь по огневой позиции дивизиона. На следующий день новичков специально возили посмотреть то место. Оно все было покрыто воронками от мин и снарядов.

— Вот полюбуйтесь, как враги нас «любят»,— сказал комиссар.— Выводы делайте сами. Ни минуты на огневой после залпа.

Но вскоре нам пришлось дать *несколько* залпов с одной огневой позиции.

Однажды ночью дивизион подняли по тревоге. Двенадцать «катюш», заряженных почти двумястами минами, помчались к передовой, напоминая в темноте огромных таинственных птиц. Через полчаса «катюши» грозно выстроились в ряд на опушке леса. Бойцы старались делать все бесшумно. Но немцы, видимо, почувствовали неладное — на их переднем крае, в полутора километрах, все чаще стали взлетать ракеты.

На рассвете мы обнаружили, что лес вокруг полон минометов и ствольной артиллерии. Повсюду виднелись замаскированные батареи, около них дремали пушкари. Но вот все пришло в движение, послышались отрывистые команды. По нашей позиции прокатилось: «Расчеты, в укрытие!» На мгновение лес замер, притаился, и потом, ровно в шесть часов, разом заработали сотни стволов. Залп грохотал за залпом. Ветви деревьев метались, как в бурю, земля сотрясалась, окутываясь дымом. Грохот стрельбы,

разрывы мин и снарядов смешались в едином жестоком урагане. В этом аду залп нашего дивизиона прозвучал особо грозной нотой. «Заряжать, не меняя позиции»,— донеслось сквозь дым. Из укрытий уже подносили ящики с минами. Зарядные устройства еще обжигали пальцы. Но никто не обращал на это внимания. В считанные минуты мы снова зарядили, сменили прицел и дали второй залп.

Целый час бушевал огненный смерч. Затем стрельба прекратилась, и в воздухе раздалось гудение могучих моторов. Это полетела наша авиация довершать дело, начатое артиллерией. Послышались глухие разрывы, похожие на тяжкие вздохи. Комиссар сосредоточенно рассматривал в бинокль передовую. Затем он радостно воскликнул:

— Пошла наша пехота, решительно атакует!

После обеда в дивизионе состоялось партийно-комсомольское собрание. Майор Чупров сообщил, что фронт противника прорван на ширину около тридцати километров и глубину более пятнадцати. Сазонов призвал гвардейцев беспощадно разить захватчиков. Бойцы и командиры давали клятву не жалеть ни сил, ни жизни до полного разгрома фашистов. В заключение комиссар сказал, что сегодня враг получил ощутимый удар. Но он еще силен и отчаянно сопротивляется. Потребуется много сил и крови, чтобы изгнать его полностью с нашей земли. Поэтому необходимо крепить дисциплину, повышать боевое мастерство, стрелять метко, чтобы ни одна мина не пропадала даром.

Вскоре дивизион двинулся за наступающими частями. На местности после артподготовки образовались сплошные воронки, виднелись разбитые окопы и дзоты. На поляне у лесного озера лежало с десяток убитых гитлеровцев.

Проехав километров десять, дивизион остановился на сухой, просторной поляне. Поступила команда окопаться. Работа закипела. Подошел комиссар.

— Давайте-ка и я покидаю. Есть у вас лишняя лопата? — обратился он к нашему командиру Хисматуллину.

— Возьмите мою, товарищ комиссар,— сказал Фомичев, хитро улыбаясь, и протянул совковую лопату.

Комиссар улыбнулся, взял ее и включился в работу. Было видно, что землю он кидает не впервые. Часа через два аппарели и укрытия были готовы.

Утром получили приказ: срочно упаковать имущество и подготовиться к выезду! Куда поедем, никто точно не знал.

Снова миновали Погорелое Городище, продолжая двигаться на восток. К концу дня приехали в воинскую часть на окраине Москвы. И только тут нам сообщили, что мы прибыли на перефор-

мирование. Отлучаться никому не разрешили. Спешно сдали старую технику, получили новые установки и тут же погрузились в эшелон. Состав тронулся ночью. На рассвете мы остановились на какой-то небольшой станции. Я разыскал комиссара. Он сидел грустный, задумчивый. Рассказал, что ему очень хотелось заскочить домой, повидаться с женой и детишками, но не смог. А теперь когда еще представится такая оказия?

На третьи сутки к вечеру мы прибыли на станцию Конный разъезд, окутанную дымом — днем ее бомбили «юнкерсы». Начали поспешно разгружаться. Нас предупредили, что не исключен повторный налет. Выехали со станции уже в сумерках и, проехав километров двадцать, остановились в большом фруктовом саду. На горизонте виднелось зарево пожара, десятки прожекторов метались по небу. Оттуда доносился непрерывный зловещий грохот сражения. Пальба и взрывы усиливались то в одном месте, то в другом. Словно там работали гигантские жернова.

— Это Сталинград,— произнес комиссар.

Не мешкая, стали окапываться. Земля оказалась твердой как камень. Утром бойцы были удивлены: кругом простирались поля, засаженные помидорами, капустой, арбузами и дынями, в саду виднелось множество груш и яблок. Все это было брошено — население эвакуировалось за Волгу неделю назад. Наши ребята, изголодавшиеся в ржевских лесах по витаминам, навалились на зелень.

Основную базу дивизиона оборудовали в камышах, в русле пересохшей речушки. Тщательно замаскировались.

Обстановка непрерывно накалялась. В небе с утра до вечера висели немецкие разведывательные самолеты, имевшие необычный рамообразный фюзеляж. Бойцы прозвали их «костылями».

Грохот боев в Сталинграде не утихал ни днем ни ночью. Вскоре немцы начали атаковать и на нашем направлении — северо-западнее Сталинграда. Дивизион дал несколько залпов. Они охладили противника, но ненадолго.

Утро первого сентября началось с команды: «По машинам!» Эта команда у гвардейцев-минометчиков равносильна команде у пехоты: «В ружье!» В безоблачном небе уже висело несколько «костылей». Заметив нас, они сразу заходили кругами. Вдали что-то горело. Густой черный дым заволакивал горизонт. Ветер гнал его волнами по степи, смешивая с облаками пыли. Сбоку появились «юнкерсы». Головной спикировал и бросил бомбу, она взорвалась метрах в ста от дороги, не причинив никому вреда. Не снижая скорости, дивизион нырнул в спасительную дымовую завесу — «юнкерсы» нас потеряли. Правда, и двигаться в сплошном дыму было крайне трудно. Овраг, в котором находилась наша огневая

позиция, стал совершенно не виден. С передовой доносился грохот ожесточенного боя. Неожиданно из дыма вышли на дорогу трое раненых. Они поддерживали друг друга. Средний с забинтованной головой, обняв за плечи товарищей, еле переставлял ноги. Все трое были небриты, испачканы грязью. Водитель нашей установки Смирнов резко затормозил.

— Далеко еще до оврага? — спросил Хисматуллин у раненых.

— Нет, метров четыреста,— ответил пожилой бородатый красноармеец.— А за оврагом в километре передовая. Немец прет со страшной силой. Не напоритесь на них в дыму.

— Постой, разве оборона прорвана?

— Ишо нет. Мы отбили три атаки. А немец бомбит и бомбит. На переднем крае все перемешано с землей.

— Очень плохи дела,— добавил раненный в руку красноармеец,— людей в строю осталось мало. Следующую атаку не отбить, ежели подмога не придет.

Комиссар указал раненым, как добраться до полевого госпиталя, и, посмотрев им вслед, грустно сказал:

— Да, там сейчас нелегко. Но раненые обычно сгущают краски. Им кажется, что все рушится. Однако наш залп нужен срочно. Он подбодрит людей в обороне. Вперед, товарищи!

Дивизион быстро въехал в овраг и изготовился к стрельбе. В это время ветер несколько разогнал дым — стало видно, как немцы пошли в четвертую атаку. Залп дивизиона накрыл их. Понеся серьезные потери, враги отступили и до конца дня больше не атаковали. Из штаба пехотной части передали в дивизион сердечную благодарность за меткий залп «катюш». К вечеру мы выпустили Боевой листок, в котором подробно рассказали о результатах стрельбы и благодарности командования пехотной части.

После ужина пришел комиссар и сказал, что его очень волнует небрежность маскировки установок.

— Пошли проверим, замполит,— обратился он ко мне.

Мы немедля отправились. Бойцы везде встречали нас радушно, но комиссар оставался мрачен. Во второй батарее на небольшом костре кипел чайник, дым столбом шел в небо. В третьей батарее на видном месте сушилось стираное белье. А бойцы взвода управления вообще уселись на берегу озера и не обращали внимания на пролетавшие немецкие самолеты. Все это еще больше расстроило комиссара.

— Вот о чем надо сейчас же выпустить Боевой листок,— сказал он мне тоном приказа. Затем разыскал командира дивизиона и доложил ему: — Фашисты наверняка заметили нашу стоянку. И они будут круглыми идиотами, если не обстреляют нас сегодня же.

— Ты совершенно прав, комиссар,— согласился с ним Чупров.— Ждать до утра опасно. Давай объявим тревогу. Надо немедленно

выехать в степь и там в какой-нибудь балке оборудовать запасную позицию. Проверим твое комиссарское чутье.

И предчувствие не обмануло комиссара. Едва дивизион снялся, немцы начали обстрел камышей и вели его около часа. За это время дивизион оборудовал запасную стоянку, не понеся никаких потерь. Лишь во взводе управления, которому было разрешено остаться в камышах, ранило двух бойцов.

Около девяти часов вечера снова раздалась команда: «По машинам!» Уже на ходу комиссар сообщил, что враг атакует на соседнем участке и там создалась критическая ситуация. Сумерки быстро сгущались. Проехав километров пятнадцать, дивизион развернулся на окраине деревушки и дал залп.

Огонь «катюш» в темноте выглядел значительно эффектнее, чем днем. Наша позиция озарилась сотнями вспышек. Огненные стрелы с ревом прочертили небо. А в том месте, где они впились в землю, степь расцвела фейерверками разрывов и начала гореть. Разлилось море огня. Языки пламени лизали темноту, производя впечатление, что там мечутся гигантские тени. Но любоваться этим зрелищем было опасно. В небе раздалось гудение самолета, и тут же над нашими головами зажглось несколько осветительных ракет. Затем посыпались бомбы. Но дивизион успел отъехать.

В спешке никто не заметил, как небо заволокли грозовые тучи. Раскаты грома походили на артиллерийские залпы. Дождь пошел внезапно: крупный, частый, как из ведра. Все моментально промокли до нитки. Но ливень вселял и хрупкую надежду, что, может быть, вместе с ним наступит передышка. Однако прежде надо было окопаться — нашу стоянку в балке залило водой.

Казалось, этой тревожной ночи не будет конца. Рокот самолетов стих лишь под утро, и, словно от усталости, постепенно прекратилась стрельба. Наступила гнетущая тишина. В предрассветных сумерках затаилась какая-то угроза.

Бойцы поспешно заканчивали земляные работы. Каменистый грунт долбили кирками и ломами. Все устали. Обессилевшие, ложились на землю около орудий и сразу засыпали.

Тишина на войне порождает тревогу, и, наверное, поэтому мне не спалось. Вспомнил, что не ужинал, и решил перекусить. Не торопясь расстелил шинель, нарезал хлеб, достал соль и помидоры. Только начал жевать — позади раздались торопливые шаги. Командир дивизиона и комиссар на ходу застегивали портупеи. Было видно, что их подняло что-то экстренное. И, как бы подтверждая это, в районе передовой взвилось несколько ракет, послышалось зловещее гудение танков, вступили в дело пулеметы.

— По машинам! — прокричал командир дивизиона, устремляясь к соседней батарее. Завтрак не состоялся. Поспешно убирая еду, я машинально сунул в карман помидор. В считанные минуты дивизион прибыл на огневую позицию. Несмотря на усталость, бойцы быстро изготовились к стрельбе. Гудение танков нарастало, и вскоре в степи даже невооруженным глазом стали видны темные точки, которые быстро росли. Прозвучала команда: «Огонь!»

Громовое эхо залпа заметалось в утреннем воздухе над степью. Три танка загорелось. Еще несколько машин подбила противотанковая артиллерия. Остальные начали пятиться. Атака была отбита.

Дивизион помчался к складу боеприпасов. В перезарядке участвовали все, включая командиров. Комиссар помогал нашему расчету.

— Быстрее, ребята,— поторапливал он.— Фашисты наверняка вскоре опять полезут.

Комиссар и на этот раз оказался прав. Едва мы перезарядились — по рации поступило тревожное сообщение: в направлении совхоза Городищенский противник теснит нашу пехоту. Срочно нужен залп «катюш». Дивизион устремился к огневой позиции в овраге за совхозом. Но проскочить туда с ходу не удалось. Перед совхозом в русле речушки, взбухшей от ночного дождя, застрял пехотный обоз. Образовалась пробка. Ее уже бомбили «юнкерсы». Заметив подъехавший дивизион «катюш», они переключились на нас. Пришлось быстро рассредоточиться, но воздушные пираты стали гоняться за отдельными машинами.

К счастью, тут подоспели наши истребители, завязался воздушный бой. Дивизион тем временем форсировал речушку и выехал за совхозом на небольшую возвышенность. С нее как на ладони просматривались все окрестности. В районе наших траншей рвались мины и снаряды. В бинокль виднелись немецкие танки, медленно ползущие к передовой. Они на ходу вели огонь из пушек и пулеметов. Отдельные бойцы в первой траншее стали отходить. Свист пуль раздался и над нашими головами. У дороги разорвался снаряд, убив лошадь и ранив ездового. Но внимание бойцов привлекло другое.

Рядом из балки поднялась цепь красноармейцев и двинулась навстречу противнику с винтовками наперевес. Впереди шел сержант. При других обстоятельствах он, может быть, и не привлек бы внимания: в скромных ботинках с обмотками, в выцветшем от дождей и солнца обмундировании. Но сейчас он шел, как на параде, печатая шаг и крепко сжимая винтовку, ее штык горел на солнце. Сухая, жилистая фигура сержанта, туго затянутый поясной ремень и крепко сжатые челюсти — все говорило, что он скорее умрет, чем отступит! Вокруг свистели пули, но он не обращал

на них внимания. За сержантом, пригибаясь, нерешительно двигались в цепи красноармейцы. Здесь были люди разных возрастов — пожилые и совсем юные. Они напряженно смотрели на своего командира, следуя его примеру, подчиняясь его воле.

Любая атака — подвиг. Тут надо колоть штыком, бить прикладом, душить врага за горло. Ты не убьешь — тебя убьют. В боях под Волоколамском мне не раз приходилось ходить в атаки. Атаковали ночью, старались застать противника врасплох, обходили с флангов. Но вот так — днем идти навстречу танкам... нет, не приходилось.

— Куда они поперли? Танки всех передавят,— испуганно произнес Фомичев.

Комиссар хмуро посмотрел на него и сказал:

— Они идут в первую траншею. Там, наверное, осталось совсем немного бойцов. Но обратите внимание, товарищи, как идет в бой сержант, это наверняка коммунист. У этого человека, несомненно, железная воля и непримиримая ненависть к врагу. Этот не дрогнет. Побольше бы таких.

Смирнов прибавил газу, и мы, опередив наступающую пехоту, въехали в овраг. Через несколько минут навстречу немецким танкам понесся огненный смерчь, заслоняя солнце. Там, где клубилась пыль, земля вздыбилась от сотен разрывов мин. Два танка загорелись, еще несколько завертелись на месте с подбитыми гусеницами. С фланга на фашистов пошли наши танки. Не выдержав их натиска, немцы начали отходить. Выезжая из оврага, мы вторично встретились с наступающими красноармейцами. Но теперь их было не узнать. Сержант словно летел на крыльях. За ним с криками «ура!» бежали повеселевшие бойцы. Они радостно махали нам руками, молодой боец подбросил вверх каску и послал в нашу сторону воздушный поцелуй. Хотелось обнять этих ребят, сказать им что-нибудь подбадривающее. Но надо было снова спешить заряжаться.

Через час гитлеровцы опять пошли в атаку, стремясь пробиться к Волге. Дивизиону в третий раз пришлось выезжать к совхозу. Пехотный обоз, который утром создал в русле речушки пробку, ушел, от него остались лишь несколько разбитых повозок. Но задерживаться здесь по-прежнему было очень опасно. Немецкие самолеты бомбили совхоз. Им удалось поджечь полевой госпиталь. Из него выбегали раненые и люди в белых халатах.

Все внимание комиссара было направлено на самолеты противника. Головной уже начал на нас пикировать. Водитель Смирнов резко прибавил газу — машина рванулась вперед. От толчка упала бензозаправочная воронка.

— Севастьянов, поднимите воронку,— крикнул Хисматуллин, стоявший на подножке автомашины.

Севастьянов соскочил с орудия. И вдруг земля раскололась, ее края взметнулись вверх, совхозные домики перевернулись. Я поплыл в какую-то бездну и потерял сознание...

Очнулся в госпитале. Рядом сидит Севастьянов. От него я узнал, что с нами произошло.

— Ну ты, конечно, помнишь, как я соскочил с орудия поднять воронку. Тут сразу и грохнуло. Что-то взорвалось рядом с кабиной водителя. Смирнова сильно ранило. Машина стала неуправляемой. Она свернула с дороги и угодила в траншею. Командир дивизиона и несколько бойцов бросились туда. Смотрим, открывается дверца кабины и оттуда вываливается комиссар. Мы подхватили его на руки. Он был контужен и ранен в ногу.— Севастьянов тяжело вздохнул и произнес: — А Смирнов умер у меня на руках.

Борис, видимо, представил картину боя и разволновался. Его дальнейший рассказ стал сбивчивым. Но я все же понял, что дальнейшие события развивались так:

Командир дивизиона распорядился немедленно отправить комиссара в госпиталь на одной из «катюш». Но тот категорически отказался. Он стал доказывать, что главное сейчас — залп по атакующим фашистам. И, дескать, если мы немедленно его не сделаем и не уедем, то погубим весь дивизион. Обстрел и бомбежка в самом деле усилились. Командир дивизиона поручил Севастьянову и старшине Коцюбенко доставить комиссара в госпиталь, а сам с дивизионом помчался на огневую позицию в овраге.

Тем временем сняли с машины убитых — Фомичева и двух заряжающих. От пожара мины на установке воспламенялись и улетали куда-то в степь. «Катюша» словно давала прощальный салют своему погибшему расчету. Потом Севастьянов сбегал в полевой госпиталь и выпросил санитарную машину. Но комиссар снова не захотел эвакуироваться, мотивируя отказ тем, что сначала надо уничтожить орудие. Немцы опять начали теснить нашу пехоту — положение было опасное. Комиссар приказал Севастьянову вставить детонатор в ящик с толом и поджечь бикфордов шнур. Взрыв потряс окрестности, на месте орудия образовалась огромная воронка.

В это время дивизион дал залп. С возвышенности было хорошо видно, как метко накрыли врага ребята. Комиссар повеселел и наконец согласился отправиться в госпиталь. Но по дороге налетели «мессершмитты». Пулеметной очередью комиссару перебило ноги. Он скончался в госпитале. Говорил о грядущей победе, завещал похоронить со своими.

Братскую могилу выкопали в той воронке, где закончила боевой путь первая установка.

Вот что рассказал Севастьянов. Хисматуллин поправил на глазах повязку. Медсестра принесла чай.

— Ну, я, пожалуй, пойду,— сказал Севастьянов.— Мне пора.

Мы распрощались. Настроение было подавленное.

— Не унывайте, гвардейцы! — раздался басовитый голос из угла.— Мы победим и отомстим за ваших товарищей, за комиссара.

Я обернулся. На соломе лежал сержант лет сорока. Высокий, худой, в выцветшем обмундировании, в ботинках с обмотками. Его волевое скуластое лицо показалось мне знакомым. Но повязка, закрывавшая лоб, мешала вспомнить, где именно мы встречались. Он сел, и я узнал его.

— Сержант! — воскликнул я.— Вы шли в атаку у совхоза Городищенский! Помните, «катюши» вас поддержали?

— Как же не помнить? Без вас нам тогда туго пришлось бы...

Он закурил, мы разговорились и перешли на «ты».

— Как сейчас, вижу ту степь и красноармейцев, идущих в бой! Впереди шагал ты, как железный,— произнес я.

Он улыбнулся и, выпустив дым, сказал:

— Понимаешь, накануне весь комсостав в роте вышел из строя. Я остался единственным сержантом-коммунистом. Мне и доверили вести роту в бой. Красиво говорить я не умею, а примером могу... Сказал им: «За мной, братцы!» — и мы двинулись, чтобы раньше немцев успеть в нашу первую траншею. Там уже почти никто не уцелел. Конечно, если бы вы не вдарили так метко, не сидеть бы нам тут с тобой.

Я сказал сержанту:

— А что если немцы прорвутся к Волге? — и сам ужаснулся своим словам.

— А ты знаешь, что такое Сибирь? — неожиданно спросил он.

— Ну, тайга, морозы, огромные пространства.

— Не это главное. Сибирь — силища. Туда с запада сотни оборонных заводов двинули. С Урала на фронт уже идет оружие. К Волге идут сибиряки — дивизия за дивизией. Я сам сибиряк и все видел самолично. В сталинградских степях немцам будет крышка. Они дорого заплатят за нашу кровь!

На душе у меня стало легче от этих уверенных слов сержанта, и я крепко заснул в тот вечер. Мне снились танки и сибиряки, наступающие на врага. Впереди шел железный сержант. Как тогда. С винтовкой наперевес.

Георгий
МИРОНОВ

«НИКОГДА ВАС НЕ ЗАБУДУ...»

Как вспомню те пехотные марши безжалостным летом сорок второго, или рассказывать о них приходится на встречах молодым, или дети уже взрослые мои о том попросят, точно жаром обдает: «Как выдержали?» Если бы не политрук...— вот кто нам сил тогда придавал. В пехоте едва не самое трудное то, что перед боем. Да и не в одной, наверное, пехоте. Но про другие роды войск сказать точно не могу, потому что всю войну протопал в ней, родимой. «Пехота, сто верст прошла и еще охота», «Пехота, не пыли!», «Почему маленький котелок один на двоих, а большой ПТР — на одного?» И так далее. Но без этих горьких, и лукавых, и горделивых присказок пехоты бы не было: это ведь их она сама про себя сложила. И скорее всего, для собственного употребления: для бодрости духа, а не суесловия ради.

Да, мы, пехотинцы, всё выдержали. Это моя гордость по сей день, и, думаю, случись, наша молодежь, наши сыновья не хуже нас будут выглядеть перед жизненными испытаниями.

А нам тогда, в 1942-м, по семнадцать и восемнадцать было! Но — сдюжили.

На Юге Красная Армия отходила к Сталинграду, к Кавказским горам. И было очень правильно — призвать комсомолию и совсем молодых, которых до сих пор берегли. Незачем им было оставаться «под немцем». Да и без того всеми правдами и неправдами мои ровесники уходили в ополченческие дивизии, коммунистические и комсомольские батальоны, в партизаны, в подпольщики. Так и летом тем страшным, не менее трудным, чем первое военное лето, на военкоматовские обширные дворы пришли по повесткам парни «с двадцать четвертого» и «с двадцать пятого».

Не знаю, как вся наша 319-я стрелковая дивизия, недавно тогда созданная, а полк 1336-й, в котором я служил и воевал, весь был из моих ровесников, ну, конечно, за исключением командиров и политработников да еще старшин.

Недавно нашел меня сын тогдашнего политрука нашей роты Дудакова Трофима Терентьевича — Валентин. Из его рассказов я узнал: отец 1912 года рождения, работал железнодорожником в Сталинграде, перед войной стал членом ВКП(б), секретарем комсомольской организации поездных бригад. Летом сорок второго его «разбронировали» и направили на краткосрочные курсы младших политработников в Астрахань. Оттуда он уже попал в дивизию. Валентин сказал: любил отец «писать статьи в газету и общаться с людьми». Очень к нему на работе хорошо сослуживцы относились, с большим уважением, он был всем нужен «по общественным и производственным вопросам». Отзывчивость его людям нравилась. После окончания курсов заезжал в Сталинград попрощаться с отцом, женой Ириной и двумя малолетними детьми — Валентином и Зоей. Это теперь я понимаю, как болела и трепетала за семью душа моего политрука. Ирина перешла работать стрелочником, а город уже подвергался бомбежкам. Отец ему наказал: береги себя; и он ответил, что когда Отечество защищают, жизнь не щадят...

Из сталинградцев в роте был один младший политрук Дудаков. Ротного — старшего лейтенанта Тудвасова вскоре отозвали, и теперь уже командиром, не только политруком у нас оказался Дудаков.

В то время он и вызвал меня на беседу, после которой я стал его заместителем, «замполитрука» — была в начале войны такая должность: по четыре треугольничка в петлицах, звезды на рукавах.

Я со всей серьезностью восемнадцатилетнего парня, вчерашнего, в полном смысле слова, школяра, принял назначение. Мне очень был симпатичен политрук, к тому же я видел, как тяжело ему и командовать, и вести политработу, поэтому согласился сразу. К тому же у меня имелся какой-то опыт комсомольской работы в школе, да и ребята в первой нашей роте оказались славные, все члены ВЛКСМ, ровесники. Они — из моего родного Ростова-на-Дону, с Украины и из Донбасса, с Кубани и Ставрополья, а по национальному составу — русские, украинцы, черкесы, осетины, евреи. Были ребята из Ленинграда — их эвакуировали из блокадного города весной, перед самым фашистским наступлением. Много было хлопцев черниговских, харьковских, полтавских — из тех, кто ушел с войсками, эвакуировался в тыл, а в армию в первый год войны «по малолетству» не попал. По размеру «сидора» — вещевого мешка — можно было определить местожительство красноармейца. Если пустая котомка — значит, дальний, с Невы, Днепра; местные отличались не только объемом торб, но и налитыми щеками, цветущим видом.

Полюбили мы своего политрука. И не обижались на его требовательность. Если он говорил: «Всё!» — значит, дело было исчерпано, возвращаться к нему не стоит. Эта школа предельной честности

взаимоотношений командира и подчиненного хорошо помогла мне в армии, а потом и в жизни. Думается, у каждого должен быть в молодые годы такой вот, как мой, политрук — учитель жизни. Помню Трофима Терентьевича Дудакова, комсомольского вожака из Сталинграда, до сих пор. Хотя теперь я старше его, тогдашнего, почти вдвое. Но благодарная память не постарела. Он для меня остался тридцатилетним наставником, учителем...

Когда-то полагал, что на войне нам, горожанам, придется туго — мало приспособлены. Но те переходы по 30—40 и более километров по забитым войсками и беженцами дорогам от Ростова-на-Дону к Кавказским горам выявили в нас наше состояние: трудно было неимоверно, но мало кто унывал. Не тот был настрой в роте, батальоне, полку. Собранные с разных краев страны, мы в самом важном, самом главном представляли собой одно поколение, росли в одном Отечестве, одними идеями вдохновлялись, одна с 22 июня стала беда на всех, и одна цель впереди — победить!

А для этого надо было не о высоких материях говорить, требовалось прежде всего превозмочь самих себя. Так считал политрук, этому учил нас каждую минуту и на любом привале.

Вот мы шагаем по сорокаградусному пеклу. В наши спины стучат, подгоняя, недальний гул артиллерии и удары бомбежек. По ночам, во время недолгого забытья, тут же, возле дороги, в сон врывается пламя, охватившее горизонт от края до края, и лучи прожекторов точно лезут под закрытые веки, впиваются в мозг. Новый рассвет — и опять мы идем, идем, идем. Вот уже стихли разговоры и смех, никому не хочется курить. Пусты фляги. Звякают котелки, когда перекидывают винтовку или автомат с плеча на плечо. И будто пропитанные дорожной пылью звуки: топ-туп-пух — сапогами, ботинками по пуховой пыльной перине.

«У нас стало намного меньше территории, стало меньше хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения...» Приказ глубоко запал в душу. Всем батальоном слушали военкома старшего политрука Бирюкова. Он читал низким, хриплым от волнения голосом и все протирал «преподавательские» очки. «Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Пора кончать отступление, ни шагу назад...»

Сейчас пойдем дальше, а в сердце ненависть к врагу такая, что, кажется, грудь разорвет. Когда встретимся с фашистами, зубами и ногтями драться станем, не то что огнем и штыком.

— Шагом арш!

Адский зной, марши почти в полсотни километров заставили нас перестроиться — шагаем колонной по два, каждая из взводных цепочек своим краем дороги. Вроде бы так легче, просторнее идти. Или только кажется?

Трава у дороги, кусты и деревья далеко за кюветом — все в

бархатно-пыльном налете. Опадает ли облако, повисшее над войсками? Ночами, когда у нас привал, доплывает тот же запах и доносится притихшее, но настойчивое: пух-пух-пух.

Глаза, глотка, нос, уши забиты пылью, грязные струйки стекают по лицу, попадают за ворот. Стираю рукавом пот с лица, хочу подкинуть на плече винтовку — и замечаю, что Вилен Коваленко шатается. Его худая спина в пропотевшей гимнастерке до сих пор мерно колыхалась у меня перед глазами. Берусь за ствол коваленковского «дегтярева»:

— Виля, давай я, отдохни немного.

Не останавливаясь, он измученно отдает мне ручник.

— Если сейчас не встряхнусь, лягу и не встану,— на ходу оборачивает ко мне серое, с черными губами и черными глазницами лицо.— А што, замполит, если запеть — всем чертям назло?

Глоток бы воды, пусть теплой, не колодезной, а то, честное слово, не то что петь — думать не хочется. Но поддерживать в бойцах высокий душевный настрой обязан не он, рядовой боец, а я, заместитель политрука роты. Недаром Вилен обратился ко мне не по имени, а по званию. Откликаюсь: давай, поддержу. Знаю даже, что запоет — прилепилась из бесшабашного мальчишества песня с надрывной романтикой:

Пыль, пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог.
Отдыха нет на войне солдату.

Поет Вилен приятным тенорком. Вообще он талант: за что ни берется, все слаживается у него ловко, артистически — что песни, что рассказы о довоенном житье-бытье, что обращение с трофейным оружием.

Я был в аду, я вам клянусь:
Там нет ничего —
Ни жаровен, ни чертей,
Только пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог.
Отдыха нет на войне солдату.

Не шибко бодрая песня, но главное — поем, вопреки всем бедам этого лета.

— Ну, ребята, а теперь что-нибудь задорное, комсомольское,— говорит, догоняя нас, политрук Дудаков.— Наше, настоящее!

Политрук все понимает точно. Песню не стал прерывать, но потом одной фразой отсек просто и четко наше, свое от чужого. И все это приняли спокойно, как надо. Неплохой урок политграмоты тебе, замполит.

— «Дан приказ» подходит? — спрашивает Вилен.

— Отлично, прекрасная песня!

Дан приказ: ему на запад,
Ей — в другую сторону...

Дудаков подхватывает не совсем в лад, но сильным и веселым голосом. И мы все поддерживаем:

Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.

Поем тихо и не под ногу, но песня здорово бодрит. Политрук идет по середине дороги, увязая в пыли по щиколотку, блестят зубы на смуглом, «цыганистом», лице. Он вроде бы сделан из сверхпрочного материала — не кажется усталым, страдающим от жары и жажды. Хотя он и за ротного — не командует, а просит, не поучает — подает собственный пример. Ребята в роте ловят каждое его слово, стараются все выполнить как можно лучше.

— Замполит,— кричит Дудаков уже издалека, с хвоста ротной колонны,— давай подтянем отстающих! — Когда я остановился и дождался последних, он пошутил: — Ну, Ростов, отстоим Кавказ? Приказ все правильно поняли?

Были бы мы ровней, я б тоже не отстал: «Что за вопрос, Сталинград, конечно отстоим!» Но я отвечаю серьезно: расколотим фашистов, иначе нам не жить. Приказ суровый, но ведь нам нужна только настоящая правда, мы на ней воспитаны.

— Ты прав, Юра, или мы, или они.— По имени он меня называет редко. И от этого сразу становится много ближе, как старший брат.

Внезапно что-то неуловимо изменилось, я еще не понял что, а уже знал — беда. От слепящего солнца падал на нас с нарастающим тонким воем самолет; как он прокрался незамеченным?

Попáдали мы в пыль, и только из-под касок глядели на злого тонкохвостого «мессершмитта», он уже безнаказанно разворачивался для нового захода. Мелькнул ясно увиденный летчик в очках-консервах; откинув плексигласовый «фонарь», он перегнулся через борт и грозил нам черной кожаной перчаткой, сжатой в кулак. Мало того что заставил нас лечь носами в пыль и сверху расстреливал на бреющем,— фашистский гад еще махал кулаком!

Что-то в нас, подстегнутое гневным приказом «Ни шагу назад!», сработало яростно и неостановимо. Мы стали вскакивать под круговыми заходами «мессершмитта» и стрелять в ответ стоя, с колен. Из винтовок, автоматов; перезаряжая винтовку, я увидел рядом старшину роты Воробьева — он палил в «мессера» из нагана. А политрук, наш политрук,— он взгромоздил сошки коваленковского «дегтяря» себе на спину и держал их обеими руками, а Вилен стрелял по самолету длинными очередями. Все это было с военной точки зрения, наверное, малоэффективно. Но в такие минуты становятся

солдатами. Превозмогают страх, утверждая себя на войне. И «мессер» убрался — то ли кончились боеприпасы, то ли на самом деле наш огонь отпугнул его. С обиженным воем хищная серая птица с желтыми закраинами на крыльях, похожая на осу, исчезла в блекло-синем от жары небе.

А мы пыль отряхнули и пошли дальше. Уже значительно бодрее. На войне не всегда убивают: фашист ни в кого не попал, он брал на испуг. Но мы не такие, чтоб поддаваться.

Шли всю ночь. И только на рассвете могучий голос комбата:

— Левое плечо — вперед!

Роты торопливо сворачивали под арку со свежей надписью: «С новым учебным годом, дорогие ребята!»

Второй роте досталась нетрудная работенка — выносить из школьных классов парты, третьей вообще повезло — ее послали добыть в деревне сена на подстилку. А наша первая один взвод должна выделить на кухню, второй — в караул.

Разуться хоть бы на минуту. Будто из тисков вытащить ноги. Наслаждение — сбросить портянки и пошевелить пальцами. Ноги горят, точно их терли наждаком. На последнем привале казалось: усну в придорожном кювете и танком оттуда не выволочь, пока не отосплюсь. А подали команду строиться — сразу проснулся и пулей вылетел на дорогу. Вот опять кричат во дворе:

— Замполит-один, к командиру роты!

Быстро натягиваю башмаки, накручиваю обмотки — «трехметровые голенища», хватаю винтовку и несусь из школьной пристройки, занятой под караулку, на вызов. В заместителях политрука я недавно, официально звание мне еще не присвоено. Но младший политрук Дудаков отдал мне запасную пару своих нарукавных «комиссарских» звезд и велел вместе с треугольничками в петлицы нашить и их: «Будешь действовать от имени партии».— «Я же только комсомолец».— «Комсомол — первый помощник партии. Так что — действуй!» До этого политрук на маршах, на привалах приглядывался ко мне и однажды вызвал для разговора.

— Когда стал комсомольцем, номер билета? — спросил почти в упор. Я почему-то ответил в такой же отрывистой, лаконичной манере:

— Одиннадцатого апреля тридцать девятого. Четыреста тридцать ноль пятьсот двадцать два.

— Помнишь! — одобрительно кивнул политрук. И выдал серию новых вопросов:

— Сколько классов кончил, какие отметки были по истории, по литературе, по военному делу, какие значки получил?

— Десять,— отвечал я.— Отлично. Отлично. Отлично. «ГТО», «Ворошиловский стрелок», «ПВХО».

— А по математике, как соображаю, на «посредственно» учился?

— В пятом классе даже переэкзаменовку на осень имел.

Оба рассмеялись, и политрук признался, что тоже не силен в математике. Рассказал: был до войны секретарем комсомольской организации на железнодорожном транспорте, там и обрел манеру задавать вопросы «залпом».

— Если человек не тушуется и все запоминает, не заискивает и не теряет чувства юмора — значит, толк из него будет.

Я рассказал о Грише Иваненкове, секретаре Ленинского райкома ВЛКСМ в Ростове, который вручал мне билет. Дудаков слушал внимательно о незнакомом сотоварище. Вообще я увидел: политрук, как когда-то Гриша, обладает талантом слушать и, значит, быть внимательным к человеку. На войне это особенно ценное качество — люди раскрываются до конца. Иной через полчаса уйдет безвозвратно, доверив тебе свое сокровенное. Я понимал, что уметь слушать и слышать человека для политработника не менее важно, чем уметь говорить.

— Хочу, Юрий, назначить тебя замполитом — заместителем политрука роты.— Дудаков говорил медленно, глядел испытующе, а я молчал, думал: ведь мне ж только восемнадцать.— Какие у него права? Да такие же, как у каждого из бойцов. Обязанности? Их много. Главная — в атаку подниматься первым, прежде всех красноармейцев. Во всем остальном быть для них примером — в сражении, на боевых учениях, на марше, на отдыхе. Все ясно? Приступай к исполнению новых обязанностей.

Мне почти все неясно, но сказал: «Есть!» — и повернулся по-уставному через левое плечо. В армии выполняется любой приказ, тем более в нынешней обстановке у нас на Юге: бои кипят в донских степях, на Сталинградском и Кавказском направлениях. Суровый приказ наркома обороны потребовал: остановить немцев! Что же мне сейчас размышлять, все надо подчинить в себе святому и бескомпромиссному «любой ценой», «во что бы то ни стало».

...Подбегаю к политруку и замираю, стукнув прикладом о землю. Докладываю: явился.

— Отдыхать будем после войны, замполит,— говорит ротный, придирчиво оглядев мою солдатскую заправочку: если не сделал замечания, значит, все в порядке.— Вот тебе газеты, утром проведи по этим материалам политбеседу на тему «Ни шагу назад!». Подготовься, составь план и приходи с ним ко мне на утверждение. Роту поднимем в шесть, а в семь ноль-ноль проведешь.— И уже другим, приятельским тоном добавляет: — Юра, знаю, что ты помначкара (помощник начальника караула) и вторые сутки без сна, но война, и я тебе на должности замполитрука не обещал легкой жизни. Значит, проведешь беседу «Ни шагу назад!».

Это моя первая в жизни политбеседа. Надо хорошо подготовиться! Чтоб сбить сонливость, вытаскиваю из «сидора» мыло, полотенце,

бегу к реке. Она течет с гор, и вода в ней, несмотря на летнюю пору, ледяная. Уж мы попили ее после марша!.. Как умею, стираю подворотничок, портянки — до беседы просохнут. Бодрый, освеженный, взбегаю по круче к школе. Часовой Вилен Коваленко винтовкой шутливо перегораживает дорогу.

— Побудь со мной, замполит, объясни международную обстановку, нуждаюсь в пище духовной и телесной, конечно, тоже. Да и сон одолевает.

— Некогда разговаривать. А поесть сейчас принесу. Дрожу из-за выступления: читать по бумаге не умею, Виля.

— И не учись, балакай от сердца, а не от шпаргалки, замполит!

У нас с другом схожие судьбы: школа, комсомол, война, матери нас без отцов растили. У Вилена голос изумительной красоты, он играет на любом инструменте. Уходя с армией из своего Нежина, захватил справку об образовании и «походный» музыкальный инструмент — гитару: после войны хочет в консерваторию. Война перечеркнула наши планы на будущее, мы прибавляем в конце разговора на эту тему: «Если живы будем...» А иной раз кто-нибудь из ребят с горячей искренностью скажет: «Эх, дойти бы до Берлина — за это жизни не жалко». Тогда замполитрука, сидящий во мне, «пресекает» подобные настроения: «Нам надо фашистов угробить, а самим жить остаться — в этом главная задача!»

Полубессонная ночь в карауле, и вот в оконце заглядывает раннее свежее утро. Снежные вершины гор сияют чистотой. Все свободные от караула и наряда на кухне сидят в школьном саду, опустив ноги в ровики, вырытые на случай воздушного налета. Под взглядами сотни пар глаз я нестерпимо нервничаю.

— Разрешите начать беседу? — обращаюсь я к политруку.

— Начинайте,— официально отвечает он и садится прямо на землю, как все, опустив ноги в окопчик.

...На марше, когда полк вчера проходил через переезд, возле будки стоял маленький пожилой железнодорожник, наверняка из-за войны вернувшийся на работу с пенсии. Он брал за руки проходивших красноармейцев и что-то говорил им, а они потом всё оглядывались на него. Я шел с его стороны, он тоже схватил меня за руку и, заглядывая в лицо бледными старческими глазами, не то попросил, не то потребовал: «Спасайте Родину, ребята. Милые, родные ребята, спасайте Родину!» От этих слов у меня мурашки по спине и горло перехватило...

Начинаю беседу с напоминания о старике-рабочем, который будто от имени всего народа обращался к нам, молодым бойцам, комсомольцам. Идет второе лето войны, такое же тяжелое, как первое. Пришел наш черед доказать, чего мы стоим как воины, как защитники завоеваний социализма. Потом читаю, волнуясь, из «Красной звезды» от 13 августа обжигающие слова новой статьи

Эренбурга: «Не будем надеяться ни на реки, ни на горы. Будем надеяться только на себя. Немцы переходили через горы, они переплывали через моря. Фермопилы их не остановили. Критское море их не остановило. Их остановили люди — не в горах и не на берегу широкой реки — на подмосковных огородах».

По лицам слушателей учусь судить, нравится ли им моя беседа или нет. Наш взводный лейтенант Леонид Качурин кивает одобрительно, но он добрый чересчур парень, надо бы кого выбрать построже. Мурату Лекову вроде тоже нравится. Вот бы Вилена — этот врежет правду-матку, несмотря на дружбу. Так до сих пор и не знаю, хорошо ли, толково начинал свое замполитство...

Беседа кончается, когда от ворот доносится голос часового:

— Замполит-один, на выход!

— Иди,— разрешает политрук, которого я взглядом спрашиваю: можно? — Сам отвечу на вопросы. А провел ты на первый раз неплохо.

Это для скупого на похвалы Трофима Терентьевича высокая оценка. Но кто бы это мог меня вызвать, что там случилось?

На часах сейчас стоит Илья Бродский, парень с нашего двора, друг детства. Подбегая, слышу, как он кому-то говорит извиняющимся тоном:

— Нельзя вам туда, тетя Лиза. Там расположение части.

Что это еще за тетя Лиза? За Илюшкиной спиной различаю сначала странно знакомый синий рюкзак на чьей-то спине, потом полуседую голову женщины и тоже очень знакомый синий берет.

— Мама! — я вскрикиваю на весь школьный двор.— Как ты здесь оказалась?

Странно, что не пугаюсь чувства счастья, как бывало в детстве: тогда стыдился, если мама целовала меня при ребятах.

Илья деликатно отходит, а мама прямо на дорогу ставит круглый солдатский котелок, покрытый широким лопухом, и зеленую бутылку, заткнутую огрызком кукурузного початка. Протягивает ко мне руки, и вдруг тяжелое рыдание сотрясает ее.

— Они опять взяли Ростов. Уходила с армией, не город — сплошное пожарище. Звери, как бомбили беженцев! Соне Горняковой осколком бомбы снесло половину головы. На Зеленом острове, куда вы ездили купаться. Ой, сынок, не могу...

(С той далекой поры не могу видеть плачущих женщин.)

Впервые вижу, что так обнаженно, страшно рыдает моя отважная, строгая мама. Крупные слезы катятся по пыльному загорелому лицу, оставляя мокрые следы, и падают в пыль. Соня — девчонка-ровесница с нашего двора, она, я, Илюшка росли вместе. Нет сил все это вынести. В растерянности, прижав локтем винтовку, обнимаю маму и неумело стараюсь стереть с родных щек темные потеки. Мама точно стала меньше ростом, головой достает мне до плеча.

Неужели это я так вытянулся? Или горе маму пригнуло? А на Соне я в десять, а потом в пятнадцать жениться хотел... Смуглая маленькая рука убирает смоляную прядку со лба навсегда знакомым нетерпеливым жестом. Не будет Сони уже ни-ко-гда...

— Вот принесла тебе,— изо всех сил сдерживаясь, говорит мама.— Это сливочное масло. И мед — в бутылке. В поликлинике всем перед уходом из Ростова выдали впридачу к расчету по полсотни коробок спичек. Вечная ценность на войне. В Нальчике на базаре обменяла на масло и мед. Как в пору натурального обмена. Ты знаешь, почувствовала, что ты близко, и обменяла. Так и оказалось. Потом иду к военному коменданту: подтверждает. Подхожу — и первого вижу хромого Илюшку с ружьем. Как ты будешь воевать со своей ногой?.. Впрочем, после того что они сделали с Ростовом, и я в свои 50 лет готова стрелять в них. Ладно, надо пересилить себя и говорить о другом. Мальчики, как вас кормят? Сынок, вы, наверное, еще не завтракали? Поешьте и угостите товарищей. Не беспокойся, сын, я сыта. Иди делай свои дела, а я посижу тут на скамейке. Ведь можно? — обращается мама к Бродскому.— Хоть ты, Илюша, часовой, но ведь меня же знаешь.

Илья переминается с больной на здоровую ногу и вопросительно смотрит на меня. Нашел специалиста по уставу караульной службы...

— Можно,— твердо говорю я.— Тут за воротами не территория части. Да и ты мать красноармейца.

Я так взволнован, что не могу сразу сообразить, как поступить лучше: поскорее отпроситься у ротного, потому что мы наверняка скоро уйдем отсюда? Грохочет совсем близко, слышны даже отдельные пушки. Сыта ли мама, как она говорит, или надо первым делом сбегать на кухню и попросить у повара чего-нибудь поесть горяченького для нее? Не умещается в голове, как, наверно, и у Илюшки, известие о Соне. Мама заставляет меня взять котелок, бутылку и подталкивает в спину. Уже из ворот я оборачиваюсь, как будто мой вопрос сейчас самое главное:

— Как ты меня нашла, мама?

— Ох, сыночек, мать всегда найдет...— с тихой улыбкой отвечает она.— От самого Батайска все спрашивала, где ростовские ребята воюют. Когда ты написал, что вас перебросили ближе к местам, где бывал в пионерских лагерях, я догадалась, где искать. Вот и нашла.

Отдаю ребятам масло и мед, чтоб разделили на всю роту. Докладываю политруку о маме. Он мельком порадовался за меня, но тут же нахмурился:

— Мы выступаем, Юра. Беги прощаться.

Мама сидит у ворот в позе беспредельной усталости. Даже рюкзак не сняла с плеч. Увидев меня, чуть выпрямляется и непозабыто улыбается мне.

Сколько помню, видел маму озабоченной, торопящейся, для дома не оставалось времени. Не пела мне мама колыбельных песен. С детства в семье слышал слова: маленьким — «Сельмашстрой», в школе — «Ростсельмаш». На окраине Ростова вырастал завод — детище первой пятилетки, и многих врачей перевели на работу туда в новую поликлинику. Было моей маме не до песен не потому, что не знала их, а потому, что с утра до вечера на работе. То прививки, то профилактика. То открывается новый здравпункт на какой-то Берберовке, куда и дороги-то поначалу не было, одна тропинка. Воротившись домой, мама сваливалась от усталости. Я в кухне на керосинке грел ужин и мыл под краном резиновые боты, до верха, до кнопок измазанные в липучей красной глине. И не огорчался, если мама на другой день виновато говорила мне уже от двери: «Я побежала, сы́ночка. Обед сготовить не успела, тебя накормит Власьевна, я просила ее».

На собраниях в поликлинике маму приглашали в президиум. Ее фотография висела на Красной доске. И когда в выходной день мы шли по улице, разные люди приветствовали маму, и я был горд за нее. «Добрый день, доктор!», «Поклон тебе, Львовна. Ну сын у тебя вымахал, что верста коломенская. Спасибо за заботу о моей старухе», «Здравствуйте, тетя Лиза!»

Я не часто слышал жалобы на жизнь. Работа, работа, она помогла маме в трудную пору. Жили, как все, нелегко: тесная жилплощадь в коммунальной квартире, просторная полка книг, хотя каждый рубль на счету; скрепя сердце, мама в конце концов, когда я подрос, отдала мне донашивать отцовы вещи. Уже перед самой войной, в 10-м классе.

Мама скупо рассказывает, что пережила, вдруг оказавшись в захваченном врагом Ростове. Полгорода знало ее как врача-активистку, а иные помнили, что она еще курсисткой выступала на революционных митингах в семнадцатом. Не пряталась дома, а горько, неприкаянно бродила по городу, в котором родилась и который стал чужим. Однажды на улице Энгельса набрела на солдат, бросавших из окон городской библиотеки охапки книг прямо в снег — здание шло под госпиталь. У нас в доме царил культ книги, и мама не выдержала. На немецком, который учила в местной Екатерининской гимназии, резко выговорила молодым немцам, что это варварство так обращаться с книгами — достоянием нации, народа, всего человечества. Как ни странно, маму не пристрелили на месте, не отвели в комендатуру, а гестапо еще не успело появиться. Возможно, попались солдатики, которых не окончательно оболванил нацистский режим. Они поразились, что фрау так властно и убежденно говорит с ними, да еще на их родном языке. Сложили разбросанные книги на тротуаре и ушли.

А через неделю наши вышибли захватчиков из Ростова, и по-

ликлиника работала до последнего советского дня в конце июля. Накануне ухода врачей и фельдшеров с войсками завхоз сверх зарплаты роздал каждому те полсотни коробок спичек. И эту «вечную ценность», это богатство военной поры мама как раз сегодня утром поменяла на местном рынке на другую «вечную ценность» — продукты, чтобы принести их мне. Откуда узнала, что ночью пришла часть, в которой дерутся ребята из Ростова? Интуиция матери? Загадка для меня. Сердце точно простучало: сын от тебя близко. Так и оказалось...

— Становись! — зычно кричат во дворе.

Я вскакиваю. Мама, качнувшись, с трудом встает.

— Мне надо идти,— виновато говорю я.— Прости, мама...

У мамы потухший взгляд, какое-то опрокинутое лицо. Мама тяжело поднимает руку и медленно проводит ею по моей щеке. Сколько проживу, не забуду знакомый с детства, а сейчас совсем беспомощный жест. Будто мама хочет оградить меня от всех бед. Мне кажется, что я чувствую, как торопливо бьется пульс на ее запястье, колотится в мою шею. Мама не плачет, только смотрит, смотрит и ничего не говорит. Знаю: я для нее один на свете, и если со мной что-то случится...

— Ничего не случится. Все будет хорошо. Вернусь живой-здоровый и с победой, верь, мама! — шепчу я.

За ворота вышел политрук. Подойдя, он совсем по-старомодному уважительно поклонился маме, а мне сказал:

— Иди в строй, снимаю караульных.

Я поцеловал маму в щеку, на которой так и осталась бороздка от слезы, и побежал к строю. На бегу не удержался — оглянулся.

Несмотря на то что во дворе уже шумно строился батальон, не ушел в этот запомнившийся мне навсегда миг мой политрук, задержался возле солдатской матери, нашел минутку.

Мама протянула ему руку, и они о чем-то перемолвились.

Над войной, над всеми ее обвальными бедами утвердили тогда эти двое близких мне людей нерушимость доброго человеческого взаимопонимания.

— Батальон, шагом марш! — резкая команда.— На выход, левое плечо вперед!

Сзади меня толкают. Вилен сует что-то завернутое в промасленную бумагу.

— Твоя доля, замполит. Хлеб с маслом и медом.

Мама стоит у ворот, ищет меня глазами среди сотен ребят, похожих в военной форме друг на друга. Прямо из строя протягиваю ей пакет.

— Это твоя доля, мама. До свидания! Я вернусь...

В нашем строю одна молодежь. Взводный лейтенант Леонид Качурин старше на два года, а Вилен моложе меня на год. Самый

старший и опытный из нас ручной пулеметчик Иван Коренец, ему за двадцать, на кораблях Балтфлота уходил из Таллина, тонул, выплывал. Он в нашей комсомольской роте из красноармейцев единственный коммунист, на передовой принят кандидатом в члены ВКП(б).

Илюша Бродский работал на обувной фабрике — надо было семье помогать. Идет прихрамывая — в детстве неудачно прыгнул с дерева, ходил в протезной обуви, а теперь упросил врачей пустить его на войну. Отец Илюшки, «старый Бродский», политкаторжанин, умер давно; был он человек хлипкий телом и могучий духом; в тюрьме поднял на протест товарищей, жандармы били до смерти, но не убили. Илюша в отца — добрый и непреклонный.

Мы, по характерам все разные, стали близки друг другу — объединила война. Недаром к нам с мольбой-приказом обратился старый рабочий: нам спасать Родину от фашистов.

Впереди громоздятся горы — зеленые, поросшие лесом, а поверх, нависая, закрыв полнеба, величаво рисуются белые очертания Главного Кавказского хребта.

Торопливая погрузка в эшелон, трогаемся. Ненадолго увозят нас в тыл на учебу, пополнение. Снова фронт — выгрузка на станции города Орджоникидзе. Строимся и с оркестром шагаем через спящий город. Совсем недавно узнал: командование и политотдел дивизии приняли решение пройти улицами города под музыку, чтобы показать нашу силу в трудные решающие дни. Орджоникидзе подвергался бомбежкам, танковые части врага были уже близко — и тут горделиво шагают под плеск меди хорошо вооруженные и экипированные, уверенные молодые парни, все один к одному. Город проснулся и высыпал на улицы, по которым мы шли, печатая шаг. Мальчишки пристраивались шагать с нами. Женщины смеялись и плакали, искали своих. Усатые бравые старики-горцы принимали стойку «смирно» со своими палочками. Ребята осетины из рядов кричали по-своему что-то ободряющее.

К исходу ночи, пройдя станицу Архонская, мы начали окапываться за ее западной окраиной. Позади тревожно лаяли собаки. Моросил теплый дождик. Подъехала батальонная кухня — поели быстро и снова принялись за работу. Старшина роты Воробьев на телеге примчался из станицы с лопатами. Политрук и взводные сначала поторапливали, потом сами взялись копать. Надо не только отрыть стрелковые ячейки, но и соединить их ходами сообщения.

От городка Ардон, что впереди нас, отходят обозы, артиллерия, стрелковые части. Горизонт в той стороне начал расцвечиваться ракетами. Иван Коренец сказал:

— Подступает фашист. Теперь между ним и нами наших войск нема. Прет, гад, спасу нет...

Тут подозвал меня Дудаков и тихо сказал:

— Возьми двух бойцов. Выясни, есть ли противник за рекой. Смотри по карте: перейдешь речку вот здесь, она мелкая. К рассвету вернуться. Все ясно?

— Ясно. Комсомольские билеты сдавать?

— Не надо. Возвращайтесь поскорей.

Кажется, политрук не уверен, правильно ли он ответил. Ему-то тоже впервой посылать в разведку.

Зову с собой Коваленко и Селезнева. Ребята отставляют лопаты, берут винтовки. Идем в полный рост, ориентируясь на всполохи ракет. Тишина, но через полчаса слышны негромкие выстрелы — щелчки из ракетниц. Это фашисты освещают подходы к своим позициям. Перебежками минуем с краю поле спелой кукурузы, цветные фонари уже за спиной. Переходим вброд речку. Светает. Слышны голоса. Крадемся по тропке, чтоб не греметь в сухой кукурузе. Впереди голая высотка у дороги, обсаженной деревьями. На скате, обращенном к нам, окапывается целый взвод немецких солдат. Они в трусах, пилотках, сапогах с широкими голенищами. Автоматы висят на придорожных деревьях. Их владельцы перекликаются, хохочут, пьют из фляг, курят, но сноровисто копают.

Мы замираем. Впервые так близко, не в боевой обстановке наблюдаем врагов. Мелькнула мысль: а что, если открыть огонь по ним... Эх, был бы пулемет или автоматы. Ну да и из винтовок попробуем.

— Сначала пальнем по тем, кто ближе к оружию,— говорю товарищам и даю команду: — Огонь!

Думал, фашисты станут хватать свои «шмайсеры». Куда там! Поднялась паника — падали, катились с горы, хлынули в кукурузу. Один с перепугу руки поднял. Мы по нему бить не стали. Лишь два-три солдата ринулись к оружию и начали стрелять по нас. Я велел Володе и Вилену отползать, а когда они меня прикрыли огнем, перебежал к ним. Гитлеровцы пришли в себя. Затукали минометы. Нельзя ложиться, нужно броском выходить из зоны обстрела. Рвусь через кукурузу, она хватает за ноги, по спине ударяют комья земли от взрывов.

Сквозь грохот слышу вскрик, так стонут от нестерпимой боли. Забыв о страхе, кидаюсь на выручку. Володя опрокинут на бок, гимнастерка изорвана, покрывается темными пятнами. Рву зубами индивидуальный пакет, задираю гимнастерку и по синей морской татуировке, залитой кровью, перевязываю, бинт сразу густо набухает. Взваливаю стонущего Володю на спину и шагаю, не обращая внимания на обстрел. Нас находит Вилен и, сплетя руки, мы делаем сиденье, несем товарища. А если б я не приказал стрелять, Володю, возможно, не ранило бы. Может, не надо было... Но тогда получилось бы что-то вроде перемирия с врагом: нас не трогай, мы не тронем...

К своим приносим уже мертвого Володю. Не дождется его в Новороссийске мать.

Появляются немецкие самолеты. Основная масса идет на Орджоникидзе. Два звена отваливают, устремляются на наши окопы. Навстречу, захлебываясь от торопливости, татакают скорострельные зенитки.

Крик радости несется по окопам: «юнкерс» с натужным воем, волоча шлейф дыма, несется к горам и, не долетев, взрывается в воздухе.

Как мы ненавидим пиратские самолеты, меченные крестами и свастикой. И как преданно любим свои с родными красными звездами. Ю-87 с неубирающимися шасси — «лаптежники» — с воем один за другим опрокидываются через крыло. Вываливаются бомбы, несутся на наши траншеи. От близких взрывов качается окоп, вот-вот он задавит меня. Не могу глядеть в небо, сижу, зажав коленями винтовку, нахлобучив на голову каску.

Кто-то толкает меня. Оглядываюсь — политрук. Стоит пригнувшись в мелком ходе сообщения и кричит. Невероятно, но на побледневшем лице улыбка.

— Юра, в каком году было крещение Руси? А битва на Чудском озере? Не забыл? — и хлопает меня по спине: — Держись, замполит! На нас железа фашисты еще не напасли. На нас рота смотрит.

Он подбегает к Коренцу, вытаскивает из-под него ручной пулемет, показывает вверх. Выглядываю, и в этот миг на окоп падает тень от низко пронесшегося самолета. Успеваю разглядеть своими близорукими глазами не только кресты, но и заклепки на широких дюралевых крыльях. В хвост неуверенно выходящему из пике «юнкерсу» длинно строчит из «дегтярева» Коренец. Пулеметные сошки уперты в плечи находчивого бесстрашного политрука. Он держит эти сошки будто ножонки ребенка, сидящего у него на спине, и, изогнув шею, следит: попали или нет?

Стреляем по второму «юнкерсу», слышу сквозь тявканье зениток дробь коренцовского «дегтяря»; бухают трехлинеечки. Рано нам помирать! На окоп, на меня пикирует с диким воем сирены проклятый «лаптежник». На крыльях пульсируют красными огоньками пулеметы...

Убрались «юнкерсы» — начался обстрел. Нырнуть бы в укрытие, сжаться, стать маленьким. Заставил себя перебраться в траншею; стена разрывов, темно, словно наступил вечер. Бегу узнать, как товарищи, все ли целы. Ведь я в ответе не только за себя. На повороте траншеи стоят политрук Дудаков и командир нашего взвода лейтенант Качурин. Курят, вглядываются в немецкую сторону.

— А, замполит,— улыбается ротный.— Воюем, значит?

— Воюем помаленьку, товарищ политрук.— Близкий разрыв, все пригибаются, не один я.

— Танков как будто не слышно,— замечает лейтенант.

— Теперь ему не сорок первый,— отзывается ротный,— танков на все участки не хватает. Сталинград оттянул...

— Да-а, там сейчас не в пример тяжелее нашего.

— Замполит,— говорит ротный,— пройди по обороне, подбодри бойцов: посмотри кто как. Приготовь к отражению атаки.

Рота готова к бою. Ребята бледные, осыпанные землей, но напряженные, решительные. У всех дело — ищет выход нервная энергия: гранаты и бутылки с горючкой прячут в ниши, которые врезают в передней стенке окопа, вставляют в гранаты запалы.

— Ребята! Приготовиться к отражению атаки,— говорю я.— Проверить оружие. Залповый огонь, без команды не стрелять.

И в следующей ячейке повторяю все снова: — Приготовиться... проверить...

Как тот старик у переезда, стараюсь каждому сказать нужные слова. Корю себя, что не догадался напомнить ребятам: будем мстить за гибель Володи Селезнева.

Разрывы отдаляются — огонь перенесен в глубину нашего расположения. Сейчас начнется...

— К бою! — твердый голос политрука.— По противнику. Прицел три. Р-рота... Залпом...

Долгая, долгая пауза, тишина, сквозь которую слышу голоса: «Вон, вон бегут!» — «Где? Не вижу!» — «Да что ты, слепой, они у вагончика тракторной бригады...»

Даже сощурившись, фашистов не разгляжу, но обостренным слухом улавливаю дальние горланящие голоса, они сливаются в общий вопль, похожий на «а-ля-ля». Минута — и совсем близко, метрах в трехстах, различаю наконец бегущие фигурки. Как их много...

— Ого-онь! — голос ротного, нашего политрука, повторенный лейтенантом: — Огонь!

Слитный залп, а за ним густая, но беспорядочная стрельба. Беру на мушку высокого офицера с маленькой головой. Он несется скачками, держится позади остальных, подгоняет и прикрывается ими, никак не собью его. Падают солдаты, а другие уже близко и не ложатся. А «мой» все не падает. Другие валятся, а этот нет... Все равно свалю долговязого.

Сейчас дойдет до гранат, потом... потом нам подыматься в контратаку и сходиться врукопашную. Иначе они раздавят нас в окопах своей массой.

Больше не вижу длинноногого офицера. От моей ли пули упал, от другой ли — неважно. А тут заминка у немцев, не выдержали, залегли. Порхают над солдатами облачка пыли — окапываются они сноровисто, но стрельбу ослабили. Под прикрытием минометов снова поднялись в атаку. Залповым огнем по командам политрука

мы опять заставили их лечь. Почти от наших окопов они стали отползать отстреливаясь, потом побежали. Мы били им вслед.

И вдруг наступила тишина. Стал слышен вой ветра в вышине. День окончился спокойно — враг отказался от наступления на нашем участке. Последовали атаки на соседей, но и там противник не добился успеха, нигде он не прошел.

Незадолго до нашего наступления погиб Вилен Коваленко. Его и Петра Чибисова послали на охрану моста. В тот вечер снаряд угодил в пустой блиндаж и разбил Виленову гитару. Предчувствие беды лихорадило меня всю ночь. Когда на рассвете я увидел, что Петя возвращается один, понял — случилось самое ужасное. Он отдал мне карманные часы Вилена, доставшиеся ему от отца, на крышке был нарисован цветной эмалью «Иван-царевич на сером волке». Похоронили бойца Коваленко у моста, где его настиг вражеский снаряд.

В ночь перед наступлением партийная ячейка нашей роты разбирала заявления о приеме в партию. В низком и тесном блиндаже по обеим сторонам стола на земляных нарах сидели трое ротных коммунистов: политрук Дудаков, старшина Воробьев, красноармеец Коренец. Неярко светила керосиновая лампа, стыло, как в траншее. Я вошел и, пригнувшись, доложил, что прибыл.

— Садись,— говорит старшина, подвигаясь.— Принимаем такого длинного хлопца, что приходится нарушать правила, а то головой накаты пробьет.

Добрый, заботливый Иван Иванович старается унять мое волнение. Я рассказываю автобиографию. Задают вопросы: исполнилось ли 18 лет, имею ли сведения об отце, где в данный момент находится мать? Отвечаю, что четыре месяца как пошел девятнадцатый год, об отце ничего не знаю, мама эвакуировалась в город Карши Узбекской ССР, где работает врачом.

— Есть предложение: принять,— говорит ротный.— Замполита мы знаем, в боях оправдал доверие и должности своей соответствует. Ставлю на голосование.

Дверь распахивается, и мы встаем, пригнув головы. Входит невысокий и, пожалуй, даже молодой человек с тремя «шпалами» в петлицах и звездами на рукавах шинели. С ним военком батальона. Опустив руки по швам, ротный докладывает:

— Товарищ старший батальонный комиссар, парторганизация первой роты 1336-го стрелкового полка рассматривает заявления о приеме в партию воинов, отличившихся в боях.

— Садитесь, друзья,— говорит гость. Я догадываюсь, что это начполитотдела дивизии... С Геннадием Ивановичем Кашицыным мы встретимся ровно через 40 лет и вспомним этот блиндаж и наше наступление 27 ноября... Несколько минут сидит, слушает и — ко мне:

— Поедешь в военно-политическое училище, замполит?

— Если можно, товарищ комиссар,— после взятия Ростова. Родной город хочу освобождать.

Военком кивает: согласен.

— Политрук,— обращается он к ротному,— у вас есть красноармеец Коваленко, хотим его взять в дивизионный ансамбль.

Наступает тяжелое молчание.

— Товарищ старший батальонный комиссар,— отвечает политрук,— поздно, боец погиб.

Военком хмурится, склоняет большую голову и мне: «Так после освобождения Кавказа». Потом попрощался, пожелал успеха в завтрашнем бою: «Наступать будем!»

Ранний рассвет уже холодного осеннего дня. Мы только что вернулись с нейтральной полосы, куда ползали с танкистами определить места прохода их машин. Там саперы снимают мины, наши и немецкие. Лейтенант Качурин пришел от ротного. Объявил:

— Слушай боевой приказ! Противник обороняется на рубеже...

Впервые такие слова в приказе, до сих пор было: «Противник наступает...» Как это прекрасно: «Мы наступаем!» Задача: совместно с танкистами прорвать немецкую оборону, освободить город Ардон.

— По местам! — приказывает лейтенант.— Проверить оружие. Сигнал атаки — команда и свистки командира роты.

Из-под больших, надетых на теплые подшлемники касок глядят на меня серьезные глаза боевых товарищей. Ухают у Архонки орудия, и накатывающийся грохот отдается в недальних горах. Теперь на вражеской стороне огненные вспышки, кусты взвихренной земли.

— Приготовиться к атаке! — кричит политрук Дудаков. Несколько минут — и опять: — Вперед!

— Ну, Юра,— подталкивает он меня,— вперед, наступаем.

Переваливаюсь за бруствер. Справа и слева вылезают товарищи. Снимаю с шеи новый ППШ и скорым шагом иду по темному полю. Политрук со связными чуть позади цепи. С хрустом отлетают из-под ног стручки гороха. Ускоряем шаг, потом бежим. Вот и опрокинутый взрывом вагончик тракторной бригады.

Метрах в двухстах вспыхивают огненные пучки, веерами несутся поверх голов, потом в нас цветные трассы. Пулеметы! Крики, стоны, команда политрука: «Перебежками — вперед!» Светлеет, и трассы не видны, но жалят по-прежнему, начинают бить минометы. Близкий взрыв там, где лежит Чибисов. С визгом зазубренный осколок, лязгнув по каске, падает передо мной. Поднимаю голову: «Петро, жив?»

Но на том месте, где лежал Петя, дымящаяся воронка...

— Комбата убило! — пошло по цепи.

Среди минных разрывов бежит кто-то в знакомой длинной шинели, на боку полевая сумка, в поднятой руке пистолет:

— Вперед, товарищи, только вперед!

И тут же падает. Это старший политрук Бирюков, военком батальона, всегда спокойный интеллигентный человек, преподаватель вуза. Теперь по старшинству командование батальоном должен принять комроты — политрук Дудаков. Он прошел залегшую цепь и обернулся под невидимыми пулеметными трассами, под разрывами. Помню до сих пор его лицо, глаза, поднятый над головой автомат:

— Ребята, за Родину, за мной!..

Отчетливо запечатлелся этот разреженный, будто без воздуха, миг, когда нет сил подняться и нет сил лежать. Возле нас начинает бить по ближнему пулемету «сорокапятка». Он смолкает. Храбрая пушечка хлещет по немецким окопам, тут разрыв — и она вверх колесами, и расчет разбросан весь. Досчитаю до трех и — встану. Счет помогает: сила, которой я не подчинен, рвет с земли. ППШ на руке, пускаю очередь — в ней некоторые пули трассирующие — и бегу за политруком, кричу срывая голос:

— За Родину!

— Ур-ра-а! — нестройно, хрипло раздается позади меня. На бегу вытаскиваю из сумки гранату, зубами выдираю кольцо, швыряю. Взрыв, взрывы — густо, сильно, это ребята забрасывают гранатами немецкие окопы. Из них выскакивают солдаты в шинелях до пят и утекают, мы расстреливаем фашистов в спины.

Словно палкой по ноге ударяет меня, пробегаю несколько метров и падаю, перекувырнувшись. Будто чужой кто-то вскрикивает: «Ох, и меня...» Взводный и Илюшка за руки втаскивают в немецкую траншею. Сюда спрыгивает политрук Дудаков, возбужденно говорит:

— Молодцы, ребята! Закрепляйтесь, стрелковые ячейки срочно переделать на ту сторону.

— Вот замполит ранен,— сказал Коренец.

Илья перевязывает меня. Прямо поверх обмотки крутит бинтом. Политрук больно щупает ногу:

— Пуля навылет, кость вроде цела. Месяц в госпитале, и заживет, как у молодого.— Он смотрит на часы.— Сейчас по их второй траншее произведут огневой налет, проштурмуют ее ИЛы, и пойдем за танками.

Штурмовики понеслись низко, рокоча эрэсами, под их прикрытием пошли танки. Ребята заторопились за ними. Политрук кивнул мне и пошел следом, проговорив на ходу:

— Выздоравливай, Юра, пиши номер госпиталя. Сейчас за тобой придут санитары.

— До свидания, Трофим Терентьевич, желаю боевых успехов. Некстати меня зацепило.

— Ничего, бывает хуже. Еще навоюешься, до Берлина далеко.

Вскоре началась немецкая контратака. Близкий взрыв оглушил меня, исковеркал лежащий на бруствере автомат. Наши стали отходить. Я уже видел вдалеке перебегавших вражеских автоматчиков. У меня в кармане одна граната, но мне страшно подрываться ею. Тут ко мне подбежал политрук, и я попросил дать мне пистолет. Он даже в лице изменился:

— Что ты, замполит?! Стреляться? Неужели я в тебе ошибся? Да мы их отобьем, будь уверен...

И рукой, как мама недавно, провел ласково по щеке. Я тогда еще не брился. Сколько в этом человеке было доброты и заботливости о всех нас и полного самоотречения. Настоящий комиссар был Трофим Терентьевич Дудаков.

Немцев отбили. А он-то, политрук, там остался, на том поле...

Валентин Дудаков, его сын, переслал недавно мне письмо, написанное политруком в последние дни, а может даже часы, отцу в Сталинград: «Здравствуйте, уважаемый папаша! Я жив и здоров, чего Вам желаю. Сейчас нахожусь на передовой, бью фашистскую сволочь. Я знаю, что если я тут буду их истреблять, то какой-нибудь другой командир, политработник или боец будет защищать и защитит вас там. Желаю всего лучшего. Пишите о жизни семьи. Пока. С горячим фронтовым приветом Т. Дудаков. Мой адрес: Действующая Кр. Ар. ППС 2153, часть № 189» (ППС — полевая почтовая станция).

Только одного человека после войны я встретил, который смог рассказать мне о том поле, на котором немало осталось из нашей роты. Уж воистину легли костьми, но атаку отбили и Ардон не сразу, но все-таки взяли. Там теперь братская могила наших, кто «с двадцать четвертого», «с двадцать пятого». И тех, кто постарше,— командиров и комиссаров. Нашего политрука тоже — удалого, умного, сердечного.

Прощайте, дорогой Трофим Терентьевич, никогда вас не забуду.

Николай
НИКОЛЬСКИЙ,
Герой Советского Союза

У СТЕН СТАЛИНГРАДА

От Советского информбюро
Вечернее сообщение 15 сентября 1942 г.

Западнее Сталинграда наши войска вели напряженные оборонительные бои с противником. Подтянув резервы, немцы бросают их в бой. В течение дня наши части отбивали неоднократные атаки пехоты и танков противника. В бою у одного населенного пункта бойцы Н-ской части уничтожили 3 немецких танка, бронемашину, 5 орудий и свыше 350 солдат и офицеров противника.

В один из драматических дней Сталинградского сражения (сентябрь сорок второго) враг превосходящими силами, ценою больших потерь прорвал оборону 42-й отдельной стрелковой бригады в районе Верхней Ельшанки и вышел к Волге. Часть артиллерийского дивизиона и рота автоматчиков из 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева оказались в окружении. Комиссар дивизиона Павел Иванович Денисенко получил приказ: добраться до своих и вывести окруженных в расположение бригады.

Моросил холодный дождик. В развалинах огромного кирпичного здания, метрах в восьмидесяти от советских позиций, затаились фашисты. Они не стреляли, только через равные промежутки времени пускали осветительные ракеты. «Так, так, завоеватели. Сегодня вы особенно часто подвешиваете светильники. Учтем и это»,— невозмутимо рассудил Денисенко.

Он укрылся за остатками массивного фундамента — единственного, что сохранилось от котельной. На груди автомат ППШ, на широком командирском ремне пистолет ТТ, три гранаты, запасной магазин, финский нож и лопатка.

От развалин пахло битым кирпичом, мазутом, пороховой гарью. Батальонный комиссар хорошо понимал, что задача перед ним была поставлена сложная. Выполнение ее требовало большого напряжения сил и смекалки. «Очень желательно до соединения со своими не ввязаться в огневой бой!» Настроен комиссар уверенно и оптимистически.

— Поползли! — тихо сказал он ординарцу.— Я впереди, ты за мной. Без команды огонь не открывать! При хлопке ракеты — замирай. Все делай так, как я. Понял?

— Так точно, товарищ комиссар,— отозвался ординарец.

Первую линию окопов врага преодолели благополучно. В центре больших развалин — метрах в трехстах от линии фронта — выручила выдержка комиссара: один из трех проходивших мимо фашистов споткнулся о длинные ноги Денисенко, выругался, но не остановил-

ся, посчитал за труп. С обидой бросил: «Не сильно пекутся о нашем брате. Закопать не могут». Денисенко не каждое слово понял, но смысл уловил точно, передал его ординарцу. Острый на язык Худушин с усмешкой прошептал:

— Убежден в незаботливости начальства. Даже не проверил. А то пришлось бы перестрелять всех.

— Не желательно, но пришлось бы! — согласился Денисенко.

Две улицы, сильно изрытые воронками и заваленные разрушенными зданиями, пересекли ползком. Еще какое-то предприятие, превращенное в руины, преодолели перебежками. И только у небольшого строения без крыши напоролись на охраняемую землянку. Из-за угла здания неожиданно появился часовой. Он щелкнул затвором и скомандовал: «Хенде хох!» («Руки вверх!»).

Худушин, поднимая руки, неожиданно и ловко ударил ножом и тихо опустил снятого часового на землю.

— Пришлось,— шепотом виновато сказал Худушин комиссару.

— Молодцом! — похвалил ординарца Денисенко.

Дождик усилился. Линию фронта гитлеровцы по-прежнему освещали усердно. Прислушиваясь и пытаясь оглядеться, Денисенко вспомнил своего воспитанника, секретаря комсомольского бюро дивизиона Садыка Рагимова: как он просил взять его с собой! «Я полезен буду, в окружении ведь много комсомольцев. И мое место — рядом с вами». Денисенко не устоял перед просьбой и первоначальный отказ заменил другим решением: «Если через двое суток не прорвемся, направляйся туда, младший политрук. При прорыве из окружения всякое может случиться. Тогда замените меня. Приказ мы должны выполнить, чего бы это ни стоило». И он вспомнил, как засветились радостью черные глаза Садыка. «Хороший хлопец. Честный, искренний, смелый. Если обстоятельства задержат с прорывом, обязательно пробьется».

Послышался непродолжительный стук «максима».

— Отлично, Худушин! Мы на верном пути.

Намного сложнее оказалось им перейти внутреннее кольцо окружения. Четыре раза натыкались на немцев и отходили. Только пятая попытка принесла успех.

Они медленно, с большой осторожностью проползли между двумя немецкими огневыми точками. Денисенко настораживала мысль: не срезали бы автоматными очередями свои, приняв их за вражеских разведчиков. Вот Худушин застыл на месте. Комиссар также несколько минут выждал. Затем приблизился к нему, тихо спросил: «Почему заминка?»

— Впереди огневая точка. Слышал покашливание. Но не знаю, немцы это или свои. Ожидаю прояснения обстановки.

— Ожидаешь, когда нас осветят и перестреляют, как щенят,— резковато бросил комиссар.— Двигаться за мной! — И решительно

пополз вперед. Чуть правее опять заработал «максим». Комиссар замер. Тут же несколько ракет осветили местность. «Так... Мы на нейтральной полосе. Ломаная линия фронта с вмятиной в сторону противника»,— припомнил Денисенко.

Ракета опадает, и Денисенко медленно ползет дальше. Достиг массивного фундамента разрушенного здания, затаил дыхание. Медленно тянутся минуты. По незначительному шороху определяет, что в небольшом удалении ползет за ним Худушин. «Надо бы еще немного выждать, но времени нет! Поднимут тревогу фашисты и угостят огнем. Двигай, Пашка, и решительнее!» — мысленно приказал он себе. И только собрался прыгнуть, упираясь грудью в щербатую стену, как кто-то сильным ударом выбил из его рук автомат. И раздалось негромкое, но твердое:

— Хенде хох!

— Да свои, братцы. Не хендехохайте. Денисенко я.

— Узн-а-ал. По голосу узнал вас, товарищ комиссар! — негромко и радостно проговорил знакомый сержант.

Помогая Денисенко перелезть через толстенный фундамент, он продолжал:

— Мы вас сразу засекли. Евтеев-то, мой напарник, все подбивал меня открыть огонь. А я ему говорю: «Живьем возьмем!..» Это он по неопытности. Да мы и предполагали, что посланец от своих должен прибыть. Но вот вас, товарищ комиссар, не ожидали. Люди будут довольны...

— Ну, как дела, сержант? «Разговариваем» по-мужски с этими любителями чужого пространства? — кивнув в сторону фашистов, спросил Денисенко.

— Они только этот язык и понимают, товарищ комиссар. И чем он тверже, тем они с большим уважением к нему относятся,— ответил Евтеев, молодой боец.

— Молодцы!..

И тут опять прорезали ночную мглу осветительные ракеты. Усилилась стрельба из автоматов и пулеметов. По внешней стороне фундамента кучно захлопали разрывные пули.

— Теперь понятно тебе, Худушин, почему мы спешили?

— Очень даже, товарищ комиссар.

— А вот если бы ты не убрал часового, виновника этого шума, могла бы приключиться неприятность, и большая... Но это мы так,— продолжил Денисенко, взглянув на сержанта,— между собой. Главное, дела ваши видели с Худушиным. На подходе к вам на каждом шагу натыкались на вражеские трупы. Неубранными лежат.

И действительно. Бойцы окруженного дивизиона, вместе с гвардейцами Родимцева отразив все атаки, подбили несколько танков и уничтожили десятки гитлеровцев. Но и сами потеряли немало товарищей, одну пушку и почти всех лошадей.

Первые попытки вырваться из окружения успеха не имели. Двое суток непрерывно, днем и ночью, отбивали вражеские атаки. Орудия были разбиты. Люди глубоко закопались в землю, использовали фундаменты зданий для огневых точек. Руководя обороной, комиссар упорно искал слабые места в кольце гитлеровцев и наиболее верный путь выхода из окружения. Он побывал на каждой огневой точке. Беседовал с бойцами, давал им поручения по подготовке к прорыву.

На третий день, заслушав предложения командиров подразделений, комиссар вместе с ними составил план боя на выход из окружения: с вечера и до часа ночи подразделения частью сил усиленно ведут огонь, создавая впечатление, что к стрельбе привлечена большая масса бойцов. Это своеобразное огневое наступление должно держать врага в напряжении и лишить его сна. Затем стрельба постепенно затихает — надоело, мол, кончили. Фашисты, вполне возможно, постепенно успокоятся. С часа и до трех ни единого выстрела — полнейшая тишина. Ровно в три наносится отвлекающий удар двумя группами. Ударная третья группа наступает в три ноль пять в трехсотметровой полосе под командованием Денисенко. Начинает из развалин электростанции в последовательности: стрелковая рота, взвод ПТР, батарея со стрелковым оружием — и идет на северо-запад, в тыл фашистам.

В три тридцать группы прикрытия догоняют и присоединяются к ударной группе. Неуспех ударной группы — серия красных ракет. Тогда все возвращаются на свои места.

С вечера накоротке провели партийное и комсомольское собрания. Вопрос один: «С честью выполним боевую задачу!»

Было двадцать часов, когда Денисенко прямо с партийного собрания пришел на комсомольское. Оно состоялось в дальнем отсеке захламленного подвала, сохранившегося от разрушенного дома, нижний этаж которого занимал универсальный магазин. Пришло 82 комсомольца из 108. Остальные оставались на дежурстве.

Открыл собрание секретарь комсомольского бюро дивизиона младший политрук Садык Рагимов. Он прошлой ночью, исполняя наказ комиссара и умело преодолев немецкую линию окопов, добрался до своих. Рагимов предоставил слово Денисенко.

Комиссар внимательным взглядом оглядел молодые лица.

— Мы, хотя в окружении и пробиться пока не смогли, но не унываем! — начал он.— Надеюсь, на этот раз прорыв нам удастся. Главное, ввести фашистов в заблуждение. Огонь дать такой, чтобы им всюду мерещилось наступление. Все свободные — под эту музыку — спят и набираются сил. Придет время — и каждый действует за троих. Сближение — по-пластунски. При атаке все делать с ходу: гранаты — и вперед! Не мешкать! — Снова окинул взглядом присутствующих. И спокойно заключил: — В успехе мы уверены.

Так единодушно заявили коммунисты. Не сомневаюсь, что вы их поддержите. Правильно говорю?

— Правильно! Пробьемся! — раздались дружные голоса комсомольцев.

— Ну вот и хорошо, я не сомневался в вашей поддержке,— чуть громче сказал комиссар.

Комсомольцы выступали кратко, уверенно, с огоньком. Подвел черту Садык Рагимов, в прошлом секретарь райкома комсомола. Чувствовалась хорошая школа Денисенко. Садык был по-военному краток.

— Комиссар поставил задачу,— говорил с заметным азербайджанским акцентом Рагимов.— Она должна и будет выполнена наверняка! Я нахожусь в ударной группе, в первом эшелоне... По местам, товарищи.

Атака началась решительно, и она удалась. Перекрестка улиц ударная группа достигла с незначительными потерями. Но когда повернули на восток, враг контратаковал. Денисенко приблизительно определил тактику, силы противника и действия своих сил. Сказал товарищам:

— Контратакуют двумя эшелонами. Подпустим их поближе. Ударим сразу по двум цепям. Огонь по моей команде...

Через связного комиссар распорядился частью сил батареи уплотнить боевые порядки первого эшелона.

Гитлеровцы, по-видимому, бросили подкрепление с другого участка. В этих развалинах они ориентировались плохо, наших бойцов не видели; горланя, бежали скопом, часто спотыкались. Неподалеку догорала какая-то пристройка и освещала гитлеровцев. Денисенко видел и вторую их цепь.

— Товарищ комиссар, близко. Пора, можем опоздать! — забеспокоился молодой солдат.

— Знаю, не шуми. Две цепи. Батарея, огонь по второй волне!

Команда полетела. Враг из первой цепи уже открыл огонь с ходу, но не причинил вреда — пули летели выше. Денисенко через трещины разбитого фундамента в отблеске пожарища видит приближающихся фашистов. Первая цепь метрах в восьмидесяти. Вторая — в ста пятидесяти.

— Товарищ комиссар, достанут же гранатой,— вновь заволновался молодой боец.

— Молчать! Знаю, что делаю. И не бойсь, наступить на тебя не дадим.

А гитлеровцы уже в шестидесяти, пятидесяти метрах...

— При-го-то-виться!.. Огонь!

Денисенко заметил, как фашисты замедляют бег, кое-кто из них поглядывает на фланг, быстро редеют обе цепи. «Могут залечь. Этого нельзя допустить». И снова командует:

— Приготовиться к атаке! Огонь на ходу, вперед! — и бросился первым.

Остатки первой цепи гитлеровцев почти целиком уничтожены. Но небольшая часть уцелевших побежала навстречу значительно сократившейся второй цепи.

— Быстрее, быстрее! — поторапливал бойцов комиссар. Он правильно оценил обстановку: из второй вражеской цепи уже не могли открывать огня — мешали свои, повернувшие обратно. Наши же с ходу вели огонь из автоматов по всем гитлеровцам.

Вторая цепь фашистов также не выдержала натиска советских воинов, дрогнула и — наутек.

Преследуя противника, бойцы гнали врага метров триста. Тут Денисенко неожиданно скомандовал: «Ложись!» Залегли в развалинах большого дома. Комиссар позвал к себе младшего политрука Садыка Рагимова.

— Берите первый расчет, разведайте подступы к вражеской траншее. Нащупайте место ее преодоления.

А сам, разгоряченный, размышлял: «Половину задачи решили. Теперь очень важно пересечь основной оборонительный рубеж противника с минимальными потерями».

По редким очередям своих пулеметов Денисенко вскоре точно определил нашу линию обороны, а стало быть, и передний край врага. Комиссар был удовлетворен и тем, что Садыка Рагимова сориентировал правильно. А тот действовал энергично. Проинструктировал расчет артиллеристов во главе с боевым сержантом и комсоргом батареи в одном лице, и они двинулись к немецким позициям. Метрах в ста Рагимов оставил людей ждать его команды. С сержантом ушел вперед. Когда преодолели половину пути, разделились и взяли направление к флангам выбранного участка траншеи противника. Младший политрук полз, почти не отрывая туловища от земли. Вражеская траншея молчала. Вот уже ход сообщения: пронесли раненого... Пробежал в тыл связной... Рагимов «замирал», сливаясь с местностью.

Вскоре он оказался у траншеи. Вокруг изрытая воронками земля. Садык установил — это вырыты гнезда. В каждом по два человека: один дежурит, другой отдыхает. Интервал между точками неравный. Сержант на своем участке установил то же самое.

Вернулись. Младший политрук доложил комиссару силы и характер обороны фашистов. По его мнению, их можно на узком участке обезвредить холодным оружием. А если не удастся, тогда забросать гранатами.

— Забрасывать гранатами не будем,— возразил комиссар.— Поднимем ненужный шум и понесем излишние потери. Попробуем на определенной полоске уничтожить гитлеровцев тихо, не открывая огня.

Денисенко вызвал командира роты гвардейцев и приказал: «Обеспечить без единого выстрела пересечение линии фронта. Когда люди получат задание, позвать меня. Политруком штурмовой группы назначаю Садыка Рагимова. Он только что вернулся из разведки».

Ротный из 13-й гвардейской дивизии оказался энергичным и распорядительным командиром. Вскоре он доложил комиссару, что вместе с политруком создали штурмовую группу из тридцати четырех коммунистов и комсомольцев. Участок атаки — каждой паре шесть метров. Задача бойцам поставлена.

Бойцы ожидали прихода Денисенко в воронке от тонной бомбы. А вот и он. Его встретили стоя. Доложил подтянутый лейтенант — командир штурмовой группы. Комиссар негромко сказал:

— Уверен, ответственную задачу выполните и мы соединимся со своими. Но сблизиться нужно так тихо, чтобы до самой последней минуты ни один вражина не услышал. Решительные действия в траншее холодным оружием обеспечат исход дела. Вас поддержат остальные. Успеха вам, во славу Отчизны!

Расчеты комиссара оправдались.

— Гвардейцы в узком отрезке траншеи ликвидировали фашистов холодным оружием, заняли его и обеспечили фланги,— доложил комиссару младший политрук Рагимов.

Денисенко без промедления двинул вперед первую группу, за нею, с дистанцией в сто метров, с главными силами одним броском пересек гитлеровский передний край и вышел в расположение наших основных оборонительных позиций. Так комиссар с честью выполнил боевую задачу по выводу из окружения подразделений бригады и роты родимцевцев.

Выглядел в это время Денисенко основательно повоевавшим. Потное с подтеками неширокое лицо было изрядно выпачкано сажей, перемешанной с гарью. На каске вмятина от снарядного осколка. Полы шинели пробиты пулями. Правый рукав порван. Но комиссар энергичен и полон сил.

Вышедшие из окружения бойцы бросились обнимать своего комиссара.

— Хватит, хватит, братцы! Рад, рад за вас,— говорил довольный успехом Денисенко.— Всем объявляю благодарность. Особо отличившиеся будут представлены к награде.

Комиссар тут же связался с политотделом 13-й гвардейской и попросил ряд бойцов, особенно из штурмовой группы (список даст), и командира роты представить к заслуженной награде.

Утром гитлеровцы возобновили наступление. К середине дня им удалось вклиниться в боевые порядки бригады на правом флан-

ге; подразделения 1-го стрелкового батальона отошли на запасный рубеж в районе Лесопосадочной, где находились огневые позиции 1-й батареи противотанкового дивизиона. Вскоре от ее командира поступило донесение: политрук Моношин убит, сам он тяжело ранен. Назначенный командиром батареи начальник штаба дивизиона Голованов погиб в пути. Командиром временно назначили комиссара дивизиона Денисенко. Вечерело уже, когда Денисенко прибыл на батарею. Целыми остались две пушки. В строю — недавно прибывший на батарею командир огневого взвода лейтенант Сидоров и по четыре человека в расчетах.

— Ну что ж, Сидоров, воевать еще можно. А если мы с вами встанем у орудий, считайте, силы наши удваиваются. Согласны?

— Вполне, товарищ комиссар!

— Вот так и поступим. Только не спешите, Сидоров. По танкам стреляйте наверняка. Минут через тридцать гитлеровцы снова поднимутся в атаку. Вы идите ко второму, а я — к первому орудию. Там же будет мой КП.

Начавшийся обстрел заставил резко ускорить шаг. Комиссар побежал к огневой позиции и свалился в ровик на руки артиллеристов, на какие-то доли секунды опередив разрывы двух мин. Поднимаясь, приказал:

— Проверить орудие!

— Порядок, товарищ комиссар. Осколки поклевали лафет, и только. Стрелять будет,— легонько похлопав по стволу, сказал пожилой солдат. Лицо у него черное, усы обвисли, но серые глаза смотрят молодо и задорно. Чувствуется в солдате оптимизм и сила.

Денисенко спросил артиллериста, как его фамилия и откуда он родом.

— Василий Дятлов, из Ленинграда, с Кировского завода.

Комиссар осмотрел остальных. Поговорил с каждым. Оказалось, все четверо легко ранены, а в санроту пойти категорически отказались.

— Да разве можно уходить, товарищ комиссар! Нет, мы с ними,— Дятлов повел подбородком в сторону гитлеровцев,— посчитаемся и за наши раны.

Ровно через тридцать минут после огневого налета фашисты пошли в атаку. Впереди — танки. Но артиллеристы заставили их откатиться назад. Денисенко поджег из своего орудия две машины врага. Некоторые бойцы получили тяжелые ранения, выбыл из строя ординарец Худушин. Всех их отнесли в укрытие. Пожилой солдат вызвался оказывать помощь раненым. Денисенко быстро вернулся к орудию. Вскоре прибежал и солдат с инструктором политотдела.

— Всех перевязал, Дятлов?

— Троих, товарищ комиссар. Четвертый скончался,— утирая

с лица пот, ответил солдат-ленинградец. Гимнастерка на нем в трех местах порвана, рукава густо выпачканы кровью.

Денисенко рассказал представителю политотдела о геройском поведении в бою лейтенанта Сидорова и четверых артиллеристов, сражавшихся до последних сил. О них необходимо рассказать всей бригаде. Попрощавшись с инструктором, комиссар несколько минут рассматривал в бинокль залегшего противника. Убедившись, что на поле боя тихо, он повернулся к Дятлову:

— Вдвоем у орудия остались. Силы наши, прямо скажем, скромные. Но все равно, всыплем им еще?

— И как следует, товарищ комиссар! За убитого Ивана Журавлева особо посчитаемся. Семь детей у него, старшему — четырнадцать. Теперь сироты. А как их любил, все о них рассказывал... Письмо вот написал, а отправить...

Солдат не договорил. Начался огневой налет. Танки и пехота противника пошли в третью атаку. Вскоре загорелся танк слева. «Молодец, Сидоров!» — хвалит комиссар командира взвода, направляя орудийный ствол на вражескую машину. Тяжелый гитлеровский танк, покачиваясь на неровностях местности, катился прямо на него, стреляя из пушки.

— Командирский, видно. Нахально лезет. Сейчас прыть-то с него собью. Огонь! — по привычке командует себе Денисенко.

Снаряд попал в цель, но не остановил танк. Комиссар, работая подъемным и горизонтальным механизмами, снова стреляет. Вражеский танк тут же озаряет вспышка разрыва, но он не сбавил скорости и продолжал упорно идти. Все ближе и ближе к орудию... Видно, что обнаружил нашу пушку и теперь целит в нее.

На утомленном лице комиссара досада. Но он не теряет самообладания. Быстро, спокойно работает механизмами наводки. Взглянул на пожилого солдата. Тот трудился за троих. Пушка перезаряжена. Вражеская машина запрыгала в сетчатой панораме прицела.

— Сейчас все равно дух из тебя выпущу. Никакая броня не спасет,— в сердцах цедит сквозь зубы Денисенко и резким движением руки смахивает обильно выступивший пот.

В это время еще один вражеский танк загорелся.

— Два раза молодец, Сидоров! — радостно кричит комиссар. Он осторожно доворачивает орудие. Нужно положить снаряд точно по центру башни и под ее основание. Кто раньше поразит цель?

Выстрел. Танк вздрогнул, резко качнулся вниз и, задымив, застыл на месте.

— Готов! — прохрипел Денисенко и быстро стал передвигать ствол орудия вправо. Но гитлеровцы, потеряв свой командирский танк, стали пятиться назад. Вражеская атака и на этот раз была отбита. Уцелевшие машины скрылись в густой, темнеющей дымке.

Наступила краткая передышка. Денисенко, боясь не успеть, написал жене солдата-артиллериста. Закончил так: «Вся часть наша знала, с каким мужеством, отвагой, раненный и отказавшийся пойти в санчасть, сражался с врагом ваш незабвенный муж, отец и наш боевой товарищ, Иван Федорович Журавлев. Мы его посмертно представляем к высокой правительственной награде — ордену Красного Знамени. От имени воинов части обещаю вам сурово наказать врага за смерть вашего замечательного мужа и отца ваших детей».

Комиссар прочитал письмо солдату и сказал:

— Закончится бой, отправлю письмо Ивана Федоровича и письмо о нем. О его гибели...— Он открыл полевую сумку и вложил свое письмо в неотправленный конверт Журавлева.

После ожесточенных бомбежек и артиллерийских налетов гитлеровцы еще дважды бросались в атаку. Но без успеха. Всякий раз орудия Денисенко и Сидорова останавливали противника.

За этот бой и вывод подразделений дивизиона из окружения комиссар Павел Иванович Денисенко награжден орденом Красного Знамени.

Иван
НОВИКОВ

ЧЕЛОВЕК ОСОБОГО СКЛАДА

Мы не виделись почти тридцать пять лет. Дороги наши разошлись летом сорок третьего года, вскоре после освобождения Донбасса. Меня перевели в другой полк, и с тех пор я потерял из виду Ивана Никифоровича Радченко. Из виду, но не из памяти, хотя мы с ним были на весьма различных ступенях служебной лестницы, и он, по-моему, мог не помнить меня. Это вполне естественно — в полку много взводных. Тем более что дивизионы наши далеко не всегда действовали сообща.

Но он, Иван Никифорович, все эти тридцать пять лет жил в моем сердце. Это человек какого-то особого склада, особой духовной чистоты и силы. Каждый раз, встречаясь с моим верным другом, доцентом Ленинградского университета, доктором филологических наук Николаем Петровичем Емельяновым и перебирая в памяти предвоенные и военные годы, мы непременно возвращались к личности военкома полка Радченко и непременно говорили:

— Интересно, где он теперь? Куда забросила его судьба?

И вдруг от однополчан я узнал, что живу совсем рядом с ним, что он теперь на пенсии, поселился в белорусском городе Новогрудок и очень часто выступает перед молодежью с рассказами о военных годах.

Вот уж никак не ожидал! Ведь родом Иван Никифорович с Украины, воевал на юге страны; кто бы мог подумать, что он может оказаться в белорусском Новогрудке? К тому же, как сообщали однополчане, у него есть телефон на квартире. В тот же час я уже слышал в трубке знакомый, совсем еще молодой голос своего боевого наставника-сотоварища на трудных фронтовых дорогах сорок второго — сорок третьего годов.

Теперь мы встречаемся довольно часто, всегда, когда Иван Никифорович со своей женой Елизаветой Андреевной, фронтовым хирургом, человеком тоже замечательной судьбы, приезжают к своим родственникам. Разумеется, разговариваем больше всего о делах давно минувших дней, которые нерасторжимо соединяют наши души, и о них мне хочется рассказать сейчас хотя бы немного, не претендуя на полноту и глубину повествования о виденном

и пережитом. Просто изложу несколько эпизодов, оставивших в душе неизгладимые следы.

Где-то в первой половине февраля сорок второго года, после довольно придирчивого и длительного отбора, нас, десятка два скороиспеченных лейтенантов, выпускников Ленинградского артиллерийского училища, которое с трехлетней программы обучения было переведено на полугодовую, направили в штаб формирования гвардейских минометных частей, в Москву, а оттуда — на различные фронты. Я просился в блокадный Ленинград, где в то время находилась моя жена Юлия, но мою просьбу не учли и направили на Юго-Западный фронт.

Штаб его дислоцировался тогда в Воронеже. Мы легко нашли штаб фронтовой опергруппы гвардейских минометных частей. Там сказали, что направляют меня, моего друга Николая Емельянова и еще нескольких молодых командиров в 4-й гвардейский минометный полк, что из Воронежа после ремонта выедут боевая и грузовая полковые машины и вот на этой-то грузовой мы и можем без промедления продолжить путь к месту назначения.

О характере будущей службы мы понятия не имели. Не знали техники, на которой предстояло воевать. В военном училище изучали ствольную артиллерию, направлены же в гвардейские минометные части, а все связанное с ними в то время держалось в строжайшем секрете.

— Приедете на место, там все объяснят и покажут,— сказали нам в штабе.

Двое суток добирались мы из Воронежа в Белый Колодезь, где располагался штаб полка. Ехали в кузове грузовика. Стояли лютые морозы, в открытой степи дул пронизывающий ветер. А одеты мы были по-тыловому, во все выношенное, истертое до предела. Пристроились поближе к кабине, прижались потеснее друг к другу, едем... В Белом Колодезе из кузова грузовика мы не сошли, а скатились, как ледышки. Зуб на зуб не попадал, слова застревали в горле. Мечтали только об одном: скорее бы в тепло.

Встретившие нас командиры зашумели было:

— Что раскисли, а ну подтянись!

Но из штабного домика вышел симпатичный гвардии старший батальонный комиссар, приветливо улыбаясь, подошел к нам, кучкой столпившимся у грузовика и виновато моргающим перед командованием, спросил как-то необычно ласково, по-отечески:

— Продрогли? Ну ничего, поправим дело...

Он огляделся и громко позвал:

— Старшина, видишь, какие орлы прибыли? Немедленно накормить и обогреть! Не скупясь, понял?

— Так точно, понял! — козырнул старшина.— Будет исполнено!

Нам показалось, что и погода изменилась. Нас пригласили

в какую-то квартиру, дали по наркомовской норме обогрева, по котелку горячего супа и каши до отвала, и мы разомлели.

До тех пор и в училище, и на пути в часть мы видели и постоянно чувствовали только военную строгость, одну ничего не прощающую взыскательность. Даже как будто притерпелись к ней, как притерпелись к лютому холоду той суровой зимы. А тут вдруг неожиданно человеческое, даже душевное участие, забота. Это поразило нас. Вот таким я всегда помню его, военкома нашего полка Ивана Никифоровича Радченко.

При встречах несколько раз напоминал ему про тот эпизод, но чувствую: в его памяти он не запечатлелся. Для него это было его обычное, естественное состояние и поведение, его сущность, его характер, другим по отношению к подчиненным он быть не мог. Ему вроде бы тут и вспоминать нечего. А вот мы помним, да еще как! На всю жизнь осталось.

Потом нас по одному вызывали в штабную избу на беседу. Все молодые лейтенантики были «отсыревшие», как в шутку сказал комиссар, и от обогрева, и от сытости. Беседовали с нами строгий, немногословный командир полка Алексей Иванович Нестеренко и он, Иван Никифорович. Задавали вопросы и другие незнакомые нам командиры, которые находились в штабной избе. Я старался смотреть в глаза Радченко — в них светились доброта и не выразимая словами поддержка. Казалось, он взглядом подбадривал: «Ну, не робей, докладывай бойчее, тут бойкость ценится!»

Подробно он расспрашивал о довоенной жизни, об учебе в институте, о родных. Чувствовалось, что хочет основательно понять человека, который пришел в его подчинение, заглянуть в душу. Остальные же присутствующие больше интересовались знанием военного дела. Этот штрих тоже отложился в памяти.

Нас распределили по подразделениям. К моему счастью, меня не разлучили с Николаем Емельяновым. Комиссар уважил нашу просьбу. Мы оказались в одной батарее: я — командиром взвода управления, он — командиром огневого взвода.

Нам повезло: вся батарея — истинные гвардейцы — и красноармейцы, и командиры. Все гордились своим полком, с большим удовольствием рассказывали нам, новичкам, о первом залпе, о последующих боях.

В нашей части было много украинцев, голосистых парней, любивших и хором, и в одиночку петь народные песни, рассказывать в минуту затишья веселые анекдоты, сказки. Не раз вспоминали гоголевскую Диканьку. Но она приходила на память не только в связи со знаменитыми «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Был и более близкий повод: первый залп «катюш» на Юго-Западном фронте был дан по фашистам именно здесь.

Расскажу о том бое словами Ивана Никифоровича Радченко:

— Полк занимал позиции под Диканькой. Ближе других от наблюдательного пункта полка, где находился и я, расположился дивизион гвардии капитана Худяка. Дивизионный наблюдательный пункт располагался в двухстах метрах от полкового. Другие дивизионы заняли боевые порядки справа и несколько поодаль, километрах в двух-трех. С нашего НП хорошо просматривалось расположение противника.

24 сентября 1941 года пехота, конница и танки гитлеровцев сосредоточивались в урочище Переруб и на хуторах западнее леса. Они передвигались открыто, не маскируясь. Нашей авиации на этом участке фронта совсем не было видно, артиллерия же экономила скудные запасы снарядов, чтобы хоть чем-то можно было отражать атаки врага. Поэтому фашисты обнаглели. Мы видели, как они резвились, умывались, резали крестьянский скот и птицу и готовили обед. Оттуда слышны были звуки ревущих моторов и музыки.

Потом гитлеровцы начали разведку боем. Вражеские снаряды и мины падали в расположение полка. Появились первые убитые и раненые.

Утром 25 сентября командованию полка уже было ясно, что противник будет наступать на Диканьку. Его лагерь зашевелился: гудели машины, сновали повозки, перемещались конные подразделения, урчали танки. Надвигалась атака.

Майор Нестеренко отдал приказ о боевой готовности. Через командира поддерживаемой дивизии запросил разрешение на открытие огня. Тут следует пояснить, что в то время мы имели право давать залп только с ведома и разрешения начальника опергруппы гвардейских минометных частей фронта. Все дивизионы зарядили боевые машины, вывели их на огневые позиции. В ряд выстроились по 12 установок, на направляющих каждой машины — 16 реактивных снарядов. Сила!

Противник возобновил артпристрелку. Корректировал его огонь наблюдатель с тригонометрической вышки прямо на переднем крае. Нам все это хорошо было видно. Нестеренко по праву старшего командира приказал комбату ствольной батареи, наблюдательный пункт которого находился вблизи от нас, сбить вражеского корректировщика. Оказалось, что комбат не знал, как это сделать: по его мнению, на пристрелку потребовалось бы много снарядов, а их у него в обрез. Тогда Нестеренко сам подготовил исходные данные и взялся командовать ствольной батареей. Седьмым снарядом он сшиб фашиста и разрушил вышку.

Тем временем немцы закончили подготовку к атаке. Естественно, командиры дивизионов нервничали, просили разрешения открыть огонь. Особенно настаивал гвардии капитан Худяк, офицер обстрелянный, знавший повадки гитлеровцев.

— Комиссар, что будем предпринимать? — встревоженно спросил Нестеренко.— Сейчас фашисты начнут артподготовку, разобьют наши наблюдательные пункты и огневые позиции, нарушат связь...

В это время послышался гул вражеских самолетов.

— Вот видишь,— показал на них Нестеренко.

— Давай, Алексей Иванович, нанесем упреждающий удар! — ответил я.— Звони генералу Крюченкину (командиру кавдивизии), предупреди его и открывай огонь.

Не успел телефонист вызвать генерала Крюченкина, как с восточной окраины Диканьки громыхнул залп дивизиона Худяка, а за ним ударили остальные дивизионы. Сотни огненных стрел с металлическим скрежетом срывались с направляющих боевых машин и устремлялись в небо, неслись к своей цели. Над немецкими позициями высоко поднимались облака дыма, огня и пыли, видные с большого расстояния. Удар был точен. В стане врага еще долго слышались взрывы боеприпасов и горящих цистерн с бензином. Полыхало все: строения, машины, лес.

На поле боя воцарилась тишина. Вражеские же самолеты, не долетев до нас, побросали бомбы в своем расположении и повернули обратно.

Гитлеровцы были потрясены. Растерялись и наши кавалеристы. Генерал Крюченкин сокрушался, что его не предупредили о залпе, это у некоторых кавалеристов вызвало панику.

После полуночи дивизион гвардии капитана Василевича дал залп по сосредоточению гитлеровцев в районе селения Стасевка. На наблюдательном пункте находились Маршал Тимошенко и сопровождавшие. Ночная стрельба «катюш» оказалась еще более впечатляющей. Это была фантастическая пляска огня в стане врага. Мы на деле поняли и почувствовали, какое грозное оружие получили и с какой большой ответственностью должны относиться к правильному использованию его, всегда и во всем оправдывать гвардейское звание, полученное еще до начала боевых действий.

На второй день дивизия генерала Крюченкина начала наступление. Большого сопротивления гитлеровцы не оказывали. Они потеряли управление и отступали. Отдельные кавалерийские части дивизии Крюченкина за день прошли до двадцати километров, взяли много пленных и трофеев.

В Диканьке теперь создан музей 4-го гвардейского минометного полка. Этот эпизод отражен свидетельствами многих участников событий.

...Повторяю: все это случилось еще до моего прибытия в полк. Впервые залп «катюш» я увидел, когда мы били по позициям врага возле станицы Терновой. Опять же со столь памятным мне событием связано воспоминание об Иване Никифоровиче Радченко.

Первая военная зима была настолько лютая и многоснежная, что машины не могли продвигаться по дорогам. Собственно, дорог и не было, даже деревенские избы по крыши занесло снегом. Мы прорубали снежные тоннели, чтобы пробиться к выжидательным и огневым позициям. А это требовало много времени. В такой обстановке командование полка решило держать боевые машины постоянно на огневых позициях, возле них — продовольствие и боеприпасы. А разведчикам и подавно надо было находиться в землянках и окопах на наблюдательных пунктах. Ох и трудно же было согреваться, зарывшись в снег или припадая к радиаторам автомашин, моторы которых работали непрерывно. Погреешь один бок, а второй за это время окоченеет. Смерзшийся хлеб грызли, до крови обдирая десны. Мерзли беспощадно. Кажется, я до сих пор ношу в себе холод той суровой зимы.

Тогда мы почти постоянно видели возле себя своего комиссара полка. Он шутил, подбадривал, улыбался, как будто ему все было нипочем. Если у него спрашивали, когда же залп, отшучивался:

— Никак подходящего фашиста не подберем, все сопливый толчется против нас, на такого жалко тратить боеприпасы.

И вот однажды раздалась команда «К бою!». Машины были заряжены, оставалось только снять чехлы и навести установки на цель. День был ясный, солнечный, жгуче холодный. Расчеты, обрадованные делом, быстро выполнили команды. Потом я приметил, что гвардейцы каждый залп делали с каким-то особым подъемом, лихостью. Это было состояние людей, знающих, что они совершают акт исключительной важности. Такое чувство придавало им понимание огромной силы ракетного удара по врагу. Но в тот день я сам впервые присутствовал на огневой позиции во время залпа — меня сменили на НП, отпустили к батарейцам, и свежим взглядом я отметил необычное состояние людей.

По очередной команде «В укрытие!» мы отбежали в сторону — укрыться тут можно было, разве только зарывшись в снег, а это все равно ничего не дало бы. К тому же хотелось получше рассмотреть, как производился залп.

Команда «Огонь!» почему-то задержалась. Расчеты нетерпеливо ждали ее, опасаясь, что последует «Отбой!» и снова придется неопределенное время ждать этого желанного момента. Вдруг в заиндевевшем, искрящемся от мороза воздухе послышался гул авиамоторов. Мы все повернули головы на запад — да, гул доносился с той стороны. Вскоре в небе стали различимы черные точки, превратившиеся в крестики. Мы невольно стали считать их: три, девять, пятнадцать... Гул нарастал, вражеская эскадрилья надвигалась на нас низко, напористо, давяще. По чистой случайности (я так полагаю), когда она вышла на траекторию полета наших мин, нацеленных на Терновую, раздалась команда «Огонь!». Реактивные сна-

ряды, прочерчивая огненные полосы, устремились навстречу фашистским стервятникам. Десятки их пронеслись около самых самолетов, и гитлеровские летчики испугались. Они, очевидно, посчитали, что бьют по ним, беспорядочно побросали бомбы на свои позиции и умчались врассыпную.

— Ну что, дали жару им? — от души радовался Радченко.— Лихо получилось — и в воздухе, и на земле. Молодцы, гвардейцы, знай наших!

Еще до этого полку довелось отступать через Харьков. Случилось так, что на этом тяжком пути гвардейцы остановились возле военного училища, которое уже эвакуировалось. К Радченко подошел лейтенант с музыкальными эмблемами в петлицах и представился: капельмейстер военного училища, оркестр остался без хозяев.

— Садитесь всем взводом в машину! — приказал Радченко.— Что еще осталось в училище?

— Типография,— сообщили оркестранты.

— И ее сюда!

Время было горячее, на размышления его не хватало, решения приходилось принимать на ходу. Комиссару было ясно одно: людей и имущество нельзя оставлять врагу. Руководствуясь этим и отдал приказание. А вот как поступить с неожиданным пополнением?

Уже на ходу, отступая, советовался с секретарем полковой парторганизации Коровниковым и политруком Шеститко: что делать с людьми, так неожиданно приставшими к полку? Тут следует оговориться: в первый период полк имел необычный штат. Кроме четырех дивизионов «катюш» в нем был зенитный дивизион, несколько броневиков, охранявших «катюши», многочисленные штабные службы. Условились создать комендантский взвод, зачислив в него оркестрантов и наборщика полковой многотиражки Владимира Щербака, вменили ему в обязанность водить редакционную машину и быть секретарем политотдела. Входил в этот взвод и инструктор политотдела по пропаганде Василий Васильевич Титков, впоследствии ставший сибирским художником. Причислили сюда и фотографа Иосифа Кублияшвили. Обязанности киномеханика исполнял писарь штаба Никифоров.

Как-то само собой создался ансамбль самодеятельности: водитель боевой машины Валентин Макогоненко хорошо пел, напарником у него выступал шофер Иван Кочуев, сапожник Евсей Абрамович играл на трубе, водитель Константин Носков — баянист. Как только позволяли условия, случалась передышка, подразделения меняли дислокацию,— на грузовиках устраивалась импровизированная сцена и самодеятельные артисты исполняли лирические песни, частушки, зло высмеивавшие Гитлера и его окружение,

фашистских вояк. Частушки складывались прямо на ходу. Это была очень действенная пропаганда.

Не навязывая ансамблю свой репертуар, Иван Никифорович верил вкусу и политической зрелости самих участников самодеятельности. Вместе с тем он и не выпускал из виду все, что предлагали самодеятельные артисты своим зрителям, всячески их поощрял, потому что был убежден: «после боя сердце просит музыки вдвойне...»

До сих пор помню концерты, киносеансы, которые давались прямо на лужайках у опушек леса, в колхозных клубах, в укромных оврагах среди степи. Это был отдых, радость, окрыляющая воинов, только что испытавших все чувства, свойственные человеку в смертном бою. Иван Никифорович делал все возможное, чтобы не угасали в подразделениях песня и стих, чтобы воины чувствовали свое духовное превосходство над врагом, способным только к уничтожению культуры.

Особенно заботился комиссар о полковой многотиражке. Назвали ее «Гвардеец». Она была сверхштатной: полку не полагалось свое печатное издание. Но типография была, наборщик — тоже, оставалось только добыть бумагу и краски. Радченко ухитрялся добывать их. При отступлении не упускал возможности захватить что можно в районных типографиях, в различных канцеляриях. В ходу было все, на чем можно оттиснуть газетную полосу: писчая бумага, обои — лишь бы можно было прочитать. Комиссар знал: будет прочитано каждым бойцом все, что отпечатано, потому что публиковались заметки и даже стихи самодеятельных литераторов, посвященные жизни полка.

В пору тяжких отступлений, когда у каждого на душе кошки скребут, особенно нужна какая-то отдушина, что-то такое, что ободряло бы и показывало цену и значение подвига. Требуется нечто близкое к мирному времени. Вот и думал комиссар, как найти это нечто. И находил.

Командование опергруппой гвардейских минометных частей фронта узнало о выходе многотиражки в 4-м гвардейском минометном полку. Члены военного совета опергруппы попеняли Радченко за самовольство, но спросили:

— Помогает газета делу?

— Еще как помогает! — воскликнул Радченко.

— Тогда пусть издают. Была бы польза.

На том и порешили.

Когда, если не ошибаюсь, в марте 1942 года тогда уже подполковника Нестеренко отозвали в Москву, вместо него был назначен гвардии майор Воробьев. До его прибытия Радченко исполнял обязанности и комиссара, и командира полка. Мы тогда поддерживали дивизии генералов Руссиянова и Родимцева, с кото-

рыми свела нас судьба позднее под Сталинградом. Вели весной трудные бои, наступая на Харьков. И уже близко подошли к городу. А потом, как известно, из-за превосходства сил враг начал теснить нас. Стало еще труднее.

За время неравных оборонительных боев наш полк дал 76 дивизионных залпов, отбил 15 атак, из них пять танковых, уничтожил и ранил тысячи фашистов, сжег 92 танка, сотни автомашин и многое другое. Но бои шли не на равных, фашисты имели намного больше техники и живой силы. Им удалось прорвать нашу оборону в нескольких местах, они выбрасывали десанты в нашем тылу, перерезали коммуникации. Полной картины мы не имели, но уже слышали: образуется вражеское кольцо вокруг нас.

— Что за паникерские настроения?! — с наигранным оптимизмом воскликнул один командир.— А знаете ли вы, что наши войска наступают по всему фронту и одерживают крупные победы? Уверенно идут вперед...

И тут за спиной у него появился комиссар Радченко. И как бы продолжая его речь, сказал:

— ...идут вперед, на восток.

Оратор наш смутился, подскочил, не зная, то ли рапортовать, то ли принять реплику за шутку.

— Да, друзья, мы пока держим путь вперед, на восток,— с иронией повторил Иван Никифорович.— Зачем же говорить неправду? Положение у нас архитрудное, и это все мы должны ясно представлять, чтобы делать правильные выводы. Архитрудное,— и от нас самих зависит, как мы справимся с ним.

Он присел и рассказал, что мы, по сути, оказались в окружении. Путь к отступлению перерезан. Днем выбраться из этого леса — подставишь себя под удар вражеской авиации, а потом танков. Будем дожидаться ночи, и, возможно, предстоит прорываться с боем. Вот это и должен хорошо уяснить каждый из нас, закончил Иван Никифорович, преподав всем, и особенно «бодрячку», урок настоящей большевистской прямоты, откровенности и принципиальности, подлинного доверия к людям, с которыми ему суждено было идти на прорыв, а могло статься, и на смерть. Куда уж, не обрадовал военком нас тогда. И на душе не стало легче. Но мы знали: командует нами умный, правдивый и честный человек. Я уверен, что он верил в наш успех гораздо больше, чем тот оратор-«бодрячок».

Тяжесть положения полка усугублялась острым недостатком боеприпасов — все было израсходовано, когда мы вели арьергардные бои. Даже патронов осталось очень мало, горючего в баках машин — четверть заправки. Жили, как говорится, на подножном корму — тылы были отрезаны.

Командование полка послало разведчиков во всех направлениях,

посадив их на машины и обеспечив рациями. Выяснилось, что фашисты контролируют только узловые участки дорог, сплошной линии фронта нет. Начальник разведки полка гвардии старший лейтенант Дивнич обнаружил на железнодорожном перегоне Чертково — Миллерово брошенный состав с горючим, боеприпасами для стрелкового оружия и ствольной артиллерии.

Это было на юг от нас, в центре района окружения. Командование полка решило, что выход один — немедленно направиться туда и заправить машины, запастись боеприпасами к стрелковому оружию, которое может очень пригодиться при прорыве из кольца. Полковая колонна двинулась в путь. К нам присоединились два дивизиона и тылы 58-го гвардейского минометного полка, отбившиеся от своего командования, и несколько различных артиллерийских, танковых подразделений, потерявших в бою свою технику, а также какие-то связисты. Образовалась большая колонна.

Над нами кружили вражеские самолеты, но не бомбили — очевидно, летчики рассчитывали, что вся эта огромная махина скоро выдохнется и целехонькая попадет им в лапы.

А мы тем временем, с заправленными бензином машинами и имея в запасе горючее, пополнив комплекты гранат и патронов, готовились следовать на восток.

Я хорошо помню тот прорыв. Когда наступили сумерки, фашисты повесили «фонари» вокруг нас. Они всегда освещали свои позиции, потому что боялись, что в темноте подкрадутся красноармейцы и неожиданно нанесут удар. По осветительным ракетам мы поняли, что на востоке только небольшая полоса километра полтора-два, не занятая противником. Но это был участок глубоких оврагов, которые надо пересекать поперек. А у нас — тяжелые машины.

— Другого не дано,— сказал, собрав командный состав полка, Иван Никифорович.— На руках вынесем технику, но выйдем из окружения!

Он сам впереди на броневике вел колонну. Вслед двигались дивизионы, строго соблюдая маскировку, готовые и открыть огонь из стрелкового оружия, и забросать врага гранатами. Как сейчас вижу эту темную ночь, еле различимые силуэты впереди идущих машин, на крыльях которых лежали гвардейцы, рассматривая путь и вполголоса командуя шоферам, куда повернуть. Помню, как в оврагах выталкивали машины наверх, надрываясь, задыхаясь от напряжения. И все же вырвались из кольца. Держали курс на восток.

Правда, потом в пути на нас нападали вражеские десантники, но с ними мы справились без особого труда.

В это очень тревожное время командир полка Воробьев поехал

искать штаб армии, чтобы получить боевую задачу. Поскольку часть была на марше, а потом вынужденно изменился маршрут, майор потерял с нами связь. Ивану Никифоровичу пришлось и дальше выполнять одновременно и функции командира полка. На своем броневичке он вырывался далеко вперед и разведывал обстановку. Мы считали: раз он впереди, значит, можно ехать. Но мы знали тогда далеко не все, что пришлось пережить ему. Лишь недавно в нашем разговоре он вспомнил некоторые детали:

— В степи мы встретили несколько грузовых машин с солдатами и офицерами в советской форме. Вызвало подозрение, что они во всем новеньком, как на параде. Навели на них пулеметы, остановили, заставили сложить оружие. А когда проверили, то оказалось, что это десант диверсантов. Передали их куда следует, и путь колонне был открыт.

Прошло уже сколько времени, а и сейчас писать о тех событиях тяжело. Единственное, что утешает,— велика в своей скромности и бескорыстии красота души абсолютного большинства людей, с которыми пришлось делить тогда горькую участь терпящих временное поражение. Проявлялась эта красота в ежеминутной готовности пойти в свой последний бой, не уронив достоинства советского человека, не покорившись врагу. Не отсюда ли и моя тогдашняя уверенность, что, как бы ни поворачивалась наша военная судьба, какие бы испытания ни предлагала она нам, мы победим. Или с честью умрем. Третьего не дано. Такую уверенность внушал нам Иван Никифорович. Даже в самую трудную минуту он верил, что выйдем из окружения и 4-й гвардейский минометный полк еще повоюет.

Переправа через Дон, к которой прежде нам было приказано двигаться, как доложила разведка, была уже захвачена противником. Мы повернули на Вешенскую. Мне довелось много читать военных мемуаров, но почему-то не встречал описания переправы у станицы Вешенской. Да и сам сейчас не берусь подробно рассказать о ней. Разве только в общих чертах.

Должен признать, что на моем военном пути это был наиболее трагический эпизод, хотя впереди еще оставались бои на Дону, под Сталинградом, под Будапештом. К Вешенской переправе съехались и сошлись огромные массы отступавших людей, трудно поддававшихся управлению и подвергавшихся непрерывным атакам с воздуха, гонимых железной лавиной вражеских танков и бронемашин.

Переправа представляла собой мост, рассчитанный на грузы средней тяжести. Один пролет его был разрушен вражеской бомбой. В пролом подвели баржу, наспех сделали соединение. Едва закончили свою работу саперы, как на мост ринулись какие-то громадные машины. Что это была за техника, не представляю, видимо

мастерские на колесах. Они застопорили переправу. А тут еще фашистские стервятники. Они кружили над нами, над колонной, растянувшейся на много километров. Наши машины стояли впритык друг к другу, чтобы со стороны никто не мог вклиниться без очереди, по четыре-пять в ряд. Когда налетели самолеты, сидевшие за рулем водители из средних рядов не могли выскочить, чтобы хоть в кювете укрыться от осколков бомб.

К счастью, в это время на переправу прибыл генерал Крюченкин. Радченко доложил ему, что наш полк, а с ним много других подразделений благополучно вышли из окружения, и попросил переправить нас в первую очередь, с тем чтобы мы в темпе получили реактивные снаряды и с левого берега Дона могли своим огнем прикрыть переправу. Крюченкин очень обрадовался такой приятной для него вести — появлению полка «катюш», сохранившего всю боевую технику. Он тут же дал право неограниченных действий Радченко и коменданту переправы майору Демьяненко. Гвардейцы нашего полка активно помогали коменданту наводить порядок на переправе. Только дисциплина и организованность гвардейцев внесли определенный порядок, и наш полк к утру смог переправиться на левый берег.

А наутро фашисты бросили на переправу теперь уже десятки бомбардировщиков. Как только моя машина выкатилась на левый берег, к первым домам Вешенской, проворные разведчики отлучились на минутку и тут же доложили, что возле дома Михаила Шолохова, у самого угла, упала тяжелая фашистская бомба. Она убила мать писателя Анастасию Даниловну, перекосила дом и разметала библиотеку, по двору валяется много книг.

— Можно подобрать кое-что, все равно пропадут?..— спросили меня.

— Возьмите,— не задумываясь, ответил я, как и мои разведчики полагая, что в боях, которые шли у Вешенской, вряд ли сохранятся книги. Разведчики снова отлучились на несколько минут и привезли на «газике» три ящика от реактивных снарядов, наполненных книгами. На некоторых были дарственные надписи авторов. Помню одну из дарственных книг Веры Кетлинской.

Особенно обрадовался я роману Льва Толстого «Война и мир». Никак не ожидал, что придется читать его в донских степях и в окопах Сталинграда.

Радченко находился на переправе, пока не дождался последней полковой машины. Ему доложили, что мать Михаила Шолохова убита, дом поврежден и пуст, а библиотека разбросана взрывом. Тогда Иван Никифорович приказал похоронить Анастасию Даниловну, собрать уцелевшие книги и погрузить их на машины. Драгоценный груз отвезли на станцию Фролово и сдали в библиотеку, сообщив обо всем Михаилу Александровичу. Спустя некото-

рое время гвардейцам вручили четыре боевые установки, построенные на сбережения Шолохова именно для нашего полка.

Из Вешенской мы направились на север и вскоре остановились в лесу, чтобы привести свое хозяйство в порядок и хоть немножко отдохнуть, отоспаться. Позади осталась ночь, полная предельного напряжения. К тому же надо было связаться с тылами, стать на довольствие — есть было нечего. К своему изумлению, мы узнали, что наша часть считается погибшей и снята с довольствия, штаты аннулированы.

Оказалось, что какие-то люди из 58-го полка, потеряв свои подразделения, вышли к своим в одиночку и доложили, будто их полк полностью погиб вместе с нашим и для вящей убедительности сообщили такую подробность: Радченко, дескать, скончался у них на руках. И указали место захоронения его. Родным Ивана Никифоровича была послана похоронная.

Вот как все повернулось! Встал вопрос о переформировании полка, сокращении его штатов и количества боевых машин. Но командование Сталинградским фронтом, в распоряжении которого мы уже тогда находились, при поддержке командующего ГМЧ Красной Армии генерала Аборенкова вступилось за нас и доложило Верховному Главнокомандующему о боевых делах полка. Получили ответ — полк оставить в прежнем составе.

И это сыграло немалую роль потом, в боях на Дону. Много суток нам пришлось не спать — дивизионы бросали с одного места на другое. Фашисты рвались на левый берег, мы должны были давать залпы. Каждый такой залп гарантировал: тут врагу не пройти, и он вынужден был искать новое место для переправы, а это требовало времени. Мы же делали броски на десятки километров — без передышки, без сна.

Вот тогда Воробьева отозвали, а командиром полка назначили Радченко. Словно дирижер сказочного огненного оркестра, управлял он нами, беспощадно обрушивал на врага снаряды «катюш».

Навсегда запомнился хутор Вертячий. Сколько раз ни пытались фашисты навести там переправу, ее вдребезги разносили залпы реактивных установок. Правда, доставалось и нам, особенно от авиации врага. Но на то и война... Главное, мы почувствовали, что усиливается наше сопротивление, что в душе каждого из нас крепнет святое чувство несокрушимой воли: скоро мы остановимся и погоним врага, придет и на нашу улицу праздник!

В то жаркое не только от солнца, но и от душевного накала лето мне все реже приходилось видеть своего бывшего комиссара, а теперь командира полка — дивизион мотало по всему Среднему Дону, особенно у его излучины. Но волю Ивана Никифоровича мы постоянно чувствовали в распоряжениях, которые чаще всего получали по рации: выехать туда-то, дать залп там-то...

Фашистам удалось переправиться через Дон. Нам было приказано действовать на южном фланге Сталинградского фронта. Не берусь в этих коротких заметках рассказать обо всем, что пришлось пережить тогда. Приведу лишь некоторые разрозненные эпизоды, связанные с Иваном Никифоровичем. Причем пишу только то, что хорошо помню, лишь те моменты, когда наши пути перекрещивались непосредственно.

Мне было приказано вести наблюдение за противником. Простор бескрайний, слегка всхолмленная степь. Для наблюдательного пункта выбрал высотку, с которой видно было далеко, на полтора десятка километров, а то и больше. Холмы дыбились в синем мареве, словно застывшие волны. Поражало в них странное безлюдье. Все живое попряталось, замаскировалось, закопалось в землю — и наши, и противник. Рядом с нами чернели реденькие окопчики пехоты, настолько реденькие, что оторопь брала: солдат от солдата на расстоянии громкого крика. Окопаться в полный профиль они не успели — земля там твердая, слежалая, как камень.

Недалеко позади занимала позицию батарея «сорокапяток», а еще немного отступя и левее ее — неполная батарея 76-миллиметровых пушек. Вот и все. Не густо. Благо, противник на этом участке не проявил себя активно — редко где можно было заметить, как промелькнет фашист и скроется. Застыла оглушительная тишина, от которой на фронте становится не по себе: жди беды!

Предчувствие не обмануло меня. Наблюдая в стереотрубу, я заметил на дальнем холме, тонувшем в синем мареве, черные движущиеся точки. Они перевалили через рубеж и скрылись. Потом появились уже на ближнем холме. И снова скрылись. А на том, дальнем, появились новые шевелящиеся точки. Постепенно я начал различать силуэты танков. Они шли в шахматном порядке, медленно, слегка поворачивая стволы орудий, словно вынюхивая цели.

Артиллеристы-ствольники сделали несколько пристрелочных выстрелов. А я сообщал обо всем виденном в дивизион. Командир дивизиона приказал непрерывно докладывать обстановку, и я, не отрываясь от стереотрубы, как бы вел репортаж. Армада танков все ближе и ближе накатывалась на нас. Они даже не стреляли, хотя расстояние для прицельного огня было вполне подходящим. Видимо, ждали, когда обнаружат себя наши огневые точки.

— Дайте залп! — просил я командира дивизиона.

— Докладываю обстановку командованию,— спокойно ответил он.

Мне не было легче от того, что он в свою очередь тоже кому-то докладывает. Пройдет еще немного времени, и танки начнут утюжить наши позиции. Им и стрелять не нужно будет.

— Давайте точные координаты! — послышалось в телефонной трубке.

Я еще раз сориентировался и сообщил координаты цели. Через несколько минут из Тингутинского лесничества донесся рокот мощного залпа «катюш». Над нашими головами прошелестели реактивные снаряды, и на площади, занятой танками, начали вспыхивать фонтаны разрывов. Оказывается, Иван Никифорович Радченко в это время находился в нашем дивизионе и это он потребовал, чтобы я вел своеобразный репортаж с поля боя, он и выбрал наиболее подходящий момент для залпа. Я с восторгом наблюдал, как задымилось несколько танков. И вдруг на моих глазах некоторые танки буквально разлетелись в щепки, которые горели на лету. Часть армады, двигавшейся на нас, оказалась фанерной. Макеты были привязаны за настоящие танки, их тянули по степи, создавая видимость несокрушимой махины,— обыкновенная психическая атака, рассчитанная на слабость наших нервов. А когда мы ударили, «психи» растерялись, сначала попятились, потом повернули назад, оставляя на пути не только фанерные «страшилища», но и костры пылающих боевых машин.

Вот тогда я с солдатской благодарностью думал об Иване Никифоровиче, который своевременной командой сорвал наступление противника на нашем участке, может быть, наиболее уязвимом, слабо укрепленном. Теперь сюда танки не лезли. Так комиссар стал отличным командиром, в сражениях постигая мастерство руководства боем.

Нас вскоре перебросили поближе к Сталинграду, в его пригород,— удар врага был перенесен севернее, на центр города, и там требовались наши «катюши». Шли тяжелейшие бои, уже многократно описанные, и о них я не буду говорить.

А потом началось наше наступление. Сигнал к нему подали установки реактивной артиллерии, в том числе и нашего полка. За успехи в боях под Сталинградом 4-й гвардейский минометный полк был удостоен ордена Ленина.

Человек познается в беде. Это давно замечено. И я вспомнил именно тот период, когда все мы с комиссаром Радченко делили общую всенародную беду и когда он служил для меня и моих товарищей примером того, как коммунисту следует вести себя, если на карту ставится и жизнь, и честь твоего народа, и твое человеческое достоинство. Иван Никифорович был и остается для меня Комиссаром. Настоящим, по душевному призванию и по партийной своей сущности.

Борис
МОНАСТЫРСКИЙ

«КОММУНИСТЫ, ЗА МНОЙ!»

Листая страницы своего фронтового блокнота и газету «Боевая красноармейская», я обнаружил фотографию, опубликованную 11 апреля 1943 года, и краткую текстовку к ней: «Коммунист старший лейтенант Павел Чхедиани — известный снайпер Н-ской части. Он истребил 131 гитлеровца... В снайперском поединке Чхедиани убил двух немецких снайперов, он же уничтожил трех немецких офицеров и снял многих наблюдателей. В последних боях Чхедиани заменил вышедшего из строя командира роты и, проявив исключительное мужество, успешно повел красноармейцев в атаку».

Фотография и записи воскресили образ Чхедиани, боевого политработника, с которым встречались в сражениях на новгородской земле. Вспомнились далекие дни на Волхове, когда нам, военным журналистам, приходилось часто бывать на передовой, чтобы собирать материал для газеты.

Однажды я шел по траншее из батальона в роту, которая занимала оборону в районе поселка Грузино. Вокруг раскинулись рощи и луговины, покрытые жухлым, ноздреватым снегом. Вдали на буграх маячили рыжие глинистые проталины, все увеличивающиеся под мартовским солнцем.

На переднем крае было затишье. Лишь изредка, как злой пес, лаял вражеский пулемет, глухо шлепались мины, оставляя на земле черные воронки, которые быстро заполнялись болотной водой. А вот и землянка командира шестой роты. На ящике от снарядов лежала карта. Коптила лампа, сделанная из гильзы снаряда. Командир роты старший лейтенант Иван Зозуля и политрук Павел Чхедиани вели разговор о предстоящем бое, обсуждали возможные повороты в его развитии и варианты действий в каждом случае.

На рассвете роте предстояло форсировать Волхов и захватить плацдарм на том берегу. Я стал внимательно приглядываться к Чхедиани. В его внешности не было ничего героического. Невысокого роста, стройный, по-кавказски подвижный. На фронте — с 22 июня 1941 года, узнал я. Война застала в Литве, в отдельном

саперном батальоне, где он был комиссаром. Саперы в ту пору вели активные оборонительные бои, минировали мосты и дороги на пути наступления фашистов. В бою у деревни Горшково Калининской области политрук Чхедиани получил ранение и попал в госпиталь. Затем был назначен в 1080-й стрелковый полк, который действовал у Киришей, Мясного Бора, Чудово, Новгорода на Волховском фронте. Четыре раза ранен. Словом, обычный по меркам войны офицер-политработник. А какая сила духа, какая ненависть к захватчикам жила в этом человеке! О его отваге в полку мне порассказали многое.

Однажды поздним вечером он инструктировал агитаторов роты, когда вдруг в землянку, где это происходило, протиснулся запыхавшийся от спешки боец и сообщил тревожную весть:

— Фашисты засели в воронке недалеко от нашей траншеи, бьют из пулемета. Головы не поднять...

Все посмотрели на политрука. Во взглядах бойцов стоял немой вопрос: что делать? Чхедиани быстро собрал в «комсоставскую» кирзовую сумку документы, сунул туда же пару гранат и вышел из землянки вместе со всеми. План вылазки родился тут же. Чхедиани взял на себя самое рискованное дело — подобраться к фашистам с тыла и закидать воронку гранатами.

За Чхедиани следовали красноармейцы. Они видели, как тот ловко перепрыгнул через бруствер и тотчас исчез в темноте. Не прошло и пяти минут — грохнул взрыв, за ним другой. Захлебнулся, замолк вражеский пулемет. Не дожидаясь команды, бойцы ринулись к воронке, где был их политрук. Оставшиеся в живых фашисты подняли руки.

Был и такой случай. Политрук выследил тропу, по которой гитлеровские офицеры ходили проверять свое боевое охранение. С вечера он залег между кочек, замаскировавшись сухой травой. На рассвете показались на тропе две тени. Они еле различались в оптическом прицеле винтовки. Тени медленно приближались, а когда одна из них оказалась в перекрестье прицела, Чхедиани нажал на спуск. Немецкий офицер шагнул сгоряча еще раз-другой и ткнулся в землю. Второй пустился было наутек, но и его настигла меткая пуля.

Как отличному стрелку, прошедшему в довоенные годы специальную подготовку в Осоавиахиме, командование поручило Чхедиани подготовить группу снайперов.

За это дело политрук взялся с душой и вкладывал в него все свое умение и знания. Обучал он молодых бойцов снайперской науке наглядно. Например, после урока, на котором шла речь о баллистике, устройстве оптического прицела или приемах стрельбы, брал винтовку, по-пластунски выползал на огневой рубеж, маскировался, спокойно прицеливался и стрелял. Можно было не смотреть

мишень — в центре ее обязательно красовался след от пули. Дня через два-три после такого наглядного обучения новички реже делали промахи.

Как-то Чхедиани и его ученик Коковихин притаились на опушке леса. В 250 метрах от них находился фашистский снайпер. И хотя обе стороны были хорошо замаскированы, каждый остерегался. Коковихин не имел еще достаточного опыта, он проявил неосторожность и был ранен. Чхедиани, сделав перевязку, успокаивал солдата:

— Подожди, мой дорогой, подожди немного. Сейчас тебе станет лучше.

Грянул выстрел. Послышался вскрик гитлеровца. Тогда Чхедиани приподнял на своих руках Коковихина и нежно, как сыну, сказал:

— Убил я, дорогой мой, твоего обидчика.

— Спасибо, товарищ политрук. Мне и впрямь стало лучше,— заулыбался Коковихин.

В полночь накануне форсирования реки Волхов Чхедиани вышел из землянки. В темноте переплетались огненные нити трассирующих пуль, рвались снаряды. Неужто враг почувствовал что-то и нервничает? Политрук прошел по окопам. Бойцы встречали его с радостью. Созвал коммунистов, агитаторов, рассказал им о боевой задаче.

Под покровом предрассветного тумана рота форсировала реку, бросилась на штурм вражеских позиций. Но атака захлебнулась из-за сильного пулеметного и минометного огня. Тогда во весь рост поднялся политрук Чхедиани, позвал:

— Коммунисты, за мной! — и первым пошел вперед.

Чхедиани не только командовал — он и сам вел огонь по гитлеровцам, выбирая цели поважнее. И дважды по одной цели стрелять ему не приходилось.

— Командир роты ранен! — передали по цепи с правого фланга. Бойцы опять залегли. Но уверенно прозвучал знакомый всем голос Чхедиани:

— Рота, слушай мою команду!..

Вслед за политруком бежали, стреляя, бойцы. Рота заняла развилку дорог.

Позже пришла весть: Чхедиани ранен.

Ранение политрука всех опечалило. И он будто почувствовал это — «принял меры». Его несли на носилках, и уже издали раздался голос. Гортанный, с грузинским акцентом, такой знакомый солдатам:

— Они пятый раз ранили меня, а я отправил к прадедушке сто тридцать фашистов!..

Политрук Павел Чхедиани надолго был прикован к госпитальной

койке. Уволился он в отставку в звании майора уже как инвалид. Более 20 лет проработал на металлургическом комбинате в Кривом Роге. Здесь ко многим его боевым наградам прибавилась медаль «За доблестный труд».

Партбилет Чхедиани, дважды пробитый вражескими осколками, хранится в архиве Сочинского горкома КПСС. Сочи — его родной город. Несколько раз Павел Эрастович избирался депутатом здешнего городского Совета.

Не один год я искал его, и какая же была радость, когда нашел бесстрашного политрука, героя моего давнего очерка в армейской газете. Постарел, но по-прежнему энергичен и весел.

Иван
ТЮРЕНКОВ

НА БРОНЕ — ДЕСАНТ

ПРОРЫВ

На рассвете 13 января 1943 года войска Воронежского фронта приступили к операции, вошедшей в историю Великой Отечественной под названием Острогожско-Россошанская.

Мощной ударной группировке предстояло прорвать оборону врага на рубежах донских верховий, а затем окружить и уничтожить или пленить его войска. Плацдармы, которые теперь, после великого сталинградского одоления, служили трамплинами для рывка на запад, прошлым тяжким летом отвоевывались в упорных кровопролитных боях. И теперь в войсках, готовых к наступлению, политработники настойчиво подчеркивали на митингах, партийных и комсомольских собраниях, на многочисленных беседах во время приема в партию: те жертвы не напрасны — плацдармы дали нам огромное тактическое преимущество, позволяющее окружать врага. Так оно впоследствии и оказалось: здесь, на Дону, врагу не удалось отсидеться за толщей укреплений. По примеру Сталинграда он был сбит с них, разгромлен и частью пленен либо уничтожен.

Война после победы под Сталинградом неостановимо катилась на запад.

С плацдарма у села Щучье шла в наступление 96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола. Накануне ночью танки челябинцев по льду переправились через неширокий здесь Дон в район сосредоточения.

Артиллерийская подготовка началась 14 января в полной темноте. Только что с черно-синего небесного полога смотрели на землю голубоглазые звезды в игольчатых ресницах, а уже земной багровый свет затмил, стер все иные краски вокруг.

Услышав могучий голос своей артиллерии, танкодесантники — бойцы мотострелковой роты — во главе с исполняющим обязанности ее командира, замполитом Григорием Руссолом стали, помогая друг другу, выбираться из заснеженной траншеи и выстраиваться позади «тридцатьчетверок». Экипажи машин переговаривались в гулких бронированных глубинах, откуда на десантников

тянуло добрыми запахами хлеба, каши и махорки, которые не могли в ознобном морозце пропасть среди пороховой и соляровой гари.

— Гриша, Руссол, политрук, слышь,— позвал из башни друга, называя его политруком по старой памяти, командир танковой роты старший лейтенант Щеглов.— Такого огня я еще не видел. Как у «Теркина»: «Все как есть перекалечим, переправу обеспечим». Земля и снег горят от нашего огня...

На громкий голос веселого туляка сосредоточенный перед отдачей боевого приказа Руссол оглянулся было с досадой. Но старший лейтенант умел владеть собою, да и бойцов надо было подбодрить перед атакой. И бывший политрук, а теперь замполит отозвался в тон:

— В Щучьем митинг проводил вечером. От танкистов твой Копсергенов хорошо говорил, с чувством, и наш Казанцев тоже. А лучше всех дедок здешний, красный партизан, сказал: «Спасибо, говорит, что освободили нас от лютого фашиста. И за то, что село осталось почти совсем целое. И за то, особо благодарим, что наши «У-2» разбомбили школу, там у них был штаб, и многие враги полегли...»

Все были на митинге и дедка слышали, а вот замполит сейчас, в минуты перед решающим боем, сумел же напомнить и о деде и вроде бы шуткой подбодрить.

— Устроим им тут, ребята, второй Сталинград! — Щеглов рукой в черной кожаной рукавице хлопнул энергично по откинутой стальной башенной крышке.— Как считаешь, Рамазан, устроим? Ты ведь агитатор у нас, больше других кумекать в этом деле, в политике, должен...

Что ответил ротному механик-водитель Рамазан Копсергенов, танкодесантники не услышали — старший лейтенант Руссол начал говорить громко, четко:

— Слушай боевой приказ!

Все подтянулись в строю, построжели. Артиллерия сотнями маленьких молоточков и тяжких молотов по-прежнему колотила по вражеской обороне. Судя по всему, такая артподготовка на час-полтора, не меньше. Это, по сути, уже, как по-новому говорят, «артиллерийское наступление». Могучий бог войны пробьет брешь в неприятельской обороне, но не оставит пехоту и танки один на один с фашистами, а будет сопровождать на всю глубину прорыва — «огнем и колесами», то есть часть пушек станет опекать братьев-пехотинцев да братьев-танкистов на все время сражения. Вот какая силища навалится на гитлеровцев.

— Противник обороняется,— выговаривает Руссол железные слова боевого приказа,— на высотах западнее реки Дон и нашего плацдарма здесь, у Щучьего. Наносят удар части 219-й стрелковой

дивизии, с которой взаимодействует бригада. Рота идет в атаку на броне танков в качестве передового отряда. В случае необходимости по команде спе́шивается и навязывает противнику рукопашный бой. Задача дня частей и подразделений бригады — прорвать долговременную, глубоко эшелонированную оборону неприятеля и к ночи выйти в район села Екатериновка. Я на головном танке старшего лейтенанта Щеглова. Мой связной — красноармеец Казанцев.

Руссол как истый танкист сунул карту за голенище сапога и подошел к левому флангу роты:

— Санинструктор сержант Клара Коваль, вы отзываетесь в распоряжение военврача Шутова... в связи с изменением боевой обстановки. Ясно?

— Нет, товарищ замполит, позвольте остаться в роте.

— Отставить! У вас своя задача. Навоеваться еще успеете, до Берлина далеко.— Это уже дружески, неофициально.— Будете нашего брата танкиста и десантника вытаскивать из огня в другие разы. А сейчас пожелайте нам остаться живыми-невредимыми. Кругом и к доктору Шутову бегом марш...

Григорий Руссол был человек доброго и веселого нрава, шутник и песенник, вспыльчивый, но отходчивый. Наверное, в его натуре отразились особенности его родины — солнечной Молдавии, края земледельцев и виноградарей. В партию руководителя лучшей бригады локомотивного депо приняли за год до войны. Одинаково задушевно или азартно пел он старинные молдавские любовные или рекрутские трагедийные дойны, задумчивые «українски пісни», раздольные песни русские. Одинаково честно трудился до призыва в родном Котовске: сначала был в бригаде по ремонту паровозов, потом стал машинистом-ударником. Одинаково настойчиво овладевал в армии специальностями танкиста: хорошо водил боевую машину, стрелял метко. А через месяц после нападения Гитлера, когда обозначился прорыв танков на Пруте, доверили бригадиру-стахановцу коммунисту Руссолу перегнать от Молдавии до самого Сталинграда большую колонну локомотивов. Уберег их от бомбежек, с честью выполнил ответственное поручение, еще малое время водил эшелоны.

А потом явился в Россошанский райком: «Я командир запаса танковых войск, член партии, прошусь в действующую...» В танковой бригаде выстроили новеньких, военком скомандовал: «Коммунисты, пять шагов вперед!» После окончания курсов политсостава Руссола назначили в роту десантников в танковой бригаде, а когда выбыл ее командир, политрук стал во главе сотни смелых бойцов, сплошь комсомольцев, которых военная судьба из разных концов страны забросила в танковый Челябинск, где формировалась часть (впрочем, в ту пору город получил в народе гордое и грозное для врага название «Танкоград»).

Этих отборных ребят сейчас предстояло замполиту Руссолу повести в первое в их жизни решительное наступление на врага. Требовательный в службе, добрый в дружбе, он как может бережет единственную в роте отважную девушку из Челябинска — учительницу Клару Коваль. Руссол глубоко убежден: танковые атаки, когда мотострелки-десантники идут в бой на броне «тридцатьчетверок», а сам он на головной у Щеглова, справа у башни,— «занятие не для женщин». Потому и отослал замполит санинструктора к доброму заботнику — военврачу Шутову.

Вот полыхнули тревогой красные ракеты атаки. Из грома и рева артиллерийского наступления выделились новые, еще более страшные для врага звуки — завывание дизелей и лязг гусениц.

— Вперед! — послышался громкий голос Руссола. Это была не команда, это замполит напоминал своим о том, что идут они в наступление.— Вперед, на запад!

На танковой броне качает десантников точно на корабельной палубе в шторм. Держатся за скобы, автоматы на груди, все в маскхалатах, поверх подшлемников — каски, ребята все больше рослые, Руссол же выделяется не ростом, не командным голосом — надежностью, спокойствием, которые вселяют во всех особую уверенность в успехе. Ведь это наступление продолжает Сталинградскую битву. Нельзя челябинцам подкачать, когда на полтысячи верст южнее Паулюс со своим воинством вот-вот задохнется в «загоне» на берегу Волги.

«Тридцатьчетверки», плеща огнем своих пушек, переваливая через воронки, ямы, траншеи, чернеющие среди снежной целины, уверенно идут на запад.

Через несколько часов мутное солнце уже пробилось сквозь морозную мглу, и навстречу танкам выметнулась первая за тот долгий день контратака. Руссол беспокоился, несколько раз стучал прикладом ППШ в башню, а когда оттуда высовывал Щеглов закопченное пороховой гарью лицо, спрашивал одно: «Почему, думаешь, не контратакуют?» И ротный отвечал по-разному: «После Сталинграда окружения боятся, драпанули», или: «Не очухались еще, погоди», или: «На таком морозе их таночки застыли, не заводятся...» Руссол добре знал характер ответов Щеглова, поэтому и кидал ему такой вопрос: это тоже была агитация, своеобразная политработа. Потому что мороз жал вовсю, и немецкая артиллерия бросала тяжелые «чемоданы» хоть не прицельно, но густо, и напряжение у бойцов надо было снимать, вот Руссол и заводил со Щегловым «диалоги».

Теперь, когда появился организованный противник, танки с полного хода легко опрокинули гитлеровцев. Вжикнул по башне и ушел вверх на рикошете снаряд, никого из мотострелков не сбросив с брони. И тут же Рамазан, не сбавляя хода, наехал

гусеницей на противотанковое орудие, отбросил его на десяток метров от окопа, где оно стояло. Прислуга кинулась врассыпную, опрокидываясь под градом автоматных очередей с бортов «тридцатьчетверок». Казанцев приладил «дегтярь» на ремне, и ручной пулемет мел густо по убегающим солдатам в зябких длиннополых шинелях и напяленных на уши пилотках. Только желтые автоматные и пулеметные гильзы отскакивали от брони. Нет, не похожи эти тифозного цвета драпающие шинели на наглые крысиные мундиры с засученными рукавами, рвавшиеся на Воронеж и Сталинград минувшим жестоким летом. «Навстречу своей гибели рвались. Война для фашистов,— кричит своим Руссол,— скоро станет не война, а сплошное бегство от русских танков!» Белые лица врагов кажутся бледнее снега. В тучах дыма и ледяной пыли крутятся танки на вражеской обороне, вдавливают в снежный наст все живое.

А потом уже не вялая, как предыдущая, а решительная, напористая контратака врага. Опомнились! Руссол спéшил роту, а «тридцатьчетверки» понеслись навстречу фашистским панцерам. Разгорелся скоротечный встречный танковый бой. Руссол повернул своих десантников на село, по которому густо перебегали гитлеровские солдаты, оттуда неслись резкие крики, команды, вопли, оттуда могли ударить во фланг. Он остановил роту и сказал хрипло, с большим чувством, как только умел:

— Челябинцы, комсомольцы! Помните колодезь под Перекоповкой, заполненный трупами детишек. Помните наших раненых, добитых фашистами в Лисках. Помните наших, полегших на высоте под Каменкой. Помните немецкий госпиталь, который озверевшие фашисты сами же подожгли, и мы их раненых вынуждены были спасать из огня, рискуя собственной жизнью. Товарищи, вперед, за нашу Родину! Бей фашистскую сволочь!

И пошел замполит Руссол с автоматом наперевес не оглядываясь. Он знал, он был уверен — рота как один ринется за ним.

Началась яростная рукопашная. Челябинцам попались мало битые гитлеровцы. Они, видимо, не побывали в сталинградских котлах, и с них надо было сбить спесь. Да, на перелом шла война. Руссол шагал спокойно, не ускоряя шаг,— и тут его танкодесантники обогнали и молча набросились на идущих в контратаку фашистов. Связной замполита, 17-летний комсомолец Славка Казанцев, курянин, обогнал ротного и побежал, прикрывая его собой. Руссол крикнул на все поле:

— Казанцев, разгильдяй 12-й гильдии, чего ты лезешь вперед? — Такая странная поговорка была у Руссола. Но танкодесантник не слышал. Стреляя из ППШ, орудуя прикладом, он пробивался вперед, рассекая гитлеровскую цепь, а за ним с криками «Ура!» бежали, тяжело дыша, челябинцы. Это потом, после боя, у Станисла-

ва на груди, на плече будут синяки и порезы, которых он не почувствует в рукопашной. У Руссола окажется простреленной мякоть левой руки. Но это все будет потом. А сейчас он порадовался, что не взяли в атаку храбрую санинструкторшу, все же рукопашная — мужское дело...

Казанцев и еще один боец, тоже задетый то ли немецким штыком или ножом, то ли пулей, Славка не знал, повели в тыл унылую колонну пленных, с которых напрочь слетела спесь. Руссол на перевязку не пошел — ему было некогда и не на кого оставить роту. Да и кровь перестала идти.

К вечеру танки Щеглова выходят к высоте перед Екатериновкой. Подходит весь батальон — десантом на танках. А оставшуюся за бригадой неприятельскую пехоту вдруг накрывают свои же минометные залпы — немецкие офицеры решили, что за танками бегут русские пехотинцы. Но часть роты Руссола, шедшая за десантом, из-за глубокого снега отстала.

Начинает темнеть. Пора прекращать наступление. Впереди несколько домиков, чудом уцелевших, и десантники под прикрытием огня из танков атакуют полусожженный хуторок. Надо обеспечить себе ночлег — фашисты пусть спят на снегу... Это коротко пояснил бойцам Руссол, получивший приказ от комбрига полковника Лебедева и замполита подполковника Захаренко.

Устало смолкают моторы. И тут на челябинцев наваливается морозище — его в горячке боя никто не замечал. Танки заправляются горючим. Солярки сегодня с излишком, как еды, табака и «наркомовской». Потому что в бригаде большие потери в танках и людях. Танкисты Щеглова и пехотинцы-автоматчики Руссола набиваются в несожженную хатенку. Как ни устали командир и замполит, отдыхать можно только бойцам; Руссол садится у края стола за политдонесение. Напишет, повернется к котелку, похлебает, опять пишет. Торопится составить политдонесение, а есть страшно хочется: вот и совмещает, как сам шутит, «личное с общественным». Вдруг осознает: не пишет, не ест, не курит — вот и сморил тебя, товарищ замполит, сон. А что поделаешь — вторая ночь, третьи сутки без отдыха...

Зато — наступаем!

Боевая задача дня выполнена. Противник понес чувствительные потери, к вечеру его подразделения не оказывали сопротивления, сдавались. Наоборот, моральный дух в первой мотострелковой роте, как и во всей бригаде, очень высок. Люди рвутся в бой — ведь они освобождают от гитлеровского рабства своих соотечественников, полгода бывших «под фашистами». Кроме того, перед освободителями воочию картины чудовищных зверств врага над жителями. Отличились в атаке бойцы Поскребышев (коммунист), Казанцев (комсомолец) и другие. Их немало.

Остыла еда у Руссола, замполит доедает кашу с застывшей тушенкой, присланной заокеанским союзником взамен открытия второго фронта.

Руссол по-братски выручает танкистов: часовыми ставит своих автоматчиков, хотя смертельная усталость подкашивает всех. Андрей Щеглов наказывает часовым будить механиков-водителей каждый час, чтобы прогревали моторы, а сам уходит к комбату.

Рамазан, проведший весь день за рычагами, тоже заснул прямо за столом, но через полчаса, вздрогнув, проснулся — а вдруг замерзла охлаждающая жидкость в дизеле? Выбегает, пожимаясь, на мороз, заводит мотор. Андрей возвратился от комбата: завтра, в восемь ноль-ноль, наступление на Екатериновку, в целях сохранения внезапности атакуем без артподготовки...

Морозное ясное утро. Со стороны села густой пулеметный огонь. Бойцы подняться не могут. Танки, ушедшие было вперед, замедляют ход.

— Назад, Рамазан, к пехоте! — командует Щеглов.— А то ребят у Руссола повыбьет на голом-то месте.

— Товарищи танкисты, пустите на бронюшку,— это стучат прикладами автоматов десантники.

— Давай, лезь, с вами веселее,— кричит Щеглов.

— Сколько руссоловских там, товарищ командир? — спрашивает Рамазан.

Ротный, гремя подковками сапог по стылому железу, выбирается из башни и вскоре снова влезает:

— Шестеро их, Рамазан. А вчера с политруком было десять. Пораскидало остальных. Кого в госпиталь, кого под пирамидку со звездочкой фанерной...

Обходят село справа. Комбат с несколькими танками — слева.

Руссол говорит своим:

— Екатериновку освободили. Еще одно советское село возвращено Родине. Впереди — Верхние Марки. Атакуем!

Начинается фашистская контратака с танками, но какая-то вялая.

— Потеряли фашисты веру в себя, растерялись,— убежденно говорит Щеглов Рамазану.— Теперь начнут сдаваться. Знаю их повадки. Замполит,— высунулся из люка,— готовь хлопцев своих вести в плен гитлеров.

В самом деле, при виде танков фашисты тянут руки вверх. Что делать, куда девать пленных? Руссол спрыгивает с «тридцатьчетверки», подзывает какого-то облаченного в немыслимые одежды солдата с посиневшим лицом:

— Ты немец?

— Не-е, итальяно. Немец одежду отобрал, сам ушел...

— Рамазан,— кричит из башни Щеглов,— кинь ему трофейное одеяло, пусть согреется да отведет немцев в тыл...

И снова пожары, полусожженные деревни, радостные жители, дома, забитые ранеными и обмороженными вражескими солдатами.

— В каком состоянии машина? — спрашивает Щеглов.

— Все в полном порядке, командир,— бодро отвечает механик-водитель.— Воевать будем дальше!

— Тогда — вперед, Рамазан! Десантников только не растряси, мало их осталось, особо беречь будем...

ОГНЕННЫЕ КРУГИ

Утро. Мороз не унимается. Прямо на бортовой броне приладив листочки, Казанцев и Копсергенов выводят, часто дыша на залубеневшие пальцы, по буквам заявления: «Прошу принять меня в кандидаты партии. Хочу в бой идти коммунистом». Руссол и Щеглов пишут своим бойцам партийные рекомендации. Вдруг Щеглов спохватывается:

— Рамазан, ты на чем это строчишь? Что, другого листа не нашел, получше?

Оказывается, механик-водитель, послюнив карандаш, выцарапывает слова заявления на желтом листке из-под моршанской махорки.

— Больше ничего нет, командир. Можно ведь на этом, товарищ политрук?

— Можно,— поглядев, решает Руссол.— Только разборчиво пиши. А бумагу, если надо, вечером перед партийным бюро перепишешь. Но вообще-то и так сойдет. Мы же воюем, не за школьные парты уселись...

Сказал как приказал, у решительного твердого политрука всегда готово верное слово, от которого не отречется.

Он собирает у всех листки, кладет в планшет. Из-под целлулоида видно: «...в ряды ВКП(б)...»

Уже поют моторы «тридцатьчетверок». Кто останется жив и не ранен, вечером придут на бюро с одним-единственным пунктом повестки дня: прием отличившихся в боях в ряды партии. Если будут целы и невредимы...

Но у развилки зимних, вдавленных в снега дорог ждала челябинцев деревенька с чудны́м названием Пузачи.

Остатки разгромленных на Верхнем Дону вражеских дивизий, выходя из окружения, длинными колоннами спешно тянулись на запад по узким, расчищенным в глубоких снегах коридорам.

После трех недель наступления немногие танки, оставшиеся в бригаде, настигли одну из таких колонн. Какая-то заминка произошла впереди. Экипаж щегловской машины спе́шился. Группа

танкистов и десантников стояла против обезоруженных фашистов. Все напряженно рассматривали какую-то фотографию. Высокий Рамазан взглянул через плечо низенького Щеглова, и в глазах потемнело от ужаса и ненависти. Затрясся горячий карачаевец: на снимке он увидел молоденького политрука со звездой на рукаве и вырезанной на лбу тоже пятиконечной звездою...

Ярко-синее небо, слепит глаза искристый снег. Очень стало тихо, и вдруг вороны с надсадным карканьем срываются с голых зимних берез. Солнечные блики отражаются в отличной глянцевой бумаге снимка. Его владелец, бледный, напуганный, стоит «смирно», оттопырив, как полагается, локти и высоко вздернув подбородок. Ждет своей участи...

Замполит Руссол слова не вымолвил. Все до предела, до ярости смертной было ясно-понятно... Сели автоматчики на броню и все оглядываются на то место, где стоял фашист со своим жутким снимком на прекрасной глянцевой бумаге...

Танки двинулись по расчищенной в снегу и усаженной вверху метелками дороге. Они долго шли точно по туннелю. На взгорке ветер смел с дороги снег, и далеко увиделись подсвеченные закатными лучами снежные поля, рассеченные от горизонта до горизонта черно-серой извилистой лентой. То была бегущая вражеская группировка — тринадцать тысяч (как потом установили) отчаявшихся, озверевших, готовых на все ради своего спасения. Хвост колонны уползал из Лобовых Дворов, а голова тянулась от развилки за деревней Пузачи на Мантурово, к железной дороге.

Эта жирная, густо нафаршированная машинами, пушками, бронетранспортерами, конными повозками змея несла кровь, пожары, смерть. Змее надо было преградить путь, разрубить ее тело, уничтожить.

Щеглов, стоя в люке своего танка, скомандовал роте: прямо, разрезать колонну.

— Вперед, Рамазан!

Тот рванул танк. Могучая машина помчалась в облаке снежной пыли — по колонне, по разбегающимся врагам, ломая автобусы, повозки, отшвыривая пушки и транспортеры. Неистовым, страшным бегом понеслись за ней к середине змеи остальные «тридцатьчетверки». Десантники Руссола с брони хлестали огнем. Следом шли главные силы бригады — танки, артиллерия, мотострелки.

Уцелевшие немцы с воплями отхлынули в овраг, отделявший дорогу от Пузачей, к недальнему лесу. Многие подняли руки.

Главное было сделано — дорога врагам на запад перекрыта. Подошла артиллерийская батарея, мотострелки, на грузовиках — минометчики, пулеметная рота. Сдавшиеся немцы построились в колонну и, сдав оружие, с запиской подъехавшего комбрига сами дисциплинированно зашагали в тыл.

В стоящих возле дороги трех домах расположились танкисты Щеглова и автоматчики Руссола. Едва успели поужинать, как началась первая из тринадцати контратак, которые обрушились на бригаду за двое суток боев у пузачинской развилки. Фашисты лезли от оврага, от леса, потом и от Лобовых Дворов. Выбыл раненый комбат, и комбриг приказал Щеглову принять батальон. У танков было на исходе горючее. Одну «тридцатьчетверку» Щеглов послал с десантом в тыл, чтобы помочь снабженцам доставить боеприпасы и продукты. Но скоро экипаж и автоматчики вернулись обратно: в темноте на них напали немцы и сожгли машину. Стало ясно, что бригада окружена.

Заняли оборону. Раненых отправили в сарай за дорогу, поблизости стал танк Щеглова. Десантники залегли вокруг «тридцатьчетверки». К ночи мороз усилился, и танкисты и автоматчики Руссола по очереди бегали греться. Гитлеровцы снова поднялись со стрельбой и криками: «Рус, сдавайс!» Вся круговая оборона била по атакующим.

— Казанцев,— кричал замполит,— береги патроны! И не давай этим гадам приблизиться на бросок гранаты, понял?

Осатаневших врагов расстреливали в упор пулеметчики, автоматчики, пушкари, единственный уцелевший танк Щеглова давил гусеницами. Фашистов было множество, деваться им было некуда. Перескакивая через своих убитых и раненых, лезли, отходили под убийственным огнем, потом бросались в новую атаку.

Полковник Лебедев с автоматом и весь штаб бригады залегли в солдатской цепи. Замполит бригады подполковник Захаренко пришел к раненым.

— Товарищи,— сказал он,— кто может держать в руках оружие,— в цепь. Это просьба. А приказание мое такое: запишите мой домашний адрес: Москва, Автозаводская улица, десять, квартира сто два. Как кончится война, приедете. Все записали? А теперь прошу, кто может сражаться,— за мной.

Остались только тяжелые. Один из них с трудом приподнялся, подозвал замполита:

— А помните, Илья Федорович, как вы меня спасли? Я под Каменкой впервые в бой пошел, ну и... замешкался. Вы даже не отругали, а сказали: «В первом бою всякому страшно, я тоже трусил. Это дело поправимое». Спасибо вам, товарищ комиссар. Жив останусь, обязательно приеду к вам в Москву...

— Буду ждать и непременно дождусь, слышишь? А сейчас отдыхай. Мы их отобьем.

Большая медно-желтая луна выползла из-за горизонта и с высоты оглядывала поле ночного боя: разгромленную фашистскую колонну, разбитые пушки бригадной батареи, единственный уцелевший танк, замерший без горючего, бесчисленные трупы фашистов,

усеявшие склоны оврага и подступы к трем домикам, где оборонялась бригада, почти вся состоявшая из членов ВЛКСМ.

Враги уже поняли: им противостоит лишь горстка людей, достаточно еще одного усилия, новой атаки — и русские будут отброшены прочь, сметены, раздавлены и вновь откроется путь на запад. Но все атаки, вопреки расчетам, не достигали цели, и за полночь немцы притихли. Стало относительно тихо, лишь по временам с их стороны жестяный нерусский голос выкрикивал в рупор предложения сдаться в плен, обещал сохранить жизнь.

— Держаться до последнего, в руки живым не даваться! — передавали по цепи приказ комбрига.

Щеглов и Руссол решили послать двоих за горючим — тех парней, которых должны были нынче принимать в партию на бюро...

— Если не сможете достать солярки,— сказал Щеглов Копсергенову и Казанцеву,— все погибнем. Наша «тридцатьчетверка» — последняя надежда бригады. Ну как, Рамазан, как, Слава?

— Приказание будет выполнено,— ответили в один голос оба.

— Они принесут,— заверил Руссол,— мы с тобой давали партрекомендации сто́ящим людям.

— Вы не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант,— подтвердил Копсергенов,— все будет хорошо. Сейчас поползем у немцев в колонне искать.

— Давайте, только осторожнее,— сказал Руссол.

Они вернулись нескоро, и Щеглов с Руссолом измаялись за эти долгие минуты. Бухнули лишь гранаты, и опять тихо...

— Рамазан, есть горючее?

— Есть! Славу только царапнуло осколком гранаты.— И механик-водитель залил в дизель чудовищную смесь солярки, керосина, каких-то немецких горючих масел.

— Если не заведется мотор...— нервничая, произнес Щеглов.

— Заведется! — почему-то уверенно ответил Рамазан, хотя сам сомневался.

Русский нетребовательный, надежный двигатель все же заработал. Едва взревел мотор и ожил, загрохотал танк, гитлеровцы подняли ожесточенную стрельбу, которая не прекращалась до рассвета. В ранних утренних сумерках началась новая, первая в этот день атака.

Пока не подбило ленивец и не сорвало гусеницу, щегловский танк с десантниками на броне появлялся на самых напряженных участках, и враги откатывались. Когда двигаться стало невозможно, Рамазан открыл нижний люк, и за ним вылез весь экипаж. Под огнем принялись восстанавливать ходовую часть. А в это время танкодесантники отстреливались. Экипаж выбросил разбитый трак, с трудом натянул гусеницу на покореженный ленивец. Едва успели — густые цепи врагов с пальбой и криками уже бежали на

обороняющихся, все-таки приблизились на расстояние броска гранаты.

И тут оказалось, что двигаться по прямой танк не может. Тогда находчивый Рамазан включил полный газ, и «тридцатьчетверка» пошла по кругу, стреляя из обоих пулеметов, третий «дегтярь» был казанцевский. Немцы, пытавшиеся захватить храбрецов живыми, снова отхлынули.

Несколько раз они возобновляли атаки. Тогда снова и снова Рамазан, так же жестоко экономивший горючее, как десантники Руссола патроны и гранаты, заводил «тридцатьчетверку», и она описывала свои огненные круги, поливая врагов свинцом. А сидящие на ней десантники во главе с замполитом забрасывали их последними гранатами.

В следующую ночь челябинцы попытались прорвать кольцо и пробиться к своим. Атаку возглавил Руссол со своими мотострелками, а в центре ромба к месту прорыва кругами, точно заговоренный неведомым волшебником, приблизился танк Щеглова. Дождались, когда луна скрылась за тучей, и замполит громко крикнул:

— За Родину — вперед, за мной!

Пробились. Вот только раненых спасти не удалось. На том краю села бойцы под командованием политработников Ивана Бабкина и Владимира Колсанова пытались потушить сарай, в котором укрыли раненых. Под мстительным вражеским огнем погибли все, и первыми были убиты оба политработника. Полыхал сарай, а в нем, сгорая заживо, пели «Интернационал» челябинцы-коммунисты, комсомольцы, беспартийные...

Враг не прошел к развилке дорог.

КУРСКАЯ ДУГА

В пору между разгромом гитлеровцев на Волге и сражением на Курской дуге бытовало выражение: «малый Сталинград». Так назвали разгром и пленение почти девяностотысячной вражеской группировки на Среднем Дону.

В весеннюю распутицу, в самую курскую черноземную грязь, вывел Руссол своих мотострелков к безымянному разъезду. Колеса и даже гусеницы отстали, завязнув в хляби вспухших дорог, и только пехота гнала врага безостановочно. Скрытые придорожной посадкой, вышли на гортанные чужие крики, залегли, выглянули из кювета.

Дюжина немцев с возгласами, похожими на «ой-хо-хо», выталкивала безнадежно влипший в грязь бронетранспортер. «Шмайсеры» эти горе-вояки повесили на деревья, русские для них были где-то далеко.

Пленили их быстро, как в кино. Сразу же замполит Руссол велел бойцам вытащить из «шмайсеров» плиткообразные магазины и вернуть автоматы владельцам, поскольку и немцы, и его мотострелки одеты в одинаково белые маскхалаты. Отличить русских от своих, засевших на разъезде, гитлеровцы не смогут. На это сделал расчет замполит, повелительно приказывая тем: «Ком, форвертс!» Солдаты послушно затопали вперед, а с ними в колонне челябинцы... Разъезд с застрявшими на нем эшелонами рота взяла без выстрела. Когда подоспел весь мотострелковый батальон, автоматчики Руссола передали комбату сотню пленных и разъезд. «С эшелонами в придачу»,— ввернул шутливо Руссол. С пыхтящих паровозов опасливо сошли на перрон локомотивные бригады, повторявшие на немецком, что они рабочие и в русских «нихт шиссен», не стреляли. Их присоединили к пленным и под малым конвоем отправили по дороге в наш тыл.

А замполит роты, оставив на разъезде отделение под командованием сержанта, повел своих дальше на запад. Они шли словно навстречу весне: с каждым часом теплело, солнце ярилось вовсю; в февральской синеве купались наши «ястребки», черных «юнкерсов» и «мессеров» как не бывало.

Но не менее, чем солнце из безоблачной сини, грело сердца бойцов политрука Руссола другое: над безымянной станцией они оставили висящим родной красный флаг.

Когда Руссол приказал это сделать, кто-то осторожный сказал:

— Товарищ старший лейтенант, кругом немцы.

Руссол не был бы политработником, если бы не ответил так:

— А ты думаешь, что мы наши красные стяги вывешиваем только для парада? Они и пугают врага, и силы придают своим. Почему? — Тут замполит оглядел своих, совсем как учитель в классе. Казалось, сейчас скажет: «Ну, Казанцев, ты ответь».— Потому,— после «учительской» паузы добавил он,— что становятся центром схватки. Вокруг закипает бой — за отвоеванную станцию, за площадь, как в Сталинграде, где сдался Паулюс, за те города, которые мы у него, у фашиста, отвоюем — вплоть до их Бéрлина! Поняли?

Почему-то Руссол произнес Берлин с ударением на первом слоге. И от этого особенно весомыми, словно с точкой в конце, стали его страстные слова, сказанные в феврале сорок третьего и в начале нашего, уже победного, сокрушающего обратного пути с востока на запад!

Солнце, родное солнце светило маленькой группке бойцов во главе с замполитом. Неоглядный мир простирался окрест. Как далеко еще мотострелковой роте нужно было шагать через грязь! Уж пол-Европы точно требовалось ей освободить от фашизма. И Руссол, еще раз оглянувшись на разъезд с флагом, произнес:

— За мной, челябинцы! Товарищи, если не мы, то кто же?..

И пошли, пошли они, наступая, а где-то двигались другие роты. Тысячи рот. И все туда, на Запад, потому что иной дороги у них у всех после Сталинграда не было. И эта уверенность была жарче любого огня. Замполит шел в центре своей роты. Идти было тяжело. Сапоги на наледи скользили. Бойцы перешагивали через брошенные окопы, через трупы врагов.

...Запомнились многим до сих пор эти зимние, в сини и солнце, дни нашего наступления, этот флаг над затерявшимся в необозримой воронежской степи разъездом. И вспоминая путь от тех мест до самой Болгарии, которую им довелось освобождать, на встречах ветераны-руссоловцы непременно станут рассказывать о красном флаге среди весеннего бело-черного, только что освобожденного от врага простора.

И вот стали челябинцы на Курской дуге. Чтобы не сойти с рубежа, чтобы победить, устроить врагу новый сталинградский разгром.

Бойцы Руссола и сам замполит мотострелковой роты не знали, что в ночь на 5 июля 1943 года в гитлеровских частях зачитали обращение фюрера — самонадеянное и лживое. В нем были такие слова: «Мои солдаты! Наконец вы имеете теперь лучшие танки, чем они!.. Их превосходит наша пехота, а также, как и всегда, наша артиллерия, наши истребители танков, наши танкисты, наши саперы и прежде всего наша авиация!

Колоссальный удар, который завтра утром поразит советские армии, должен потрясти их до основания. Вы должны знать, что от успеха этого сражения может зависеть все...»

Всю короткую ночь на 5-е офицеры на участке, занимаемом бригадой, не спали. В танковых и мотострелковых ротах проходили партийные и комсомольские собрания: задача коммуниста, задача комсомольца в бою. Солнце только успело выглянуть из-за кромки горизонта — загрохотала вражеская артподготовка. Тяжелая, внушительная, но куда ей до нашей — что в Сталинграде, что под Щучьим, сказал своим танкодесантникам замполит Руссол. Они со Щегловым поочередно в стереотрубу наблюдали за Обоянским шоссе — там была ключевая позиция участка.

До полудня танкистов и десантников командование не трогало. Но потом в небо взвились три зеленых ракеты: сигнал танковому батальону на действия по третьему варианту (а всего было разработано семь вариантов боя). Руссол и Щеглов крепко обнялись.

Грозно ревели дизели щегловских «тридцатьчетверок». Батальону предстояло контратаковать группу вражеских бронированных машин, целившуюся на деревню Казачье. Танков было с полсотни, они шли в шахматном порядке. Позади нагло катила на грузовиках

пехота. «Этих я возьму на себя, Андрей,— сказал Руссол,— ты только «тигров» побольше выбей».

Первой открыла огонь противотанковая батарея, которой командовал коммунист лейтенант Мансур Галин. Чем ближе подходили «тигры», тем эффективнее становился ее огонь — на поле зачадили две или три машины.

Андрей внезапно высунулся из башни, закричал батарейцам, будто его могли слышать:

— Мансу-ур, шибче бей! Чтой-то у тебя «тигры» коптят, а не полыхают как свечки. Бей их до потери сознательности. Съчас и мы добавим.

Сдержанный в таких случаях Руссол только головой покачал.

Лесок выходил клином к дороге, на которую вытягивались атакующие. Эсэсовцы понесли потери, передвигаясь под снарядами батареи Галина, ракетами «катюш» и бомбами подоспевших «петляковых». Щеглов велел водителю Копсергенову поставить танк на опушке, на самом острие клина. «Тигры» и «пантеры» были уже в полукилометре, когда батальон Щеглова согласно ахнул из двадцати орудий. Оказалось, что на близкой дистанции можно отлично калечить «пантер» и даже «тигров»: сразу же запылало или было подбито полдюжины. Новый залп по «зверям», которые двигались уже неуверенно, по инерции. И вот бронированная лавина стала откатываться, отстреливаясь наугад: Щеглов хорошо замаскировал свои машины.

Минут через двадцать небо завыло голосами «музыкантов» — бомбардировщиков Ю-87. Они стали вытягиваться в цепочку, готовясь к пикированию. Обвальный грохот. Вздымаются фонтаны земли. Взахлеб татакают зенитки. Новое завывание падающих в пике «юнкерсов». Как все бывалые фронтовики, Щеглов и Руссол не стесняются спрятаться поглубже в землю во время бомбежки. Едва чуть стихает, выглядывают из окопчика под танком: не улетели еще проклятые «лаптежники»? Кажется, ничего живого не останется на земле после такой «вспашки». Но вот небо очищается от черных птиц с желтыми крестами и красными «лаптями» шасси, и оказывается, что не выведен из строя ни один танк, а в мотострелковом батальоне у Руссола только ранен пулеметчик и поврежден «максим». Смехотворные потери, если вспомнить, сколько выло пикировщиков, которые старались уничтожить все живое.

Однако у соседей слева дела не так хороши, там бой перемещается в глубину нашей обороны. Связи с бригадой нет. Вечереет.

Только к полуночи на легком разведывательном танке прорывается офицер связи бригады лейтенант Храмов.

— Щеглов, Руссол, вы в окружении. Мотострелков на броню, батарея Галина с вами и выходите на Казачье. Час назад оставался коридор шириной километра в три...

На новом рубеже все последующие дни челябинцы отбивались от эсэсовцев. Подпуская машины врага на близкую дистанцию, «тридцатьчетверки» на несколько секунд высовывались из-за домов, давали выстрелы и отползали в укрытия. Деревня гибла на глазах. Длинные печные трубы, сиротливо торчавшие среди пепелищ, вскоре были разбиты. И пахло вроде печеными яблоками — горели еще зеленые плоды в садах.

Но как ни старался враг, рубеж у обугленной, но живучей деревни Пестуново стал последним пунктом его наступления на обоянском направлении. Отсюда и погнали челябинцы фашистов на запад. Здесь и ранило Щеглова, в третий раз за войну. Руссол сам перевязал друга, опередив санинструктора батальона Клару Коваль.

С тех пор на войне они больше не виделись.

Наступили мирные дни. Щеглов, Копсергенов, Казанцев стоят у памятника на Кицканском плацдарме — здесь дрались в сорок четвертом комсомольцы-добровольцы. После курского сражения прошли освободителями всю Украину, Молдавию, принесли свободу Румынии и Болгарии. Сколькими жизнями это оплачено!

— Мы больше чем кровные братья,— говорит Рамазан Копсергенов боевым побратимам, жителям и красным следопытам, собравшимся у танка-памятника.— Наше поколение все привыкло отдавать Родине и ничего не требовать взамен. Желаем, чтоб наша молодежь в этом была похожа на нас! А во всем остальном пусть будут лучше — мы не обидимся...

Проносят, как в минувшие встречи в Челябинске, Бресте, Белгороде, Пузачах, бригадное знамя. Выкликают имена своих однополчан, кого нет со всеми:

— Замполит бригады Захаренко...

— Санинструктор Клара Коваль...

— Политрук танкодесантной роты, а потом ее замполит, затем комбат мотострелкового батальона Григорий Руссол...

— Погибшие в Пузачах Ваня Бабкин и Володя Колсанов...

В последние часы на Дуге погибла Клара... Из Котовска впервые на встречу не приехал Григорий Руссол — остановилось сердце... Лежит во Львове погибший под Берлином комиссар Захаренко...

Ветераны, седые, в штатском, с планками на пиджаках, стоят тесно, плечо к плечу. Долго стоят. Потом стряхивают оцепенение и идут строиться к торжественному маршу под своим боевым знаменем.

Евгений
ВОРОБЬЕВ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Сумерки успели перекрасить дальний сосновый бор в лиловый цвет, трава стала серой, щиток пулемета — черным, а на предвечернем небе обозначилась луна. Пулеметчик Лоскутов сидел на бруствере, свесив ноги в окоп. Он неторопливо достал кисет, скрутил цигарку, сделал несколько затяжек и повел рассказ дальше:

— Мартынов — это такой человек, что если о нем подробно напечатать в газете, то одной страницы никак не хватит, а скорей всего, придется уделить ему две страницы, а то и всю газету. В мирное время Мартынов Иван Климентьевич работал где-то по театральной части — освещал спектакли цветными лампами. Рассвет на сцене показать или заход солнца — это была его обязанность. И хотя Мартынов человек театральный, но пулеметчик из него получился стоящий. А если кто в этом сомневался, то лишь до тех боев, которые наш расчет принял у рощи Огурец и еще у рощи Подкова. Иван Климентьевич с вечера перебрал весь пулемет, смазал, снарядил; он пулемет наш «Максим Максимычем» звал. Приготовили запасные позиции как полагается. Поселились на высотке — клевер, волшебный запах от него. Фашисты крестили из всех видов оружия. Но ночь — августовская, черная, и били они больше для психики. Лежит Мартынов в окопе, на звезды смотрит и медленно так, со значением говорит: «Со мной парторг роты вчера беседовал. Заявление я уже написал. В кармане держу». Поздравляю, Иван Климентьевич, сердечным образом, говорю. Давно тебя наставлял. Тогда Мартынов и говорит: «А мог бы ты мне, Лоскутов, например, рекомендацию дать?» Какой же вопрос, говорю. Давно предлагал. Разве мы не за одним щитком лежим? Разве нам обоим не свистят одни и те же пули? Не воюем вместе согласно приказу? Мартынов приподнялся на локте, повернулся ко мне и со значением говорит: «Вот и я хочу, чтобы мне приказы давали по всем статьям: от командования и по партийной линии...» Спали мы в очередь. Когда развиднелось, я достал карандаш, бумагу и написал Мартынову рекомендацию. Но передать ту рекомендацию мне не пришлось, потому что бой взялся сразу — небу стало жарко и нам горячо. Мартынов наводил, я — на своей должности, вторым номером. Под-

носчиком хлопотал Микола Ковш. Фашисты накапливались в роще Подкова для контратаки, но Иван Климентьевич никак не позволял им подняться с травы. Ведь это не только пулеметчик, а, можно сказать, заслуженный артист. Слева росло горбатое дерево, ориентир четыре. Возьмет Мартынов это деревцо на мушку, откроет огонь и плавно так, без рывков, не нажимая на ручку затыльника, поведет вправо. Рассеиванье давал во всю ширину рощи — фашистам было на что обижаться: валились, как трава под острой косой, и земля на том лугу намокла от крови. Эх, не видели вы мартыновской работы,— печально сказал Лоскутов, соболезнуя мне как человеку, который пропустил в своей жизни что-то очень важное и который уже никогда не наверстает упущенного...

— Окопались мы как полагается, надежно. Иван Климентьевич, помню, наш окоп называл суфлерской будкой. Ствол у «Максима Максимыча» раскалился, теплый воздух от него легким облачком подымается. Мартынов достал флягу с питьевой водой, отхлебнул глоток, дал пригубить нам обоим, а все остальное вылил в кожух. Осторожно лил, капли мимо отверстия не пронес. Но вот когда уже стал завинчивать пробку наливного отверстия, ударила Ивана Климентьевича пуля. Прижал он руку к груди — будто что-то рассказывал, ему не поверили, а он божиться стал. Постоял так на коленях и упал. Я занял место Мартынова, а Ковшу — он парень рослый, ковалем работал на Украине — приказал оттащить первого номера поближе к санитарам. Перевязал его Ковш, осторожно положил себе на плечи и собрался ползком в дорогу. Мартынов открывает глаза. Слышит — пулемет бьет, а меня не видит, повернуться ему никак нельзя. «Наш?» — спрашивает. Ковш кивнул. «А лент набитых сколько в коробке?» — спрашивает. «Одна тількі».— «Что же ты раньше времени в санитары записался?» — медленно так спрашивает и руку к груди прижимает. «От другого номера приказ вышел»,— оправдывается Ковш и боится: а вдруг Мартынов подумает, что он по своей воле пулемет оставил? Что он, под предлогом эвакуации командира, хочет податься с высотки в тыл? «Эвакуацию отставить,— тихо говорит Мартынов.— Приказа отходить не было. Набить ленты». «Слухаю»,— говорит Ковш и чуть не плачет. «Будем биться до последнего патрона,— говорит Мартынов.— Это боевая молитва нашего комиссара. Так и подобает нам, партийным людям...» И закрыл глаза... Когда очередь кончилась, мне слышно было, как Иван Климентьевич бредил. Что-то говорил про сцену, кричал: «Давай занавес!» — потом подавал команду: «По роще — огонь!» — и опять на красный свет жаловался. Ковш набил новую ленту, растянул ее после снаряжения, чтобы не перекашивалась, уложил ту ленту в коробке как полагается — «гармошкой», и «Максим Максимыч» снова запел свою строгую песню...— Лоскутов сделал последнюю затяжку, обжигая пальцы, губы, и вдавил окурок

в окопную глину. Он помолчал, как бы собираясь с силами, и продолжал:

— Но Иван Климентьевич той песни уже не слышал... Похоронили его с почестями, как фронтовика и героя, на той самой неприступной высотке, а комиссар батальона сказал речь о непартийном большевике Мартынове. Хотел и я сказать речь, но тут у меня получилась осечка. Будто все слова перекосились и застряли в горле. Дыхания совсем не стало, и слезы, слезы потекли из глаз, хотя раньше я слез за собой не замечал. И поняв, что речи у меня не получится, а слов моих ждут, я достал рекомендацию Ивану Климентьевичу Мартынову для вступления в кандидаты ВКП(б). Прочел я над могилой свою рекомендацию, вложил ее Мартынову в левый карман гимнастерки, где все мы партбилеты носим, и поцеловал товарища. А сказать от себя так ничего и не смог — сердце не позволило...

Погорелое Городище.
Август, 1942

Юрий
РАГУЛИН

«АТА» — ЭТО ЗНАЧИТ ОТЕЦ

Недавно, перебирая свой архив, я нашел письмо.

«Здравствуй, дорогой мой комбат Юрий! Получил долгожданное и очень дорогое для меня письмо от тебя. Я знал, что мой комбат найдет меня и напишет. Я очень благодарен Галине Шелеховой, Николаю Прохоровичу Пушину, Андрею Дубицкому, которые пишут мне, всегда поздравляют с праздником. Помнишь Михаила Алексеева, который работал в дивизионной газете? Теперь он писатель, упоминает обо мне в своей книге. Пишут мне фронтовые товарищи из Киева, Минска, Грузии, Казахстана. Всем я по возможности отвечаю, хотя со зрением плохо, и это письмо тебе пишет под диктовку мой внук. Что ж, годы идут, ранения дают о себе знать. Но я помню всех, кто, как ты, Хода, Богачев, Орлов и другие боевые друзья, звали меня на фронте «отцом», «батей». В следующем письме постараюсь написать подробнее о себе, вспомнить кое-что из фронтовой жизни. Пиши и ты, Юра, не ленись. Крепко обнимаю тебя и твою семью. Твой Ата Ниязов».

Но обещанного следующего письма я не увидел никогда.

В начале ноября 1942 года бои за Сталинград стали еще ожесточенней. После взятия важной высоты северо-восточнее Бекетовки наш сводный курсантский батальон был преобразован в 1-й стрелковый батальон 128-го полка. А два дня спустя в расположение батальона прибыл только что назначенный политрук.

Сдержанно взяв под козырек, он представился:

— Ниязов Ата Ниязович.

Подтянутый, среднего роста офицер с медалью «За отвагу» смотрел на меня прямо и внимательно, словно вопрошая: а какой ты человек, старший лейтенант Рагулин?

Времени для беседы выкроить не удалось. Гитлеровские цепи перешли в контратаку на нашу высоту. Удар был сосредоточен на 1-й роте, где накануне погиб командир.

— Товарищ Ниязов, срочно принимайте командование ротой,— распорядился я.

Он снова козырнул и, пригнувшись, побежал.

Бой не прекращался весь день. Противник трижды атаковывал и, каждый раз неся большие потери, откатывался от высоты, которая на сохранившейся у меня карте обозначена 135,5. Под вечер немцы укрылись в лощине. Наступили часы передышки.

Я пошел в расположение первой роты и застал Ниязова в окружении бойцов.

— Ну как, познакомились с солдатами? — спросил я.

— Познакомились. Бой создает наилучшие условия. Тут представляться друг другу не надо,— серьезно ответил политрук.

Он был прав. Отбивая атаки, бойцы видели, как ведет себя незнакомый офицер, и единодушно решили: «Подходящего комиссара прислали в батальон».

Во тьме ноябрьской ночи мы разговорились. Ата Ниязович до войны был школьным учителем, в партию вступил в 1940 году. Едва закончив военно-политическое училище, он оказался на ближних подступах к Сталинграду.

— Когда же успели медаль заработать? — полюбопытствовал я, зная, что в те горячие дни командованию было не очень-то до анализа подвигов и писания наградных листов.

Ниязов улыбнулся, показывая во тьме белизну ровных зубов:

— Было дело. Едва назначили меня политруком роты, как мы попали в окружение. Люди в роте подобрались неробкого десятка, но все — кто откуда, из разных краев, а местных — никого. Командира раненого несем на самодельных носилках, куда идти — неведомо. А немцы жмут. Принял я командование на себя и повел солдат на свой страх и риск. Я ведь степной человек. А степь что у нас в Туркмении, что в Приволжье — одними запахами и звуками живет. Вот и пошли мы, ориентируясь по звездам да по запахам. На звуки надежда невелика была: война всю живность за сотни верст из степи прогнала. В общем, рота вышла из окружения с минимальными потерями.

Политрук умолк, всматриваясь в темноту, и мне показалось, что его яркие карие глаза видят на километры вокруг. Словно подтверждая мою мысль, Ниязов сказал:

— Готовятся. С рассветом опять пойдут. Ступай сосни, комбат.

Так незаметно тогда вроде, но доселе памятно мы перешли на «ты».

За короткий срок он сумел тесно сплотить вокруг себя коммунистов батальона, личным примером напоминая каждому из них, что неуставная команда «Коммунисты, вперед!» должна быть нормой поведения в любых, самых сложных условиях. Помнится, как в жаркие дни ликвидации окруженных гитлеровских войск в самом Сталинграде, когда в мороз, под ледяным ветром, дувшим с Волги, от солдатских шинелей и полушубков шел пар, разгоряченный боем

Ниязов врывался в разрушенные здания во главе ротной штурмовой группы и буквально наводил ужас на засевших там фашистов своей гневной отвагой.

В те декабрьские дни он, еще по старой памяти политрук, поспевал всюду. В совсем небогатырской фигуре моего замполита таилась огромная физическая сила и выносливость.

Недобитые гитлеровцы, засев в развалинах Крытого базара, вели плотный пулеметный и автоматный огонь, не давая нашему батальону продвигаться вперед. Я приказал третьей роте сломить сопротивление врага и овладеть Крытым базаром. Штурмовые группы обошли развалины с двух сторон, но немцы заняли круговую оборону. Рота залегла, отвечая на огонь противника стрельбой. Мы переглянулись с Атой. Он понял меня.

Я не слышал его слов, которые он прокричал солдатам. Видел только раскрытый рот, суровое лицо, распахнутый полушубок и беспрестанно извергающий огонь автомат. Ниязов первым поднялся и через секунду бежал навстречу фашистским пулям прямо к рынку. За ним как один поднялись бойцы. Рота ворвалась в Крытый базар, навязала неприятелю неистовый, быстротечный рукопашный бой, выдержать который фашистам было заведомо не под силу. Красноармейцы, предводительствуемые политруком, дрались с такой яростью, что, казалось, автоматы и пулеметы врага бьют холостыми патронами.

В том бою Ата Ниязов лично уничтожил около десятка гитлеровцев. Двадцать восемь солдат вермахта, увешанные крестами вояки, в испуге подняли руки. Третья рота в тот день не только выполнила свою боевую задачу, но и помогла второй роте овладеть еще тремя объектами. За умелое командование ротой и отвагу, проявленную в тех боях, замполит старший лейтенант Ниязов (недавний политрук) награжден был орденом Красного Знамени.

Ата Ниязович оказался прирожденным организатором. Слушая его на партийных собраниях, наблюдая во время передышек между боями, я удивлялся его умению найти нужное слово в беседе с каждым красноармейцем. Наверное, солдатами действительно становятся, но политработниками люди рождаются: как поэтами, художниками, мастерами. Великий это дар — уметь находить единственный ключик к душе человека, уметь будить в нем высокие чувства и прекрасные мысли. Таким талантом обладал коммунист Ниязов.

В нашем батальоне сражались воины двадцати четырех национальностей. Мне отчетливо помнятся «небоевые» дни, когда после окончательной победы под Сталинградом батальон расположился на отдых в совхозе имени 8 Марта, где получал пополнение и приводил себя в порядок после изнурительных боев.

В качестве пополнения в наши ряды влилось много туркменов,

таджиков, узбеков, казахов. Были среди них и воины, плохо владевшие русским языком. И тогда замполит Ниязов вспомнил свою мирную профессию.

Мне неоднократно доводилось присутствовать на занятиях по русскому языку, которые проводил Ата Ниязович. У него была огромная выдержка и исключительный такт. С каждым солдатом, прибывшим в батальон из Средней Азии, подолгу беседовал на родном языке, постепенно, будто случайно, вклинивая в речь русские слова. Потом количество русских слов в беседах возрастало, туркмены, казахи, киргизы начинали отвечать замполиту по-русски, а он всячески поощрял их. Русские солдаты, узнав, что имя Ниязова в переводе означает «отец», начали звать его «отец», «батя», «батько». Среди них нашлось немало помощников, которые тоже учили новичков однополчан русскому языку. Эти люди со Смоленщины, Ярославщины, Вологодчины не ведали всех премудростей педагогики, но интернационализм, воспитанный в них всей предшествующей жизнью, глубокое уважение, которое внушал к себе сын туркменского народа, политрук, а затем замполит батальона Ата Ниязов, подсказывали им верные пути в обучении бойцов русскому языку.

Труд Ниязова и его добровольных помощников принес плоды. К началу лета на Курской дуге солдаты из Средней Азии четко понимали команды и умело их выполняли.

После окончательного разгрома гитлеровской группировки под Сталинградом многое переменилось в психологии каждого солдата, командира, политработника.

— Теперь с бойцом куда легче говорить о нашей окончательной победе,— делился своими наблюдениями Ата.— Понял солдат, что он может, на что способен в бою.

Обо всем этом мы вспоминали во время недолгой передышки южнее Масловой Пристани.

— Скучновато живем,— сказал как-то Ниязов и вопрошающе поглядел на меня.

Я уже знал этот хитроватый взгляд друга.

— Что предлагаешь, Ата?

— Чайхана нужна,— ответил он.— Знаешь, Юра, что это такое?

Из книг я, конечно, знал о чайхане. Но устраивать чаепитие на передовой? Мирно в полуверсте от немцев беседовать в кругу друзей за пиалой зеленого чая? Признаюсь, я несколько оторопел от такой идеи. А Ниязов, не давая мне высказаться, начал объяснять:

— Ты, Юрий, не думай, что чайхана расслабит боевой дух солдата. Война — дело жестокое, кровавое. Но нашего солдата она ожесточает только в бою. А по натуре он добр. Он любит детей, землю, любит красиво и весело отдыхать. Смотри, в бою наши ребята злы как черти, а после боя какие нежные письма домой пи-

шут. И так все: русские, узбеки, украинцы, туркмены, татары. Нет, чайхана нам не повредит.

Под чайхану отвели самую безопасную и уютную землянку. Пол в ней устлали циновками, в центре установили невесть где раздобытый самовар. Приготовлением чая заведовал сам гвардии капитан Ниязов. Свой «секрет» приготовления он излагал кратко:

— Беру кипяток и кладу в него как можно больше заварки!

Бойцы, довольно посмеиваясь, пили терпкую благоухающую жидкость. Пили по-московски, по-туркменски, по-вологодски, по-кавказски. Пили, кладя сахар в кружку, или вприкуску, или «вприглядку». За чаем говорили о жизни, о том, какая она будет после войны, делились чем-то своим, заветным, но при этом никто не говорил о смерти. Конечно, про себя кто-то и думал о том, что далеко, ох как далеко еще до Берлина, что с каждым всякое может приключиться на этой неближней дороге. Да что там на дороге — вон вчера немецкий снайпер такого хорошего парня положил на бруствер... Но все это уходило в чайхане куда-то глубоко-глубоко. В чайхане солдаты отдыхали, расслаблялись, как теперь говорят, физически, а духом — твердели.

5 июля фашистские войска перешли в наступление. К исходу дня, после тяжелых боев и немалых потерь, наш батальон оказался в окружении. Связь с полком прервалась.

— Что скажешь хорошего, батя? — с деланным оптимизмом спросил я.

— Хорошего мало, Юра. Запас продовольствия невелик. Я приказал все разделить на пять дней,— ответил Ниязов.— А с боеприпасами — сам знаешь...

— Неужели ты думаешь, что наше положение продлится так долго? Окружение в июле сорок третьего — это тебе не окружение в июле сорок первого и даже второго. Да и полк не оставит нас,— сказал я.

— У тебя очень хорошее настроение, комбат. А я на десять лет старше. Нужно быть готовым ко всему.

— Смотри не посей уныния среди бойцов. Ты ведь отвечаешь за их морально-политический дух,— напомнил я.

Ата почти сердито посмотрел на меня.

— Морально-политический дух воина определяется и его верой в командира. Я не привык обманывать солдата, обещать ему легкую жизнь, когда опасность обложила нас со всех четырех сторон. Ты считаешь, что наше окружение — дело недолгое. Наверное, ты прав. Но упрощать обстановку нельзя. Я уже побывал во всех ротах, объяснил что к чему, отчего с завтрашнего утра выдача продовольствия будет уменьшена и взята под строгий контроль. Люди меня поняли. А теперь нам с тобой надо продумать, как обеспечить все

подразделения батальона двухразовым горячим питанием,— сказал замполит.

И тут я в который раз подумал: нет, не случайно зовут его бойцы «отцом», «батею», «батькой»...

Пяти дней, которые Ниязов положил на прорыв окружения, нам, к счастью, не потребовалось.

Противник тогда понес большие потери. Только в плен мы взяли около семидесяти фашистов. Было захвачено одиннадцать пулеметов, которые мы установили вдоль железнодорожной дамбы, много автоматов, розданных тут же нашим солдатам.

А всего в первый день боя на прорыв из окружения перед нашими окопами и в тылу батальона насчитали мы до 150 убитых немцев; 43 солдата и офицера было взято в плен, подбито и сожжено три танка и пять бронетранспортеров.

8 июля из района Безлюдовки на немецкие боевые порядки двинулся танковый полк. Ревя моторами, грозные машины шли вдоль дамбы. Блокировавшие нас гитлеровцы заняли против них оборону, а наш батальон оказался у неприятеля в тылу. Теперь уже речь шла не только о прорыве из окружения, а о том, как вместе с танкистами уничтожить фашистскую группировку. Задание было выполнено. Танковая бригада стремительно двигалась в сторону Масловой Пристани. После полудня связь батальона с полком была восстановлена. Победоносное наступление на Белгород продолжалось.

Но мне уже не довелось участвовать в освобождении города, праздновать вместе с фронтовыми друзьями день первого салюта в Москве — 5 августа 1943 года. 12 июля, когда вражеский удар уже ослаб, я был ранен. Ранение оказалось не смертельным только потому, что пуля угодила в медаль «За оборону Сталинграда». Мой замполит заботливо отправил меня в тыл, в госпиталь. В строй я вернулся лишь несколько месяцев спустя, когда наши войска готовились к форсированию Днепра.

А мой друг Ата Ниязов за это время получил повышение: был назначен заместителем командира полка по политической части.

Вот о чем напомнило мне найденное в личном архиве письмо. Но обещанного следующего письма я так и не получил...

Узнал я о кончине Аты Ниязова из письма его жены, Софии Курбановны. Я не уронил слезу. Он не любил слез. Он улыбки любил, он жизнь на войне ценил выше всего. Наравне с храбростью. Как заплачешь, когда вдруг почудится его улыбающееся кареглазое лицо и вопрос с памятным «восточным» акцентом: «Ты почему плачешь, Юрий, не надо, друг...»

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НА ОРЛОВСКОМ И
БЕЛГОРОДСКОМ
НАПРАВЛЕНИЯХ

...Красная Армия, выполняя
план Верховного
Главнокомандования,
за месяц боев ликвидировала
наступление немцев на
Курск, нанесла крупное
поражение группировке
отборных немецко-
фашистских войск,
ликвидировала Орловский
плацдарм врага и освободила
от немецких захватчиков
города Орел и Белгород...

Теперь окончательно
рухнули надежды немцев
и их прихвостней на
благоприятный поворот
военных действий
в условиях лета.

Совинформбюро
(к оперативной сводке
за 6 августа 1943 года)



Юрий
МИХАЙЛОВ

ВЗВОДНЫЙ АГИТАТОР

Лето 1943 года на Кубани, на Тамани было жарким во всех смыслах. Наш Северо-Кавказский, крайний южный, фронт по примеру северных (а все фронты были от нас на север) наступал; масштабы у нас, конечно, были не те (там гремела на весь мир Курская дуга), но и мы штурмовали непрерывно, гнали фашистов с советской земли, теснили их на запад, сшибая с высот.

Жара одолевала нас, пехоту. Все лето мы воевали в одних гимнастерках; шинели и плащ-палатки шли в дело только ночами, когда вступала в силу речная, болотная, морская свежесть. Гимнастерки, пилотки на нас повыгорели, и, когда приходило пополнение в «зелени» необмятой, в хрусткой коже и кирзе, сразу становилось приметно: где новичок, где повоевавший солдат. Да и носы наши пооблупились, лица обшелушились от зноя, новички же беленькие были.

Мы еще и непрерывно учились воевать. С того, сорок третьего помню войну «в учебе»: в перерывах между боями снайперы обмениваются опытом; встречаются бывалые солдаты с новичками; при политотделе дивизии намечено совещание взводных агитаторов...

А кто есть взводный или ротный агитатор? Это рядовой боец или сержант, коммунист или комсомолец; он агитирует не столько словом, сколько личным примером — «за мной», «делай, как я»... Прочесть передовицу в «Правде» или «Звездочке», статью Шолохова или Эренбурга, растолковать сводку Совинформбюро или объяснить, почему флегматичные союзники на Западе ждут, не открывают второго фронта либо за него высадку в Сицилии выдают,— это дело привычное и не шибко хитрое. А вот подняться под огнем первым и увлечь залегшую цепь; заменить выбывшего из строя офицера, чтоб подразделение продолжало выполнять боевую задачу; водрузить первым флаг на отнятой у врага высотке и выстоять под его бомбежкой; отбить его контратаку — это уже дело не шуточное, тут идет агитация боевым делом, товарищи, и вы должны быть «на высоте». В прямом и переносном смысле.

Так говорилось на сборах агитаторов.

...Август был огненным: пробивали себе дорогу к морю гвардей-

ские, закалившиеся в войне стрелковые дивизии: наша 55-я Иркутская, ее «родная сестра», которая после прорыва «Голубой линии» станет Таманской, еще другие грозные для врага соединения...

Однажды, когда нас после боев вывели на отдых, на сборы агитаторов послали от роты меня. Собирал нас политотдел то ли нашего гвардейского корпуса, то ли армии. Дали продуктов на два дня, указали пункт назначения, и с рассветом собрались полковые агитаторы, направленные на сборы, и пошагали. Где-то в дороге к нам присоединились солдаты и сержанты другой гвардейской дивизии, «сестры», с нею мы попеременно ходили отвоевывать высоты, что западнее станицы Крымской. Сейчас там воевала «третья сестра».

Пару каких-то дней знал я Иосифа Лаара, а впечатление сохранилось на всю жизнь. Конечно, еще и потому, что время-то было особенное, навсегда памятное. Нынче годы летят незаметно, схожие друг с другом, а в ту пору каждый день как год... Был Иосиф Лаар надежный, духом и телом крепкий, на такого можно положиться: подобные качества на фронте ценились выше всего. Там же, в боях, его приняли кандидатом в члены партии. Нечасто, в самые тревожные краевые минуты, но все же звучал в бою незабываемый призыв комбата, комиссара, замполита к таким вот воинам пехоты:

— Коммунисты, вперед!

Не хочу, чтоб поколение, не испытавшее войны, думало, будто сплошь и рядом на фронте звучал этот грозный для врага зов. Нет, нечасто такое бывало, и только как крайнее средство поднять залегшие роты. Я воевал с сорок второго, и за всю войну на моей памяти три-четыре раза такой клич поднимал с земли, заставлял все забывать, кроме цели атаки. Оглядываясь на четыре года войны, прикидываю: на каждый военный мой год по одной рукопашной, никак не больше. Потому что после такого призыва гитлеровцы либо драпали и мы расстреливали их в спины, либо мы с ними сходились лицом к лицу. А беспощадная рукопашная — она такая, что после не вспомнишь, откуда у тебя простроченная пола шинели или вспоротые гранатная сумка и пояс, а на левом боку, на удивление, ни царапинки...

И ни разу из этих трех-четырех схваток — глаза в глаза, дуло к дулу — не помню, чтоб опрокинули нас. Такова была беспредельная сила призыва: «Коммунисты, вперед!» Кажется, только наша пехота и знает его. По собственному опыту, конечно.

Так вот, двинули мы по летнему, еще свежему утру на те сборы.

Шли вольно, «по холодку». Моим спутником оказался высокий, атлетически сложенный мужчина где-то к сорока. Потом нас догнал веселый и говорливый парень лет тридцати, из тех, кого уже тогда, с легкой руки Твардовского, стали звать «Вася Теркин». Он присоединился к нам с возгласом: «Земляки (у него все были земляки!),

возьмите в компанию. Как говорится, дайте бумажки, вашего табачку закурить, а то есть хочется так, что и переночевать негде»... Остановились, закурили, дальше пошли.

Помню, как скупо, сдержанно улыбнулся веселой и лукавой фронтовой присказке «пожилой» солдат. Он вообще делал все не спеша, основательно, прочно. До войны, оказалось, трудился в системе кооперации, профессия сугубо мирная, хотя и очень колготна̀я, но ему по нраву: он любит живую, деятельную работу с людьми, «чтоб все горело, чтоб двигались, а не спали...».

На Западном фронте в начале войны хлебнул и горького, и сладость победы позже тоже вкусил. А после ранения и госпиталя очутился тут — в 15-м гвардейской дивизии полку. Как коммуниста, назначил батальонный замполит взводным агитатором, что ж, дело опять-таки живое, с народом о политике, о втором фронте, о международном положении говорить интересно. А чего не знаешь — не зазорно признаться, пусть сами ребята и подскажут.

Был мой новый знакомый какой-то литой. Я немалого роста, а он повыше. Я не хилый, а он покрепче. И в глазах светлых ум и вечный пытливый вопрос. Словом, интересный человек, тянет к нему, хоть у нас и двадцать лет разницы.

Он оказался эстонцем, звали его Иосиф Лаар. Но эстонцем «кавказским», из села Подгорное, что на границе Дона — Кубани — Терека. На родине предков он, кажется, и не бывал. Около ста лет назад, после покорения Шамиля, царское правительство переселило безземельных крестьян-прибалтов на Кавказ, в их числе был дед или прадед Лаара. Женились на своих и на здешних.

Позднее после боев в июле или начале августа узнали мы: сержант, а может, красноармеец, агитатор взвода товарищ Лаар прикрыл собою от пулемета свою атакующую роту. Кончились гранаты, и он грудью лег на амбразуру. Пришла фронтовая газета и в ней пронзительные стихи Ильи Сельвинского:

Запомните имя Лаара,
Неведомое пока:
Погиб он в атаке ярой
Пятнадцатого полка.

Я рассказывал своим товарищам-пулеметчикам об этом незаурядном человеке, о его подвиге, и это была, наверное, самая трудная из моих бесед взводного агитатора. В девятнадцать удивляешься: как же это так — мы ж с ним на той неделе на сборах агитаторов доклады слушали, из одного котелка суп «кукурузяный» хлебали, и вот...

Как это было? Фашист, пользуясь близостью новороссийских цементных заводов, одел в бетон свои укрепления. Они располагались на грядах высот западнее станицы Крымская (теперь город Крымск) и носили общее название «Голубая линия». Нам как

агитаторам приходилось разъяснять молодым солдатам из пополнения, почему Гитлер распорядился так назвать этот оборонительный рубеж. Не потому, что он простирается от одного моря до другого — от Черного до Азовского. Не потому, что тут сплошь озера да плавни, образованные нижним течением Кубани. А потому, что эта линия, дескать, так же недоступна для русских, как голубое небо Тамани.

Укрепления, надо сказать, были серьезные. Глубокие бетонные бункеры для хранения боеприпасов и укрытия от наших мощных артиллерийских и авиационных подготовок. Сплошные ряды траншей на восточном и обратном, западном скатах высот. Множество пулеметных дотов на разных уровнях — они обеспечивали многослойный огонь с высот, которые нам приходилось штурмовать.

...Четвертая рота, а в ней воевал Иосиф, как и другие подразделения, залегла под убийственным огнем станковых пулеметов из этих проклятых дотов. Конечно, пройдет малое время, и командиры и политработники организуют огонь прямой наводкой: по амбразурам начнут в упор хлестать бронебойными и бетонобойными снарядами; возможно, подтянут огнеметчиков. А пока высота 167,4 — будущая Сопка Героев — огрызается таким плотным огнем, что залегшие роты несут тяжелые потери.

Не знали мы, приказал командир Лаару или сам, забросив за спину автомат и взяв в обе руки по гранате, пополз навстречу брызжущему огнем пулемету.

Все лежали, он один полз к ближнему доту. А вокруг голо, немец каждую травинку, не то что человека, сбрить огнем сумеет. И не обойти пулемет, подступы с флангов тоже отлично просматриваются, только в лоб можно взять этот дьявольский дот — черную ощеренную пасть на пути к победе.

Лаар где ползком, где зигзагообразными перебежками (все же опыт двухлетней войны у пехотинцев — это сила) приближался до дистанции броска гранаты. Ахнули они одна за другой — и замолчал вражеский пулемет. Возможно, убил или оглушил Иосиф пулеметчиков. Но, оказалось, не всех. Только со своим «Ура!» поднялась родная четвертая, как снова плеснул по ребятам невидимыми в свете солнечного полдня трассами пулемет. И тогда птицей пролетел и горячей грудью упал на злую амбразуру Иосиф Лаар. Прикрыл собой смерть, принял ее на себя, спасая всех.

...Помнится, было у нас занятие на сборах. Сидели мы рядом на пологой спине сопки, на которой рос виноград. Тогда он был еще зеленый и, стало быть, кислый. Но мы срывали и ели. Ноги были опущены в окопчики, вырытые на случай бомбежки. С высот далеко было видно: и назад, в тыл, где виднелась станица Крымская, брошенная жителями из-за близости фронта. Там ползла, пыля, редкая цепочка военных грузовиков. А впереди, где бухал невидимый фронт и где за «Голубой линией» было море, расстилались

холмы, ближе — голые или увитые поспевающим виноградом, вдали — покрытые сизым лесом, это у моря. А в синем ярком небе среди тишины вдруг возникала гремящая карусель воздушного боя и так же внезапно стихала. И снова вроде все мирное: аквамарин кубанского неба, и густая бирюза лесов на горизонте, и бледная зелень сопок в неухоженных виноградных лозах. Это была Родина, которую мы пядь за пядью освобождали от врага, возвращали пахарю, виноградарю, шоферу. Это была красота милой земли, которую не могла испепелить война.

— Чудо-то какое, Юра! — тихо сказал, толкнув меня локтем, Иосиф. И повел большой загорелой рукой вокруг.— Не налюбуюсь...

Для меня в человеке очень многое значат и объясняют глаза. У Иосифа в тот момент были такие удивительно ясные, мудрые, все воспринимающие и все понимающие глаза!

Как больно сознавать, что последнее, что видели эти светлые добрые очи,— не чудесную здешнюю округу, а злое пламя на конце ствола, несущее смерть.

На высоте 167,4 в боях отличились многие, и законно стала называться она с той поры «Высотой Героев», но выше всех был подвиг Иосифа Лаара, коммуниста, взводного агитатора. Вскоре вышел Указ за подписью Калинина: Лаару присваивалось звание Героя Советского Союза. Посмертно.

Пройдут годы, десятилетие одно сменится другим, и прочитаю в газетах: в той же Таманской дивизии, в той же четвертой роте служит сын героя, Анатолий Иосифович Лаар. Еще два десятка лет минует с той огненной поры на Кубани: в мирной армии должны уже и внуки ветеранов службу нести, а в их числе, может, и Лаар, уже Анатольевич. Действительно, смена смене идет, славному роду нет переводу.

Бозжигит
МУКАШЕВ

ДРУГ НЕ УМИРАЕТ

Человеческая память не беспредельна. Уходят из нее недавние случайные встречи и разговоры, мелкие события и неинтересные люди. Но те, с кем нас, бывших фронтовиков, свела война, память держит надежно и крепко. Потому что яркое, неповторимое остается в ней навсегда рубцами старых ран, образцами человеческой верности и надежности.

Заместитель командира роты по политической части прибыл в роту противотанковых ружей, которой я командовал, в период напряженной учебной подготовки к предстоящим боям. Едва познакомившись со мной, Псяев ушел в расположение взводов. Мы не виделись весь день, а вечером он, усталый, делился со мной первыми впечатлениями:

— Жаксы, командир, жаксы! Хорошо, что почти все наши бойцы из Теренозекского района Кзыл-Ординской области. Когда люди знают давно друг друга, и работать и воевать легче.

Потом немного помрачнел:

— Жаксы то жаксы, но в роте всего четыре коммуниста: ты, я, командир взвода Лебедев да повар Усманов.

— Но у нас много комсомольцев,— возразил я.

— Что ж, будем работать с ними. Мы ведь с тобой тоже недавние комсомольцы. Так что договоримся. Теперь второй вопрос: ты мне подскажи, кто в роте самые храбрые аскеры?

Я назвал нескольких воинов. Замполит записал:

— Вот они и будут агитаторами во взводах.

— Некоторые из них не очень образованные,— осторожно заметил я.— К тому же есть и от природы молчаливые.

— Много слов, а дела мало,— улыбнулся Псяев.— В бою личная храбрость агитатора — лучший способ и агитации и пропаганды.

Такие мысли Рыскалы Псяев постоянно высказывал на партийных, комсомольских собраниях. Парторг роты Усманов, комсорг Курочкин настойчиво проводили идеи политрука в боевых условиях. Умел Рыскалы сработать на авторитет командиров, исподволь, словно ненароком поговорить с солдатами о человеческих качествах взводных: задорного и жизнерадостного младшего лейтенанта Ку-

рочкина; сдержанного, неторопливого в принятии решений лейтенанта Лебедева; отличного боевого офицера, щепетильного и бескомпромиссного старшего лейтенанта Рожкова.

— У нас в роте получилось так, что солдаты намного старше командиров. Офицеры — совсем молодые люди. Как сделать, чтобы они были настоящими отцами-командирами? — размышлял вслух политрук.

Его беспокойная мысль искала ответа на многие, порой неожиданные вопросы.

По предложению Псяева агитаторами во взводах были утверждены солдаты Абишев, Ахметов, Курманбетов, братья Кумысбаевы — все политически грамотные бойцы. А лейтенант Лебедев стал редактором Боевых листков. Если бы сейчас можно было собрать те Боевые листки, какой документ эпохи, отраженный в судьбе всего лишь одной роты противотанковых ружей, оказался бы в руках потомков!

Рыскалы Псяев сразу дал верное направление содержанию листков. Они не повторяли того, о чем писали в дивизионных, армейских, фронтовых, центральных газетах. Но их текст, повествуя о боевых делах нашей роты, об отличившихся солдатах, был составной частью повседневного освещения пути к победе. Поэтому иногда заметка, посвященная тому или иному солдату, воспринималась им как поощрение, может, и не меньше, чем медаль.

Боевые листки с описанием подвигов солдаты дарили на память тем своим товарищам, о которых писалось в листках. А потом эти исписанные чернильными карандашами страницы драгоценными весточками летели с фронта в казахские аулы и русские деревни, где читались всем миром: вот, мол, какой герой или какой аскер жил среди нас до войны!

Наш 36-й отдельный истребительный противотанковый батальон выполнял в оборонительных сражениях под Ленинградом особо ответственную роль. И в том, что на учениях, в самый канун ввода батальона в действие, командарм-23 генерал-лейтенант Черепанов объявил: «Первое место присуждаю роте противотанковых ружей, второе — саперной роте, третье — артиллерийскому дивизиону», была большая заслуга замполита нашей роты Псяева.

— Помните, товарищи,— говорил генерал офицерам батальона после учений,— ваша задача такова: если гитлеровцы прорвут линию обороны или вклинятся в нее, батальон немедленно должен вступить в бой и, отбросив противника, восстановить положение. Вы обязаны любой ценой держать существующие позиции до тех пор, пока подойдут подкрепления и стабилизируют оборону.

Задачу, поставленную командующим армией, нам пришлось выполнять буквально через несколько дней. Лето 1943 года. Над Ленинградом стоит та волшебная белая ночь, о которой я читал в

юности пушкинские строки в прекрасном переводе Абая Кунанбаева. Но нам в ту ночь было не до стихов. В девять часов вечера комбат собрал командиров подразделений и замполитов и сообщил всем, что немцы прорвали нашу оборону северо-западнее Ладоги и продвинулись по фронту на шесть-семь километров и на четыре-пять — в глубину.

— В пять ноль-ноль батальону приказано прибыть на рубеж атаки, скрытно, бесшумно приблизиться к противнику и по сигналу белой ракеты, взаимодействуя с другими частями, отбросить гитлеровцев на исходные позиции. Рота противотанковых ружей, первая батарея «сорокапяток» и взвод автоматчиков наступают с юго-запада. Но что на этом направлении имеет противник, точных данных нет. Так что действуйте по обстановке,— закончил комбат, обращаясь ко мне и к Псяеву.

Посоветовавшись, мы решили, что я буду находиться во время атаки в первом взводе, а замполит — во втором. Третий взвод пойдет в бой вторым эшелоном.

Сигнальная ракета взлетела в белое небо стремительно. И с такой же стремительной неожиданностью для гитлеровцев вступила в бой наша рота. В ход были пущены все виды оружия. Схватка не прекращалась четырнадцать часов кряду.

— Алга! Вперед! — то по-казахски, то по-русски кричал замполит, неизменно находясь впереди атакующих цепей второго взвода.

От меткого огня бронебойщиков три танка, один за другим, пустили клубы черного дыма. Противотанковые ружья сосредоточили огонь на вражеской батарее, и вот уже умолкли немецкие орудия с поврежденными стволами, разбитыми колесами, перебитой прислугой. Взвод автоматчиков, поддерживаемый всеми наличными огневыми средствами, ринулся к наскоро вырытым траншеям противника. И когда на моих часах с треснувшим в пылу боя стеклом стрелки показывали восемнадцать ноль-ноль, я услышал охрипший, но счастливый голос замполита:

— Жау кашты! Жау кашты, Бозжигит!

«Жау кашты!» — старинный казахский боевой клич, означающий «Враг бежит!». С этим победным кличем шли в атаку восставшие отряды национального героя Казахстана Амангельды Иманова. И вот три десятилетия спустя «Жау кашты!» прозвучало у стен Ленинграда, повергая в ужас бегущих фашистов.

Наш батальон в тот день не только восстановил оборонительные рубежи, но и укрепил их, нанеся врагу немалый урон в живой силе и технике: три танка, четыре орудия и более тридцати убитых солдат оставили гитлеровцы только на участке, где сражалась наша рота.

Когда нас сменила другая часть, подразделение было переброшено на новый участок, где предстояло вести земляные работы по восстановлению и созданию оборонительной линии. Дело было

срочное и невероятно утомительное. К тому же зарядили унылые дожди.

Псяев чутко улавливал настроение бойцов.

— Нужна разрядка,— говорил он мне. Но в чем и где искать ее, не ведали ни замполит, ни я.

Однажды я заметил, что солдат Курманбетов что-то встревоженно ищет, шаря по карманам. «Не иначе, потерял кисет»,— подумал я. Но Курманбетов вытащил из-за подкладки моток... струн.

— С самого дома берег, все боялся потерять,— радостно сообщил боец.— Когда на фронт уходил, прихватил с собой. От дедовой домбры струны. Они для меня — как живая песня. Эх, домбру бы смастерить, да времени нет.

— Время найдется,— вмешался в разговор замполит.— Сколько вам нужно дней, чтобы эти струны ожили?

— За три дня управлюсь,— повеселел Курманбетов.

В блокадную пору в прифронтовой полосе у стен Ленинграда зазвучали народные мелодии. Под аккомпанемент домбр ротный хор пел любимую народную песню «Актамак», художественный руководитель самодеятельного ансамбля замполит Псяев исполнял «Караторгай», «Майра», «Буркитбай».

Аплодисментами встречали и провожали наши выступления товарищи по оружию — русские и украинцы, белорусы и мордвины, татары и башкиры. Это были часы, когда все мы с особой силой ощущали интернационализм в действии, постигали непреложность истины: настоящая народная песня не нуждается в переводе.

Помню один особенно успешный концерт, когда нас не отпускали со «сцены» полтора часа. Пришлось второе отделение — выступление артиллеристов — перенести на следующий день.

А случалось, что концерт прерывала тревога. И тогда бронебойщики мгновенно сменяли домбры на противотанковые ружья, занимали оборону на танкоопасных направлениях и давали отпор врагу. При этом художественный руководитель самодеятельного оркестра преображался в боевого офицера, умевшего принимать быстрые и правильные решения.

Помню, как энергичный Рыскалы обучал бойцов тактике боя в лесу. Наши земляки — солдаты, пришедшие на Ленинградский фронт из казахских степей,— не могли ориентироваться в лесу. Естественно, что Псяев и я — участники войны с белофиннами — имели опыт ведения боя среди деревьев, лесных завалов, кустарника, болот.

— Леса не надо бояться — он наш, советский. Пусть его боятся враги,— говорил Псяев бойцам.— А для нас лес — друг. Нужно только научиться пользоваться его защитой.

— Эх, нам бы в степях Казахстана леса посадить! Чтобы почву сберечь, от песков заслониться,— мечтательно произнес кто-то из бойцов.

— И посадим! Обязательно посадим после победы! — с искренним энтузиазмом ответил замполит.

В марте сорок четвертого мы вели упорные бои уже далеко от Ленинграда, под Нарвой. Погиб наш комбат, которого заменил я. После трехдневного сражения батальон прорвал оборону противника. Неся большие потери, гитлеровцы вынуждены были отступить.

Мы продолжали преследование, не давая фашистам укрепиться на новых позициях. Полагая, что мы измотаны до предела, немцы оторвались от нас километров на восемь и заняли оборону. Им было невдомек, что мы, невзирая на потери и усталость, продолжаем двигаться вперед.

И когда расстояние между нами и врагом не превышало сотни метров, батальон открыл огонь по немцам. Это произошло в полдень 12 марта 1944 года. Вот когда пригодились бойцам уроки замполита! Сноровисто используя лесистую местность, солдаты двигались среди деревьев, оставаясь неуязвимыми для вражеских пуль. Гитлеровцы бежали, бросая оружие и боеприпасы.

— Жау кашты! Жау кашты! — оглашался победными кликами ельник.

Победа была настолько очевидна, что повергла в радостное изумление даже бывалых солдат: наш батальон уничтожил более роты противника, у нас же было всего двое раненых.

А на следующий день в рукопашном бою я получил тяжелое ранение, которое не позволило мне вернуться на фронт.

На несколько лет я потерял из виду своего друга — политрука и замполита роты Рыскалы Псяева. Но в 1950 году, едва переступив порог республиканской партийной школы при ЦК Компартии Казахстана, я столкнулся со своим бывшим заместителем по политчасти, которого мы по старой доброй привычке звали политруком. С тех пор мы с Рыскалы уже не теряли из вида друг друга. Но я не научился до самой его кончины звать Рыскалы замполитом — все политрук да политрук!

И когда я сейчас думаю о нем, встают перед мысленным взором зовущие нас, ветеранов, к мужеству, к твердости духа строки Константина Симонова:

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает...

Федор
ХАЛТУРИН

ДНЕПРОВСКИЕ ЗОРИ

Холодный осенний рассвет застал 1033-й стрелковый полк на правом берегу Десны.

Всю долгую ночь шла переправа. На реке слышались приглушенные голоса, отрывистые команды, нетерпеливая ругань, ржание лошадей, всплески воды, поскрипывание уключин. Всю ночь командир полка подполковник Федор Васильевич Ледков, руководя переправой, настороженно вслушивался в тревожное безмолвие, нависшее над правым берегом, дальними его дубравами. Но берег молчал. Сбитые нашими передовыми подразделениями гитлеровцы поспешно отошли, сдав без боя правобережное село Карпиловку. Крепко потрепанные прошлой ночью в ожесточенных боях за город Остер, они откатились к Днепру.

До Днепра оставалось километров тридцать, не более, и как хорошо было бы вот сейчас же, с ходу, не задерживаясь здесь, на правом берегу Десны, ударить по немцам и, не давая им опомниться, смять, уничтожить, сбросить в мощные водовороты реки.

Тридцать километров — всего один переход. Уже ветры, привольные, днепровские, долетают сюда, глухо шумят вершины вековых дубов и сосен. Белокрылые чайки кружатся над Десной. Уж не с Днепра ли они, не его ли крылатые посланцы вылетели навстречу наступающим советским войскам?

Раннее утро вставало над Карпиловкой, первое радостное утро за два последних мрачных года. Из погребов, землянок, из зарослей приречного лозняка выходили изможденные, оборванные женщины, дети, старики, спешили навстречу бойцам. Вот маленькая, сухонькая старушка в выцветшем, залатанном платке, в подбитой ватой кацавейке опустилась на колени перед колонной солдат. Рослый, широкоплечий автоматчик подбежал к ней, легонько поднял на руки; она обнимает его, торопливо крестит и чуть слышно шепчет: «Сынок, сынок...» Заросший, с всклокоченной бородой мужчина на костылях, путая русские слова с украинскими, спешит рассказать обступившим его артиллеристам об ужасах фашистской оккупации, о пытках и издевательствах, о зверствах и глумлениях, которые довелось испытать жителям села. Голос у него

срывается, судорожные, без слез, рыдания сдавливают горло... Худенькая девушка, почти подросток, с болезненной синевой под глазами, прижимая к груди охапку неярких осенних цветов, застенчиво и влюбленно смотрит на солдат, не решаясь к ним подойти... Объятия, поцелуи, слезы...

Там, на берегу Днепра, будут такие же радостные встречи, там тоже ждут родную Красную Армию, ждут бойцов-освободителей, слушают близкую орудийную канонаду. Скорее бы... Невмоготу больше под фашистом.

А Днепр — вот он, рукой подать. Всего один переход.

Подполковник Петр Андреевич Горчаков, заместитель командира полка по политической части, крепко сложенный, богатырского роста человек, только что вернулся от разведчиков, которые доложили ему, что на дорогах в междуречье Десны и Днепра немцев не обнаружено. Сейчас замполит стоял на берегу, у переправы. Густые льняные волосы выбились из-под фуражки, сдвинутой на затылок, на губах усталая, сдержанная улыбка. Мимо него шли минометные расчеты, артиллеристы выкатывали на берег орудия, и по глазам людей, по оброненным невзначай шуткам подполковник видел, что каждый из бойцов полон дум о Днепре, с радостью убеждался, что они рвутся вперед и нет такой силы, которая могла бы удержать их. Казалось, дай только команду, и они вот так же деловито, спокойно, напористо пойдут дальше, не останавливаясь, не отдыхая, до самого Днепра.

Только прикажи, только дай команду.

Но Горчаков видел, чувствовал, понимал и другое. Полк за три последних месяца, с начала битвы на Курской дуге, не выходил из боев. Позади остались Конотоп, Бахмач, Нежин, Козелец, Остер. В полку много потерь. Люди измотаны. Сказалось небывалое напряжение бессонных ночей, длительных пеших переходов. Три месяца боев!

Никто, конечно, не жаловался, никто не говорил об отдыхе перед самым трудным испытанием — форсированием Днепра, но есть же предел человеческим силам!

Людям нужен был отдых. Хоть небольшой. Хоть на несколько часов. Днепр немцы даром не отдадут. Он для них — рубеж стратегического значения, главная составная часть «Восточного вала». Гитлеровская пропаганда настойчиво внушала солдатам вермахта, что Днепр — это «линия обороны их собственного дома». Форсирование реки представляло для наступающих советских войск чрезвычайно сложную задачу. Широкая, почти километровая, водная преграда, большие глубины, быстрое течение, водовороты, высокий обрывистый правый берег, с которого хорошо просматриваются и простреливаются река и левобережные подступы к ней. Выгодный естественный рубеж для противника, который постарался усилить

его густой сетью инженерных сооружений, плотно нашпигованных огневыми средствами.

А полк ослаблен большими потерями в живой силе и технике.

Своими раздумьями замполит решил поделиться с командиром полка.

Подполковника Ледкова он встретил на краю села, в просторной крестьянской хате. Здесь же были офицеры штаба.

— Здорово, комиссар! — шумно, по-дружески приветствовал Ледков.

— Дело у меня к тебе, Федор Васильевич,— сказал Горчаков.

— Говори. Слушаю.

— Был я сейчас на переправе. Скажу тебе, Федор Васильевич, напрямую, откровенно: устали люди. Сам знаешь: на Днепре нас встретят по-иному, не так, как здесь. Надо бы подготовиться основательнее. Стоит, по-моему, задержаться в Карпиловке на денек. Тылы подтянем. Люди отдохнут...

Ледков не дал ему договорить.

— Знаю, Петр Андреевич. У самого голова гудит. Две ночи не спал. Только ты зря уговариваешь меня. Получен приказ командира дивизии. Полку дается дневка. Вечером выступаем к Днепру.

Горчаков облегченно вздохнул.

— А сейчас,— командир полка встал,— я займусь с начальником штаба. Надо подготовить приказ на марш. Тебя, Петр Андреевич, прошу проверить, чтобы людям был выдан хороший, сытный завтрак. После завтрака —всем спать до четырнадцати часов.

Горчаков собрал замполитов батальонов, парторгов рот, батарей. Короткое совещание. Задача ясна — впереди Днепр. Надо помочь командирам проверить боеприпасы, оружие. Накормить людей. И спать. Да, отдых был приравнен к выполнению боевой задачи.

Над Карпиловкой занимался ясный, солнечный день. Из ближнего леса, что начинался сразу же за огородами, тянуло аппетитным дымком. Там полковые кашевары готовили завтрак. На берегу Десны горели костры. У каждого — небольшие группы солдат и сержантов. Кто чистил оружие, кто брился, кто сушил портянки. Некоторые спали. Сморила усталось, не дождались завтрака.

Горчаков решил обойти расположения полка, посмотреть, все ли сделано для отдыха людей.

Он обогнул огороды, вышел на поляну. На травке под развесистым старым дубом сидели двое солдат. Одного из них Горчаков знал. Это был ефрейтор Григорий Мостовой, пулеметчик, смугловатый, жилистый человек с пытливыми серыми глазами. На Курской дуге Петр давал ему рекомендацию для вступления в партию. А уже

через три месяца ефрейтор Мостовой оправдал доверие политработника. В боях за Конотоп 1033-й стрелковый полк наступал вдоль насыпи железной дороги. Особенно упорно и яростно гитлеровцы оборонялись в районе разъезда Калиновского, на окраине города. Фашисты укрылись за насыпью, и выбить их оттуда было очень трудно. Даже минометный огонь не наносил немцам ощутимого урона.

Вот тут-то и отличился Мостовой. Воспользовавшись минутной паузой в автоматном огне противника, он установил станковый пулемет на насыпи и длинной очередью полоснул по вражеским окопам с фланга. На позиции противника возникло замешательство. Первый батальон поднялся в атаку и выбил гитлеровцев с разъезда...

Мостовой со своим напарником снаряжал пулеметные ленты.

— Завтракали? — спросил Горчаков.

— Так точно, товарищ подполковник.

— Почему не отдыхаете?

— С этим успеется, товарищ подполковник,— степенно возразил Мостовой.— Сперва лентами надо запастись. Слышно, фашист-то крепко Днепр оседлал. Так что работы нам хватит. А насчет отдыха, товарищ подполковник, не беспокойтесь. Успеется,— повторил Мостовой.

Горчаков опустился на колено, придвинул к себе ящик с патронами. Мостовой с недоумением взглянул на офицера.

— Нечего меня разглядывать,— усмехнулся Горчаков.— Давай ленту.

Втроем они быстро набили две пулеметные ленты.

Уходя, Горчаков пожелал пулеметчикам успехов на правом берегу Днепра.

— Так его, Днепр-то, еще переплыть надо,— рассудительно обронил Мостовой вслед подполковнику. Но тот уже не слышал пулеметчика. На краю поляны у приземистого, с проваленной крышей сарая Горчаков увидел командира третьего батальона капитана Алексея Рыбалку. Капитан сидел на снарядном ящике. На коленях у Алексея лежала развернутая карта.

Замечательный человек капитан Рыбалка! Любили его в полку. И было за что. Удачлив. Смел. Умен. В бою хладнокровен, расчетлив, как, пожалуй, никто из командиров, его одногодков. Правда, среди офицеров части в должности комбата ровесников Рыбалки не было. Командиру батальона в ту осень исполнилось двадцать два года.

Ему, капитану Рыбалке, полк был обязан тем, что без боя занял Карпиловку. Накануне батальон под его командованием штурмом овладел опорным пунктом противника в деревне Сологубово, на левом берегу Десны, нанес гитлеровцам неожиданный удар такой силы, что те в панике бежали, оставив на поле боя до сотни трупов,

машины с боеприпасами, полевые кухни. Буквально на плечах гитлеровцев батальон форсировал Десну, не дал им закрепиться в Карпиловке, погнал дальше. Немцы рассеялись в приднепровских дубравах.

Горчаков по-братски дружил с Алексеем. Роднила их молодость — ведь Петру-то было двадцать пять лет. Роднили общие интересы, вкусы, любовь к книгам. До войны оба много читали о великих русских полководцах. Оба преклонялись перед военным гением Суворова, Кутузова, Багратиона. Алексей много знал наизусть из Пушкина, восхищался Тургеневым, особенно его «Записками охотника», их великолепным, сочным, ярким языком.

В редкие минуты затишья между боями офицеры — политработник и командир батальона — говорили, а случалось, и спорили о том, что сильнее всего волновало их. Петр учил Алексея, как нужно опираться на партийную и комсомольскую организации батальона, как лучше распределять силы коммунистов и комсомольцев в бою. А комбат посвящал Петра в тонкости тактических приемов, рассказывал о наиболее удачных случаях маневра живой силой и огневыми средствами в различных видах боя, в самых неожиданных и сложных условиях, которые могут продиктовать обстановка, характер местности, погода.

Горчаков присел рядом с Алексеем, мельком взглянул на карту, испещренную красными и синими линиями, пунктирными стрелками, разрисованную кружочками, ромбиками, крестиками. Вдоль левого обреза карты тянулась голубая лента Днепра.

— Не спится?

— Нет,— тихо проговорил Алексей, положив на плечо Горчакову теплую ладонь. Ему хотелось задать такой же вопрос Петру, но он промолчал. Алексей понимал, что не может спать сейчас, перед маршем к Днепру, этот беспокойный человек, которого весь полк называл не замполитом, а комиссаром. По старой и доброй привычке.

Друзья молча сидели на снарядном ящике.

Над Десной догорали костры. Угомонились, притихли бойцы на лесных полянах. Полк спал.

Лишь часовые размеренно прохаживались по улицам, по околице села, вдоль лесной опушки. Да на реке не прекращался шум. Там переправлялись обозы.

А на карте командира батальона широкой лентой голубел Днепр.

Туман, туман... Густой, белесый, он плотно накрыл землю, расстелился по берегу, тяжелыми клубами курчавился в кустах лозняка, оседал на отсыревший песок. Туман глушил голоса, шаги, лязг оружия. Даже разрывы мин и снарядов, изредка залетавших с правого берега, казались мягче.

Окутанный рассветным туманом, Днепр величаво катил свои воды к далекому Черному морю.

Левый берег уже был очищен от гитлеровцев. Полк после ночного марша принимал боевой порядок для форсирования. Слева и справа подошли соседи.

Штаб части расположился в Ошитках. До войны это было большое богатое село: около тысячи домов, более пяти тысяч жителей. После хозяйничанья гитлеровцев едва уцелели три десятка хат. Жителей осталось совсем мало... На окраине Ошиток, в придорожных канавах, бойцы обнаружили сотни трупов. Горчаков сообщил об этом в политотдел дивизии, попросил принять меры для организации захоронения расстрелянных немцами стариков, женщин, детей. Затем приказал собрать агитаторов взводов. Вот они в сборе. Люди говорили коротко и яростно. Чаще других звучало слово «месть». Месть фашистам — жестокая, беспощадная; расплата за все — скорая и неотвратимая.

Потом агитаторы разошлись по взводам, ротам, батареям. Они несли с собой новый заряд ненависти к врагу.

Командир полка получил приказ начать форсирование с наступлением темноты. По его замыслу готовились две переправы. Одна — настоящая, для батальона капитана Рыбалки, вторая — ложная. На ней шумно хлопотали саперы. На виду у гитлеровцев они спускали на воду плоты, лодки, перетаскивали бревна. Артиллерия противника непрерывно обстреливала район ложной переправы.

А километрах в двух севернее, на участке батальона капитана Рыбалки, было тихо. Сюда в полдень с Десны привезли лодки, около тридцати штук. Их упрятали в лиманах, спешно ремонтировали. В батальоне был произведен боевой расчет. Каждый знал свою лодку, свои обязанности.

Люди были готовы к бою.

За несколько часов до начала форсирования Днепра в расположение полка с правого берега реки перебрался Тит Евгеньевич Шиян, колхозник из села Окунникова. Он показал скрытые подходы к Днепру, наиболее удобные места для высадки десанта.

В ночь на 25 сентября 1943 года началось форсирование.

Первой к реке спустилась восьмая рота, усиленная пулеметным и минометным взводами, взводом противотанковых ружей. Лодки и плоты бесшумно отходили от берега и сразу же будто растворялись во мгле. Ледков и Горчаков стояли у воды, вслушиваясь в тишину. Правый берег молчал. Лишь изредка над рекой проносились мины и приглушенно рвались далеко позади, в лиманах.

Обнаружат или не обнаружат гитлеровцы десант? Удастся ли батальону переправиться через реку?

Прошло десять, пятнадцать минут... Ни звука.

Время будто остановилось.

Яркие звезды холодно мерцают над черным плесом реки. По всему небу, куда ни глянешь, светятся огненные нити — следы метеоритов.

Пора осеннего звездопада. Тишина.

Где-то под обрывом плеснула рыба.

И вдруг правый берег словно раскололо громовым ударом. Одновременно открыли огонь десятки пулеметов, несколько минометных батарей. По реке заметались фонтаны разрывов.

Всю ночь, пока не рассвело, гитлеровцы яростно поливали огнем широкий плес реки, левый берег. За ночь ни одна лодка, ни один человек из десанта не вернулись обратно. Лишь утром, ниже по течению, к нашему берегу прибились лодки с уцелевшими бойцами. Большинство из них были ранены.

Не смогли добиться успеха в эту ночь и соседи.

С рассветом над позициями полка появились немецкие самолеты. Забухали разрывы бомб. Усилила огонь дальнобойная вражеская артиллерия.

Полк тяжело переживал неудачу. Погибли десятки людей. А главное — зацепиться за правый берег не удалось.

Но, к счастью, это оказалось не так.

Утром, когда реку скрывал туман, приплыл один из десантников. Он рассказал, что группа бойцов, человек тридцать, во главе с коммунистом старшим лейтенантом Хахериным пробилась ночью к берегу, захватила крохотный «пятачок» земли и теперь держит оборону. Солдат передал просьбу Хахерина: окаймить «пятачок» артиллерийским огнем, иначе им не удержаться. Гитлеровцы готовятся к атаке, а у десантников — только автоматы да винтовки. Да и с патронами туговато.

Командир полка приказал артиллеристам поставить вокруг хахеринского плацдарма НЗО — неподвижный заградительный огонь.

Радостная весть разнеслась по полку. О ней узнали в дивизии, в армии.

Зацепились!

Горчаков живо представил себе утомленное, морщинистое лицо старшего лейтенанта Ильи Кирилловича Хахерина. Этот неторопливый, рыжеватый, средних лет офицер, призванный из запаса, особо в прошлых боях не отличался. Как говорится, наперед батьки в пекло не лез. Но была у него замечательная черта — исполнительность. Он имел завидную для некадрового офицера способность: безоговорочно подчинять свою волю, свои действия железной логике приказа командира. Всегда был спокоен, невозмутим. Редко повышал голос. И непременно добивался своего.

Теперь от него, от людей, оказавшихся вместе с ним на правом берегу, требовалось одно: удержаться во что бы то ни стало. Удержаться, пока не подойдет подкрепление.

А оно могло подойти только ночью. Идти через Днепр днем, под губительным огнем врага, бессмысленно. Хахерин, бойцы его группы, конечно, понимали это и пока, до темноты, могли рассчитывать только на себя и на поддержку артиллерийским огнем.

Утром после тщательного анализа допущенных при подготовке к форсированию просчетов командиру полка, заместителю по политической части, офицерам штаба стали ясны причины неудачи. Гитлеровцы обнаружили десант на середине реки. При первых же выстрелах с правого берега десантники бросились в воду. Необстрелянные бойцы из нового пополнения (а таких в батальоне было немало) растерялись. Плавать почти никто из них не умел. Бросив лодки, многие из них погибли.

Кроме того, слабой оказалась артиллерийская поддержка десанта. Орудия крупного калибра находились в пути, на подходе к Днепру. Огневые позиции они заняли только утром.

Значит, для повторного десанта нужно было прежде всего подобрать закаленных, обстрелянных людей, обязательно умеющих плавать. Лучше всего — добровольцев.

Этим и занялся подполковник Горчаков. Вместе с командирами батальонов он обходил подразделения и из многих сотен добровольцев отобрал сто двадцать человек — самых отважных, самых умелых автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков. Почти каждого из них он знал в лицо, со многими ходил в атаки на Курской дуге. Он верил в них, как в самого себя.

Десанту были выделены два миномета, четыре станковых и одиннадцать ручных пулеметов, две радиостанции. Из тыла подвезли несколько надувных лодок. Пригодились и рыбацкие плоскодонки, которые с помощью Шияна удалось разыскать в прибрежных зарослях. Из бревен и досок соорудили плоты для минометов, станковых пулеметов и боеприпасов.

Тем временем артиллеристы оборудовали огневые позиции, пристрелялись по целям на правом берегу.

Командир полка и начальник штаба детально разработали план высадки нового десанта. Созданные из добровольцев десантные группы начали тренировку с переправочными средствами на одной из днепровских стариц, скрытой от вражеского наблюдения. Отрабатывали порядок движения лодок и плотов, сигналы взаимодействия. Чтобы обеспечить наименьшее поражение от пулеметного огня противника, учили лодочные команды выдерживать на плаву строй — наподобие журавлиного клина.

В двенадцать часов подполковников Ледкова и Горчакова вызвали в штаб дивизии. Туда приехал командующий армией генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский и потребовал от командиров полков ответа: почему не выполнен приказ о форсирова-

нии Днепра. Настроение у офицеров, собравшихся в штабе, было подавленное. Командиры полков один за другим докладывали генералу о своих неудачах.

Очередь дошла до подполковника Ледкова.

Неожиданно командующий армией повернулся в сторону Горчакова, с которым он не однажды встречался, бывая в дивизии, в полку.

— А теперь давайте послушаем кого-нибудь из политработников. Вот хотя бы вас, товарищ Горчаков.

Петр встал, доложил Черняховскому о причинах неудачи ночного десанта. Генерал слушал рассеянно, утомленно полузакрыв глаза. Чувствовалось, что он уже знал обстановку по докладу командира дивизии.

Но когда Петр стал рассказывать о плане подготовки нового десанта, генерал оживился. Он придвинул к себе карту, попросил уточнить на ней положение полка и группы старшего лейтенанта Хахерина.

Когда Горчаков закончил, Иван Данилович переглянулся с членом военного совета армии генерал-майором Василием Максимовичем Олениным, с командиром дивизии генерал-майором Дмитрием Николаевичем Голосовым, одобрительно произнес:

— Что ж, предложение, я думаю, толковое. Готовьте десант. Желаю успеха, товарищи.

Там же, в штабе дивизии, было решено, что командиром десантной группы пойдет капитан Рыбалка. У него богатый боевой опыт, он не раз бывал в крутых переделках и всегда находил выход, принимая смелые, обдуманные, дерзкие решения. Комиссаром десанта по предложению командующего армией назначался подполковник Горчаков.

К вечеру десантная группа была готова к выполнению поставленной перед ней задачи. На правый берег капитан Рыбалка отправил разведчиков во главе с коммунистом старшим сержантом Павлом Никифоровичем Червонным.

Как и рекомендовал Горчаков, накоротке провели открытое партийное собрание. На нем выступил капитан Рыбалка. Он сказал:

— Каждый из нас, не задумываясь, готов отдать свою жизнь за Родину. Но не смерти требует от нас Отчизна, а победы. Не всем нам, видимо, удастся переправиться через Днепр. На войне жертвы неизбежны. Но наш народ никогда не забудет тех, кто положит свою голову за честь и свободу Родины.

Четырнадцать человек из состава нового десанта подали заявления о приеме в партию: лейтенанты Хориков, Ласков, Меншиков, сержант Бруев, младший сержант Плехов, красноармеец Горшков...

В полночь лодки и плоты отвалили от берега. В одной из лодок были Горчаков, командир минометной батареи капитан Нестеров, командир взвода связи старший лейтенант Ферапонтов. Ритмичные

взмахи весел. Сдержанное дыхание людей. Настороженная тишина.

И вдруг — резкие, пронзительные звуки зуммера: пи-пи-пи...

Оказывается, начальник штаба полка решил запросить по рации, далеко ли отплыл десант. Горчаков накрыл радиостанцию ватником. Радисту приказал не отвечать. Петру казалось, что любой, даже самый незначительный звук может выдать десант.

Нервы напряжены до предела.

Лодки и плоты перевалили середину реки. Вот уже виден правый берег. До него осталось двести метров, сто пятьдесят...

Над берегом, над лодками, шипя, повисли ракеты. И сразу же по десанту ударили пулеметы.

Всплеск воды, посвист пуль, крики раненых покрыл громовой голос Рыбалки:

— В воду!

— За мной! — скомандовал Горчаков, прыгая с лодки.

Десантники по мелководью рванулись к берегу. Грохнули первые взрывы гранат. И вот уже уничтожен один пулеметный расчет, второй, захвачена траншея, слева слышны автоматные очереди — это разведчики старшего сержанта Червонного, занявшие удобную позицию на косогоре, ударили во фланг фашистам. Червонный разыскал капитана Рыбалку, доложил ему, где расположены вражеские огневые точки, траншеи, ходы сообщения. Рыбалка повел десантников вперед. К исходу ночи они соединились с группой старшего лейтенанта Хахерина и с левофланговым батальоном соседнего полка, тоже форсировавшим Днепр. Плацдарм глубиной двести метров и полкилометра по фронту был очищен от гитлеровцев. Рыбалка приказал на флангах установить станковые пулеметы, укрепить поврежденные взрывами траншеи, пленных отправить на левый берег.

К утру на плацдарм высадился весь полк. Начали переправу и соседние части. Командир дивизии перенес свой КП на правый берег.

В центре плацдарма, на крутом выступе днепровского берега, комсорг 3-го батальона лейтенант Ибрагим Кузахмедов установил красный флаг.

А на другой день полк двинулся дальше, на запад. Гитлеровцы яростно сопротивлялись, контратаковали, любой ценой пытались отбросить наши войска назад, к Днепру. В этих ожесточенных боях пример стойкости и отваги показывали те, кто первым форсировал реку.

29 сентября командир полка приказал батальону капитана Рыбалки занять безымянные высоты у села Страхолесья, оседлать шоссе, отрезать противнику пути отхода. Немцы навалились на батальон превосходящими силами, окружили его. Пять атак отбили бойцы. Не отступили ни на шаг, не отдали немцам высоты.

В этом бою отличился пулеметчик ефрейтор Мостовой. Заменив выбывшего из строя командира взвода, он поднял бойцов в контратаку. В короткой схватке Мостовой уничтожил гранатами пятерых гитлеровцев, двух взял в плен. А всего за день взвод истребил до роты немецкой пехоты.

Капитан Алексей Васильевич Рыбалка и ефрейтор Григорий Порфирьевич Мостовой стали Героями Советского Союза. Это высокое звание было присвоено и старшему лейтенанту Хахерину.

Полк шел на запад. Снова были тяжелые бои, ночные атаки, изнурительные марши, бессонные ночи комиссара над картой вместе с командиром полка. До конца войны, до нашей Победы было еще далеко. Петр думал встретить ее вместе с родным полком.

Но суждено было иначе.

10 октября в критический момент боя на берегу реки Тетерев, когда батальоны пошли в атаку, подполковник Горчаков был тяжело ранен — четвертый раз за время войны. Осколки мины вонзились в руку, ногу, в бок. Оказавшийся поблизости капитан Рыбалка оттащил Горчакова в снарядную воронку, перевязал его. Подполковника отправили в город Остер, в полевой госпиталь.

Здесь Горчаков узнал о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр и прочное закрепление плацдарма на правом берегу ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В феврале 1944 года подполковник Горчаков после выписки из госпиталя прошел курсы переподготовки политсостава, а потом снова фронт, снова бои. Карпаты, Польша, Чехословакия... Победный май сорок пятого Петр Андреевич встретил в тридцати километрах от Праги.

После войны Горчаков окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, был начальником политотдела стрелковой бригады, дивизии, корпуса, членом военного совета — начальником политотдела армии, старшим инспектором Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, членом военного совета — начальником политуправления Прибалтийского военного округа. С 1970 года генерал-полковник Горчаков занимает пост члена военного совета — начальника политического управления Ракетных войск стратегического назначения.

Для тех, кто знает Петра Андреевича со времени битвы за Днепр, он остался тем же комиссаром, любимцем солдат и офицеров, беспокойным, неутомимым, жизнерадостным человеком, которому до всего есть дело. Он трудится с огромной, заразительной увлеченностью, с кипучей энергией, с неиссякаемым оптимизмом человека, обладающего счастливым даром молодости. А ведь после боев за Днепр минуло более сорока лет...

Леонид
ЕГОРОВ

РАШКЕВИЦ И МЕЙЕРСЫ

— Партийное собрание Северолатвийского партизанского отряда считаю открытым. На повестке дня два вопроса. Первый — прием в ряды ВКП(б), второй — организация подпольной партячейки в Анненской волости на хуторе товарищей Мейерсов.

Комиссар отряда Алфред Рашкевиц вел собрание. Он человек по-латышски немногословный, сдержанный, больше думает, меньше говорит. Но бывает, что в добрые минуты вдруг «прорвет» Алфреда и принимается рассказывать молодым партизанам о своих студенческих или преподавательских годах, а в них особое место займет «советский год», от лета до лета, когда Рига, вся Латвия встрепенулись в новом сознании необходимых живительных перемен, да война все оборвала внезапно и страшно.

Собрание происходило в большой комнате крестьянского дома, при керосиновой лампе, окна тщательно занавешены, чтоб ни одной щелочки.

Сидели коммунисты отряда на стульях за столом, вдоль стен, на внесенных с кухни лавках. Все при оружии — надежных ППШ и трофейных «шмайсерах». То была въевшаяся в них за два года войны добрая солдатская привычка: миг — и ты готов к бою, врасплох тебя не взять ни немецким фашистам, ни их пособникам, местным шуцманам и кулакам.

И еще двое беспартийных было в комнате — хозяин и хозяйка усадьбы Хуго и Алида Мейерсы. Они, точно в гостях, деликатно сидели возле стола, одинаково сложив руки на коленях. Алфред Рашкевиц, объявив повестку дня, замолчал, точно вслушиваясь в ночь.

Ночь же была тиха и спокойна. Даже ветер утих, и пес на подворье не нарушал тишину. Значит, комиссар вслушивался в прошлое?.. Латыши народ неторопливый, подталкивать сородичей не в их обычаях, вот все сидели и ожидали, что скажет дальше комиссар отряда.

А он, стоя за столом и вертя в руках погасшую трубку, набитую армейской терпкой махорочкой, смотрел сверху вниз на тех, кого они должны нынче принимать в партию.

У темноволосого, светлоглазого, высоколобого Хуго доброе интеллигентное лицо, хитринка в углах губ, по торжественному случаю одет в тройку и при галстуке. Большие руки смирно отдыхают, в одной — трубка, но из деликатности, по торжественности момента, потухшая. В отряде всем ведомо: эти руки — воистину золотые. На всю трудовую, крестьянскую Анненскую волость эти руки известны. Единственный из хуторян, Хуго сам смастерил себе молотилку — и не хуже тех, что кулаки выписывали из Германии или Швеции.

Рядом с мужем Алида — русоволосая, с не очень красивым, но милым лицом, крепкая и надежная — настоящая латышка.

Год назад отряд явился в эти северо-восточные лесистые места родной республики. Пришли из Псковщины лесными, даже не дорогами, а тропами. Сказать, время было тяжелое,— значит мало сказать. Вокруг партизанского их отряда то стягивалась, то разжималась тугая петля огромной облавы, которую устроили немцы и их прислужники из местных подонков, потому что было не лето сорок третьего, как сейчас, а лето сорок второго, и Красная Армия отходила к Сталинграду и Кавказским горам. Поэтому никто не мог помешать гитлеровцам убивать латышей в концлагерях, шуцманам — дома жечь и грабить людей и доказывать, что это делают партизаны, а продажной газетенке «Тевии» в который уж раз объявлять Латвию свободной от «красной заразы», точно так же как Советы — «побежденными окончательно».

Так вот, партизаны шли на запад, к этим самым местам, и запуганные немецкими и латышскими фашистами жители нередко отказывали им в куске хлеба и крове — не потому, что не сочувствовали. По правде сказать, надо было обладать немалым мужеством, чтобы отважиться на помощь партизанам,— в отместку враги убивали детей, сжигали дома, загоняли мужчин и женщин в концлагеря.

Но недаром во все времена гордостью народов были те, кто не покорился захватчикам, не боялся их угроз и расправ. От Яниса Юргена, который прятал лесных братьев еще в девятьсот пятом году и красных партизан в девятнадцатом, комиссар впервые услышал о Хуго Мейерсе. Этот бесстрашный человек ждет партизан. Он организовал из верных трудовых крестьян округи подпольную группу, у себя на хуторе слушает передачи из Москвы и передает их соседям. Вокруг Мейерса, Юргена, Логина собираются верные люди — те, кто готов пополнить ряды борцов за Советскую Латвию.

Партизаны на своем пути атаковали небольшие вражеские гарнизоны, взрывали склады, громили полицейские участки, кордоны, посты. Чем дальше, тем с большим трудом отбивались от карателей. По-прежнему самой важной задачей оставалась политическая ра-

бота с населением, создание условий для развертывания партизанско-подпольного движения здесь, в северной части республики.

В отряде было много коммунистов и комсомольцев, народ зрелый и идейно и физически. Приходили на хутора, где жило подавляющее большинство сельского населения, агитаторы и пропагандисты. Хуторяне — особенно мужчины и парни — рассматривали увешанных оружием решительных, смелых партизан и расспрашивали гостей дотошно. Конечно, нельзя было ударить лицом в грязь, надо уметь умно ответить на любой вопрос. Тут уж комиссар без всяких скидок требовал от своих парней, чтобы они были настоящими представителями Красной Армии, партии, комсомола перед селянами.

Отряд пришел на хутор Мейерсов к ночи. Постучались, вошли комиссар Рашкевиц и командир отряда Эзерниек. Хуго сразу обнял их. Будто знал давно или они были родней. У него оказались сильные большие руки труженика, доброе лицо, а глаза с умным, лукавым прищуром. Он с первых же слов стал называть Рашкевица «Вецайс» — «Старик», хотя явно был старше комиссара. Недаром латышами это прозвище дается не за возраст.

За спиной Хуго стояли его жена Алида и их сын Улдис, светлый, в мать, семнадцатилетний высокий парень с пытливыми отцовскими глазами, по виду развитой и смелый. Таким он на поверку и оказался. На его открытом, юношески округлом лице отражались все чувства, которые он испытывал в тот момент.

— Улди,— велел отец,— пойди поохраняй нас, а мы настроим приемник на Москву. Наши гости, конечно, хотят послушать по радио советских товарищей.

И верно: отряд давно не слышал голоса Москвы и вообще был лишен связи с Большой землей.

Откровенное огорчение отразилось на лице парня, так ему не хотелось уходить. Но он послушно оделся, свистнул во дворе собаку, побежал с ней по дороге.

Девочки — Грета и Валда, двенадцати и десяти лет — смотрели без страха на вооруженных людей. Родители объяснили, что в дом пришли не враги, а друзья. Хуго сказал: есть и третья дочь, Илга, она комсомолка, ушла с армией, сейчас работает на оборонном заводе на Урале.

—...Хуго Мейерс,— прерывая минуту молчания, отданную воспоминаниям, произносит комиссар,— расскажи коммунистам свою биографию. Так полагается, друг.

Идет на захваченной врагом земле это гордое и мужественное, неповторимое партийное собрание. Алфред Рашкевиц волнуется больше всех. Это собрание — как вызов фашистам: мы, а не вы настоящие хозяева этого края. Мы, а не вы думаем о будущем,

о завтрашнем дне свободы без гитлеровцев, их лакеев из здешних кулаков, молодчиков, умеющих только убивать, неспособных бросить зерно в землю и взрастить его.

Хуго Мейерс рассказывает о себе: родился в 1898 году здесь, в уезде Алуксне. С мальчишеских лет работал, сначала на кулаков, а потом, когда они с Алидой поженились, на себя. Власти буржуазной страны упорно посылали полицейских и сборщиков налогов на хутор. Всё надеялись выведать, откуда у «красного Мейерса» симпатии к России, к Советам, чем они привлекают этого крестьянина.

— И узнали? — спрашивает с серьезным лицом командир отряда Волдемар Эзерниек.— Что ж ты им сказал?

— Нет,— поддерживая тот скрытно-лукавый, в латышском духе, с подтекстом, тон, отвечает Хуго,— я это утаил от них. Долго рассказывать. Еще в пятом году отец прятал рабочих из Риги, латышей и русских, а городовые и полицейские допытывали у меня о них, но уже тогда в семилетнем возрасте я был научен отцом конспирации и умел держать язык за зубами.

Все смеются.

Выступают рекомендующие: командир, комиссар отряда и боец Юрис Мелналкснис. Вопреки конспирации, Рашкевиц решил отступить от этого правила и вести протокол собрания. Потом документы — заявления, рекомендации, сам протокол — вложат в бутылку и спрячут вот здесь, в проеме между кирпичами в стене. «Когда временно оккупированная территория республики будет освобождена, Мейерсы должны будут передать документы в уком партии в Валку». Так решил комиссар, и теперь он следит, чтобы все, что говорится, секретарь занес в протокол.

Мейерсы, говорят единогласно все трое рекомендующих, согласились помогать без малейших колебаний. К зиме облавы совсем туго сдавили отряд, в котором осталось только пятнадцать человек. В эту пору на отношении к партизанам проверялись сердца. Помогали немногие, больше и отважнее всех — Мейерсы. Люди небогатые и к тому же находящиеся на заметке у властей за сочувственное отношение к Советам в сороковом году, они зарезали корову, чтобы накормить партизан.

«Хуго, друг, за убой скота без разрешения тебе грозит каторга, тюрьма, а то и расстрел»,— сказал комиссар Мейерсу. «Алфред, надеюсь, не хватятся,— серьезно ответил тот.— Не пропадать же вам с голоду, Старик».

Весной сорок третьего в округе действовало уже более сорока групп содействия партизанам — это до Латвии докатился отзвук великой победы на Волге. Из ЛШПД — Латвийского штаба партизанского движения — пришли связные; теперь в сельских районах было решено создавать партийные и комсомольские подпольные

организации, в том числе и здесь, в Анненской волости. Главная ударная сила в этих лесных местах — партизаны, поэтому подпольщики, латыши и русские, должны всячески помогать. Партийная организация отряда ставит перед подпольщиками задачу: усилить работу среди населения, нацелить преданных Советской власти людей на непрерывную, неослабевающую борьбу с фашистами. Начало этой деятельности налицо: принимаем в партию особо верных и преданных людей и начинаем — с товарища Хуго Мейерса. Пусть в поисках партизан кружит со своей сворой предводитель шуцманов палач Биезайс. Ни гитлеровцам, ни айзсаргам — местным фашистам — не дознаться о сегодняшнем собрании.

Точно так же единогласно, как Хуго, приняли после него в партию Алиду Мейерс. Хуго тут же назначили секретарем партийной организации Анненской волости — первой из подпольных организаций ВКП(б) Валкского уезда во время войны.

Вслед за партийным в доме Мейерсов состоялось комсомольское собрание отряда, на котором принимали в комсомол Улдиса. Он сумел создать в волости активную подпольную группу из молодежи — лесных рабочих, беднейших крестьян. В нее вошли русские и латышские парни и девушки. Вместо призыва в фашистскую армию ребят переправляли в партизаны. Тех, которых приходили с отнятым у врага оружием, принимали безоговорочно. Регулярную связь с Большой землей наладить пока не удавалось, и с оружием, взрывчаткой, листовками, газетами дело обстояло в отряде неважно.

Приняв Улдиса Мейерса в комсомол, коммунисты и комсомольцы отряда тут же назначили его секретарем комсомольской ячейки и дали поручение: организовать в округе выпуск агитационных листовок, пусть даже написанных от руки. Распространять их легче всего будет молодым парням и девушкам, настойчиво отметил комиссар, тем, которым Улдис доверяет. Сначала в их, Анненской волости, потом в Валкском уезде, а там, гляди, проторят дорогу и на Ригу.

— Ты понял меня, пуйк (парень)? — спросил Рашкевиц.

— Я понял и все выполню, товарищ комиссар,— сказал Улдис сурово.

Улдис по ближним хуторам собрал небольшую, но надежную группу своих ровесников. Молодые подпольщики переписывали сводки Совинформбюро, размножали воззвания Латвийской компартии и ЦК комсомола республики, а когда собиралось много материалов, уезжали в города — Валку, Алуксне, Валмиеру, Цесис. Везли туда продукты, а в потайных местах — тетрадные листки, заполненные ученическим неустойчивым почерком.

Отряд почти постоянно был в рейдах, но комиссар непрестанно

следил за деятельностью партийных и комсомольских ячеек, образованных по пути, особенно первых, в которые вошли трое Мейерсов.

Из своих поездок, а они порой длились не один день, Улдис возвращался похудевший, усталый и почти всегда довольный: овощи частью продал, часть их забрали хапуги-полицейские, но зато листовки все разошлись по назначению, иные наклеивали даже на стенах полицейских участков, пусть кангары — предатели — побесятся. Хуго и Алида не одергивали своего бесстрашного сына — понимали, что иначе он не может. А когда надо было переправлять к партизанам тех, кто, добыв оружие, шел драться с фашистами, не ждал Хуго, пока другие парни пойдут в лес, посылал своего сына.

Впервые с радостью партизаны читали «Тевию». Она была в печальной черной кайме. Продажная газетка по-собачьи скорбела из-за разгрома войск своих хозяев в Сталинграде.

По-прежнему не было типографии в отряде и писали листовки от руки. В Валкском, Абренском, Мадонском уездах десятки людей из антифашистских подпольных ячеек собирали для отряда сведения о передвижении воинских частей гитлеровцев, об их замыслах по уничтожению партизан, все чаще переправляли в отряд оружие и людей, стремящихся драться с гитлеровцами и айзсаргами — латышскими фашистами.

Вскоре после партийного и комсомольского собраний, в конце июля, гитлеровцы начали небывало большую карательную экспедицию против партизан и всех, кто им помогал. Немцам казалось, что теперь уж они окончательно подавят сопротивление местных партизан и подпольщиков. И тогда старший Мейерс, чтобы спасти партизан, рискнул собственной жизнью.

С косой на плече, будто идет на сенокос, прошел Хуго через цепи карателей, окруживших лес, предупредил комиссара — и партизаны скрылись в болоте, откуда выбрались, когда фашисты ушли.

Фашисты сумели схватить Хуго только с помощью предателя. Это произошло 24 февраля 1944 года. Недели за две до того партизаны взорвали полицейское управление, и взбешенные немцы и полицейские в который раз организовали против них карательную экспедицию. Зная, что если Мейерсы не уйдут в лес, то им будет плохо, комиссар Рашкевиц предложил Хуго: «Семью с собой. Скот с собой, а из вещей возьми что сможешь, и — с нами». Но не только из-за детей тот колебался:

— Ну ладно, Старик, я приду в лагерь, что я там буду делать? Улдис возьмет винтовку, а я что, дрова буду вам рубить? Я вам здесь нужен, Алфред! Это мой боевой пост. А Алида с девочками и Улдис пусть идут...

— Я не пойду,— ответил Улдис,— если шуцманы нападут, тебе одному от них не отбиться...

И в самом деле — стрелок из Хуго не получился бы: зрение неважное. Улдис был прав. Словом, все Мейерсы остались на хуторе. Комиссар скрепя сердце промолчал.

Потом уже партизаны узнали, как все случилось в тот день, 24-го. Когда поблизости от хутора появились полицейские, Хуго увидел их первым. И громко закричал, предупреждая своих об опасности. Потом побежал по лесной дороге, увлекая за собой всю полицейскую ораву подальше от дома. Ему было тяжело двигаться. Мешали туфли на деревянной подошве. Но километра два он пробежал, пока его не нагнали на лошадях. Избили, связали и привезли на хутор, стали допытываться, где партизаны. Но он не сказал ни слова, и его застрелили тут же, у сарая. (Там сейчас можно видеть мемориальную доску.) Вырыли яму и закопали. Кто-то из этих зверей на минуту опомнился и оказал Хуго единственную услугу: лицо убитого прикрыл его шапкой, чтоб земля не попала...

А потом они подступились к Улдису и стали его допрашивать. Появился какой-то немец, и Улдиса били при матери и сестрах. «Во зинд партизанен? — спрашивал фашист.— Во ист комиссар?» Шуцман по-немецки щелкал каблуками и оттопыривал локти, когда глядел в рот гитлеровцу. Но когда он поворачивался к Улдису и рявкал: «Где партизаны, где комиссар?» — лицо его из угодливого становилось свирепым. Так кангар вертел головой от немца к Улдису и все менял выражение на своей то рабьей, то палаческой физиономии. И щелкал каблуками, и бил юношу, и вытирал измазанные его кровью кулаки взятым у Алиды полотенцем, и кричал: «Где комиссар, ты скажешь наконец?» Но Улдис ничего не сказал. Как и его отец.

Утром мать и сына увезли в Валмиерскую тюрьму. Плача и обнимая в последний раз дочерей, мать только и успела шепнуть, чтоб завернутую бутылку с документами перепрятали — она не должна попасть в руки врагов.

Улдиса после каждой пытки гестаповские палачи спрашивали:

— Ну, щенок, будешь говорить, где партизаны, куда скрылся большевистский комиссар?

Но паренек смотрел на них с такой ненавистью, что только последний из глупцов мог надеяться на его признание.

— Я вас ненавижу и буду ненавидеть! И ничего не скажу!

Улдиса увезли в Саласпилс, «мельницу смерти» — так называли латыши страшный лагерь. Есть две версии его гибели: убит под Ригой в Бикерниекском лесу и погиб по дороге во время эвакуации, когда фашисты угоняли политзаключенных из Штутгофа на запад. В лагере говорили: то были походы смерти. Никто не знает, где моги-

ла Улдиса. А мать его Алида, прежде чем погибнуть, испытала ужас неведения о судьбе своего мальчика, ад Штутгофского и Бихенского лагерей. Но и она ушла из жизни несломленной.

Анненская волость после войны стала называться Мейеровской. Этого добился комиссар Алфред Рашкевиц. Он приехал на хутор, едва Красная Армия освободила эти места. Снял фуражку и заплакал. Плакал долго и безудержно, повторяя: каких людей мы потеряли и нельзя, чтоб их имена были забыты.

За всю войну партизаны единственный раз увидели своего комиссара в слезах.

Борис
КРАВЦОВ,
Герой Советского Союза

РЕКОМЕНДОВАЛ ПАРТОРГ

Одним из тех, кто на фронте рекомендовал меня в партию, был парторг нашего артиллерийского дивизиона Иван Афанасьевич Кравченко. Этот человек воплощал в себе все те черты партийного работника, которые присущи настоящему большевику ленинского типа, красному комиссару.

...Он был лет на восемь старше нас, девятнадцати-двадцатилетних юношей, но пользовался таким авторитетом, какому мог позавидовать иной отец или старший брат.

Лето 1943 года для меня особенно памятно. Шло наступление наших войск. Наступление трудное, натужное, но все-таки радостное. Как любил говорить наш парторг, «хоть оно и в муках добытое, соленым потом и кровью сдобренное, но теперь уже необратимое».

Летние месяцы степной Украины были нестерпимо жаркими. И не менее жаркими, подчас изнурительными были непрерывные бои. Я с бойцами своего взвода топографической разведки шел вместе с пехотой 60-й гвардейской стрелковой дивизии. А случалось и впереди пехоты. Задача наша заключалась в том, чтобы засекать расположение и огневые точки противника, передавать их координаты на батареи, а иногда и непосредственно корректировать огонь артиллерии.

Бывало, застопорится наступление — начинаем «вгрызаться» в потрескавшуюся от жары землю; душно, хочется пить, руки, ноги налиты свинцом. Кто-то взгрустнет: «Эх, мать честная, сейчас бы в прохладной хате холодненькой водицы да шматок сала с краюхой хлеба...» Смотришь, а в окоп, будто «востребованный» таким разговорцем, сползает наш парторг: «Ну что, гвардия, тяжко? Ничего, немного терпения. Скоро кухня припожалует — чуете, за курганом скифским уже дымком попахивает, старшина кашу, заправленную шкварками, везет. А сейчас берите мою фляжку, по паре глотков водички на брата хватит».

И потом пойдет разговор о прибывшем в дивизию пополнении, о предстоящем большом наступлении с выходом к Днепру. Умел парторг шуткой-прибауткой взбодрить и развеселить ребят, вдохнуть уверенность, поднять настроение.

В один из часов затишья старший лейтенант заговорил со мной о вступлении в партию.

— Ты, Борис, уже добре обстрелян в боях. С людьми умеешь ладить. Пользуешься авторитетом. Да и в общественной работе проявил активность — член бюро комсомола полка. К присвоению очередного звания представлен. Думаю, в партию пора. Что на это скажешь, лейтенант?

Хотя я и сам подумывал об этом, предложение парторга стало приятной неожиданностью. Ответил, что я, конечно, зà, но шаг очень ответственный. Да и кто даст рекомендации?

— Готов ты, готов! — убежденно, с приятным украинским «го» сказал старший лейтенант. Он ласково посмотрел на меня чуть прищуренными карими глазами. Особенный взгляд был у него.— От Сталинграда топаешь с боями, фашистов бьешь по всем правилам топонауки,— скаламбурил он.— Так кем же, по-твоему, пополнять ряды нашей партии? А рекомендацию я тебе первым дам.

Велико же было мое удивление, когда Кравченко извлек из планшета подготовленную им рекомендацию. Это тронуло меня до глубины души, хотелось обнять этого человека, сказать какие-то слова. Но на фронте не было принято давать волю чувствам. Я только и смог выговорить:

— Спасибо, товарищ парторг, за добрые слова. Доверие оправдаю!

В ту ночь, несмотря на большую усталость, я долго не мог уснуть. Перед моим мысленным взором, как в фильмоскопе, прокручивалась лента воспоминаний. Они переносили меня в Сталинград, в ковыльные степи Ростовской области. Тяжелые бои сорок второго... А дальше нас ждало освобождение лежащих в руинах городов и сожженных сел Харьковщины, Донбасса. Упорные, кровопролитные бои за Павлоград. В честь его освобождения 17 сентября 1943 года нашей 60-й гвардейской дивизии было присвоено наименование Павлоградской.

Именно в боях весны и лета сорок третьего я еще и еще раз убедился в беззаветной храбрости, в высочайшем патриотизме коммунистов. Клич: «Коммунисты, вперед!» — выражал сущность поведения партийцев-фронтовиков.

Среди них был и наш парторг Кравченко. Рослый, стройный, с высоким открытым лбом, этот общительный и доброжелательный человек всегда был в гуще солдат, особенно там, где трудно. Недаром его так любили бойцы и офицеры, ему поверяли сокровенное.

Вот память вернула меня к одному из эпизодов той весны сорок третьего. Шло наступление. Колонна нашего 132-го артполка двигалась вслед за пехотой. Видимость плохая, дождь со снегом, туман, холодный ветер. Вдруг с флангов и тыла разрывы снарядов,

стрекот пулеметных очередей. Оказывается, напоролись на танковую засаду. Да не просто напоролись, а попали в ловушку: немцы открыли огонь, пропустив вперед значительную часть нашей колонны.

Получилось так, что мой взвод оказался рядом с батареей 76-миллиметровых пушек. Последовала команда: «К бою!» Легко сказать «развернуть», «изготовиться». А как это сделать в непролазной грязи, под обстрелом?

В этой кутерьме я увидел замполита дивизиона капитана Сиятскова и парторга Кравченко. Они помогали разворачивать и устанавливать в положение «к бою» пушки. Подбадривали артиллеристов личным бесстрашием, сноровкой. Не прошло и двух минут, как наши орудия начали стрелять по врагу прямой наводкой. И было видно, как задымил шедший впереди тяжелый танк, левее вздыбился и резко остановился второй. Остальные стали разворачиваться или отползать задним ходом. И тут услышали мы громкий голос.

— Враг пренебрегает нашим гостеприимством,— весело кричал Иван Афанасьевич.— А ну-ка, гвардейцы, вдарьте им по крестам за непочтительное отношение...

До сих пор помню удары пушек — своих и немецких, дымовые столбы над чужими танками и бодрый «агитирующий» крик парторга. Десятки лет не заслонили тот бой...

Принимали меня в партию в конце июля. Помнится, происходило это поздним вечером, в период редко выпадавшего затишья между боями. Собрались коммунисты дивизиона в просторной для фронтовых условий штабной землянке. И хотя почти всех их я знал, волнение не покидало меня. Заметив это и перехватив мой беспокойный взгляд, Кравченко так дружелюбно улыбнулся и ободряюще встряхнул головой, что подступивший к горлу ком сразу откатился, и я более спокойно рассказал свою короткую биографию. Узнав, что мой отец иногда исполнял обязанности курьера при Ленине и мое раннее детство прошло в Кремле, где я жил с родителями до пяти лет, присутствовавшие на собрании так заинтересовались, что парторг вынужден был призвать к порядку:

— Давайте, товарищи, сначала решим вопросы, по поводу которых собрались. А Кравцову дадим первое партийное поручение — выступить завтра же с политинформацией, рассказать, что он знает от своего батьки о работе с великим вождем. Да и вообще рассказать побольше о столице нашей Родины, о Кремле.

— Согласны, согласны,— в один голос ответили мои однополчане.— А ты, лейтенант, готовься, одной информацией не отделаешься, расскажешь про Ленина и Москву-матушку все, что знаешь.

Потом мне задали вопросы по Программе и Уставу партии, по

приказам Верховного Главнокомандующего. Командир дивизиона капитан Ламин и начальник разведки старший лейтенант Сычев сказали добрые слова о моих боевых делах. Принят я был единогласно.

А после этого парторг Кравченко объявил о концерте.

Концерт. По нынешним понятиям было слишком громко сказано. А тогда... В тяжелейших условиях боевой жизни собраться на часок-другой вместе, попеть, почитать стихи, послушать рассказ, шутку, анекдот и тем самым отвлечься, снять с себя нервное и физическое напряжение было крайне необходимо. Парторг это не только прекрасно понимал, но и умел мастерски организовать небольшую импровизацию, самодеятельный «концерт».

В тот раз он обратился к сержанту Харитону Махибразюку, преподававшему до войны пение и музыку в школе:

— А ну-ка, дэрэгент — бог муз, продэрэжируй нам. Начнем, мабудь, с организующей и мобилизующей.

Харитон Терентьевич быстро выходит вперед, одергивает гимнастерку, как бы изображая фрак, и взмахивает «дирижерской палочкой» — длинным карандашом.

А сам Иван Афанасьевич запевает приятным баритоном: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Подхватывают певцы дивизиона — начальник разведки Аркадий Мартынович Сычев и старшина Александр Афанасьевич Терлецкий. А уж затем все мы дружно, с большим подъемом — припев: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна: идет война народная, священная война».

Пели украинские и русские народные песни, частушки. Особенно нравились «Заповіт», «Рэвэ та стогнэ Днипр широкий» Тараса Шевченко. И непременно — «Ой, на гори тай жэнци жнуть». Припев этой старинной казачьей песни «Гей, долыно̀ю, гей!» исполняется с гиком и посвистом. А если присутствовал гармонист (был у нас такой боец на батарее 122-миллиметровых гаубиц), то и отплясывали.

Как правило, концерты заканчивались песней «Бородино». В тот памятный день — тоже.

Ожесточенные бои завязались при подходе к городу Запорожье. Теперь из мемуаров полководцев знаю, какое значение придавалось этой операции. Вражеское командование прилагало максимум усилий к тому, чтобы остановить и задержать наши армии на подступах к Днепру. На этот могучий водный рубеж возлагались большие надежды, его готовили для длительной обороны. Наша задача состояла в том, чтобы не утерять стратегическую инициативу, с ходу форсировать реку. Кругозор начальника разведки артдивизиона (к тому

времени я принял эту должность от старшего лейтенанта Сычева) позволял мне четко уяснить пока одно: надо во что бы то ни стало и как можно быстрее прорвать оборонительное кольцо противника, освободить Запорожье и выйти к Славутичу. В беседах с командирами, политработниками бойцы в один голос заявляли о готовности бить врага.

И вот в тяжелейших двухнедельных сражениях Запорожский плацдарм врага был ликвидирован. 14 октября к исходу дня наши войска полностью овладели городом и изготовились к прыжку через Днепр.

Именно в этом городе 15 октября начальник политотдела дивизии гвардии подполковник Артамонов вручил мне партийный билет. Он был новым человеком — прибыл в 60-ю гвардейскую лишь в сентябре, в период боев на подходах к Запорожью. Но этого сорокалетнего политработника, всегда чисто выбритого, подтянутого, делового, вскоре уже знали в лицо многие бойцы дивизии. Да и как иначе: говорят, что в политотдельской землянке он бывал считанные часы (побриться, освежить подворотничок и малость прикорнуть), а остальное время проводил на передовой, в окопах.

И вот сразу же после освобождения города, где-то около полудня, меня вызвали в политотдел, разместившийся в чудом уцелевшем одноэтажном кирпичном домике. Собралось нас десятка два. Не успели одернуть гимнастерки и поправить головные уборы, как из домика стремительно вышел подполковник Артамонов. Обвел нас пристальным, доброжелательным взглядом и, вскинув руку к козырьку фуражки, поздоровался. Мы дружно ответили.

Вручая партийные документы, начподив крепко пожимал руку, поздравлял с высоким званием коммуниста и находил для каждого из нас слова, надолго западавшие в душу. Настроение было особенно приподнятое. Каждый, кто мысленно, а кто вслух, поклялся, что и впредь еще злее будут бить фашистскую нечисть, вплоть до ее полного уничтожения.

Все отлично сознавали, что впереди трудные бои за Днепр, за полное освобождение многострадальной Украины. И готовы были хоть в сей же час идти в наступление.

24 октября... Памятная для меня дата. Днем мы с радистом Мозгуновым хорошо поработали на НП, оборудованном на чердаке одного дома, составили довольно полную картину вражеских укреплений на острове Хортица. А к вечеру меня вызвали в штаб дивизиона, где капитан Ламин поставил задачу:

— Пехота идет на форсирование Днепра, высадится на Хортицу. Ты с группой разведчиков пойдешь следом за ними. Будешь корректировать наш артогонь.

Едва стемнело, спустились к берегу я и еще семь разведчиков,

9 Заказ 4650

среди них Мозгунов — лучший радист в дивизионе, мой ровесник, парень веселого характера, всегда с шуткой и улыбкой. Рация у него работала безотказно, он ее буквально нянчил и берег как самую заветную вещь. И именно на Хортице, можно сказать, она помогла нам остаться живыми.

...Ни звезд, ни луны — мы плыли в полной темноте. Саперы и связисты гребли напряженно. Немцы не видели нас, стреляли из автоматов наугад трассирующими пулями, строчили из пулеметов. Но все наши думы о главном: зацепиться и держаться до последнего, как было приказано. Мы обязаны отвлечь на себя силы врага, пока десантируются другие подразделения.

А вот и остров. Высадились. Мозгунов установил в бывшем немецком блиндаже рацию и вызвал левый берег. Сразу веселее стало на сердце, когда услышали спокойный, уверенный голос командира дивизиона Ламина. Успел лишь доложить ему, что мы форсировали Днепр и связались с пехотой. В эту минуту фашисты повели по нашим позициям минометный и пулеметный огонь. Я вызвал наши батареи. Несколько залпов — и у врага все стихло.

Каждый понимал — затишье кратковременное. Фашист постарается сбросить нас в Днепр.

Вскоре началось; часовой крикнул внутрь блиндажа:

— Немцы!

Они шли в полный рост.

Пехота открыла огонь. Атакующие залегли и поползли вперед. Мы вызвали огонь дивизиона и накрыли их.

Не могу точно сказать, сколько раз в эту ночь немецкие офицеры гнали свою пехоту в атаку. Тогда не до счета было. Кажется, восемь. И все мы их отбили. «Огонька, огонька добавьте!» — просили мы левый берег, и он добавлял.

Фашисты бросились в девятый раз. Автоматчики прорвались сквозь наш заградительный огонь, правый фланг был смят, многие бойцы погибли, а командир роты Кузнецов тяжело ранен. Как быть теперь? Бросил взгляд на Мозгунова: брови сдвинуты, весь превратился в слух. Разведчик, стоявший возле входа, упал, убитый осколком гранаты. И вот уже доносятся возгласы: «Рус, рус, сдавайс! Рус — капут!»

Слышим, бегут они по крыше блиндажа. Стреляем почти в упор, не поворачиваясь, не целясь, отходим глубже в проход. Мозгунов, не поднимая глаз, стоит возле рации. Он бледен, но по виду спокоен, старательно держит связь. Оба понимаем: мы окружены. Патронов нет — последний в моем пистолете.

— Давай огонь на нас! По нашему блиндажу! — закричал я левому берегу, и Мозгунов с таким азартом подхватил крик: «Давай огонь на нас!», будто бы это была радость, а не смерть.

Подошли к выходу. Поняли нас или нет, выполнят ли нашу команду?

И вот налетают с воем снаряды. Первый — перелет, второй — недолет. Следующие стали ложиться у блиндажа, один из них угодил в самое перекрытие. Поплыл, посыпался на нас песок. Мы согнулись в три погибели. Еще один снаряд — и на нас что-то стало рушиться. Засыпало, оглушило. Я прислушался: недалеко — стоны и крики, автоматной стрельбы уже нет — немцев смыло с блиндажа, как грязь в половодье.

Тогда мы поняли: надо воспользоваться минутой. Выбрались из песка. Я перевязал как мог себя и раненого Мозгунова. Поползли к своим, на левый фланг. У пехотинцев, к счастью, с левым берегом еще поддерживалась проводная связь.

Рассвело совсем. Немцы снова пошли в атаку. Я стал корректировать огонь по телефону, и наша артиллерия била и била по расположению противника, выручая нас...

Все же и этому длинному, как вечность, дню наступил конец. Ночью на Хортицу переправились наши. Мы были как тени — сутки в бою, все в крови. Наши подбросили пополнение и боеприпасы. Стали эвакуировать раненых.

— Ну, счастливо тебе! — сказал мне пехотинец капитан Боровиков.

На следующее утро в санчасти навестили меня командир дивизиона Ламин и парторг Кравченко.

Комдив объявил «от лица службы» благодарность за то, что оттянули вражеские силы на себя и наша пехота в других местах высадки успешно закрепилась, расширила плацдарм. Сказал всем бойцам — будут награды.

— Партийное тебе спасибо! — добавил Кравченко, обращаясь ко мне.— Не подвел, дважды нарожденный. Доверие коммунистов оправдал с честью.

После двухнедельного лечения — снова на передовой. Но воевать пришлось недолго. 31 декабря 1943 года был тяжело ранен. Пришел в сознание, когда меня погрузили на двуколку для эвакуации в госпиталь. Открыв глаза, увидел санитарку, военфельдшера и старшего лейтенанта Кравченко. Прощаясь, Иван Афанасьевич наклонил ко мне голову:

— Ну, Боря, дорогой мой человек, держись, лечись и возвращайся в часть. Обязательно. Мы будем тебя ждать.

И хотя, видя на глазах парторга слезы, я понимал, что надежды на такую встречу почти никакой, но все равно его слова, отношение не только глубоко тронули меня, но вселили надежду на выздоровление.

Лечили меня долго, в разных военных госпиталях. Там же узнал о присвоении мне звания Героя Советского Союза.

А когда в апреле 1944 года, после демобилизации, приехал домой в Москву, узнал от мамы еще об одном проявлении ко мне душевного внимания со стороны моих сослуживцев.

Случилось, что из-за ранения я долго не мог написать домой и мать, естественно, не находила себе места, волновалась. Но вот недели через две после моего предыдущего письма почтальон приносит пухлый конверт со штемпелем знакомой полевой почты. Но адрес написан незнакомой рукой.

— От неизвестности я вся похолодела,— рассказала мне потом мама.— Но делать нечего. Присела на краешек стула, распечатала письмо, стала читать.

«Фронт — город Москва!

Здравствуйте, многоуважаемая Гликерия Львовна! Разрешите передать Вам от имени всех бойцов, командиров и политработников нашего подразделения привет и благодарность за воспитание сына — героя Кравцова Бориса Васильевича.

...Ваш сын, Борис Кравцов, получил задание с группой бойцов форсировать водный рубеж и прочно закрепиться на острове.

Была темная, тихая ночь...»

Далее шло описание боя, сделанное в несколько приподнятом тоне и характерное для писем военной поры. Часто повторялось слово «подвиг», чего не бывало обычно в устных рассказах. Но для матери слова письма удивительно оживали. И это понятно, ибо они касались ее сына.

Письмо подписали офицеры гвардейцы Ламин, Сиятсков, Кравченко, Сычев, Подольский и Демьяненко, сержанты Николаенко, Легкодух и Володя Кравченко, рядовые Анохин и Сироткин. По почерку и стилю письма я сразу же определил: его автором был Иван Афанасьевич — никто другой, кроме парторга, так бы не написал. Он вкладывал всегда душу во все свои дела, в воспитание нас, молодых парней, ставших коммунистами на передовой; у него не было ничего малого, второстепенного. Оттого таким горячим, жгучим было это письмо, адресованное моей маме. Как и рекомендация, данная мне парторгом.

Сергей
СМИРНОВ

КОРСУНЬСКИЙ РАЗГРОМ

Заместителем командира по политической части у казаков генерала Селиванова был майор Григорий Калабердин, сибиряк, старый коммунист, в прошлом буденновец и комиссар одного из полков 1-й Конной, человек оригинального и резкого характера.

Калабердин пришел в казачью часть еще в 1941 году, когда она только формировалась. Комиссар гражданской войны, а в мирные годы один из руководителей сельского хозяйства в Сталинградской области, награжденный за свою работу орденом Ленина, он был политработником по самому складу характера, обладая редкой способностью коротко сходиться с людьми, находить путь к сердцу каждого бойца.

Ни один офицер в части не пользовался такой любовью казаков, как этот приземистый, плотный сорокапятилетний человек с крупными чертами широкого, открытого лица, с густыми русыми, без единой сединки волосами, с медлительной, спокойной речью и крепкой, перевалистой походкой бывалого кавалериста. Казаки по старой памяти до сих пор звали его «комиссаром» и по одному слову Калабердина готовы были идти в огонь и в воду. Меткие шутки, острые словечки и необычные поступки майора были известны чуть ли не всем селивановским казакам. Разные любопытные истории о нем любили рассказывать новичкам ветераны части, которые за глаза с фамильярной нежностью звали его «наш Гриша», зная, что Калабердин имеет привычку в кругу друзей-офицеров говорить о себе в третьем лице: «Гриша приказал». «Гриша увидел...»

Иной раз где-нибудь в пути, на коротком привале, рассядутся на разостланных бурках вокруг пожилого донца молодые казаки, и тот, хитро щурясь, неторопливо рассказывает, попыхивая цигаркой:

— Так вот, приходит этот политрук, Аганин по фамилии, к нашему Грише. Приходит с одной полевой сумкой и, как положено, докладывает: дескать, явился для прохождения службы. А Гриша ему сразу вопрос: «Где твой автомат?» — «Нету автомата».— «А пистолет где?» — «Обратно нету — не получил».— «Уходи,— говорит ему Гриша.— Ты не воин. Пусть ты политрук и с казаками беседуешь — это одно дело, а ежели понадобится — должен ты истреб-

лять врага не только словами, а и своею собственной рукой. Иди, говорит, и без оружия до меня больше не приходи...»

Сам Калабердин не расставался с оружием, хотя, отлично зная свои обязанности и свое место в бою, никогда не позволял себе без нужды идти в огонь. Но если наступал критический момент, если возникало минутное замешательство в рядах казаков, Калабердин тотчас же появлялся в боевых порядках. И эскадрон, прижатый к земле огнем противника, словно забыв об опасности, разом бросался вслед за ним, поднятый горячим призывным словом своего майора. Как ни удивительно это было, Калабердин, десятки раз ходивший в атаки вместе с казаками, ни разу не был ранен и среди донцов пользовался славой неуязвимого человека.

Таков был этот казачий комиссар. Сейчас, когда цепи донцов залегли на подступах к Новой Буде, что за Корсунь-Шевченковским, ведя перестрелку с противником, майор, с досадой вспоминая только что захлебнувшуюся атаку, напряженно искал выхода из создавшегося положения. Направляясь в сопровождении ординарца на командный пункт эскадрона, Калабердин заметил в небольшой лощине танк, около которого хлопотал экипаж. Это был один из танков, поддерживавших казаков во время недавней атаки. Сейчас танкисты, отъехав в укрытие, осматривали свою машину.

Калабердина внезапно осенила какая-то мысль, и он, на секунду остановившись, вдруг резко свернул в сторону и подошел к танку.

Молодой лейтенант в шлеме и комбинезоне поднялся навстречу подходившему майору. Лицо лейтенанта было хмурым,— видимо, он еще переживал неудачный бой и гибель товарищей.

— Командир танка лейтенант Красильщиков! — сухо доложил танкист.

Калабердин козырнул. Глаза его испытующе, пристально смотрели на лейтенанта. И вдруг он резко спросил.

— Ты не трус?

Лейтенант опешил.

— Что, что? — переспросил он, растерянно моргая.

— Надо ворваться на танке туда, в село.— Калабердин махнул рукой в сторону Новой Буды.— Сделать там панику, вызвать весь огонь на себя. Тогда наши артиллеристы накроют их пушки, а мы пойдем в атаку. Ясно? Дело для смелых! Трусишь — не ходи!

Лицо лейтенанта медленно залилось краской. Он смотрел на Калабердина с неприязнью, зло. И так же неприветливо и хмуро смотрели на незнакомого казачьего майора трое товарищей за его спиной.

— Зачем вы все это говорите, товарищ майор? — медленно, с негодованием в голосе заговорил лейтенант.— Трусов здесь нет, можете запомнить. Надо ворваться — так просто и скажите, а людей обижать... нехорошо, товарищ майор.

Калабердин порывисто схватил лейтенанта за руку.

— Лейтенант, друг... Ребята вы мои,— горячо и взволнованно сказал он.— Да не хотел я вас обидеть. Сами видите, какая обстановка,— душа болит. И не такое скажешь. Село-то брать надо.

Лица танкистов немного просветлели.

— Ну? Едете? — нетерпеливо спросил майор.

— Надо — значит, едем,— просто сказал лейтенант.— Смерть мы, товарищ майор, видели и гусеницами давили. Нас не напугаешь! Поедем, ребята? — обернулся он к экипажу и добавил поспешно: — Дело добровольное.

— Чего там добровольное! — сердито сказал механик-водитель, вытирая концами замасленные руки.— Надо так надо. Ясно — поедем.

Пять минут спустя Калабердин звонил по телефону в штаб танкистов. Лейтенант Красильщиков получил разрешение ворваться на танке в Новую Буду, чтобы вызвать на себя огонь противника. На наблюдательных пунктах артиллерии приготовились засекать огневые точки противника.

Экипаж машины шел на верную гибель. У танкистов почти не было шансов вернуться назад — они должны были принять на себя огонь всех немецких пушек.

С суровой сосредоточенностью четверо друзей в последний раз осмотрели танк. Командир танковой роты по очереди обнял всех четверых, и они один за другим заняли свои места в машине. Красильщиков встал в башне, не закрывая люка, и повел танк по лощине в сторону передовой.

Танк миновал лощину и стал взбираться на холм. По ту сторону высоты были окопы казаков, и в нескольких сотнях метров впереди начиналось село.

На самой вершине холма, в маленьком окопе, Красильщиков увидел Калабердина. Майор что-то кричал ему. Танкист приветственно поднял руку и ничего не ответил.

В тот момент, когда танк выбрался на гребень холма, появившись на виду у противника, лейтенант скрылся в башне, опустив за собой крышку люка, и машина, неистово взревев мотором, на полной скорости понеслась вперед.

Прежде чем противник успел опомниться, танк проскочил через окопы немецкой пехоты и вылетел на окраину села. Только тогда торопливо, вразнобой захлопали со всех сторон пушки.

Улицы Новой Буды поднимались вверх по склону горы, и из наших окопов было ясно видно, как танк несется по селу, стреляя из пушки и строча из пулеметов. Красильщиков бросал машину то вправо, то влево, и разрывы вставали у обоих бортов танка. А наши артиллерийские наблюдатели поспешно засекали вспышки выстрелов, нанося на карты расположение немецких батарей. И

сзади, за холмами, уже загремели первые выстрелы орудий, нащупывающих обнаруженные цели.

Калабердин, выпрямившись во весь рост в окопе, неотрывно следил за танком.

— Храбрец, храбрец! — кричал он стоявшему рядом с ним командиру эскадрона.— Гляди, как он дерется. А я в нем сомневался... Эх! Вот парень!

Видно было, как машина круто свернула за дом, вероятно, обнаружив там орудие или пулемет. Тотчас же из-за дома показались бегущие врассыпную фигуры немецких солдат. Танк снова вылетел на улицу и понесся обратно к окраине, так же виляя то вправо, то влево.

— Домой идет! — крикнул Калабердин.— Правильно лейтенант! Ты свое дело сделал. Теперь только бы прорвался.

Внезапно огонь разрыва блеснул на башне танка — снаряд ударил в машину. Танк приостановился, но сразу же вновь рванулся вперед. Калабердин с шумом вздохнул.

— Уцелел! Ну, быстрее, быстрее! — волнуясь, закричал он, словно танкисты могли услышать его.

Еще два снаряда ударили в броню, но танк уже миновал передний край и, стремительно взлетев на холм, съехал в безопасную лощину. Выпрыгнув из окопа, Калабердин побежал к остановившейся машине. Со всех сторон к ней бежали казаки, танкисты.

Передний люк открылся, и из танка вылез потный и грязный механик-водитель. Указав рукой на башню, он тяжело выдохнул:

— Лейтенант ранен!

Несколько человек вскочили на броню. Крышка башенного люка была сорвана взрывом. Из башни осторожно извлекли окровавленного лейтенанта. Его положили на разостланную палатку, и Калабердин, склонившись над ним, отер своим платком залитое кровью лицо раненого.

Красильщиков был еще жив, но последние силы уже оставляли его. Снаряд, сорвавший крышку люка, разорвался над его головой. Осколок пробил череп. Спасти танкиста было уже невозможно — он умирал.

Глаза лейтенанта были открыты, и, когда Калабердин нагнулся к его лицу, ему показалось, что танкист узнал его. Губы раненого беззвучно пошевелились, что-то блеснуло в его глазах, и тотчас же смертная муть погасила этот блеск. Глаза потускнели, и казаки, столпившиеся вокруг танка, видели, как их комиссар медленно выпрямился, стянул с головы шапку и вдруг, махнув рукой, зашагал куда-то в сторону, словно не хотел, чтобы другие видели его лицо.

За холмами дружно били наши батареи. По соседней лощине подходили к исходному рубежу танки, облепленные пехотинцами. Войска готовились к новому броску.

Но несмотря на то, что артиллерия сделала свое дело и часть огневых средств противника наши орудия успели подавить, огонь из Новой Буды все еще был сильным. Как ни рвались танки к селу, им не удалось преодолеть огневой заслон немцев. Десантникам пришлось рассыпаться в цепь и вместе с пехотой медленно, метр за метром, продвигаться вперед под огнем.

Казачьи цепи задерживались. На этом участке в упор по атакующим эскадронам били уцелевшая немецкая батарея и несколько пулеметов. Казаки поднимались и тут же снова ложились под градом снарядов и пуль. С каждым разом им все труднее было отрываться от земли. И когда до окраинных домов села оставались какие-нибудь полторы сотни метров, воля атакующих, казалось, была исчерпана, и цепь остановилась, не в силах сделать даже шага вперед.

В этот миг сквозь дробный треск перестрелки прорвался знакомый казакам зычный голос:

— А ну, вставай, донцы-молодцы! Вперед! За мной, соколы!

В первой цепи во весь рост поднялся Калабердин. С пистолетом в руке он, не пригибаясь, пошел вперед, прямо туда, откуда стреляла немецкая батарея. Тут и там вскочили на ноги другие казаки, устремляясь вслед за майором, стараясь обогнать его.

Но они не успели даже поравняться с ним. Калабердин резко остановился, словно наткнулся грудью на невидимую преграду, уронил руку с пистолетом, сделал еще один неверный, машинальный шаг и тяжело упал навзничь.

На мгновение все замерли — и те, кто бежал вперед, и те, кто еще лежал, прижимаясь к спасительной земле. И вдруг раздался пронзительный крик, полный боли и гнева:

— Гришу убили! Гришу!

— Гри-и-ишу! — прокатилось, как стон, по цепи.

И сразу, точно сама земля подбросила вверх этих людей, густые казачьи цепи встали, забыв о снарядах, о пулях, обо всем. Неудержимым, захлестывающим девятым валом волна атакующих понеслась к селу, и, все нарастая, гулко и грозно гремел над полем боя какой-то новый, еще незнакомый противнику боевой клич. Это не было «ура», с которым обычно ходили в атаку наши солдаты. Над трескотней пулеметов, над тяжелым, яростным топотом сапог повис рвущийся из сотен грудей протяжный крик:

— Гри-иша! Гри-иша!

Это слово гремело сейчас более страшно и зловеще, чем «ура». В нем, казалось, слились воедино и смертная тоска солдат о гибнущих друзьях, и неистовая ненависть, и жгучая жажда мести, и жестокая радость предчувствия близкой расплаты. Оно неслось от края до края по всей ширине казачьей цепи, и такая сила была в нем, что на правом и на левом флангах пехотинцы, вовсе не зная, кто

этот неизвестный им Гриша, тоже подхватили это имя, и, подняв его, как знамя, атакующие ворвались на улицы села.

А смертельно раненный казачий комиссар лежал, вытянувшись и закрыв глаза, на сырой, утоптанной ногами земле, не чувствуя холода, не слыша, как около него переговариваются люди и кто-то громко кричит: «Санитара скорее! Санитара сюда!» В его ушах еще звучал тоскливый и гневный, грозный и торжественный клич казаков — его имя.

С гребня холма тяжело сбежал низенький казак, придерживая на боку брезентовую сумку с красным крестом. Стоявшие вокруг майора офицеры расступились, и запыхавшийся санитар присел на корточки около раненого, дрожащими руками расстегивая сумку.

Калабердин открыл глаза, обвел взглядом столпившихся около него товарищей, санитара, уже приготовившего индивидуальный пакет. Слабо улыбнувшись, он шевельнул рукой.

— Не надо, Сидоренко,— хрипло сказал он санитару.— Не надо, братцы... Дайте Григорию Калабердину спокойно умереть.

Он снова закрыл глаза, глубоко, с присвистом вздохнул и вдруг, дернувшись всем телом, застыл. С минуту все молча стояли, всматриваясь в лицо майора. Потом санитар нерешительно протянул руку и приподнял его веко. Калабердин был мертв.

Смерть майора Калабердина ожесточила казаков. С небывалой яростью дрались они в этот день на улицах Новой Буды. Немцы тоже сопротивлялись отчаянно, и бой в селе длился несколько часов. Только после того как казаки и пехота стали обтекать село с двух сторон, грозя противнику окружением, он начал отходить из Новой Буды на север.

Но едва лишь первая группа немецких пехотинцев вышла на дорогу, выводящую из села,— она попала под огонь пулемета. Автоматчики рассеялись и залегли. Никто из них не мог заметить, откуда стреляет пулемет.

А из села выезжали машины, появились новые группы отступающей пехоты. И опять откуда-то наперерез им понеслись струйки пуль. Дорога была закупорена, единственный путь к отступлению закрыт.

Снова и снова поднимались немцы, но пулемет неизменно отвечал на все эти попытки точно пущенными, меткими очередями. Зато противнику удалось наконец определить, откуда ведется огонь. Еле заметные вспышки взблескивали из-под большой соломенной скирды, одиноко стоявшей на пригорке за селом.

В самом деле, пулеметчик стрелял оттуда. Оценив выгодное местоположение скирды, он выкопал себе окоп у ее подножия и огнем преградил дорогу противнику.

Этот пулеметчик был рядовой казак Коротецкий — молодой боец, отличившийся в недавних боях за Ольшану. Одним из первых

он поднялся в атаку вслед за майором Калабердиным, видел, как погиб комиссар и сейчас из этого окопа под скирдой открыл свой счет мести. Уже десятка два гитлеровцев валялись на дороге, скошенные его пулями.

Немцам была дорога каждая минута — наша пехота и казаки усиливали свой натиск на фланги. И отступающие спешили открыть себе путь для отхода. Автоматчики короткими перебежками продвигались по полю, окружая одинокую скирду. Но поблизости залегли товарищи Коротецкого, и их огонь не позволял немецким солдатам подойти к пулеметчику с тыла.

Однако и Коротецкому дорога назад была отрезана. Автоматчики, охватив скирду полукругом, своим огнем закрывали пулеметчику путь назад. Впрочем, казак не собирался отступать и зорко сторожил каждое движение противника.

Внезапно все увидели, как над скирдой стала подниматься тоненькая струйка дыма. Дым показался и с другой стороны — автоматчики подожгли солому зажигательными пулями.

Дым становился гуще, блеснули языки пламени, и вдруг огонь сразу жадно охватил всю скирду. Немцы толпой устремились на дорогу.

Но над полем вновь рассыпалась заливистая дробь пулемета. Толпа солдат опять в беспорядке отхлынула к селу, бросив на дороге трупы своих. А Коротецкий бил вдогонку скупыми, расчетливыми очередями сквозь пламя и дым, развеваемые порывистым ветром.

С обеих сторон перестали стрелять. И наши солдаты, и немцы смотрели на горящую скирду. В наступившей тишине слышалась только торопливая пулеметная строчка, и огромное, яркое полотнище пламени, гудя на ветру, развевалось над полем, как знамя, победоносно водруженное на черном, вымокшем холме.

Дробь пулемета раскатилась в последний раз, резко оборвалась, и все затихло. И сразу пламя над скирдой стало спадать, как медленно и торжественно спускающийся к земле флаг...

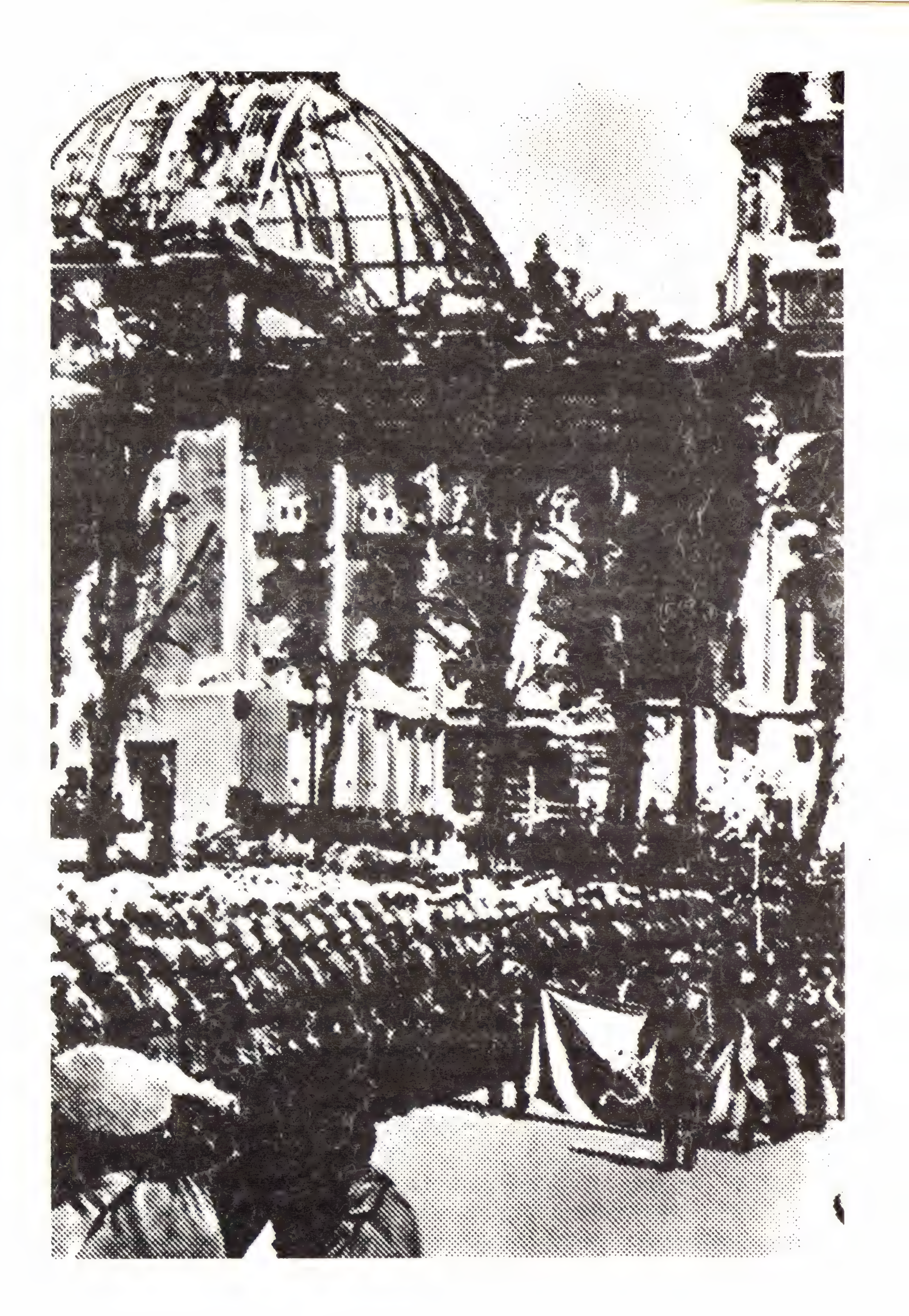
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, МЫ ПОБЕДИЛИ!

ТРИ ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

За время наступательных боев советские войска освободили около полутора миллионов квадратных километров оккупированной врагом территории, продвинулись на запад почти на 2000 километров, вышли на большом протяжении фронта к нашим границам и вступили на территорию Румынии...

В ходе войны полностью провалились все внешнеполитические расчеты и планы гитлеровских захватчиков-империалистов, гитлеровский разбойничий блок обанкротился, а союз свободолюбивых народов вырос в несокрушимую силу и имеет теперь все возможности разрушить разбойничье гнездо фашистских агрессоров в Европе, покарать виновников страданий и бедствия народов, пресечь возможности повторения захватнических войн.

Совинформбюро
(к оперативной сводке
за 21 июня 1944 года)



Геомар
КУЛИКОВ

ВСЕГДА С БОЙЦАМИ

Лето сорок четвертого в Белоруссии выдалось щедрым на дожди и грозы. Радоваться бы им, дающим силу и рост лесам, полям, травам. Но над краем бушевали иные грозы — военные.

В один из июньских дней, примерно через неделю после передислокации саперной бригады в район Рогачева, парторг 2-го батальона старший лейтенант Сурен Никоян отправился с разведчиками на передний край. Вышли в вечерних сумерках, чтобы затемно миновать неблизкие передовые линии наших траншей и выбраться до рассвета на нейтральную полосу. Двигались лесной чащобой, перелесками, болотцами. Впереди — сержант, знающий путь, следом Никоян, за ним двое солдат. Идти было тяжело. Ноги поминутно оскальзывались на пропитанной влагой земле, местами под ними чавкала болотная жижа, и дорога отняла больше времени, чем предполагалось.

В расположении стрелковой части миновали несколько часовых — сержант вполголоса обменивался с ними паролем и отзывом — и скатились, наконец, в оплывшую траншею, ту самую первую, за которой лежала уже ничейная земля, а дальше таились враги с их обороной.

Разглядев чужих, маленький чернявый пехотинец в громоздкой, не по росту, шинели, промокшей и тяжелой, крикнул:

— Товарищ лейтенант, гости!

Никоян догадался, что их ждали, и, действительно, почти тотчас из незамеченного им прежде блиндажа, накрытого в два наката бревнами, вынырнул, укрываясь на ходу плащ-накидкой, младший лейтенант, совсем молодой, почти мальчик, в скрипучих ремнях и новом, не обношенном еще обмундировании. Все это Никоян ухватил взглядом в свете стремительно взвившейся немецкой ракеты.

Неведомо как, данные о передвижении войск суть сведения сугубой секретности, но в стрелковой части — солдатский телеграф сработал безотказно — все были осведомлены о том, что за спиной во втором эшелоне объявилась инженерно-саперная, да не простая — штурмовая бригада. Было похоже, что на их растреклятом мокром и болотистом участке готовится наступление и,

возможно, серьезное. Поэтому появление Никояна с разведчиками вызвало повышенный интерес, и в воздухе повис вопрос, который командир взвода, младший лейтенант, похоже только из училища, не стерпел, задал вслух:

— Не слышно, когда?

— Кто знает? — пожал плечами Никоян.

Надо ли говорить, кабы и знал он день начала наступления, не назвал его. Но тут ответил чистосердечно. Если кому что известно, то не на его, батальонном, уровне.

Однако младший лейтенант, и солдаты, и сержанты молчали, во все уши слушая короткую перекидку, ею вполне удовлетворились. Никто, включая младшего лейтенанта, разумеется, не рассчитывал услышать точную дату наступления. Не о том была речь. Хотелось получить подтверждение своим догадкам, что наступление в скором времени предполагается именно на их участке фронта. И они его получили. Слова старшего лейтенанта нельзя было истолковать по-иному.

— Светает,— сержант-разведчик глянул на небо,— пора.

— Конечно,— поспешно согласился младший лейтенант и обратился к Никояну: — Может, дать провожатого?

Никоян вопросительно глянул на сержанта. Тот отрицательно повел головой.

— Спасибо, дойдем.

— Счастливого пути!

Первым, опершись на руки, перемахнул через бруствер сержант, за ним Никоян и двое разведчиков.

Близился рассвет. Четче проступил и обозначился рельеф местности. Дождь почти прекратился. В воздухе лишь стояла влажная дымка. Пригибаясь и прыгая с кочки на кочку — под ногами хлюпала уже не дождевая — болотная вода,— пробрались еще метров на двести вперед.

— Стой! — услышал Никоян приглушенный голос сержанта.— Дальше нельзя, мины.

Притулились на склоне бугорка, наполовину скрытого зарослями.

— Черт,— выругался один из разведчиков.— Вода кругом, ступить некуда.

— Мокрее, чем есть, не будем,— хмуро отозвался другой.

— Разговорчики! — сердито оборвал сержант.— Не у тещи на блинах — немец под носом.

Его, должно быть, стесняло присутствие Никояна, хотя и не непосредственного командира, а все ж офицера.

— Ты на меня не гляди,— сказал Никоян сержанту.— Выполняй свою задачу.— И, пригибаясь, подался к другому бугорку, защищенному ивовой порослью, с которого открывался лучший обзор местности.

— Осторожнее, товарищ старший лейтенант!

— Постараюсь!

Так вот она какая, река с ласковым, отдающим глухой и таинственной древностью именем — Друть. Неширока — здесь, должно быть, метров двадцать. Но — и в этом вся загвоздка — течет посреди обширной заболоченной поймы. Что танки или артиллерия — пехоте не пройти без надлежащего инженерно-саперного обеспечения. Где-то за рекой и кустарником, еще до леса, расположенного километрах в полутора от бугорка, подле которого присел Никоян,— немцы, их огневые точки, дзоты, передняя линия траншей. На первый взгляд будто вымерла эта полоса. Но тишина и покой обманчивы, и безлюдье тоже. За месяцы, пока фронт стоял неподвижно, противник времени даром не терял, создал сильную глубокоэшелонированную оборону. Никоян отчетливо представлял себе карту, сложенную гармошкой, которую носил всегда в планшете. Это была карта европейской части Советского Союза, где он с давних пор отмечал все изменения, происходящие на фронте, некогда удручающие, а сейчас несравнимо более веселые. Теперь он эту карту использовал во время бесед и политинформаций. Так вот, нынешняя линия фронта, проходя западнее освобожденного от блокады Ленинграда и рассекая территорию Румынии, в центре образовывала огромный выступ, обращенный своей вершиной на восток. Немцы называли его «белорусским балконом», и был он не чем иным, как все еще оккупированной значительной частью Советской Белоруссии.

И наше командование и немецкое отчетливо сознавали значение «белорусского балкона». Гитлеровцы рассчитывали использовать его в качестве плацдарма для возможных своих наступательных операций. Впоследствии выяснилось, что группе армий «Центр», державшей здесь оборону, была дана установка: рубежи Белоруссии защищать, как рубежи самой Германии. Советские же военачальники ставили своей задачей эту оборону взломать, освободить Белоруссию и Литву и продолжить наступление на запад, к границам Восточной Пруссии и берегам Вислы. Такова была ситуация начала июня 1944 года.

На местности Никоян начал в полной мере понимать замысел нашего командования, который, как все по-настоящему мудрое, был поразительно прост: где угодно немцы ждут летнего наступления 1944 года — а что оно будет, никто, в том числе и гитлеровское руководство, не сомневался,— только не здесь, в этих гиблых топких местах. Но именно тут, судя по передислокации бригады, намечалось нанести один из решающих ударов.

Сколько ни вглядывался Никоян, ни малейшего движения на вражеской стороне не усмотрел, словно вымерло все.

Строго говоря, парторгу батальона совершенно необязательно

было идти на передний край. И, несмотря на военную искушенность, Никоян ничего особого не высмотрел. Но он и не ставил перед собой такую задачу. Для этого была выслана инженерная разведка, с которой он шел. Трое ребят — а им на смену придут следующие — будут недвижно и внимательно наблюдать за вражеской обороной. И, как всегда, такое наблюдение даст свои результаты: где-то шевельнется куст, мелькнет фигура солдата, взовьется ракета, полыхнет огнем пулемет — и все это будет отмечено, учтено, чтобы в конце концов дать панораму переднего края, необходимую для подготовки и проведения наступления. У Никояна была иная цель. Ему хотелось посмотреть своими глазами, где, в каких условиях придется действовать его батальону, его товарищам, что их ждет, как и к чему готовиться. Он был вполне доволен своей вылазкой.

Дождь принимался по новому заходу, и, пользуясь им как завесой, предупредив, разумеется, разведчиков, Никоян отправился в обратный путь.

Наскоро перекусив по-солдатски из котелка не совсем еще остывшим завтраком, почти сразу столкнулся с комсоргом батальона Васютиным, который, как оказалось, его уже разыскивал. Они любили друг друга и надолго не расставались. В батальоне шутили: наговориться не могут.

— Впечатление?

— А у тебя? — Васютин тоже успел побывать на передовой.

— Одолеем!

— А если серьезно?

— Если серьезно, трудненько придется. Но местечко выбрано будь здоров. Фашисту в голову не придет, что мы можем ударить именно тут.— Замысел парторг оценил по достоинству — любил все яркое, талантливое.

— Верно! Но, милый, всем придется попотеть, и нам с тобой не меньше других. Кстати, с новым пополнением знакомился?

— Разговаривал. Всего помаленьку. А потеть — не кровь проливать. Фашистов непугаными застанем, ведь не ждут...

Они хорошо понимали друг друга. С каждым новым пополнением командирам и политработникам одновременно прибавлялось и забот. С маршевыми ротами в их испытанную в боях часть вливались бойцы необстрелянные, прошедшие лишь первую, весьма короткую и подчас слабую подготовку в нелегком саперном деле. Большинство их призывалось с территорий, бывших около трех лет под гитлеровской пятой. Разный прибывал народ. И люди, сражавшиеся в тылу врага, умелые и дерзкие, подчас до безрассудства. Были они самой войной проверенные, и из них рекрутировались отважные, не знающие страха разведчики и отличные минеры. Были насмотревшиеся сверх меры на жестокость гитлеровцев,

часто лично от них пострадавшие. Они рвались в бой, чтобы мстить. Однако встречались замкнутые и отчужденные, которые вызывали невольную настороженность. Никоян старался не показать к таким предубеждения. Но разобраться, кто есть кто и на что годится, очень хотел уже сейчас, до начала наступления.

В июньские дни 1944 года здесь, на Белорусских фронтах, активно шло пополнение партийных и комсомольских организаций, изрядно поредевших в боях, за счет лучших бойцов и командиров, отличившихся во время последних операций. И эта ответственнейшая задача, конечно, также лежала на политработниках.

Парторг 2-го батальона Сурен Никоян и комсорг Василий Васютин не только жили душа в душу, но и работали, как говорится, рука об руку. Были они оба старшими лейтенантами, родственными по занимаемым должностям. Крепкое и давнее боевое товарищество соединяло их. И, однако, в их отношениях существовала определенная, отнюдь не вредящая дружбе дистанция. Это сейчас у обоих на погонах по три вроде уравнивающих звездочки. А в начале их совместного боевого пути, осенью сорок первого (их часть только формировалась), Никоян был заместителем политрука, маленьким, но командиром, а Васютин — бойцом, вчерашним девятиклассником, досрочно и добровольно вступившим в Красную Армию. Деятельный и цепкий, он тогда уже, в горестные дни отступления, обратил на себя внимание командиров и политработников, в их числе и Никояна. В свою очередь и Васютин, как говорится, «положил глаз» на невысокого, ладного, серьезно-деятельного кавказца с четырьмя треугольниками в петлицах, горячего, подвижного, но умеющего сохранять самообладание в самых критических боевых ситуациях, которых хватало в сорок первом. Даже внешний вид Никояна — тщательно выбрит, сапоги блестят, свежий подворотничок, гимнастерка аккуратно заправлена под ремень — вызывал уважение, тем более в пору, когда, казалось, было не до выправки. Но еще больше Сурен Амазаспович Никоян покорил Васютина, и не его одного, совершенно несокрушимой верой в нашу победу.

В беседах с солдатами он словно размышлял вслух:

— Кто только не пытался с древнейших времен растоптать Русь, а что из этого получилось? Ровным счетом ничего! Отбили русичи бесчисленные набеги половцев и печенегов и дошли до самого Константинополя...

Парторг Никоян хотел такими историческими примерами показать: да, случались трудные годины, удавалось врагу вторгаться на наши земли, одерживать временные победы, но в конечном итоге он неизбежно терпел поражение.

Однажды в минуту, прямо сказать, наитруднейшую — часть

отступала, потери большие, третий день лил проливной дождь, все вымокли до нитки, кухни отстали — на коротком привале один из бойцов вздохнул горестно:

— Сила-то какая прет... И не мудрено: вся Европа на Гитлера ишачит...

— Ну и что? — по обыкновению мгновенно отозвался Никоян.— Выдохнутся. Вот, например...

Кто-то зло и насмешливо кинул:

— Про печене-е-гов опять...

— Зачем? — быстро обернулся Никоян.— Можно и поближе. Про походы Антанты слышали? Всего двадцать лет тому назад было. Я уже в школу ходил...

И принялся рассказывать. Слова яркие находил, и оттого слушали внимательно, хотя говорил о привычно знакомом. Молодая Советская республика, в обстановке развала хозяйства и голода, отбивалась от объединенных сил главных капиталистических государств... Заинтересовал, убедил, энергии прибавил замполитрука.

После привала поднимались бойцы в другом настроении: уверенные не только в справедливости нашего дела, но и в его неодолимости... И теперь фронтовой день усилиями парторга как бы обретал историческую протяженность. Он становился не просто сегодняшним, незадачливым и тяжким солдатским днем, но одним из дней, которому предшествовали годы и столетия. Быть убедительным и доказательным в беседах Никояну помогала его довоенная мирная профессия преподавателя истории. Солдаты, да и многие офицеры поражались, какую прорвищу знаний вмещает никояновская голова.

Разумеется, не одними далекими или близкими историческими примерами оперировал парторг в своей работе с бойцами. Он использовал всякую возможность текущего дня.

Однажды Никояну, в бытность его политруком роты,— это случилось осенью 1942 года во время сражения за Кавказ — попало на глаза письмо убитого гитлеровца.

— Послушайте, ребята, что пишет этот фашист домой.

И принялся читать: «Когда мы станем здесь, на Востоке, полными хозяевами, мы закроем навсегда все их школы, университеты и институты. Для того чтобы мой дворник хорошо подметал улицу, ему вовсе не нужно образование». Никоян ликовал: сами себя разоблачают! Армейская газета «Вперед к победе» от 7 октября напечатала отклик бойца-комсомольца Н. Головина: «Это письмо фашиста меня прямо за сердце схватило. Понял я: фашист на мечту мою посягает. Вспомнилась мне мать моя. Сколько труда она положила, сколько ночей не досыпала, чтобы сына выучить, а стань фашист хозяином — ни к чему все эти ее старания, он,

подлый, в дворники меня определить хочет. И знаете, будто меня толом зарядили, вот-вот взорвусь от злости. Сказал я себе тогда: ты мечтал, Головин, изобретать машины, а сейчас изобретай, как побольше гитлеровцев истребить.

Я сапер. Моя специальность — мины. Понастроил я для фашистов ловушек и, когда пошли они ночью в атаку, слышу: взрываются гитлеровцы на моих минах. Ну, думаю, этим уже не хозяйничать надо мной. Вскоре узнал, что идет разведка в тыл. Попросил, чтобы меня взяли. Мне тогда повезло. Наскочил на офицерский блиндаж. Не то совещание, не то гулянка была у господ офицеров. Вот, думаю, сидят те, кто меня в скотину превратить хочет, кто стремится меня со свету сжить. Бросил я в блиндаж две гранаты. Ну и эти уже не будут надо мной хозяйничать».

Политрук Никоян прекрасно понимал, что его слово обретет в глазах бойцов тем больший вес, чем более будет подкреплено делом, личным примером. Зовешь вперед — значит, сам в нужный момент должен быть впереди. Поэтому нередко ложился в одну цепь с саперами и стрелками, вместе с ними ходил на боевые задания. Он нужен был красноармейцам — и они нужны были ему.

Особенно запомнилось 12 сентября сорок второго года. Рота вела работы на переднем крае 80-го гвардейского стрелкового полка.

— Копай, ребята, веселей! — то ли подгонял, то ли подбадривал ротный лейтенант Ревунов.— Противник не за горами...

— Фашисты! — внезапно крикнул кто-то.

И верно, без артподготовки, без единого выстрела приближались они, шагали в рост, рукава по локоть засучены, автоматы наизготовку.

— Берут на испуг,— заметил старший сержант Николай Черняховский и, вглядевшись в странную походку идущих, с изумлением воскликнул: — Да они, похоже, пьяные...

Как выяснилось потом, так оно и было.

Саперы побросали шанцевый инструмент и — за оружие. Ударили пехотинцы из пулемета, саперы из автоматов. Противник пустил в ход артиллерию, минометы и даже авиацию.

— Не торопиться! Стрелять прицельно! — командовал Никоян.

И пошло... Целый день длился бой. Восемь раз кидались пьяные шеренги на наши позиции, и каждый раз саперы и стрелки отбрасывали их назад. Не единожды с наганом в руках Никоян поднимал бойцов в контратаки. Выстояли!

Сложное чувство подчас испытывал учитель Сурен к своим товарищам, семнадцати-восемнадцатилетним ребятам. Им бы у классной доски отвечать заданный на дом урок, рассказывать про Крестовые походы или войну Алой и Белой розы, а они третий год на жестокой войне историю вершат.

Что саперы — труженики войны, верно, но Никоян бы сказал точнее: чернорабочие. Это ближе к истине. Многотрудная пехота и та порой «загорает» в обороне, ожидая свою минуту, когда с замиранием сердца и холодом под ложечкой каждому нужно будет перекинуться всем корпусом через бруствер и устремиться навстречу вражескому огню. А сапер, наступление ли, оборона — все одно вкалывает: валит лес, таскает бревна, сколачивает мосты, копает землю или, того веселей, бродит тенью с миноискателем или двухметровым щупом по землице, на которую простому смертному и ступить боязно...

Комсомольская часть с сорок первого до нынешнего сорок четвертого прошла трудный, но славный путь. Позади битва за Ростов — одна из первых наступательных операций Красной Армии в Великой Отечественной, бои за Кавказ, а потом за Витебск и Оршу. Бессчетные тысячи мин сняли за это время, бесчисленное множество поставили. Проложили сотни верст дорог и гатей, вырыли многие километры траншей, построили десятки мостов, сотни долговременных огневых точек и блиндажей.

История части давала политработникам богатейший материал для воспитательной работы, и Никоян постоянно и с неизменным успехом его использовал.

Через пару дней после похода на передний край он велел Васютину собрать новичков для беседы.

— Потолкуем о боях за Смоленск. Попроси, чтобы из первого батальона выделили двоих-троих, бравших высоту 233,3.

Расположились на поляне, щедро усыпанной свежей щепой, кудрявыми завитками стружек, опилками. Вовсю шла подготовка к наступлению, и солдаты из пополнения с любопытством наблюдали, как из ровного осинника изготовлялись макеты орудий, которые должны были обмануть противника, плелась диковинная обувь — мокроступы, по утверждению бывалых саперов, совершенно незаменимых при переходах через болото.

— Вы все уже знаете, что нашей 1-й штурмовой комсомольской инженерно-саперной бригаде присвоено имя Смоленская. Почему? — Никоян сделал паузу.

Молодые непривычные солдаты, от усталости буквально валившиеся с ног, были рады передышке. Свернули самокрутки, благо старший лейтенант позволил, и приготовились слушать.

Однако очень скоро были забыты и курево и усталость. То, что рассказывал парторг, походило скорее на сказку, чем на быль. Но нет, здесь же, рядом с ними, сидели ребята из 1-го батальона, участники тех событий.

Что и говорить, взятием высоты 233,3 можно было гордиться!

Полтора года противник вгрызался там в землю, создавая мощный узел сопротивления. С высоты открывался прекрасный

обзор местности, справа и слева тянулись заросшие кустарником, почти непроходимые болота. Не полагаясь на естественные преграды, немцы возвели непреодолимую, как им казалось, систему инженерных сооружений: дзотов, тяжелые цельнометаллические колпаки для которых привезли из Германии, ям-ловушек, блиндажей, траншей и ходов сообщения, минных полей. В подземных бетонированных убежищах были оборудованы жилые помещения, склады, мастерские и даже клуб и баня. Гарнизон состоял из тех самых эсэсовцев, что наводили ужас на страны Европы и у нас проявляли крайнюю жестокость. Вдобавок высота была окружена глубоким, длиной около километра противотанковым рвом.

Орешек и впрямь оказался твердым. Три дня бились подразделения, пытались взять высоту. И безуспешно.

Было решено ввести в бой саперов-штурмовиков. Вооруженные гранатами, автоматами и армейскими ножами, они до дерзости внезапным вытренированным броском ворвались в траншеи эсэсовцев. Вот тогда-то по немецким частям и разнеслась молва о «стальной пехоте», которую ввели русские и которую, похоже, нельзя одолеть: ее не берут пули. В этой легенде была доля истины. Штурмовики-саперы были действительно экипированы необычным образом: грудь защищали стальные пуленепробиваемые щитки, голову — каски. Но главное, конечно, было не в этом. Вся наша армия, ее бойцы неизмеримо выросли и окрепли, обрели техническое оснащение и, что не менее важно, ценнейший боевой опыт. Врагу, даже когда он опомнился и бросился в контратаку, не удалось вернуть высоту.

Рассказал Никоян еще о том, как к начальнику штаба соседнего 3-го батальона капитану Шуклину впервые попали фотографии казни Зои Космодемьянской. Они были сделаны немецким офицером и обошли потом все газеты... Оцепенели от гнева бойцы, слушая парторга.

Стремительно катились дни, до отказа наполненные занятиями и трудной саперной работой, все более уплотняясь по мере приближения решающего часа, того самого, когда взовьется сигнальная ракета и вздрогнут земля и небо от могучего артиллерийского грома.

И не только слово, обязательно дело — оружие политработника. Потому часто и обходил Никоян вместе с комсоргом подразделения. Завернули как-то к группе новичков, которых обучал восемнадцатилетний «старослужащий». Васютин обратил внимание на небрежную работу солдата с белесыми бровями и ресницами. Не утерпел — сделал замечание:

— Твою мину противник за километр увидит. Так не годится.

— А вы бы показали, товарищ старший лейтенант, а? Чего вам стоит!

Солдаты притихли, с интересом наблюдая, как отреагирует молодой, едва не одних лет с ними комсорг.

— Давай мину.

Солдат, не ожидавший такого оборота, протянул узкий деревянный ящичек противопехотной мины.

— Кругом! Пять шагов вперед — марш! — скомандовал ему Васютин.

Чуть не строевым, хоть и неловким шагом двинулся солдатик.

Васютин взял у сержанта малую саперную лопату, нагнулся, сделал несколько мгновенных, почти неуловимых движений — и словно не трогал никто девственный покров дерна. Солдат не успел сделать последнего шага, последовала новая команда:

— Кругом! Возьмите у товарища щуп и найдите мину.

Солдат, решивший, что его ждет наказание, просиял.

— Есть взять щуп и найти мину, товарищ старший лейтенант!

И принялся внимательно разглядывать землю подле Васютина, понимая, что далеко тот отойти никак не мог. Не обнаружив никаких видимых признаков нарушения травяного покрова, пустил в ход щуп. После пяти минут его безуспешных поисков начался хохот товарищей:

— Отвоевался! Заказывай носилки...

— Вот так надо маскировать мины, товарищ боец,— просто и спокойно сказал комсорг.

Настала наконец последняя ночь перед наступлением. Саперы должны обеспечить действия ударной группы 3-й армии, находившейся на правом фланге их 1-го Белорусского фронта. В задачу входило прорвать вражескую оборону севернее Рогачева, а потом их «троечке» вместе с другими армиями фронта предстояло окружить и уничтожить группировку, сосредоточенную в районе Бобруйска.

Враг здесь засел основательно: пять сильно укрепленных рубежей по берегам рек не шутка!

Второй штурмовой батальон и 40-й инженерно-танковый полк, приданные 348-й стрелковой дивизии, вместе с полком самоходной артиллерии были обязаны обеспечить прорыв обороны противника, проделать в его минных полях девять проходов, пропустить через них самоходчиков и танкистов.

Неспокоен передний край. Постукивают «сонные» пулеметы. Слышатся автоматные очереди. Нет-нет да чавкнет в болоте мина. Осветительные бомбы — «фонари», как их называли солдаты,— повисают в небе. Впереди минные поля свои и противника. Ребята работают по трое, на ощупь. Первый вставляет во взрыватель предохранительную чеку, второй перекусывает проволоку, третий выворачивает взрыватель из мины. Все верно, четко, у иных даже артистично.

Никоян и Васютин тут же, поблизости. Провожают своих, подбадривают. Дают советы. Они довольны своими саперами. Дел невпроворот. Надо обезвредить сотни мин. Те, что уж слишком опасны, зацепляют «кошками» — крючьями на веревках или подкладывают под них взрывчатку, чтобы в нужный момент взорвать на расстоянии. Колышками обозначают проходы через минные поля, да так, чтобы противник их не заметил. Колышки с нашей стороны отесаны и видны, с немецкой — сливаются с местностью. Нужно заложить фугасы под проволочные заграждения. Да мало ли чего еще...

Парторг и комсорг внимательно всматриваются во все, что происходит на переднем крае, тихо перебрасываются словами.

— Похоже, дело идет к концу,— замечает Васютин, вглядываясь в темноту.

— Да, скоро рассвет, но успеем.

— Я не о том. О войне...

— Ну, до этого далеко. Но идем, как говорится, в правильном направлении. Определенном самой историей.

— Хочу остаться в армии. Между прочим, с детства мечтал быть военным. Профессия не из легких, да ведь пока еще ох как нужна.— Нечасто открывается комсорг так, как сейчас.

— А меня ученики ждут, новые. Прежде чем человек станет солдатом, генералом, летчиком или инженером, ему в школу приходится ходить, так ведь? — Говоря, парторг неотрывно наблюдает за нейтральной полосой.

Взлетел и повис в небе новый «фонарь». Потом еще один — справа. И еще — слева.

— Светят, гады! — нервничает Васютин.— Почуяли неладное, что ли? Честное слово, легче самому быть там, на минном поле, чем ждать тут...

— А мы с тобой там и есть. Личная храбрость политработника — одна сторона дела. Вторая — смелость и твердость духа их бойцов. Так что, милый, оба мы с тобой держим там экзамен.

— Выдержим?

— Надеюсь... Ну, пора расходиться. Оставайся здесь, я — в соседнюю роту.

Светлеет. Напряжение растет. Скорее бы... И вот земля и небо содрогаются от грома, стена огня и дыма встает там, где противник. Началось! И здесь обнаруживается то новое, что предстоит сказать сорок четвертому и в этот час.

Вражеские позиции накрывает двойной огненный вал на глубину полтора-два километра. Под грохот пушек и минометов рвутся вперед пехота, саперы, танки.

Несмотря на мощнейшую артподготовку, которая, казалось, должна все смести, фашисты отвечают огнем из орудий и минометов,

танков и самоходок. Очень не хочется им уходить с белорусской земли, уползать в свое логово!

— Воздух! — кричит кто-то.

Никоян поднимает голову. Самолеты! Но не одни немецкие — и наши. В небе завязывается схватка. Однако бомбы все-таки летят вниз, вздымают вверх землю, замешенную на огне и стали. Словно безжалостная адская гроза бушует над тихой речушкой с ласковым именем Друть.

А саперы — иные спотыкаются и падают, чтобы не подняться,— продолжают оборудовать подъездные пути, наводить мост, тащат сквозь разрывы и смерть бревна, доски, жерди. Сейчас от них зависит все: и жизни людей, и успех развертывающейся битвы. Без их юношеских плеч и огрубевших мозолистых рук, которые ладят сейчас гать, не смогут двинуться ни могучие танки, ни мощные самоходки. Только нетерпеливая отчаянная пехота отдельными группами, похоже, пытается перебраться на тот берег.

Танки... Ах, как нужны сейчас там, в атаке, танки! Никоян не выдерживает и, перекинувшись всем телом через бруствер, устремляется вперед, в самое пекло. Краем глаза видит, что и Васютин со своим ППШ бежит к месту наведения переправы.

Наконец, лязгая гусеницами, через гать, а потом на мост выползают первые «тридцатьчетверки», оборудованные тралами, и с ревом, разбрасывая грязь и песок, выходят на рубеж развертывания на западном берегу. Приняв боевой порядок, три танка впереди, три уступом вправо принимаются утюжить вражеские минные поля, боевые позиции врага.

По следам танков — саперы. С ними парторг батальона Сурен Никоян и комсорг Василий Васютин. Взрыв совсем близко, Никоян видит, как, дернувшись всем телом, оседает комсорг.

— Василий! — кричит Никоян, еще не зная, ранен тот или мертв.— Держись, я к тебе... — и устремляется на помощь.

...Уходит вперед с боями бригада. Ей предстоит тяжелый, но славный путь до немецкого города Ростока. Навеки остается в белорусской земле парторг второго отдельного штурмового инженерно-саперного батальона Сурен Амазаспович Никоян. Сын древней солнечной Армении похоронен в краю болот и туманов у белорусского города Рогачева.

А Василий Васютин примет эстафету от старшего друга: после долгих госпитальных мытарств войдет студентом, с палочкой, припадая на протез, в аудиторию педагогического института. И часто будут ему видеться грозы над Друтью, но грозы не военные, а веселые и щедрые, несущие добро земле и людям. Он прибавит потом к боевым наградам трудовые. И высоко и достойно пронесет сквозь годы высокое комиссарское звание.

Анатолий
ГЕНАТУЛИН

ЗЕМЛЯКИ

На Карельском перешейке почти круглые сутки июньское солнце шло по небу. Стояли белые ночи. Только не было над землей ночной тишины. Не умолкал тревожный гул прифронтового движения по шоссейным дорогам, по проселкам, по глухому бездорожью озерного, болотистого перешейка — шли резервы, подтягивались тылы, переезжали медсанбаты, а невдалеке, за лесами, скрежетала и полыхала огнем передовая. Шел и наш 197-й стрелковый полк, шел вот уже вторую неделю за наступающим фронтом. На башнях обгоняющих колонну танков, на бортах армейских полуторок было выведено белой краской: «Даешь Выборг!»

Наш полк формировался под Ленинградом. Вернее сказать, он существовал уже до нас, участвовал в прорыве ленинградской блокады, потом стоял под Ленинградом в резерве, а мы, новички, только пополнили его сильно поредевшие в прежних боях подразделения. Нас разбросали по разным батальонам и ротам. Из тех, кто служил в запасном полку, в наш взвод попали только трое: сержант Харчиков, Овчинников и я.

Там же, под Ленинградом, я стал художником, вернее, бойцы узнали, что я рисую, и прозвали меня художником. В школе оформлял стенную газету, учителя говорили, что у меня талант. Я сам в это поверил и решил стать художником. Окончив семилетку, уже собирался было в Уфу, но вдруг началась война, и меня забрали в ФЗО, что в городе Белорецке.

...На фронте талант уважали. И вот я выдрал из найденного альбома рисунки немца и на чистых листах карандашом набросал избы, закопченные печные трубы на пепелищах, могилы фашистских солдат, осадную пушку, искореженные машины в кювете, разную мертвечину и хлам — следы недавних жестоких боев под Ленинградом.

За этим занятием и застал меня наш командир взвода лейтенант Красильников. Лейтенант отобрал альбом, спрятал в свой планшет и удалился. А на другой день меня вызвал замполит батальона Ильин, седоватый, большеголовый, медлительный человек, учитель в прошлом, и спросил, правда ли, что я рисую. И поса-

дил на весь день писать лозунги чернилами на желтой оберточной бумаге. В лозунгах я делал много ошибок, Ильин ворчал добродушно-насмешливо: «Грамотей, перепиши заново!» Потом, на фронте, я перешел в распоряжение начальника штаба батальона капитана Шубина; на марше шагал вместе со своим взводом и, как все, нес по очереди ПТР или станину от пулемета, уставал, ясное дело, но, когда располагались на отдых, меня вызывал к себе Шубин; люди спали, а я чертил на картах условные обозначения вражеских укреплений — кружки, подковы, которые выводил синим карандашом, а красным рисовал стрелки, направленные острием против этих кружков и подков...

И вот наш стрелковый батальон в составе полка всю ночь шел по глухому лесному проселку и утром, выйдя из леса, остановился возле покинутой жителями деревушки.

— Командиры рот, к комбату! — передали по колонне.

Ротные, придерживая планшетки, озабоченно затрусили в голову колонны. Куда-то назад пробежал комсорг батальона младший лейтенант Петухов.

— Товарищ младший лейтенант, скоро привал? — спросил кто-то.

— Какой там привал! — весело бросил на ходу Петухов.— Сейчас в бой вступаем!

Нельзя сказать, что это застало нас врасплох — ведь вступления в бой мы ждали со дня на день, с часу на час, но все же эта весть прошла по колонне, как порыв леденящего ветра.

Все вокруг нас, все то, что лишь минуту назад было просто незнакомой местностью, просто дорогой, деревушкой, лесом или, вернее, местом уже отгремевшего боя,— все это вдруг осветилось другим светом: эта местность — место нашего первого боя и, может быть, последняя местность на земле для многих из нас...

И я подумал о Губайдуллине — земляке, башкире. До войны Губайдуллин Газим был моим учителем. Человек он пришлый, из другого района, но учительствовал в нашей деревне, женился на нашей девушке и, можно сказать, уже считался нашим. Школьное прозвище у него было Минус-агай, или просто Минусок. Минуском прозвали мы его вот почему. Он преподавал нам русский язык, язык трудный, непостижимый. Учились мы плохо. Никто из нас, учеников деревенской семилетней школы, не умел ни говорить по-русски, ни переводить прочитанное, ни писать мало-мальски грамотно. Ясное дело, Губайдуллин ставил всем только «удовлетворительно» — это в тетрадях, а когда устно спрашивал, говорил примерно так: «Садись, Генатулин, «удовлетворительно»,— и прибавлял: — С минусом».

И вот совершенно неожиданно я встретил своего бывшего учителя на фронте, встретил всего два дня назад. Я не сразу поверил, что это он.

Изменился Губайдуллин сильно. Показался он мне каким-то малорослым, неказистым, а помнился высоким; военная форма, непривычная на нем, как-то не шла ему: мешковато сидела гимнастерка с погонами старшего лейтенанта, старая, выгоревшая пилотка была нахлобучена чуть ли не до ушей, как у пожилых, равнодушных к выправке ездовых; но на груди орден Красной Звезды и медаль, на левом боку туго набитая полевая сумка, на правом — пистолет в облезлой кобуре.

Увидев и узнав его, я в первую очередь вспомнил полузабытое правило из учебника русского языка: «Отдельное слово или группа слов...» Я не знал, какие теперь отношения должны быть между нами, как к нему обращаться: по-школьному — «Газим-агай» или «Товарищ старший лейтенант»? Но обращаться по субординации к земляку, односельчанину во время короткой встречи, далеко от дома, на войне показалось мне неудобным.

— Газим-агай! — окликнул я его.

Он обернулся, удивленно посмотрел на меня, я подошел к нему, он заулыбался и заговорил радостно-возбужденно: «Постой, постой. Из деревни? Мой ученик? Генатулин Талгат? — Он даже обнял меня.— Вот где встретились, а! Как дела, кустым?» «Кустым» — это по-нашему «браток», «дружок» — обращение старшего к младшему. И стал расспрашивать, давно ли я из дома, как там, в деревне, но я ничего не мог рассказать ему, потому что как уехал оттуда в сорок первом в ФЗО, так и не вернулся. «Вот где встретились, а!» — все удивлялся и радовался он совсем попростецки, как-то не по-учительски.

А я, пожалуй, больше удивился, чем обрадовался. В какие дали разбросала война моих земляков, как жизни перемешала, что даже здесь, за тридевять земель от родного края, я встретил односельчанина. Я увидел в глазах учителя тоску по дому, по детям, жене и почувствовал жалость к нему. Для меня, как и для Губайдуллина, война стала жизнью, судьбой, но в отличие от него я не оставил дома никого, кого любил, по ком тосковал бы.

Губайдуллин взглянул на ручные часы, видимо торопился.

— Ну, ладно, очень хорошо, что мы встретились. Я в минометной роте. Парторг я. Подойди на привале ко мне, посидим, поговорим.— Крепко пожал мне руку и ушел.

На другой день, когда батальон расположился в лесу на отдых, я отпросился у помкомвзвода в минометную роту, мол, земляка встретил. Пришел, а там мой бывший учитель Губайдуллин политзанятие проводит. Рота сидит полукругом на лесной лужайке, парторг стоит с газетой в руке и выступает. Подсел я к ребятам и стал слушать. Парторг говорил об успешном наступлении Красной Армии зимой и весной сорок четвертого года, о том, что оно началось и здесь, на Карельском перешейке, что части нашей

21-й армии уже на подступах к Выборгу, что недалек тот день, когда войну мы перенесем на территорию Германии и разобьем фашистов в их собственном логове. Слушая его, я заметил, что учитель говорит по-русски с заметным акцентом; раньше, когда он преподавал мне русский язык в школе, этого не замечал, потому, наверное, что тогда я сам не знал языка.

Подойти к нему во время занятий было неудобно, он продолжал рассказывать, потом стал читать газету, а мне уже пора было возвращаться в свою роту... Так вот и не пришлось посидеть и поговорить. Может, никогда уж не придется...

Наш взводный лейтенант Красильников, бледный, очень серьезный, заговорил негромко:

— Первый взвод, слушай задачу! Там, на высоте, противник. Высота сильно укреплена, дзоты, доты, валуны. За высотой — река. Задача нашего полка: занять высоту, отбросить противника за водный рубеж и закрепиться там. Ясно? — Нашел глазами меня: — Генатулин, в распоряжение комбата! Связным!

Побежал в распоряжение комбата.

— Вперед!

— Рота, вперед!

И, стреляя на ходу, подбадривая друг друга, люди бросились в зеленую пучину леса, туда, где среди деревьев с глухим буханьем стали рваться мины.

Началось!

Вслед за наступающими ротами углубился в лес и батальонный командный пункт. Наш комбат капитан Романенков и по званию и по возрасту — ему было за тридцать — стоял настолько выше меня, рядового солдата, почти мальчишки, что казался человеком необыкновенным и непостижимым. Да и вообще человек, командующий в бою сотнями людей, награжденный орденами Отечественной войны и Красной Звезды, в моих глазах уже был героем.

Я старался держаться поближе к нему, старался попасться на глаза. Но комбат, казалось, просто не замечал меня. А очень хотелось, чтобы заметил, как-то выделил. Хотелось отличиться в бою, не говоря уже о тайной мечте о медали и о том, чтобы Губайдуллин сказал про меня с гордостью: «Это мой бывший ученик!»

В лесу, невдалеке от воронок, лежали двое тяжелораненых.

— Где санитары?! Где военфельдшер Богопольский?! — Комбат увидел меня и приказал: — Связной, живо к медпункту! Чтобы сейчас же Богопольский был здесь... с санитарами, носилками!

Я бросился выполнять приказ. Пробежав немного по просеке, держась ближе к лесу, неожиданно вышел на огневую позицию минометной роты. Минометчики голые по пояс, потные — здесь

уже пекло солнце — работали слаженно и спешно. В сторонке под елью, возле сидящего на земле телефониста, стояли командир минометной роты капитан Мозорев, начальник штаба капитан Шубин и мой бывший учитель Губайдуллин, теперь парторг, а когда-то Минусок. Сначала я хотел было подойти к ним, спросить: мол, не знаете, где находится военфельдшер Богопольский? Хотел узнать, как найти КП, но не решился — мне казалось, что я выскочил сюда не вовремя (хотя что значит в бою не вовремя), вернее, помешаю им, озабоченным, очень занятым жаркой работой.

Вдруг Минусок обернулся в мою сторону и заметил меня, улыбнулся далекой улыбкой и тут же отвернулся. Я перебежал просеку, пошел в лес по другую сторону и оглянулся: Минусок опять смотрел на меня, смотрел, казалось, удивленно, вопрошающе, дескать, почему не подошел, и еще один шаг, и Минусок и минометчики — все скрылось за деревьями.

Тут я увидел идущих навстречу людей. Приблизившись, узнал военфельдшера Богопольского. Наконец-то! За лейтенантом молча, угрюмо шагали солдаты, тяжело неся на плащ-палатке чье-то длинное, грузное тело. Я подбежал к лейтенанту и, козырнув, доложил:

— Товарищ лейтенант, меня комбат за вами послал! Там в лесу раненые!..

Но лейтенант не остановился, он только скользнул по мне взглядом, как бы не понял или вовсе не увидел и не расслышал. Лицо лежащего на плащ-палатке было закрыто фуражкой. По этой фуражке и, может быть, еще по сапогам узнал замполита Ильина.

— Он что, ранен? — спросил я вслед уходящим.

— Убит! — сердито бросил солдат.

Убит замполит! «Грамотей! Перепиши заново!» И вроде я уже забыл, куда иду, зачем бегал в тыл, зачем мне нужен был лейтенант Богопольский...

На КП батальона доложил:

— Товарищ капитан, ваше приказание выполнено...

Вокруг, чуть позади, рвались мины, иногда рвались так близко, что на головы бойцов сыпались куски земли и камешки, осколки звонко цокали по камню и рикошетили с противным визгом. Люди пригибались, жались к камню, теснились в расщелине ближе к комбату.

В паузах между взрывами слышен был спокойный тенорок комбата:

— Атакую, товарищ третий... Подошли на бросок гранаты. Да, да, бьет по КП. Не дает подняться... Он на высоте, под валунами сидит... Да, многовато, товарищ третий.

Как будто докладывал не о тяжелом бое, а о какой-то хотя и очень трудной, но вполне обычной работе.

Между тем минный обстрел прекратился. Мы сели перекусить. Такие сытные харчи — гречневая каша пополам с мясом — нам в запасном полку и во сне не снились.

— Полковник Кошкин говорит: «Наши уже Выборг штурмуют, а мы все топчемся у этих камней»,— сказал комбат со спокойной усмешкой, словно разговаривая в семейном кругу за обеденным столом.

— Товарищ капитан, вас третий,— позвал телефонист.

Комбат надел фуражку, передвинулся к расщелине, взял трубку.

— Людей кормлю, товарищ третий,— лицо комбата потускнело, нахмурилось.— Слушаюсь, товарищ третий! Буду атаковать! — Он передал трубку телефонисту, вылез из щели, встал, выпрямился, расправил складки гимнастерки и обратился к Петухову: — Комсорг, давай организуй своих комсомольцев! Будем атаковать. В четырнадцать ноль-ноль минометчики откроют огонь, а в четырнадцать пятнадцать поднимем роты. Словом, действуй давай! Один не ходи, бери связного. Да, не забудь сказать ребятам: взвод, который поднимется первым на высоту, к ордену представлю, всех до одного.

Петухов быстро оглядел связных — Сопова, Атабекова, Хахаева, Охрименко, поймал меня глазами и приказал:

— Генатулин, со мной! Как звать? Толя? Давай, Толя, за мной!

У меня екнуло в груди, сжалось и тревожно застучало сердце. Но и влекло туда, может, любопытство: каков он наконец, тот самый передний край, передовая, которая с тыла кажется очень уж страшной, как будто проходит по кромке огненной бездны, на грани смерти...

И вот на этом самом-самом переднем крае лицом к лицу с врагом — мы, мальчишки, или, вернее, вчерашние мальчишки, школьники.

Офицеры встали и, не обращая внимания на пули, то и дело повизгивающие мимо нас, вышли из-за валуна. Наш взводный лейтенант Красильников, весь новенький, в гимнастерке, в фуражке, в ремнях, с биноклем на груди, наш лейтенант держался молодцом: на румяном лице горделиво-спокойная улыбка, немного даже презрительная улыбка уже обстрелянного боевого офицера, которому сам черт не брат.

У командира роты старшего лейтенанта Онучкина голова обмотана бинтами. Поверх повязки едва держалась приплюснутая старая фуражка с прямым широким козырьком, на линялой гимнастерке поблескивал орден Отечественной войны. Говорили, что он начал войну сержантом, отличился в боях и подскочил в звании. Под Ленинградом, где формировалась наша часть, ему

доверили роту. Так же как и мой бывший учитель, внешне он мало походил на офицера, вернее, на строевого кадрового офицера.

Под его обмундированием, под этой неказистой внешней оболочкой жил медлительный, обстоятельно прикидывающий каждое дело крестьянин, которого война оторвала от земли, от плуга и которому поручила непривычное и, может, непосильное дело — командовать вооруженными людьми и вести их в бой. Он был мягок, порой даже нерешителен, никогда не повышал голоса, никогда не нажимал на подчиненных, жалел, что ли, нас? И за это ему, наверное, частенько доставалось от комбата. А мы любили своего ротного, но любили немного снисходительной, жалостливой любовью, как любили мы, ученики деревенской школы, нашего учителя русского языка.

— Ребята, приготовиться к атаке! — негромко, буднично говорил старший лейтенант Онучкин.— Главное — не сбиваться в кучу. Старайтесь одним броском проскочить зону обстрела... Потом гранаты пустим в ход... Ребята... — все отдалялся вправо, в березовую чащу леса голос Онучкина.

Комсорг Петухов, ставший в бою после гибели Ильина замполитом батальона, влез в наш окоп. Его мокрые от пота волосы прилипли ко лбу, мальчишеские глаза хмурились в деловой озабоченности.

— Генатулин, Овчинников, по вашей просьбе рекомендую вас в партию. Вот сержант Харчиков тоже даст рекомендацию.

Мы всего год назад вступили в комсомол; билеты комсомольские в наших карманах лежали еще новенькие. В нашей большой деревне было всего пять партийцев, среди них моя родственница Зухра-апай, кладовщица. Все они, партийные, были взрослые и уважаемые люди. До войны таких, как мы, восемнадцатилетних, никто и не подумал бы принимать в партию, а здесь, в бою, в пятидесяти шагах от фашистов, все было иначе, все было просто и возможно и не удивляло даже. Только вот писать заявления я не умел, особенно по-русски.

— Пиши, я подскажу.— Петухов положил на мои колени планшетку, бумагу, дал авторучку.

«В партийную организацию второго батальона 197-го стрелкового полка... от рядового второго взвода четвертой роты Генатулина Анатолия,— писал я.— Прошу принять меня в кандидаты ВКП(б), так как... Если погибну в бою, прошу считать меня коммунистом...»

Потом писал Овчинников, писали другие в соседних окопах... У меня было такое ощущение, что, подписав это заявление, я сверх присяги дал еще одну клятву, полностью исключающую из моей жизни любую человеческую мальчишескую слабость, не говоря уж о трусости.

Над лесом вспыхнула зеленая ракета и, ослепительно мерцая,

стала падать на деревья и погасла, оставив сизый след дыма. Красильников выхватил из кобуры пистолет и, шагая во весь рост перед взводом, повелительно и жестко поглядывал на людей, негромко, но энергично произнес только одно слово:

— Взвод!..

— Взвод, вперед! — тоже негромко и торопливо произнес сержант Харчиков.

Тяжело, как бы нехотя вылезали мы из окопов, из-за валунов и, пригнувшись, медленно, словно против сильного ветра, шагнули вперед, ступили на мертвую или как будто раскаленную землю. Затем побежали. Бежали, стреляя на ходу, стараясь держаться ближе к валунам, к деревьям.

— Давай вперед! — крикнул кто-то Овчинникову, бегущему рядом.

— Ура-а! Ура-а! — раздались голоса бойцов.

И тут плотный пулеметный и автоматный огонь обрушился на нас с такой ошеломляющей силой, что мы заметались среди деревьев, прижались к валунам, залегли. Да еще немцы гранаты стали кидать, гранаты у них с длинными деревянными ручками, далеко летят. Крики, команды — там; на высоте — чужая речь, ругань.

— Не лежать! — приказывал лейтенант Красильников, шагая во весь рост.— За мной!

Но атака захлебнулась. Надо было подтянуть минометы, пулеметы и снова атаковать.

Комбат обратился к Петухову:

— Приказ командира полка: всю тыловую команду ездовых, писарей, поваров, всех, кто может держать оружие, в бой! Давай, организуй! Ты ведь теперь у меня за замполита, так проверь: все ли получили патроны, гранаты?

— Лейтенанта Красильникова убило! — выкрикнул сержант Харчиков и взглянул на меня просто и печально.

Я услышал эти слова и понял: Харчиков говорит правду. А как не хотелось верить!..

— Вон там его убило, у валуна... Документы надо взять...

Мы готовились к атаке, к последней и решающей.

Со стороны тыла, от валуна, где сидел комбат, пригнувшись, шли двое. Один, солдат-связист, разматывая кабель, тащил на спине тяжелую катушку. За ним, немного поотстав, с зеленым ящиком телефонного аппарата в руке шел мой бывший учитель Губайдуллин Газим. Я, конечно, помнил о нем, но не постоянно, помнил сторонней, зыбкой памятью, знал, что он там у себя в минометной роте, что он жив, но никак не думал, что встречу его здесь, на самом переднем крае.

Губайдуллин и связной поравнялись с нашим окопчиком и за-

легли. Я высунулся из окопа. И мой земляк оглянулся, наши глаза встретились. Он глядел на меня мягко, родственно, всматривался пристально и как бы даже смущенно. В тысячах километров от родного края, от нашей деревни, в бою перед атакой рядом со мной мой школьный учитель. Кто еще может быть ближе, дороже него для меня на свете? «Отдельное слово или группа слов, выражающая...» Никогда он не повышал голоса, никому не ставил отметки «неуд»; мы думали, что он робок и смирен, а он просто, наверное, жалел нас или любил нас, как будто предчувствовал, предвидел нашу трудную юность, короткую жизнь.

— Как дела, Талгат? Живой? — обратился он ко мне по имени.

— Живой! — радостно ответил я.— Куда вы, Газим-агай?

— Буду корректировать огонь. А то он под валуном сидит. Его только точным попаданием можно выбить...

Помолчал какое-то время, всматриваясь в меня как-то по-особому — мягко, печально, задумчиво, казалось, хотел еще что-то сказать, что-то сокровенное, неотложное, но не сказал ничего, только произнес как бы небрежно: «Ну ладно». И отвернулся. Я и так понял, что он хотел сказать, по глазам, по взгляду понял. «Если я погибну, а ты вернешься домой,— хотел сказать он,— расскажи моей жене Галии-апай и моим сынишкам, где я погиб, как погиб».

Потом они двинулись ползком.

С правого фланга вдоль нашей позиции, пригнувшись, шли комбат Романенко в плащ-палатке и комсорг Петухов. Из младших офицеров в батальоне Петухов остался один. Они останавливались у каждого окопчика, у каждого валуна, где лежали, сидели солдаты, опускались на корточки и что-то негромко говорили. Подошли к окопу, где сидели сержант Харчиков, Сигачев и Кузнецов. В ясно-синих глазах Петухова померк прежний веселый свет юности, лицо его осунулось, посуровело. А комбат был неузнаваем. Худое костистое лицо заросло густой рыжей щетиной, взгляд его водянисто-голубых глаз был смутен и в то же время как-то непривычно мягок и печален.

— Сержант, поведешь роту,— сказал он негромко Харчикову.— Не стрелять, не шуметь, перебежками, ползком, вплотную и гранатами...

Приказ командовать ротой Харчиков принял спокойно, на его замкнутом лице не дрогнула ни одна морщинка. Наверное, потому, что роты-то никакой не было, а был тот же взвод, а взводом он командовал уже давно. Или, может, теперь он и роту мог вести в бой?.. Говорили, войну он начинал политбойцом, рядовым коммунистом.

Капитан и Петухов пошли дальше.

— Гранатами их... Врукопашную,— продолжал комбат.

Затем началась артподготовка. Мины беспрестанно шуршали над лесом через наши позиции и рвались впереди, где-то совсем рядом. Иванов посылал из своего ротного миномета «огурчики». Там, на высоте, стеной вздыбился сплошной грохот; он отдавался у меня в груди тревожными холодящими сердце толчками; ветер был оттуда, и потянуло на нас удушливой вонью сгоревшего тола. Молодцы, минометчики, молотите их, жарьте их! Молодец, Газим-агай!

Мы ждали. Коммунист Харчиков во весь рост стоял в окопе — окоп ему и до пояса не доходил — и, как бы отрешенный от всего, о чем-то сосредоточенно думая, докуривал цигарку. На мгновение в моей памяти опять возникли далекий полустанок под Ленинградом, его жена с ребенком на руках, мальчишка с поднятым над головой мешочком и снова раздался короткий, пронзительный вскрик: «Папа!..»

Никакой ракеты, никаких команд и стрельбы. Только негромкое «Вперед!». Харчиков выпрыгивает из окопа, быстро оглядывает солдат и глазами, взглядом приказывает подняться. Я выбрасываюсь из окопчика, бегу вперед. И слева и справа среди берез, пригнувшись, бегут солдаты, бегут молча, не стреляя. Пробежав немного, мы ложимся; дальше продвигаемся где перебежками, где ползком. От валуна к валуну, от дерева к дереву. Мины рвутся впереди совсем рядом.

Вдруг грохот мин резко обрывается. Мы поднимаемся и бежим вперед, туда, где бил пулемет. Сквозь ошеломляющую трескотню я слышу крики, ругань и сам кричу что попало и ругаюсь. Потом натыкаюсь на зеленый ящик телефонного аппарата. Рядом кто-то лежит ничком, уткнувшись лицом в землю. Левая рука крепко держит черную телефонную трубку. Линялая пилотка съехала с головы. По растрепанным прямым, иссиня-черным волосам узнаю своего бывшего учителя, а теперь парторга минроты. «Губайдуллин убит! — пронзительной болью входит в сознание.— Земляк... нет, все мы на этой войне стали земляками...»

Задерживаюсь возле него на секунду, вернее, чуть замедляю бег. Подумал: вот кто своим огнем открыл нам путь на высоту!

На самом высоком месте гребня стоит сержант Харчиков. Жив! По его темному лицу струится пот, в глазах дотлевают искорки нечеловеческой ярости. Подходят еще двое: замполит Петухов и солдат Сигачев. Снизу доносятся голоса комбата и санинструктора Нины. Набирается нас человек десять или пятнадцать. Стоим и молчим, оглядываем сверху окрестность. На севере над лесами багровое, будто окровавленное, солнце. То ли восходит, то ли заходит...

Сколько времени мы в бою? Сутки или двое суток — не помню и не могу понять. Прошли за это время что-то около километра... да еще, может, шагов пятьдесят.

Алексей
ЗАХАРОВ

ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ

Оперативная сводка за 30 июня 1944 года

На Минском направлении наши войска, сломив сопротивление немцев, форсировали реку Березина. Противник усилил свои разбитые дивизии свежими эсэсовскими и охранными частями и пытался приостановить наступление наших войск. Советские войска наносят врагу тяжелые удары и отбрасывают его на запад. Наши войска ворвались в город Борисов. Идут ожесточенные уличные бои.

Совинформбюро

Операция «Багратион» развивалась успешно.

Комбриг полковник Гриценко поставил перед командиром 2-го танкового батальона капитаном Селиным боевую задачу: силами головной походной заставы выйти к городу Борисову и, захватив переправы через реки Сха и Березина, удерживать их до подхода главных сил бригады.

На лесной лужайке, возле танков, стояли капитан Селин, лейтенант Рак и еще три командира машин его взвода: Мельник, Кузнецов и Юняев. Комбриг говорил коротко, но четко, и офицеры поняли, что от выполнения поставленной задачи зависит успех боя за город Борисов, превращенный фашистами в сильный опорный пункт на пути к столице Белоруссии — Минску. Гвардейцы знали и то, что гитлеровцы, оставив так называемый «Восточный вал», будут стремиться задержать наступление советских войск на реке Березине.

Задача ясна, и время не ждет...

— По машинам! — подал команду командир батальона.

Преодолев придорожный кювет, четыре танка вышли из леса и, набирая скорость, двинулись по автомагистрали.

Местность на подступах к Борисову затрудняла наступление гвардейцев-танкистов.

Река Березина разделяет город надвое: его левобережную часть — Старый город и Новоборисов, где сосредоточена промышленность города и находится станция железной дороги Москва — Минск. Автомагистраль из Москвы в Минск, по которой шли теперь танки, также проходит через город. Но особую роль здесь играют реки. Березина омывает западную часть Старого города, а как раз напротив фанерно-спичечного комбината в нее впадает Сха, огибающая Старый город с востока. Междуречье во время весеннего паводка всегда заполняется водой, и тогда не видно ни Березины, ни Схи — взору представляется сплошной водный разлив.

В конце июня этого потопа уже не было, зато заболоченная местность вдоль рек не позволяла танкам двигаться вне дороги, сковывала их маневр. Кроме того, высокий берег Березины

у Новоборисова господствовал над местностью, и с него фашисты просматривали все предполье. Надо прямо сказать, четырем танковым экипажам выпал нелегкий жребий.

Для выполнения задачи взвод лейтенанта Павла Рака был назначен не случайно. Бывший тракторист, а теперь командир танкового взвода, Павел Николаевич мастерски владел машиной и отлично стрелял. Искусству танкового боя он обучил и все экипажи. К этому надо прибавить высокие моральные качества гвардии лейтенанта: он был членом ВКП(б), а перед началом операции избран парторгом роты.

Павел Николаевич хорошо знал, что партийная работа в боевом коллективе — это не только собрания и резолюции, но прежде всего постоянное живое общение, беседы с танкистами — групповые и с глазу на глаз, а самое же главное — личный пример парторга в бою.

Каждый раз, когда подразделение получало боевую задачу, он считал своим долгом поговорить с коммунистами, напомнить о личном примере в бою, о помощи комсомольцам, молодым воинам, чтобы те не чувствовали себя «отлученными» от решения главных задач из-за своей молодости или неопытности. В бою и на марше парторг всегда подавал личный пример в выполнении приказов.

Только начались бои в Белоруссии, рота, где парторгом был Павел, получила задачу прорваться к шоссе Москва — Минск. В этом бою его взвод уничтожил два танка, таранил два бронетранспортера, раздавил несколько орудий фашистов, а свыше двухсот солдат и офицеров захватил в плен.

— Посмотрели бы вы,— говорили потом,— как дрался Павел и его экипаж. За такими героями люди пойдут в огонь и в воду. В бою у него две команды: «Вперед!» и «Делай, как я!»

Легко парторгу вести за собой танкистов, когда во всем он пример: лучше других стреляет и водит машину, лучше выполняет боевую задачу, решителен перед лицом смертельной опасности.

Именно так было и 30 июня 1944 года в бою за город Борисов.

Первым по шоссе шел танк Михаила Кузнецова. За ним — машина Романа Мельника. В ней вместе с экипажем находился комбат гвардии капитан Селин. Третьей боевой машиной командовал Юняев, замыкал группу взводный на своем танке; экипаж его машины был неполного состава — накануне ранило заряжающего.

Павел Николаевич — старший среди своих танкистов, ему шел тридцать четвертый год. Он уже до войны обзавелся семьей, и дома его ждала шестилетняя дочь Любочка. Два других члена экипажа командирской машины — механик-водитель сержант Александр Петряев и башенный стрелок сержант Алексей Данилов — были еще совсем юными: первому едва исполнилось девятнадцать, а второму и того меньше. Однако оба были благодаря заботам командира мастерами ратного труда. В прежних боях они сражались с врагом, как настоящие гвардейцы.

Танки стремительно шли вперед. Враг вел огонь по ним. Особенно опасна была противотанковая батарея, занявшая позиции на кладбище, у окраины города, прямо перед мостом через реку Сха. Но меткие выстрелы, а затем гусеницы машин взвода вывели ее из строя. Машина Михаила Кузнецова на большой скорости проскочила мост через Сху, за ней прогремели по первому мосту и остальные три танка. Часть боевой задачи была выполнена. Теперь главное — овладеть мостом через Березину и ворваться в Новоборисов.

Но на повороте шоссе танк Кузнецова загорелся. Вслед вспыхнула машина Юняева. Ох, этот изгиб на дороге от моста через реку Сха к березинскому мосту!.. Здесь танкисты должны были на какое-то мгновение подставить борта машин под огонь вражеских пушек, расположенных на высоком берегу Березины. И вот пылают два танка из четырех, фашисты сосредоточили весь огонь на оставшихся машинах. Роману Мельнику удалось объехать горящий танк Кузнецова. Он устремился к березинскому мосту. Минута — и гусеницы его «тридцатьчетверки» с грохотом пересчитали доски настила. Зная, что мост минирован и может с минуты на минуту взлететь на воздух, капитан Селин торопил механика-водителя.

Наконец танк на мостовой города. И тут случилось непоправимое — вражеская «пантера» из засады ударила по нему в упор. Взорвалась боеукладка. Экипаж и комбат Селин погибли.

В эти минуты по мосту шел замыкающий танк группы лейтенанта Павла Рака.

— Вперед! Вперед! — повторял он механику-водителю Петряеву, припав к прицелу пушки.

Громыхая гусеницами и ведя огонь из пушки и пулемета, боевая машина гвардейцев проскочила мост, миновала горящий танк Мельника, разбитую «пантеру» и, промчавшись по улице, ворвалась в центр Борисова. Позади раздался мощный взрыв: думая, что вслед за вырвавшимися вперед смельчаками в город войдут советские танковые колонны, немцы подорвали главный мост через Березину.

Наступала короткая летняя ночь с 29 на 30 июня 1944 года. Сумерки позволили Павлу выбрать укромное место и замаскировать машину. Надо было связаться по радио с командованием бригады, доложить о случившемся и узнать, когда в Борисове можно ждать главные силы бригады. Но рация танка не работала... Значит, действовать самостоятельно и активно, по обстановке!

С этого момента и начинается путь в бессмертие отважных танкистов экипажа парторга Павла Николаевича Рака.

В машине находились три советских воина. Украинец Павел Рак, у которого фашистские оккупанты замучили отца; парень со Смоленщины Алексей Данилов, познавший оккупацию, партизанскую борьбу против захватчиков, и комсомолец из Заполярья Александр Петряев, потомок крепкого рода землепроходцев-сибиряков. Отсиживаться за броней они не собирались, да и ждать помощи им было неоткуда. Главные силы бригады попали в трудное положение: мост через Березину взорван, форсирование реки под сильным артиллерийским обстрелом грозило большими потерями. Значит, сейчас им нужно любой ценой уничтожить, подавить за ночь как можно больше огневых средств и живой силы врага.

И Павел дал привычную команду:

— Заводи! Вперед!

Взрывая ночную тишину, сея панику среди врагов, грозная «тридцатьчетверка» стала наносить обороне врага удары то в одном, то в другом месте города. Боевой счет рос: разгромлена колонна вражеских автомашин, уничтожены бронетранспортер, три орудия, огнем из пулемета подожжены бензосклад, штаб немецкой части, взорван склад с боеприпасами. Непрерывный бой с часу ночи до шестнадцати ноль-ноль, когда экипаж отважной машины прорвался к лагерю военнопленных. Последним броском, разметав все заграждения, танкисты влетели на оцепленную колючей проволокой территорию. Они освободили здесь двести пленных.

Но в баке кончалось горючее, оставалось всего пять снарядов. Рацию починить не удалось. Павел повел боевую машину ближе к переправе, чтобы взглянуть, что там с бригадой на левом берегу Березины. Куда вышли части корпуса? Надо было помочь своим именно в том месте, которое они выбрали для форсирования.

...Там «тридцатьчетверку» атаковали «пантера» и «тигр». Гвардейцы уничтожили первую и с ходу подбили вторую машину, однако... вспыхнул и их танк. Они все трое погибли, приняв огонь на себя, но проложив путь бригаде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за проявленный героизм и мужество танкистам Павлу Николаевичу Раку, Александру Акимовичу Петряеву и Алексею Ильичу Данилову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Много, много позже о героях рассказывали бойцам бригады их матери, приглашенные в часть после войны.

Из далекого северного Норильска приехала мать Александра Петряева — Ефимия Анисимовна. Биография ее сына Саши была очень короткой. Он едва успел окончить школу, как война призвала его в ряды защитников Родины.

— Мой Саша,— говорила она,— рос веселым, любознательным пареньком, в школе учился хорошо, работал в МТС, по дому все делал, не оставлял меня без внимания...

Со Смоленщины в часть приезжала мать Алексея Данилова — Анна Ильинична. Она тоже поведала о своем сыне немного — и его биография лишь начиналась. Родился в 1923 году в семье колхозника. Семья была многодетной, поэтому Алексей, как его братья и сестры, учение в школе сочетал с работой в колхозе. Тянуло к технике, он даже пытался что-то конструировать. Одному его изобретению дивилось все село Медведка: из трех деревянных прялок парень смастерил велосипед и лихо катался на нем. Так что насмешливое выражение «не стоит изобретать велосипед» не всегда верно...

Окончив школу, Алексей пошел учиться на тракториста и вместе с другими механизаторами работал в колхозе. Пришла война, а с ней — оккупация родного края. Алеша собирал брошенное на полях сражений оружие и передавал его партизанам. Не раз он и сам оказывался в боях, которые вели партизаны с фашистами. Вот с таким жизненным багажом пришел Алексей Данилов в гвардейскую танковую бригаду.

После войны побывала в части и мать Павла Рака — Меланья Лукьяновна с его дочерью Любой. Они передали танкистам первое письмо, которое прислал Павел после освобождения от фашистов родной Полтавщины. Вот строки этого письма в переводе с украинского:

«7 ноября 1943 года.

Здравствуйте, дорогая мамочка и моя любимая доченька. Я очень рад, что дождался от вас письма, которое ждал больше двух лет. Наконец дождался этой счастливой минуты и получил долгожданную весточку, которая меня обрадовала и вместе с тем опечалила сообщением, что немецкие изверги издевались над моим отцом и замучили его своими подлыми, грязными, кровавыми руками.

Прочитал я ваше письмо, и сердце мое кровью облилось. Еще больше стало ненависти к немецким зверям. Хочется снова и снова уничтожать их и мстить им. Заверяю вас, мама, что дорого заплатят мне немецкие звери за моего родного отца.

Мама! Я не знал пределов радости, как получил письмо. Только вы мало написали о жизни. Как вы сейчас живете? Чем Любочка занимается? Как она вас слушает и ходит ли в школу? Мама, если Любочка еще не ходит в школу, так постарайтесь поместить ее куда-нибудь на учебу. Я чувствую, что у вас есть затруднение с одеждой, но все же постарайтесь, а я буду вам высылать хоть понемногу грошей. Прошу вас, дайте возможность Любочке ходить в школу. Одно только прошу — берегите и питайте Любочку и скажите ей як не будэ слухаты вас, то я буду на нее сердиться.

На этом я кончаю письмо и хочу написать о себе. Я, мама, живу хорошо, чувствую себя неплохо. Одно есть желание — быстрее попасть на фронт и мстить за отца. Вам уже известно, что я сейчас в тылу, но скоро, думаю, нас отправят на защиту Родины».

Таким был Павел Рак. Он жил с чистым сердцем, с чистым сердцем пошел на фронт и геройски погиб за Родину.

Поэт-танкист Осип Колычев написал стихотворение, посвященное героям-однополчанам, которые в боях за Москву заслужили почетное звание гвардейцев, а в операции «Багратион» умножили героические традиции танкистов.

Рожденные в хвойных лесах Подмосковья,
На скошенных жнивьях сентябрьских полей,
Всем сердцем своим, всей гвардейскою кровью,
Всей жизнью вы слиты с Отчизной своей.

Как жаль, что на празднике нашем сегодня
Я многих товарищей не досчитал.
Где Рак, Костюченко, чей путь благородный
Народных былин достоянием стал?

Их нету, товарищей, кровно нам близких,
Чей подвиг, как песня, в сердцах не умрет,
Гвардейцев, навечно зачисленных в списки
К вечерней поверке построенных рот.

Их нет, но из уст в уста передается рассказ о бессмертном подвиге танкистов. О жизненном пути героев рассказывает специальная экспозиция историко-краеведческого музея Борисова. Три улицы города носят имена Рака, Петряева и Данилова. У памятника-танка на берегу Березины всегда цветы. Здесь молодежи вручают комсомольские билеты, пионеры 1-й городской школы, чья дружина получила право называться именем экипажа танка Павла Рака, проводят свои торжественные линейки.

Нет, не умрет память о героях-танкистах.

Юрий
ИЛЬИНСКИЙ

...И СНОВА БОЙ!

Мятый фронтовой треугольник с черным штемпелем военной цензуры лежал поверх колхозных бумаг. Письмо привлекло внимание сразу. Председатель торопливо полез за ветхой очешницей, выпростал очки с треснувшей и обмотанной ниткой оправой. Запрягая оглобельки за уши, чертыхнулся: раньше управлялся в момент, а с одной рукой — поди-ка.

Вырванный из школьной тетради листок в косую линейку. Твердый мужской почерк. Письмо без помарок, без ошибок. Будто в канцелярии в мирное время сочинялось.

«С фронтовым приветом!

Многоуважаемый руководитель колхоза «Рассвет»!

Как Ваше здоровье? Как поживает Ваша семья? Все ли благополучно дома?

Ваш колхозник Прохор Николаевич Рябинин служит в нашей гвардейской части. Это исполнительный и умелый сапер, отважный воин. Он быстро обезвреживает вражеские мины, минирует подступы к нашей обороне. Недавно в ночное время проделал проходы через фашистское минное поле для разведчиков, за что получил боевую награду — орден Красной Звезды.

Тов. Рябинин часто вспоминает родной колхоз, который очень любит. Он сильно беспокоится о своей старой маме, опасается, что ей не хватит дров, ведь зимы у вас суровые. Убедительно прошу: помогите обеспечить топливом солдатскую мать. Прошу Вас об этом как друга, как коммунист коммуниста. Уверен, что Вы не откажетесь помочь престарелой женщине, сын которой отважно сражается с немецко-фашистскими захватчиками.

Желаю Вам, Вашей семье и всем колхозникам крепкого здоровья, счастья и больших успехов в Вашем самоотверженном и благородном труде во имя нашей общей победы над заклятым врагом.

С уважением замполит части майор Ташмухамедов».

Председатель кивнул, словно отвечая невидимому собеседнику, задумчиво сдвинул очки на лысеющий лоб: где вы сейчас, товарищи Ташмухамедов и Проша Рябинин? Где пролегли ваши фронтовые стежки-дорожки?..

Лето сорок четвертого на Украине выдалось знойным, жара не ослабевала и вечерами, ночи стояли душные, ни ветерка. Над передовой висела непривычная давящая тишина, и тем, кто сидел в окопах, во тьме отчетливо слышался слабый шелест — это осыпалось с поникших колосьев перезревшее зерно. Мрачнели солдаты: невыносимо видеть мертвое поле, на котором гибнут плоды нелегкого крестьянского труда.

Рассветные солнечные лучи вылизывали крупнозернистую росу, сушили травы; поднимаясь выше, поджигали недвижную ртуть реки.

Призрачной, обманчивой была тишина. Обе стороны готовились к сражению: наши — чтоб рвануться вперед, на запад, враги — чтоб удержаться...

Гром с ясного неба грянул 13 июля. Войска 1-го Украинского фронта начали Львовско-Сандомирскую наступательную операцию. Продвигаясь вперед, стрелковый полк овладел вражеским опорным пунктом Порванче.

В авангардный полк приехал полковник Колобов. Настроение у комдива не из лучших — дивизия должна была еще утром овладеть лежавшим вдали Гороховом, а ситуация, судя по докладам обшаривших окрестности разведчиков, остается неясной.

Издалека красив, уютен этот городок, вонзается в небо острыми пиками костелов, простирается ровной гладью черепичных крыш. Немцы наверняка будут его упорно оборонять, их отступление отнюдь не бегство. Цепляются за каждый хутор, стараясь приковать силы наступающих к отдельным участкам обороны, сбить темп наступления.

Они превратили городок в укрепленный узел и оказали серьезное сопротивление. Попытка ворваться в Горохов с ходу не удалась. Как выяснилось, противник имел здесь прочную оборону и хорошо организованную систему огня. Пришлось частью сил обойти город и ударить с тыла. Полк, поддержанный танковой бригадой, штурмовал Горохов с севера. Эту окраину фашисты укрепили слабо, и после непродолжительного боя оставили город.

Но утром следующего дня по полку был неожиданно нанесен удар мотопехотой и танками противника при поддержке авиации. Небо заполонили «юнкерсы», обрушивали тяжелые бомбы, поливали наших пехотинцев плотным пулеметно-пушечным огнем. Фашистам удалось ворваться в город и окружить 1-й стрелковый батальон. Пришлось занять в районе кладбища круговую оборону. Душой ее стал замполит полка Мастибек Ташмухамедов.

Рослый, плечистый, энергичный, обладающий спокойным, уравновешенным характером и исключительной выдержкой, майор даже в трудные минуты не расставался с шуткой.

— Место здесь, ребята, невеселое, однако будем держаться.

Немцам уступим кладбище только при одном условии: чтобы они остались тут навсегда, и не на земле, а под землей...

Сапер Прохор Рябинин засмеялся:

— Верно, товарищ комиссар. Продержимся до подхода наших частей и закопаем гадов!

Замполит знал, как тяжело достается на войне солдату. Особенно пехотинцу. Смерть опаляет лицо вихревыми разрывами снарядов и бомб, горячим воздухом обжигает легкие, посвистывает роем пуль, визжит на излете осколками... Солдат торопливо и жадно затягивается горьковатым дымком самокрутки, вдыхает пряный и жаркий дух земли. Что еще его подбодрит? Доходчивое слово, незатейливая шутка. Солдат подыщет ответное словцо, отзовется, откликнется, как на пароль, на шутку товарища, на призывное обращение замполита.

— Ничего, братцы, не робей. Прорвемся, где наша не пропадала. Не такое видели. Живы будем — не помрем!

Кто это сказал? Да никто! А подумали только — и стали бодрей.

Когда снова полезет фашист, вернется к воину уверенность, руки будут крепче держать оружие, глаз отыщет мушку, палец плавно нажмет на спусковой крючок винтовки, ПТР или ППШ, на гашетку «ручника» или «станкача». Товарищи рядом, замполит — вот он, со всеми.

Майор знал могучую силу слова. Перебегая или переползая от окопа к окопу, подбадривал бойцов, указывал лучшую позицию минометчикам, бронебойщикам, пулеметчикам. Цену страстного и правдивого партийного слова Мастибек Ташмухамедов узнал еще в годы боевой комсомольской юности. И на войне замполит не разучился находить нужные слова для каждого бойца. Солдаты любили его, само присутствие комиссара в атакующей цепи вселяло уверенность в одолении неприятеля, в том, что погибнет враг, а ты будешь цел и невредим.

Комиссар! Многие в полку называли так Мастибека Давлятовича. И не только потому, что непростое для русского уха таджикское имя запоминается не вдруг, а по сути его души.

Давно научился Ташмухамедов держать чувства «в кулаке».

Вот сейчас никто в батальоне не обнаружит, что на душе у комиссара тревожно: немцы затягивают петлю, туже сжимают кольцо окружения, прорваться не удается. Погибают бойцы, иссякают боеприпасы. К счастью, уцелела рация, укрытая в склепе. Склонившийся над ней контуженный радист поднял голову — звука шагов он, возможно, не услышал, заметил, как посыпался на цементное дно песок. Ташмухамедов спрыгнул вниз.

— Ведем бой, ведем бой,— передавал по записке замполита радист.— Нас атакуют почти непрерывно. Командует второй. Как поняли меня? Прием...

— Почему мы не просим помощи? — не утерпев, радист спросил об этом замполита.

— Командование информировано о нашем положении. Оно примет верное решение,— громко ответил майор.— Ты меня понял? Ну и добре. Будем отвлекать на себя побольше сил — быстрее нам помогут...

Проверив автомат и даже не дав себе минуты на передышку, Ташмухамедов перебежал к пулеметчикам, расположившимся за выщербленной кирпичной кладбищенской оградой. Станкач молчал, откинутый взрывом, лежал убитый пулеметчик, а второй номер, ругаясь, бинтовал пробитую пулей ногу.

— Тебе помочь?

— Сам управлюсь, товарищ замполит. Вот «максимка» одинокий...

Ташмухамедов лег за пулемет, вгляделся из-под ладони — горячие лучи солнца били прямо в глаза. Продернул ленту — все нормально. Прицелившись, дал длинную очередь по горланящим вдалеке фашистам — пусть держатся на почтительной дистанции.

— Разрешите я,— попросил невесть откуда взявшийся сержант Молдобаев.

— А где твоя бронебойка?

— Повредило осколками.

— Что ж, в таком случае — действуй!

В руках скуластого крепенького казахского парнишки «максим» выстукивал четко — пулеметчик умелый.

— Профессионально работаешь. Как зовут? Евежелбай! Ты, я вижу, мастер на все руки, степной человек...

— Стараюсь, товарищ комиссар. В полковой школе и наше и немецкое оружие изучали.

— Значит, был отличником? Ну, успехов тебе.

Получив отпор, немецкая пехота привычно откатилась под защиту своих танков, которые находились метрах в двухстах от кладбища. За последние месяцы немцы стали куда как осторожны. Их танковые дивизии несут большие потери, и это вынуждает танкистов быть осмотрительнее: вперед теперь посылают автоматчиков, а если нет наших истребителей, то посылают и авиацию — пусть поработают летчики...

Замполит, оставшийся в батальоне старшим и, естественно, самым опытным из офицеров, разгадал замысел гитлеровцев. Прячась за памятниками и надгробиями, он теперь перебегал от одной огневой точки до другой, предупреждая товарищей о том, что сейчас произойдет. Обстрелянным фронтовикам это было понятно, но ведь полк недавно получил пополнение, пришла не нюхавшая пороха молодежь, которую еще учить надо.

— Сейчас начнется бомбежка! Укрывайтесь в окопах, ямах, ни в коем случае не перебегайте под бомбежкой и обстрелом с воздуха. Долго бомбить немцам не дадут, появятся наши соколы, разгонят стервятников. И не бойтесь — хороший солдат самого шайтана не боится...

Послышался наплывающий гул, показалось звено «юнкерсов», засвистели бомбы. Еще не осело облако дыма и пыли, а замполит уже на ногах, перебегает, подбадривая бойцов. Бомбежка оказалась безрезультатной: кладбище большое, в густой зелени, да и значительная часть бомбового запаса пришлась на рощу, где никого не было. Теперь, конечно, последует новая атака. Ташмухамедов отправился к петеэровцам, от них пошел к пулеметчикам.

— Товарищи, ваш черед! Цельтесь лучше, без команды не стрелять.

Однако немецкая пехота начинать атаку не спешила, танки огнем и гусеницами прочесывали весь массив кладбища. В овраге замполит собрал командиров рот и взводов, поставил каждому подразделению конкретную задачу. Потом взял с собой командира бронебойщиков, рассудительного и спокойного старшего сержанта Роленко, они поползли к роще. Замполит наставлял:

— Выдвинь по паре расчетов вперед, расположи на флангах. Когда начнется танковая атака, пусть ударят по бортам, по гусеницам...

— Есть! Возвращайтесь на свой командный пункт, товарищ комиссар, опасно здесь находиться.

— Какой у меня КП? Одно название. Важнее твоих ребят прикрыть. Дам по два-три автоматчика на расчет. Если просочатся фашисты, бронебойщики не будут отвлекаться.

— Спасибо. С прикрытием воевать веселее.

Немецкая пехота, поддерживаемая огнем танков, начала очередную атаку. Засевшим в кустах бронебойщикам удалось подбить танк; второй чадящим костром замер у кладбищенских ворот — его подорвали противотанковой гранатой. Остальные машины приблизились к роще вплотную; укрывавшиеся за броней пехотинцы проникли на кладбище.

Наших защитников постепенно оттесняли в глубь кладбища, танки сюда добраться не могли, но немецких автоматчиков было много, и они упорно лезли вперед. Замполит перебрасывал на опасные места свой единственный резерв — поредевшую стрелковую роту. В самый критический момент, когда казалось, что все кончено, Ташмухамедов поднял бойцов в контратаку:

— За Родину! Смерть фашистам!

В рукопашной схватке гитлеровцы были опрокинуты, выбиты с кладбища. Танки, прикрывая отход своей пехоты, огнем вынудили наших бойцов прекратить преследование. Ташмухамедов напра-

вился к склепу, где находилась рация. Навстречу бежал солдат:

— Товарищ замполит, прямое попадание...

Оглушенный разрывом снаряда, он громко кричал, повторяя: «Рация уничтожена, рация...» Находившиеся поблизости бойцы переглянулись: значит, связи с полком нет.

— Будем драться, друзья,— твердо произнес Ташмухамедов.— Уже темнеет, ночью они не сунутся, а утром подоспеют наши. Прорвемся!

— Придут ли? — прохрипел минометчик с перевязанным горлом.— Они же нас считают погибшими.

— Обязательно придут!

В сумерках замполит обходил подразделения.

— Командирам не спать. Бойцам отдыхать по очереди, вести усиленное наблюдение. Немец ночью воевать не любит, однако рассчитывать на это не приходится — нет правил без исключений. Чтобы нас не застали врасплох, нужно следить за каждым шагом врага. Посты удвоить, выделить дежурные пулеметные расчеты.

Поговорив с пулеметчиками, Ташмухамедов решил скоротать ночь в правофланговом взводе. На усыпанной чистым песком дорожке под кустом жасмина виднелась скамья. Майор устало опустился на источенное шашелем сиденье, откинулся к растрескавшейся резной спинке. Будто не было запаха сгоревшей взрывчатки. Он с наслаждением вдыхал пропитанный ароматом ночных цветов воздух. Белый табак! Пахнет, как розы, цветущие в Таджикистане с самой ранней весны до конца декабря. Нет, запах роз, пожалуй, нежнее...

Послышались странные сдавленные звуки. Замполит прислушался. Из-за кустов и впрямь доносилось всхлипывание. Ташмухамедов осторожно раздвинул живую изгородь. Неподалеку в неглубоком окопе согнувшись сидел какой-то боец. Рассеянный лунный свет, пробиваясь сквозь густой черно-зеленый шатер, высвечивал вихрастый мальчишеский затылок. Боец пилоткой вытирал глаза, худые плечи вздрагивали.

— Что случилось, друг? Ты заболел?

Солдат вскочил, торопливо одел пилотку и ответил по-детски бесхитростно:

— Простите, товарищ майор. Мне страшно...

Он смущенно одергивал гимнастерку, поправлял брезентовый ремень. Совсем молоденький, прибывший, конечно, с новым пополнением. Чем-то походил солдатик на выпавшего из гнезда желтоклювого, неоперившегося птенца. Но ведь и его надо приспособить к войне, сделать из него воина.

— Как твое имя, сынок?

— Рядовой Семенков. Третье отделение, второй взвод.

— Я спрашиваю, как тебя зовут?

— Меня? Костя...

— Иди-ка сюда. Вылезай из ямки. Это твой окоп? Сам рыл? Неужто никто не помогал? Надо же...

Окопишко никудышный, воробью по колено, однако не это сейчас главное.

— Садись, Константин, на скамейку, отдохни. Страшно, говоришь? А другим, думаешь, нет? Все люди на войне чего-нибудь боятся, бесстрашных, наверное, не бывает. Один мой товарищ, например, боялся артиллерии. Как услышит завывание снаряда, прямо места себе не находит, хотя знает прекрасно, что снаряд ляжет далеко. Я боюсь на мину наступить. Теперь немцам минировать особенно некогда, драпают, а когда мы прорывали их оборону под Проскуровом, мин повытаскивали — не счесть. Саперы их укладывали по обочинам стопочками, как тарелки. Но это противотанковые, на них хоть пляши — не взорвутся, а противопехотки, «лягушки»,— только наступи!

— Вы и сейчас мин боитесь?

— Конечно. Но стараюсь преодолевать боязнь. Человек может победить свой страх. Если он, разумеется, не слабовольный. Слабовольный же, трусоватый может, как говорится, голову потерять. Да что там голову... Однажды рота в бане мылась и налетели «юнкерсы», так один солдат гимнастерку на голое тело натянул, а подштанники в предбаннике оставил. Выскочил на улицу, а там народ. Он огородами, огородами подальше от стыда...

Раздался на ночном кладбище мальчишеский смех, совсем уж тут неуместный. Ташмухамедов улыбнулся и встал, вскочил и боец.

— О, а ты, оказывается, высокий. В школе тебя пожарной каланчой дразнили, угадал? Я сначала не разглядел, думал подросток какой-то, метр с кепкой, а ты настоящий гвардеец. Ну, коли так, окоп свой углуби, земля — наша защитница, мы родную землю защищаем, а она — нас. Жизнь нам в бою сберегает. Если, конечно, окоп правильно отрыт... Понял? Я вот недавно об одном доброе слово в колхоз писал, так он поначалу тоже робел, а потом ничего...

«Сколько ему лет, этому пацану? Прямо со школьной скамьи. Я ведь тоже пошел на ту войну, на гражданскую, из школы...»

Утром новая вражеская атака. Майор Ташмухамедов появлялся на самых опасных участках. Кладбище тенистое: вековые дубы, липы, много массивных гранитных памятников, извилистые глубокие овраги — все это ограничивало возможность применения танков, а просочившуюся немецкую пехоту обороняющиеся привычно встречали губительным огнем. Патронов было мало — отбивались трофейными «шмайсерами» и гранатами.

В последний день их обороны на кладбище бой не прекращался до темноты. Но вечером полк ударил по фашистам, загремело могучее «Ура!». Ташмухамедов чутко уловил миг, когда надо было подняться во весь рост и атаковать фашистов с тыла.

— За Родину! Вперед!

И кольцо окружения распалось. Он знал давно: так и будет.

Отправив раненых в тыл, усталый, почерневший от испытаний замполит повел бойцов к Западному Бугу. От отдыха батальон отказался. Теперь полку надлежало форсировать реку севернее города Сокаль. Сбив прикрывающий берег фашистский заслон, часть вышла к Бугу. В быстрой воде, текущей с гор, чернели фермы взорванного моста.

— У нас всего несколько лодок, придется сколачивать плоты,— доложил командир авангардного батальона.

Комполка подполковник Хабибуллин покачал головой:

— Задерживаться нельзя, товарищ комбат, немцы опомнятся, подтянут подкрепления. Используйте подручные средства.

— Можно пройти по фермам разрушенного моста,— предложил Ташмухамедов.— Я пойду первым.

— Согласен. Действуйте, комиссар!

Один за другим под огнем врага вслед за «горным человеком», замполитом полка, перебирались по рухнувшим фермам пехотинцы. Среди них был и «степной» парнишка казах Евежелбай Молдобаев, и сибиряк Прохор Рябинин, и «желторотый» новичок... Основные силы части сосредоточились на захваченном плацдарме, батальоны готовились атаковать вражеские укрепления.

Едва успели переправиться, подбежал запыхавшийся связной:

— Товарищ замполит! Убит командир полка. Немцы контратакуют.

— Передайте комбатам: майор Ташмухамедов принял командование полком...

Полк 545-й торопился к Висле.

Соломон
КАНЦЕДИКАС

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Одним из национальных соединений Красной Армии, мужественно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, была 16-я стрелковая Литовская дивизия, в составе которой было много недавних литовских коммунистов-подпольщиков.

Политическую работу в дивизии возглавил политработник и человек замечательных личных качеств, истинный интернационалист, полковник, а впоследствии генерал-майор Ионас Мацияускас. Выходец из крестьянской семьи, он с юных лет включился в революционное движение в Литве, в начале двадцатых годов был осужден на десять лет каторжной тюрьмы, но с помощью товарищей оказался в Советском Союзе. Мацияускас обладал большим опытом политической работы в Красной Армии и личной отвагой, которая не раз проявилась в годы Отечественной войны.

Наряду с гражданами Литвы, среди которых кроме литовцев было немало рожденных на берегах Балтики русских, евреев, поляков, белорусов, в составе дивизии воевали представители еще более чем тридцати национальностей Советского Союза. Сам факт их присутствия в наших рядах, готовность разделить с нами свою судьбу в борьбе за свободу Советской Родины, неотъемлемой частью которой была и маленькая Литва, имел большой политический, идейный смысл. Ведь никогда люди не становятся так близки друг другу, как перед лицом смерти. Таким был состав нашей 16-й стрелковой Литовской дивизии, когда в феврале 1943 года мы развернулись на своих первых боевых позициях в районе деревни Алексеевки на Орловщине. С этих кровопролитных боев начался наш ратный путь, закончившийся в мае 1945 года на берегах Балтики.

Будучи политруком роты, я готовил солдат к первым схваткам с врагом, а сам вспоминал, как в июне сорокового года в Вильнюсе впервые в жизни увидел бойцов, одетых в красноармейскую форму. Тогда, в связи с возросшей опасностью германской агрессии, на литовскую землю, согласно пакту о взаимопомощи, вступили части Красной Армии. Я обратил внимание на военных с нашитой на рукаве красной звездой. Позднее я узнал, что это политработники.

По призыву действовавшей в подполье Коммунистической партии трудящиеся Вильнюса вышли на улицы с цветами, алыми бантами и лозунгами: «Да здравствует героическая Красная Армия!» Они с радостью приветствовали советских воинов — своих защитников и друзей, и должно же было так случиться, что именно в день вступления частей Красной Армии в Вильнюс меня схватили полицейские. Был я тогда профессиональным революционером и по поручению Компартии Литвы работал над восстановлением подпольных партийной и комсомольской организаций города. Работа, сложная и трудная, шла успешно, и вот в самый ответственный момент я оказался в полицейском участке. Меня жестоко избили, топтали сапогами; когда терял сознание, отливали водой. Затем ставили к стенке, стреляли из пистолета возле самой головы, а дымящийся ствол совали в рот. Тогда я впервые почувствовал кисловато-горький запах горячего металла и порохового дыма. Запах, который потом сопровождал меня все долгие годы войны. Не думал тогда, что пройдет немного времени и я стану политруком Красной Армии, в ее рядах пройду от Орла до берегов Балтики, прослужу в ней около тридцати лет. Да и о том, что доживу до рассвета, не думал в ту ночь.

В популярной песне говорится: «Последний бой — он трудный самый»; для нас самым трудным был первый бой под Алексеевкой. Боевое крещение дивизии стало для многих ее бойцов и героическим и скорбным финалом. 24 февраля 1943 года мы пошли в атаку на сильно укрепленную высоту и оставили в долине перед ней сотни своих друзей. Среди них было немало недавних революционеров-подпольщиков, в том числе рядовой автоматчик Айзикас Лифшицас, в тридцатые годы член секретариата ЦК Коммунистической партии Литвы. За иными из полегших под Алексеевкой коммунистов-революционеров буржуазная охранка охотилась десятилетиями. Кто мог предположить, что свой «последний и решительный бой» с фашизмом они примут на русской, советской земле?

Вероятно, ни в каких других условиях слово и дело не оказывались столь неразделимыми, как в дни войны. Политработники вечером учили бойцов храбрости и отваге, а назавтра в бою подтверждали свои слова собственной жизнью. В числе первых погибших в дивизии был замполит Пранас Гужаускас, член партии с 1925 года. Под Алексеевкой он повел в бой солдат своего батальона.

И хотя ему и не довелось увидеть деревню, освобожденную в результате этой атаки, сражался он за нее так, будто это был его родной хутор в окрестностях Векшняй. А солдат соседнего батальона поднимал в атаку другой коммунист, также бывший подпольщик, депутат Верховного Совета СССР Стасис Филипавичус. С первого до последнего боя политработники шли в первых

рядах атакующих бойцов, они заслужили моральное право на высокие слова, которыми напутствовали солдат на смерть и бессмертие.

Когда подводили в конце войны итог нашим потерям, мы с горечью в сердце вспоминали имена Пранаса Гужаускаса, Иоселиса Вольфсонаса, Балиса Кирстукаса, Альфонсаса Кудлы, Айзикаса Лифшицаса, Виталиуса Толкявичуса, Ионаса Юрявичуса, десятков других преданных сыновей партии и комсомола. Их личный подвиг стал высшим проявлением партийно-политической работы на фронте.

Тяжелое ранение на год вывело меня из строя; свою дивизию я догнал весной 1944 года в районе Великих Лук. И несмотря на то, что вокруг было много незнакомых мне лиц, а имена старых боевых товарищей вспоминались часто скорбно, вполголоса, я чувствовал себя как человек, вернувшийся в родной дом.

Наступило лето, последнее лето войны. Дивизия находилась под Витебском в составе войск 1-го Прибалтийского фронта. Началась Белорусская операция. Прорвав вражескую оборону, мы ежедневно продвигались на десятки километров, все больше приближаясь к родному краю. На пути — сожженные оккупантами деревни, густым бурьяном отмечены места, где до войны стояли дома, цвели сады. Составляя донесения в политотдел дивизии, мы только по карте устанавливали названия населенных пунктов, которые прошли. На местности мы их не видели. Лишь однажды после Полоцка на нашем пути оказалась целой деревня Шарковщина. С удивлением и радостью мы увидели неразрушенные дома и людей. С волнением они рассказывали о партизанах, благодаря которым остались в живых.

Дальше была Литва.

Наступили незабываемые встречи солдат и офицеров с родными и близкими, за судьбу которых мы волновались все эти долгие военные годы. Волновало и горе тех, кому не суждено было найти своих. Пять братьев Матуленисов прошли всю войну и остались в живых, а вернувшись в родную деревню, узнали, что родителей-стариков убили оккупанты и их пособники — буржуазные националисты. На месте отчего дома — горькое пепелище. Враги не могли простить им, убежденным коммунистам, бойцам Красной Армии, и отомстили таким нечеловеческим образом. Помню, узнав об этом, я молча обнял своего товарища, агитатора полка Эдуардаса Матулениса, вытащившего меня, раненного, с поля боя в памятном феврале сорок третьего. Мне ничего не надо было говорить ему: слова были излишни — вернувшись на родину, я тоже не нашел никого из оставшихся там близких.

Честно говоря, своим друзьям и самому себе в некоторых ситуациях того времени трудно не удивляться. Непонятно, как нечеловечески сдержанно воспринял я тогда весть о гибели матери,

отца, братьев. Мать, жившую на хуторе, почти на самой границе с Германией, буржуазные националисты расстреляли в первые дни войны. У нее на руках погиб и мой младший брат, мальчонка с пушистыми белокурыми волосами. Отец был отравлен газом в убежище каунасского гетто; он продержался здесь почти до самого освобождения города нашими войсками. Не узнал и, должно быть, так и не узнаю я обстоятельств гибели второго брата. В последний раз я видел его 22 июня 1941 года. Он пришел в Вильнюсский горком комсомола ко мне, секретарю, и попросил дать оружие и боевое задание. Я направил его в отряд, охранявший городскую электростанцию. На крыше этого здания, выстроенного в начале века, стоит прекрасная женская фигура с фонарем в руках — аллегория света. Сейчас мне бывает больно проходить мимо этого здания. Тогда же, в сорок четвертом, свое неимоверное по обычным меркам горе я спрятал где-то в самой глубине сердца. Только при первой возможности испросил разрешения на скорейшее возвращение из эвакуации в Вильнюс жены и маленького сына. А сам пошел воевать дальше, рядом с братьями Матуленисами, другими солдатами и офицерами дивизии, которой еще предстояло освобождать бóльшую часть Литвы. На войне как на войне...

После освобождения Вильнюса войсками 3-го Белорусского фронта ЦК Компартии Литвы и правительство республики начали подготовку и проведение мобилизации в освобожденных районах. Если вначале дивизия состояла в основном из добровольцев, которые сознательно выбрали трудный путь борьбы с оккупантами, то теперь она пополнилась мобилизованными солдатами. Боевая подготовка и особенно партийно-политическая работа в этот период имели свои особенности и специфику, обусловленные, в частности, обострением классовой борьбы в республике, конкретной ситуацией на фронте. Командование и политотдел, всех офицеров, политработников, естественно, волновал вопрос: какими будут эти люди нового пополнения? Ведь надо было дать им в руки оружие, вести их в бой.

Внимательно изучая вновь призванных, мы с удовлетворением убедились, что многие среди них радовались возможности стать советскими солдатами. Большое значение имело то, что они были очевидцами зверств гитлеровцев и их прислужников, сами пережили ужасы и жестокости оккупации. Они шли в Советскую Армию, чтобы отомстить фашистским палачам. Однако были и такие, которые хотели скрыть свои преступления перед народом или, получив оружие, уйти в националистические банды. Это требовало от нас особой бдительности. Подавляющее большинство солдат нового пополнения ранее не прошло военной подготовки и, конечно, не имело боевого опыта. Естественно, что в этот период боевая подготовка и партийно-политическая работа велись особенно активно.

Я был назначен заместителем командира по политчасти 3-го батальона 156-го стрелкового полка в период боев за Шяуляй. Наш батальон, которым командовал майор Михаил Макашов, целиком состоял из солдат нового пополнения. Мы прививали новобранцам лучшие боевые традиции дивизии, рассказывали о ее ветеранах и героях, воспитывали в духе пролетарского интернационализма, боевого братства всех советских народов. Конечно же все это преломлялось через собственный жизненный и боевой опыт каждого из нас.

Рассказывал я молодым деревенским ребятам из освобожденных районов Литвы об их земляках, погибших на полях России и Белоруссии, и о русских, украинцах, белорусах, сибиряках, жителях Кавказа и Средней Азии, отдавших жизнь за литовскую землю.

Нам важно было, чтобы, воюя на своей земле, молодые литовские парни так же, как и мы, прошедшие тысячи километров фронтовых дорог, знали: Родина для нас всех стала несравнимо шире границ Литвы! Вот почему я рассказывал, например, о солдате Мише Шелиа, первом грузине, которого я узнал в жизни, человеке, переплывшем Волгу с размозженной осколком рукой и вновь рвавшемся в бой, в пекло войны. Мы, политработники, разъясняли молодым солдатам, почему в нашей дивизии, большую часть которой составляли жители Литвы, сражались еще и воины других национальностей, во имя чего полегли их земляки на Орловщине, а командир батальона Михаил Макашов, уроженец той же Орловщины, отчаянно и беззаветно ведет их в бой за литовские города и деревни.

В августе — сентябре 1944 года в районе Шяуляя мы готовили бойцов нового пополнения к предстоящим боям. Для того чтобы научить солдат уничтожать танки противника и побороть в себе чувство танкобоязни, были отрыты траншеи полного профиля, которые заняли бойцы батальона. Танки «утюжили» эти траншеи. Когда «тридцатьчетверки» проходили над окопами, надо было укрыться на дне и убрать с бруствера оружие, а затем кидать им вслед, на мотор, учебные противотанковые гранаты. Естественно, молодые бойцы волновались. С тем большей гордостью они потом говорили, что им не было страшно, «только вот во время «утюжки» песок попадал за воротник гимнастерки». Провели мы учения и с артиллерией, во время которых пехота наступала за огневым валом, прижимаясь к разрывам своих снарядов. Все командиры и политработники находились в цепи наступающих.

В результате упорных занятий солдаты пополнения приобрели необходимый опыт, что проявилось во время последующих боев: наступления в Жямайтии, при отражении контратак гитлеровской пехоты и танков в районе Усенай, при освобождении Клайпеды.

Научились они и терпению в преодолении постоянных тягот войны. Нам, бывалым бойцам, фронтовые будни казались вполне привычными. Со стороны же, однако, все это выглядело иначе. Понять чувства новобранцев, впервые идущих в бой, помог неожиданный случай, происшедший зимой 1945 года.

Находились мы в это время в районе Эмбуте, недалеко от латышского города Лиепая, который удерживали гитлеровцы. Наш передний край проходил по опушке леса. Мы мокли в гнилых курляндских болотах. Окапываться было невозможно: траншеи заливала вода. Лишь насыпи из веток и земли кое-как спасали от пуль и осколков, помогали маскироваться. От противника нас отделяла узкая полоса ничейной земли.

День был морозный, солнечный, какие нечасто выпадают в Прибалтике. Над позициями противника появился «Ил-2». Он обстреливал фашистов из пулемета, бил по огневым точкам реактивными снарядами. Мы внимательно следили за штурмовиком, восхищались мастерством и смелостью летчика. Должно быть, впервые я так близко видел в деле штурмовик. Вдруг самолет загорелся и начал падать — в него попал вражеский зенитный снаряд. Летчик выбросился с парашютом, приземлялся медленно, ветер с моря относил его то к немецкой позиции, то к нашей. Пехотинцы вели стрельбу по противнику, отвлекая огонь на себя. Летчик опускался над опушкой леса, там, где залегла наша пехота. Вот купол парашюта зацепился за верхушки деревьев, и летчик повис. Мы быстро срезали стропы, на руках опустили летчика на землю. Все облегченно вздохнули, напряжение спало. Летчика отвели в укрытие, и тут он смачно выругался: в момент раскрытия парашюта при динамическом ударе с его ног слетели меховые унты, он остался в одних носках. Мы обули его в кирзовые сапоги, налили в кружку спирту: «Погрейся, друг».

По телефону сообщили в штаб полка, а сами с интересом расспрашивали гостя. Он, однако, был немногословен и заметно волновался. Шла обычная пристрелка, давно привычная для нас. А летчик беспокоился, сказал, что, оказавшись на передовой, впервые почувствовал, как тяжело и опасно в пехоте. Бойцы переглянулись: на земле вырыл окоп или ячейку, и земля сама защищает тебя. Если ранен, свои найдут, перевяжут, вытащат с поля боя. Мы сказали об этом летчику и спросили: а как же в воздухе, под огнем зениток и истребителей? Он как-то удивленно посмотрел на нас и ответил: «В воздухе — работа, привычная работа, там об опасности думать некогда». Так же стали воспринимать свои боевые будни уже и наши молодые солдаты. В них появились неудержимый наступающий порыв, уверенность в победе.

После короткой, но упорной подготовки солдаты нового пополнения на окраине Шяуляя в торжественной обстановке приняли

военную присягу. И вот первое боевое крещение — под Шяуляем. После артиллерийской подготовки и бомбардировки с воздуха противник перешел здесь в контрнаступление, стремясь восстановить коммуникации группы армий «Север» с Восточной Пруссией. Наша Литовская дивизия совместно с танковыми частями и при поддержке штурмовой авиации в течение трех дней оборонялась на подступах к городу, удерживая стратегически важные участки шоссе. Мы отбили все атаки противника, нанеся ему большие потери. Массовый героизм проявили и ветераны и солдаты пополнения, для которых эти кровопролитные, необычайно насыщенные по числу танков бои были первыми.

Так, уроженцы Шяуляя отец и сын Дауетасы из противотанкового ружья и гранатами подбили несколько вражеских бронетранспортеров. Будучи оба раненными, они уничтожили из пулемета десятки гитлеровцев. Молодой солдат Ионас Мяшкинис, оборонявший с другими бойцами позиции, на которые рвались двадцать танков, не растерялся, подбил ближайший танк гранатой. А тем временем командир орудия сержант Шальтянис зажег еще три вражеских машины, да батарея офицера Стяпаса Улозявичуса уничтожила три танка, три пулемета и до роты пехоты противника.

Всему фронту стало известно в те дни славное имя дочери литовского народа Дануте Маркаускене. Огнем своего пулемета она помогла отбить тринадцать атак противника. За этот подвиг к двум орденам Славы за прежние бои добавился третий — II степени. Она стала первой в Красной Армии женщиной — полным кавалером солдатского ордена. За героизм, проявленный в боях под Шяуляем, около четырехсот воинов дивизии награждены орденами и медалями. Среди них было немало солдат из пополнения. В донесении политотдела дивизии сказано: «Бо́льшая часть молодого пополнения ведет себя хорошо, находится в бодром настроении, и многие из солдат пополнения уже показали свою смелость. В своих высказываниях они признают силу Красной Армии и выражают уверенность в ее победе».

Таковы были первые плоды нашей работы с молодыми солдатами. Успешное завершение разгрома крупной группировки фашистских войск под Шяуляем создало условия для последующих наступательных действий по освобождению Жямайтии и Клайпеды.

Стремясь вернуть важную магистраль Клайпеда — Тильзит, гитлеровцы сосредоточили против нас пехотную дивизию и часть танковой дивизии СС, а также курсантов офицерской танковой школы. 12 октября противник контратаковал передовые подразделения дивизии. Целую неделю мы вели ожесточенные оборонительные бои. Запомнился бой с немецкими курсантами-танкистами. Они шли в атаку, как на учении, командовал ими офицер, подававший сигналы флажками. Их выучка, надо сказать, была

неплохой. Но упорной обороной наших подразделений, хорошо организованным метким огнем мы нанесли противнику невосполнимые потери. А что касается офицерской танковой школы, то к исходу боя она перестала существовать.

Вскоре наша дивизия вышла к реке Нямунас (Неман). На противоположной стороне реки был Тильзит, была земля, с которой на рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская группа армий «Север» начала наступление в направлении Ленинграда. Нужно было готовиться к форсированию Немана. Предстояли новые тяжелые бои. Командир батальона Михаил Макашов пригласил к нам командира батареи 120-миллиметровых минометов Витаутаса Ряпшиса, и мы, выйдя на берег реки, обсуждали план ее форсирования. Все трое мы были ветеранами дивизии, участвовали в боях под Орлом, Невелем, в Белоруссии, на северо-востоке Литвы.

Несколько слов о нас самих. Витаутас рос в бедной крестьянской семье, в Жямайтии, Папильской волости; в 1940 году, в первый год Советской власти, он поступил в Вильнюсское пехотное училище. Заканчивать его пришлось ему уже на полях сражений. Батарея под его командованием вместе с нашим батальоном прошла с боями весь путь до Немана. Мать Витаутаса в годы войны, рискуя жизнью, прятала бежавших из гитлеровского плена советских солдат.

Я родился на берегу Немана, в нескольких сотнях километров выше по течению от того места, где мы сейчас стояли, в местечке Бальберишкис. Вся моя юность, ее радости и печали были связаны с этой рекой.

А Миша Макашов родом из России. В феврале 1943 года мы, воины 16-й Литовской дивизии, вступили в первый бой на его родной орловской земле. Вместе с нами он шел от Алексеевки до берегов Немана. На трудных дорогах войны нам доводилось выручать друг друга в бою, на этом пути мы хоронили наших боевых друзей.

Итак, дивизия готовилась к форсированию Немана. От ее участка форсирования было уже совсем близко до Балтийского побережья. И это радовало всех нас. Ведь для жителей Литвы Балтика — благодатный край, символ их родины. Капелькой балтийского янтаря назвал Литву наш боевой друг, любимый поэт той да и сегодняшней поры Эдуардас Межелайтис. Нежность этого определения близка и понятна сердцу каждого из нас. Почуяв свежий солоноватый ветер с моря, я вспомнил, как меня, еще мальчишку, привозила мама в бархатные дюны Паланги. Безмятежность воспоминания казалась тогда просто невероятной!

Вспомнил я и свою последнюю довоенную встречу с Балтикой, расположенный неподалеку от Кретинги концентрационный лагерь Димитрава, где вместе с другими политзаключенными отбывал

наказание за подпольную революционную работу. Там, в Димитраве, в тридцать девятом году находилось немало нас, воевавших потом в рядах 16-й стрелковой дивизии и навсегда оставшихся на долгом пути нашего возвращения домой. Под завывание все того же ветра с моря пели мы тогда революционные и народные песни после возвращения с лесоповала, из каменоломен. И именно там наш товарищ по заключению, впоследствии многолетний председатель Президиума Верховного Совета республики, замечательный человек и поэт Юстас Палецкис, перевел на литовский со слов кого-то из заключенных так полюбившуюся нам советскую песню о поре гражданской войны: «Там вдали, за рекой, загорались огни...» Разве могли мы думать, что спустя всего четыре года эта песня станет песней нашей собственной солдатской судьбы?..

Задачу по освобождению Клайпеды командование 1-го Прибалтийского фронта возложило на 4-ю Ударную армию, в состав которой входила и наша дивизия. Гитлеровцы здесь хорошо укрепились, построили вокруг города несколько оборонительных линий с многими рядами траншей и железобетонными укреплениями для огневых точек. 27 января 1945 года в четырнадцать часов бойцы дивизии поднялись в атаку и заняли первую позицию противника. А когда наступили сумерки, наши штурмовые группы прорвали вторую и третью позиции, и мы ворвались в город. На другой день в пятнадцать часов вышли к морю. Наконец-то!

Стояли сильные морозы, с моря дул пронизывающий ветер. Усталые и озябшие солдаты заходили в дома, чтобы хоть немного согреться и отдохнуть. Однако здесь их поджидала смерть. Уходя, гитлеровцы подкладывали под дома мины замедленного действия. В течение нескольких дней продолжались взрывы, пожары. Днем и ночью работали саперы.

30 января на рассвете противник был полностью уничтожен. На маяке на молу взвилось победное красное знамя.

Военный фотокорреспондент Ханонас Левинас сделал тогда в освобожденной Клайпеде памятный снимок: солдат Литовской дивизии рвет флаг со свастикой...

Бывший офицер дивизии Викторас Бергас, назначенный председателем Клайпедского горисполкома, вспоминал, что из восьми причалов порта семь гитлеровцы взорвали. Оставшийся причал был тоже подготовлен к взрыву, заминирован на глубине восемь метров. Но мина не взорвалась. Когда саперы извлекли ее, то обнаружили в ней записку на французском языке: «Эта мина не взорвется». Она была изготовлена в оккупированной гитлеровцами Франции. Так французские антифашисты спасли этот единственный причал Клайпедского порта. Такое яркое проявление пролетарского интернационализма служило действенным примером в нашей партийно-политической работе. Красноречивый факт мгно-

венно облетел части и подразделения, подтверждая обреченность агрессивной фашистской машины.

Теперь, когда Клайпеда была в наших руках, мы развернули среди бойцов беседы о будущей мирной жизни Советской Литвы, устраивали встречи с командованием дивизии. Во время боев за Клайпеду дивизией командовал генерал-майор Адольфас Урбшас. В буржуазной Литве он был начальником штаба дивизии. Когда в марте 1939 года гитлеровская Германия предъявила Литве ультиматум с требованием о передаче ей Клайпеды, Урбшас назначается начальником эвакуационной комиссии по выводу литовских воинских частей из города. За уходящими частями литовской армии, наступая им на пятки, шли войска вермахта, и никто не мог тогда знать, где они остановятся. Именно тогда Урбшас понял, чего стоит так называемая независимость буржуазной Литвы. «Это было только красивое представление, только водевиль»,— писал он впоследствии.

И вот генерал-майору Красной Армии Адольфасу Урбшасу довелось освобождать город, который он шесть лет тому назад вынужден был отдать без боя противнику. После завершения операции на ее разборе в штабе дивизии комдив рассказал обо всем этом командирам и политработникам. Потом по просьбе политотдела выступал перед солдатами в частях и подразделениях. Это помогло и ему лучше понять исторический смысл тех событий, участником которых он стал.

Судьба генерала перекликалась с судьбами рядовых. Юргис Банчкус родился и вырос в Клайпеде, работал слесарем в судоремонтных мастерских. В марте 1939 года для него, как и для многих других литовцев, начались тяжелые времена. Летом 1940 года он бежал в Шяуляй, устроился на кожевенный завод, а через год и сюда пришли фашисты. Юргис поддерживал связь с подпольщиками, партизанами. Его схватили гестаповцы, пытали, девять месяцев держали в Шяуляйской тюрьме, приговорили к расстрелу. Банчкусу вновь удалось бежать, скрывался у крестьян, дождался прихода Красной Армии и солдатом Литовской дивизии участвовал в освобождении родной Клайпеды.

Жизненный путь генерала и солдата, другие примеры из биографии бойцов представляли важный аргумент в наших беседах с молодыми солдатами. Много рассказывали мы им и о воинах других частей и соединений, отличившихся при освобождении Литвы. Правдивое партийное слово, личный пример коммунистов в бою, искренняя забота о нуждах бойцов оказывали большое влияние на их морально-политический облик. Командование справедливо отмечало, что наступательный порыв воинов в Жямайтии и освобождение Клайпеды, стойкость и упорство, проявленные ими в кровопролитных сражениях, были итогом хорошо налаженной, активной боевой и политической подготовки.

Политработа на фронте предполагала и работу над самим собой, проверку и воспитание своих собственных человеческих качеств, которые никогда и нигде не обнажаются так остро и однозначно, как на границе жизни и смерти. В такой обстановке необходимо быть постоянно предельно требовательным к себе, суровым и честным. Ведь каждый наш миг содержал в себе что-то от последнего причастия, от исповеди перед смертью. И в то же время он всегда оставался временем мечты, надежды, самого серьезного жизненного испытания. Без веры в день завтрашний невозможно идти и поднимать в атаку. И это было, пожалуй, основным содержанием нашей каждодневной партийно-политической работы. В твердой уверенности, чуткости политработника, парторга, комсорга, пропагандиста остро нуждались и совсем еще молодые ребята, на которых шинель смотрелась так, будто они только что вышли из вещевого склада, и бывалые бойцы, прошедшие огонь и воду, наглотавшиеся пыли тысячекилометровых фронтовых дорог. Ведь на душе любого человека может быть смутно, а война постоянно давала для этого много поводов.

Ранней весной 1945 года мы вели бои с окруженной в Курляндии, между Тукумсом и Лиепаей, гитлеровской группировкой. Помню, как во время одного из боев моему комбату Макашову осколком снесло два пальца левой руки, осколки засели и в ногах. А спустя несколько недель я получил от него, уже из госпиталя, такое письмо (он всегда называл меня Сережей): «Здравствуй, дорогой мой Сережа! Мой горячий привет тебе и наилучшие пожелания в твоих боевых делах и личной жизни. Сережа, я нахожусь в госпитале в Радвилишкисе, но письма не писал лишь потому, что я за это время сменил четыре госпиталя и все в этом городе. Сережа, по радио я слышал о ваших боевых делах и очень жалел, что я не мог участвовать в них вместе с тобой, мой дорогой Сережа. На ногах раны полностью закрылись, но из левой ноги будут извлекать осколок, на левой руке еще в медсанбате ампутировали первый и второй пальцы, но остаток первого пальца до сего времени гноится.

Сережа, пиши подробно обо всем и больше о себе, а также напиши мне по-дружески — возвращаться ли мне в дивизию или нет? До свидания, будь здоров и невредим, крепко целую тебя. Миша».

Макашов вернулся в дивизию, и мы воевали с ним до конца войны. В первый же послевоенный год, собрав в маленьком деревянном домике на окраине Вильнюса, где он поселился, всю свою семью, приехавшую с Орловщины, Миша поднялся и неожиданно сказал:

— Я поднимаю тост за своих двух отцов. За покойного отца, который дал мне жизнь, и за моего замполита, который постоянно сохранял мне эту жизнь.

Данный эпизод, возможно, не стоил бы упоминания, но в нем есть что-то такое, что передает чувство ответственности, которую ощущал и действительно нес на войне каждый из нас, политработников любого уровня, за своих боевых товарищей, всех без исключения, как сейчас принято говорить: от солдата до маршала.

Нам, политработникам, положено было быть с бойцами во всех переделках, владеть собой и уметь поддержать других. И как символ политработы на войне сохранился в моей памяти эпизод боя севернее Кяльме в октябре 1944 года. С костела гитлеровцы вели по нашему батальону плотный пулеметный огонь. Из-за кустарника дали несколько залпов немецкие шестиствольные минометы, издававшие противный скрипучий звук. Роты залегли. Тогда парторг батальона Ионас Мицкявичус, старый революционер-подпольщик, поднялся во весь рост и пошел на вражеские позиции. Ветер сорвал с головы пилотку, широко развевались его седые волосы. За ним в стремительную атаку поднялись бойцы, ворвались в траншеи противника, захватили минометы. Путь вперед был открыт.

Прошли уже десятилетия, а у меня перед глазами до сих пор стоит фигура вытянувшегося во весь рост седого парторга — величественная, как памятник, как строгая поэтическая строка А. Межирова: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!»

За этим порывом, за силой нашей убежденности были постоянные раздумья, мысли и чувства, далеко не всегда однозначно веселые. Не могу удержаться, чтобы не привести строки из последнего письма, которое я отправил жене с фронта 7 мая 1945 года: «...сейчас лягу на койку и пролежу до утра без сна, а завтра, как всегда, пойду на передний край, к бойцам, и никто из них не подумает, что этот спокойный, строгий офицер с трудом сдерживал себя от рыданий, вспоминая, думая о своей любимой...

Стало тяжело. Я закурил сигарету и вышел из землянки. Темно, темная ночь. Она освещается только ракетами, разрывами мин и снарядов. По ним можно определить передний край на многие километры. Передний край не спит, ни один боец, командир не может заснуть. Впереди, в 80—100 метрах, немец, он делает вылазки, чтобы захватить у нас «языка», малейшее притупление бдительности может стоить жизни. Идет война беспощадная, кровавая. Без устали стрекочут пулеметы, автоматы. Немцы стали беспокоиться последние дни, все время пускают ракеты, стреляют, вот сейчас вышел их танк, бьет прямой наводкой через бугор, где моя землянка. Они ждут нашего наступления. И дождутся... Надо их прикончить и здесь. Слишком истосковалось сердце...»

Для меня война кончилась 8 мая 1945 года, когда над вражески-

ми позициями, расположенными напротив нашего батальона, был поднят белый флаг. Это были последние сражения дивизии в Курляндии на территории соседней братской Латвии. Курляндская группировка фашистов была одной из сильнейших, оставшихся от вермахта к концу войны, и состояла из отборных войск, среди которых было немало частей СС. И когда по разминированной нашими саперами тропинке мы прошли к штабу противника, нас встретил командир, майор войск СС.

9 мая 1945 года. Рассматриваю фотографии, на которых запечатлен прием колонн сдавшихся вражеских солдат и офицеров. И вспомнился тот солнечный день... В памяти возникают лица, их выражение: пленных больше всего удивляло, поражало наше гуманное отношение к ним, забота о том, чтобы их вовремя накормили, организованно отправили в тыл. Помню, ко мне подошел обер-лейтенант. Показывая на подразделение военнослужащих, подходивших к пункту приема военнопленных, он сказал: «Это рота Геббельса (так он назвал роту пропаганды). Они внушали нам ненависть к Красной Армии, говорили, что советские солдаты всех нас убьют. Они обманывали нас, их надо расстрелять». Когда я ответил ему, что военнопленных мы не расстреливаем, он выкрикнул: «Разрешите нам, мы сами это сделаем!» И был разочарован — не разрешили. Видно, нелегкая, мучительная борьба происходила в умах и сердцах этих людей. Наша Победа дала и им возможность по-иному взглянуть на свою жизнь.

В июне 1982 года в Шяуляе состоялась встреча ветеранов 16-й Литовской Краснознаменной Клайпедской стрелковой дивизии. Выступивший тогда на этой встрече первый секретарь ЦК Компартии Литвы Пятрас Гришкявичус сказал:

— Фронтовики, партизаны, подпольщики по направлению партии шли на самые сложные участки восстановления Советской Литвы, составили ядро наших партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных кадров...

И действительно, бывшие ветераны нашей дивизии стали рабочими, организаторами колхозного строительства, учеными. Среди них есть видные писатели и поэты, академики, партийные руководители, министры. В разговоре о многих сегодняшних видных людях Литвы нередко можно услышать: он ветеран войны, боец Литовской дивизии. И это лучшая аттестация той ежедневной, порой неприметной работы, которую проводили комиссары-политработники соединения, работы, в которой славные боевые традиции Советской Армии слились с лучшими традициями революционной борьбы.

Зиновий
ФАЗИН

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ РАНЕНИЕ

Издали вражеский берег казался мертвым.

С утра дождь квасил землю, а солдатское дело требовало своего: лежи в грязи и не двигайся, чтобы с той стороны тебя не заметили, а сам подмечай все, даже самый маленький кустик.

— Какие-то там надолбы под горой...— шептал в ухо своему замполиту капитану Серых командир батальона капитан Забобонов.— На, погляди в мой бинокль.

У Серых был свой бинокль, тоже неплохой, но комбату казалось, что лучше его бинокля на свете нет.

— А я и так вижу! — отвечал Серых.— Крепко загородились. Железо. Бетон. Проволока.

— Плохо, брат...

Губы у замполита посерели и плохо повиновались. И не только губы, а все худощавое лицо его мало чем отличалось по цвету от шинели. И, наверное, из-за этой ужасной погоды у него мучительно ныли раны, полученные за годы войны. А их было двадцать две.

«Крепкая кость!» — подумал Забобонов. Он поглядывал искоса на замполита и проникался все большим уважением к этому человеку, недаром прозванному одним старым бойцом батальона «Ружпульпарком». Так в годы гражданской войны называли тех, кто имел много ранений и продолжал оставаться в строю.

Уже третий час лежали они в густом кустарнике у насыпи, а дождь все лил и лил. Ну и сторонка! Начался декабрь, а в здешних местах еще не видели снега. Одна слякоть да грязь. И куда только не занесет солдата его ратная служба! Вот он, знаменитый Дунай! Река широкая, но, видно, только в вальсе она голубая! Сейчас не глядели бы на нее глаза: от ветра и дождевых капель вода мутна и кажется свинцово-серой; берега унылы, болотисты, заросли лозой. На той стороне, прямо против моста, где лежали офицеры, за глинистыми кручами, где окопался противник, чернел чахлый лесок. А что дальше, за кручами, не видно было, но карта показывала: там — поля, поселок, шоссейная дорога, бегущая из Будапешта мимо этих мест на юг.

Стрелковый батальон Забобонова уже два дня лежал в обороне у берега, и оба командира хорошо понимали, для чего им приказано тщательно изучить местность. Разбитый враг отступает, но еще яростно огрызается и, чтобы его добить, необходимо форсировать Дунай.

На восток от главного русла Дуная, позади передовых позиций полка, река ответвлялась нешироким рукавом, который бойцы называли «малым Дунайчиком». По междуречью раскинулись поселки с островерхими красными крышами и сады, сейчас голые. Сюда и отошел ночью батальон Забобонова.

— Ни пуха ни пера! — пожелал Забобонов командиру пришедшего на смену батальона.— До скорой встречи на том берегу.

Тихо двигались бойцы по размытой дороге, и слышалось только хлюпанье воды под ногами. Темнота — хоть глаз выколи. До поселка, где предстояло разместить батальон, было километров пять. Командир полка, присутствовавший при смене, предложил Забобонову и Серых сесть к нему в машину. Комбат сел, а Серых отказался — он пойдет пешком.

На полдороге, у развилки, машину комполка остановил сигналом фонарика связной из штаба дивизии. Срочный вызов. Забобонов пригрелся, сидя в машине, и неохотно оставил ее, решил подождать подхода рот, прислонился к шершавому тополю и стоя задремал.

Тяжелый топот ног на дороге заставил комбата открыть глаза. Подходили роты.

— А что такое презумпция? — спрашивал у замполита молоденький боец Мележик.— Есть такое слово, а что оно означает, не знаю.

— Презумпция? — недоумевал Серых.— Что-то не помню я такого слова. А ты где его вычитал?

— В какой-то газете, товарищ замполит.

— С той поры як перешли мы границу, этот Мележик никому житья не дает,— послышался из темноты насмешливый голос сержанта Ткаченко.— Всякие иностранные слова хватает и до всех пристает: что да почему?

— А что плохого, раз мне интересно? — сказал Мележик с обидой.

— Ничего плохого в таком интересе нет,— отозвался Серых,— будет время, выясним, что это слово означает.

Рабочий в прошлом, Серых не был эрудитом и, когда сталкивался с трудными вопросами, говорил «выясним», даже если дело шло о такой «фантазии», какая занимала Мележика. Все равно — раз Серых сказал «выясним», можно быть вполне уверенным, что он найдет время и поможет бойцу разобраться.

Никакая работа не тяготила замполита, и любое дело он выполнял с твердой верой в необходимость и важность этого дела, даже самого маленького, ради победы. Четвертый год шел Серых по дорогам войны. Четвертый год!.. Сколько пережил он за это время; ведь на войне бывают дни, когда в течение часа можно поседеть. А Серых все вынес и вот опять шагает: уверенной солдатской походкой идет туда, куда приказано, куда требует идти солдатское дело, и, казалось, нет такой преграды, которая могла бы его остановить.

В поселке, когда хлопоты с устройством рот на ночлег кончились, комбат, лежа на жесткой соломе в теплой просторной хате, где разместился штаб, думал о том, что Серых тоже не железный и, конечно, подвержен, скажем, усталости, как все люди, но умеет не поддаваться ей, и в этом его сила. И пока комбат думал об этом, в голове его будто что-то погасло, глаза смежились, но он резким движением заставил себя вскочить и взяться за сапоги.

Густой сырой мрак встретил его за порогом. На западе небо отсвечивало багрянцем пожарища и слышался гул артиллерийской канонады. По деревенской улице, вымощенной камнем, тяжело шаркали сапогами бойцы охранения. Около соседних домиков мелькали синие лучи карманных фонариков. Оттуда доносился хриплый говор, и Забобонов узнал голос Серых. Тот ходил из хаты в хату и проверял, как устроены бойцы.

— Ты что,— подошел к нему Забобонов,— почему не прилег? Свалиться хочешь?

— Все в порядке,— отозвался Серых,— за меня не беспокойся. А вот скажи, как ты себя чувствуешь?

— Ничего...— с удивлением произнес Забобонов,— у меня тоже все в порядке.

— Ну и хорошо. Главное, чтобы дома жинка не журилась.

В середине деревушки, где стоял батальон, громоздилось толстостенное, тяжелое, похожее на крепость каменное здание с замшелой черепичной крышей. Бросались в глаза массивные двери, узкие стрельчатые окна. Внизу был громадный темный подвал; владелец дома, как видно, состоятельный виноторговец, хранил здесь в пузатых бочках свои хмельные богатства.

Подвал, после того как в нем навели порядок, оказался настолько велик, что здесь утром в первый же день отдыха разместился почти весь батальон. Бойцам — они, правда, не сидели, а стояли — был показан кинофильм о зверствах фашистов в Харькове. В батальоне было много украинцев, и их потрясли картины страшных разрушений. Серых стоял у самой двери и от волнения кусал губы. До войны он работал на Харьковском тракторном, любил этот город, здесь прошли дни его юности. И теперь ему было больно смотреть

11 Заказ 4650

на руины знакомых улиц, на замученных людей. Вдруг сзади кто-то позвал замполита.

— Что такое?

Голос был женский.

Сердито чертыхаясь, как всегда в минуты душевного расстройства, Серых выбрался за порог. Там стояла чернявая санитарка Наташа. Это была рослая, миловидная девушка лет двадцати.

— Неприятность, товарищ замполит. Сержант Ткаченко чуть лишнего перебрал. С горя,— докончила она,— своих узнал в картине. Среди замученных его родичи.

Серых шумно отдувался, как после тяжелой работы. Горе и его самого сдавило так, что трудно было дышать. Хотелось досмотреть фильм, ведь и у него в Харькове были родные, знакомые. Скрепя сердце замполит пошел за девушкой в дальний угол двора, где стояли конюшни.

Оказалось, ничего лишнего Ткаченко «не перебрал». Просто на него нашла такая стихия: не в силах смотреть кинокартину, он прибежал на конюшню, вскочил на первую попавшуюся лошадь и хотел было поскакать бог весть куда; а бойцы из хозвзвода как раз собирались в полк по делам и, конечно, удивились самоуправству сержанта. Не скажешь, чтоб уж очень молодой был, а какой горячий! Лошадь придержали, сержанта с нее стащили и позвали Наташу: на, мол, сестрица, это по твоей части, на сержанта психоз напал, лечи его как можешь... Но та, не надеясь на медицину, обратилась к замполиту; и вот когда они подошли к бревенчатой конюшне, то увидели, что сержант — крепкий и рослый человек — лежит на земле у стены и беззвучно плачет. Нагнувшись к лицу Ткаченко, Серых удостоверился, что вином от него и не пахнет, и строго взглянул на Наташу:

— Тоже мне лекарь! Человека не понимает! Ладно, оставь нас, мы тут кое о чем потолкуем...

Сконфуженная санитарка ушла, а Серых присел у стены и спросил:

— Где же ты жил в Харькове, земляк?

Ответа не было.

— Наверно, из села пришел туда, как и я,— сказал Серых, теперь уже смирившись, что его оторвали от кинокартины.— Из какого же ты села?

Опять молчание.

— А я из Теребрено,— продолжал без всякой обиды замполит, и даже по одному тому, как он обращался сейчас к сержанту, чувствовалось, что это очень терпеливый человек.— Село большое, дворов на четыреста. Не слыхал? Стоит наше село у самой границы Сумской области, на горбах, и у нас тоже много украинцев. Хорошее место, одна беда: не дают воды колодцы и приходится возить из балки.

Ну что сделаешь, из балки так из балки, а коли не на чем возить, так на себе тащишь. Всяко бывает в жизни...

И, держа руку на оцепеневшем плече сержанта, Серых стал вспоминать, как жилось людям в его селе, и плечо Ткаченко мало-помалу перестало вздрагивать.

Сержант попытался встать.

— Лежи, лежи,— махнул рукой Серых.— Мы сейчас на отдыхе, имеешь право полежать. Главное, что уши у тебя открыты, умеешь людей слушать. Это очень важно — уметь держать уши открытыми. Иному говоришь, говоришь, а он как глухой. А ты вот слушаешь, значит, людей уважаешь. Их работу и душу понимаешь...

— Согласен вполне,— сержант привстал.— Ваша работа трудная дюже...

— Лежи!..

— Не,— упрямо произнес Ткаченко, совсем поднялся на ноги и оправил шинель. Поднялся и Серых. Теперь оба стояли друг против друга.

— Уважаешь, значит, мою работу? — спрашивал Серых.— Ну а если уважаешь, то должен политически соображать и сам сделать вывод из того, что мы с тобой увидели на экране в подвале. Слезами, что ли, тут горю поможешь, сержант? Ты ведь боевой парень, солдат, советский человек.

— С врагом скорее треба покончить. Я ж понимаю.

— Вот правильно,— одобрил Серых,— теперь, как в литературе пишут, я слышу речь не мальчика, но мужа. Молодец! Фашистов надо добить — это главное, согласен? — Он протянул сержанту руку:— Договорились?

— Договорились...

После крепкого рукопожатия замполит и сержант с полчаса еще походили по двору, вспоминали, каким чудесным был до войны Харьков — город их юности, где они трудились и любили.

Моросил дождик. Ненастный хмурый день незаметно кончился, наступил вечер. В хате штаба полка занавесили окна, зажгли керосиновую лампу.

Коренастый, плотный, с густыми темными усами командир полка оглядел собравшихся в хате людей и сказал:

— Тут сейчас были два наших генерала, видели? Дело серьезное, товарищи командиры. Приезжал сам командующий армией. И с ним был наш комдив. Есть приказ форсировать Дунай. Задача нелегкая и ответственная: захватить на том берегу плацдарм, чтобы затем туда могла переправиться вся армия для удара на Будапешт. Ясно?

— Ясно,— отозвались хриплые голоса из разных углов хаты.

— Прежде чем познакомить вас с планом боя,— продолжал командир полка,— я хотел бы вместе с вами решить вопрос: кто пойдет в первом броске? Какой батальон начнет?

— Кого пошлете,— опять прозвучали голоса.

— Мое решение такое: первым начнет второй батальон.

— Есть, товарищ командир полка! — подскочил с лавки Забобонов и вытянул руки по швам.— Спасибо за честь!

«Правильно,— мысленно одобрил Серых поведение комбата.— Хорошо сказал».

По приглашению командира полка все уселись за длинный стол, на котором лежала большая карта, испещренная красными и синими пометками. Забобонову и Серых дали сесть в середине, чтобы им лучше были видны эти пометки. Конечно, карта — одно, а жизнь — другое, но война показала, как важен точный расчет, и поэтому все внимательно слушали командира полка.

— Итак,— говорил он,— первым идет батальон Забобонова. Когда десант достигнет того берега, прорвет передний край противника и выйдет к шоссейной дороге Будапешт — Секешфехервар, начинают форсировать реку остальные два батальона: первый — слева, третий — справа. Начало переправы завтра в двадцать три тридцать. В течение дня подготовиться и к двадцати трем часам быть на исходном рубеже.

Потом шли обычные подробности: порядок переправы, характеристика вражеских укреплений, данные разведки... Забобонов старался не пропустить ни одного слова, и Серых тоже был весь внимание, слушал с таким напряжением, что у него вздулись вены на лбу...

— Поддерживать вас будут три артполка... Переправа должна быть скрытной и внезапной. Как только вас обнаружат, давайте ракету, и артиллерия поддержит, сразу откроет огонь...

Был поздний вечер, когда командиры разошлись из штаба полка. Мрак и слякоть. Пронизывающий ветер дул с реки. Полдороги до штаба батальона Забобонов и Серых молчали. Комбат был нетороплив в разговоре и обычно больше молчал. Серых тоже предпочитал не тратить лишних слов там, где все ясно. Состояние и мысли друг друга они великолепно понимали. Забобонов, покашляв, сказал:

— Что ж, первыми так первыми...

Замполит откликнулся, как видно думая о том же:

— Да, раз надо, первыми и пойдем.

Гудок паровоза донесся с той стороны, и здесь, на середине реки, среди зыбких ночных волн, в лодке, где сидел Серых, этот звук был особенно отчетливо слышен.

«Не ждут сегодня...— думал Серых.— Тем лучше...»

Посадку удалось провести скрытно. Саперы сумели незаметно перебросить и сосредоточить на берегу в кустарниках около трех десятков больших лодок. На них и двигался сейчас батальон Забобонова к правому берегу. На веслах сидели саперы из бригады.

Тихий всплеск воды и тут же легкий стон уключин... Опять всплеск и снова стон... Это повторялось с невозмутимым однообразием, как колебания маятника,— всплеск и стон, всплеск и скрип, и тут ничего невозможно было изменить,— казалось, само время издает такие звуки, таков его ход.

В лодке Серых ближе к носу сидели Ткаченко и Мележик. Они устроились так, чтобы первыми выпрыгнуть из лодки, когда она уткнется в берег.

«Правильно сели»,— думал Серых.

Он не переставал и здесь, на реке, работать — прикидывать, оценивать, все слышать и примечать. Далеко не многие услышали паровозный гудок — от напряжения иные будто оглохли и до них не доходили никакие звуки. Даже стон уключин и плеск воды не все улавливали.

Слепящий огненный столб возник слева от лодки, прогрохотал разрыв снаряда, и фонтан воды обрушился на бойцов. Лодку накренило, завертело, послышались стоны раненых.

Лодку несло не то обратно, не то куда-то вниз по течению.

— Саперы! — приглушив рукой рот, крикнул Серых.— Эй, кто там слева есть? Греби сильнее! Вперед, вперед! Это был шальной снаряд, они нас еще не видят!..

Подгребали саперными лопатками, помогая ходу лодки, и она шла быстро.

Нет, это был не шальной снаряд. Хотя и поздно, но противник заметил начавшуюся переправу. Снова сверкнул разрыв — на этот раз далеко позади лодки, и вскоре весь вражеский берег ожил, загрохотал, темные просторы реки озарились во множестве мест огненными вспышками. И в те мгновения, когда эти вспышки возникали, становилось видно, как скользят к тому берегу лодки других рот. А дальше, и выше и ниже по реке, тоже двигались тени лодок, понтонов и плотов. И только теперь раскрывалось, какое множество храбрецов брошено в эту ночь на штурм Дуная.

Берег то возникал при вспышках, то пропадал во тьме. Теперь Серых больше всего заботила высадка.

«Берег, видно, минирован,— думал Серых,— придется еще хлебнуть лиха при высадке. Главное — ночь, ни черта не видно,— после каждой вспышки разрыва снаряда или мины в глазах еще темнее, ну не видно ни зги!»

Если бы не все усиливающийся грохот, можно было бы услышать, какой дружный вздох облегчения раздался в лодке, когда она с

размаху уткнулась носом во что-то твердое. Берег! Земля! На земле человек всегда чувствует себя крепче, чем когда под ним зыбкая пучина. Скорее высаживаться! Но оказалось, это еще не берег: стукнулась лодка о какую-то торчавшую из воды сваю, и опять ее закрутило. Раздались крики:

— Правее держи! Куда, куда?!

Из вражеских траншей строчил пулемет, он мешал высадиться соседней роте. В любую секунду могли полоснуть огнем сюда. Нельзя было медлить.

Серых перегнулся, пошарил за бортом руками, нащупал гибкие молодые тростники камыша и, не выпуская их из рук, выпрыгнул из лодки. Холодная волна тотчас накрыла его — тут было глубоко. Он хлебнул воды, выплыл и, цепляясь за тростники, устремился к крутому выступу берега с криком:

— За мной! Подгоняйте лодку ближе!..

Лодку развернуло не так, как рассчитывали,— она двигалась к берегу кормой. Тщетно Ткаченко и Мележик, действуя лопатками, старались подогнать ее к берегу носом. А Серых уже вылез из воды, кинулся влево, потопал по земле, потом подался вправо, опять затопал сапогами. Бойцы услышали этот топот, это было именно то, что они больше всего желали услышать,— земля ответила Серых на его топот, что мин здесь нет. И один за другим солдаты стали вываливаться за борт.

— Сюда! Ко мне! — звал Серых, присев и по очереди высоко поднимая ноги, чтобы из сапог вытекла вода.— Высаживайся живо!

— Я тута,— раздался близко дрожащий, но радостный голос Мележика. У него зуб на зуб не попадал от холодной купели, откуда он только что выбрался.— Я высадился...

— Умеешь плавать — другим помоги! — приказал ему Серых, видя, что в воде еще барахтаются какие-то фигуры.

Огонь из траншей противника усиливался, трассирующие цепочки бороздили небо в разных направлениях, яростным воем оглашали ночь мины и снаряды, и это заставляло каждого выбравшегося на берег тотчас припасть к земле. На ней не оказалось мин и можно было доверчиво прижаться к ее пахнущей осенней прелью поверхности. Казалось, нет силы, способной оторвать Мележика от земли. И все же, услышав приказание Серых, он вскочил и полез обратно в воду. Плавал он, в самом деле, отлично.

Траншеи противника были наверху, туда вели узкие тропки в крутом склоне берега. С резким треском полетела в ту сторону красная ракета. И тотчас огненный шквал обрушился на траншеи, прижал к земле все живое.

Огонь советских орудий перепахал вражеские укрепления вблизи берега, и бойцам Забобонова удалось пройти две линии окопов почти без задержки. Теперь перед бежавшими цепью бойцами вста-

вало из тьмы кукурузное поле, и где-то за ним проходило шоссе, ведущее к Будапешту. Бойцы скользили в вязкой глине, затопившей поле, падали, поднимались и устремлялись дальше.

— Есть! — раздался торжествующий крик Мележика.— Вот оно, соше!

Он застучал сапогами на крепком асфальте дороги, невольно подражая замполиту, который тоже вот так топал на берегу, когда начиналась высадка.

— Соше! — твердил он и пританцовывал от странного сейчас чувства удовольствия.— Мы тута!..

Отставшей при переправе роты все еще не было. Позади, на реке, громыхало с неослабевающей силой. Момент был такой, что Забобонову меньше всего хотелось бы сейчас расстаться с Серых. А тот, услышав, что в роте Чубарова почти нет офицеров, не говоря ни слова, крепко обнял комбата и пошел за гранатами. Минуты через две он вернулся.

— Иду в роту,— сказал он Забобонову.

— Да,— отозвался комбат.— Штурмуй!

И Серых пустился бегом по шоссе к тому месту, где лежала в цепи рота, которую предстояло повести на штурм поселка.

В горячке боя никто не заметил, как небо очистилось от туч и заискрились звезды. Резко захолодало. А с бойцов лил жаркий пот. Иные вместо шапок-ушанок взяли пилотки и теперь маялись: пилотка то и дело сползала с намокшей головы, падала на глаза, а надо было зорко глядеть вперед и не отвлекаться.

Серых, приняв роту, вернее, остатки ее, начал с того, что делал уже не раз при таких обстоятельствах. Один бой не похож на другой, каждый шел по-своему. Атаки и контратаки только в уставах выглядят однообразными. Но при всех случаях, как бы ни складывался ход схватки, Серых помнил, что среди его бойцов есть коммунисты и комсомольцы, и в самые трудные минуты прежде всего обращался к ним.

И вот они приползли по его вызову к поваленному снарядом дереву, не все, а по трое от каждого взвода. Их вообще не так уж много осталось, потому что, когда батальон прорывался с берега сквозь вражеские заслоны, первыми тоже шли они. Темнота не помешала Серых увидеть, кто приполз.

— А, Кутуев, ты здесь! Хорошо! — говорил он.— Еще кто тут? Зигуненко, Поляков, Зубович... Видишь, какая сила! Живем! Так вот, друзья, сейчас все пойдем в атаку, и ваш долг коммунистов — быть впереди. Дозарядить оружие, приготовить гранаты и ждать сигнала. Задача ясна? Тогда по местам!

Серых не раз убеждался, что, когда он напоминал бойцам о

партии, это действовало. У него слово «партия» всегда вызывало картину могучей полноводной реки, стремительно увлекающей за собой все на своем пути. Бегал крестьянский сынок порой даже зимой без сапог в близкую от дома школу, пас гусей, а когда подрос, пошел на завод, в большом рабочем коллективе набрался новых знаний и опыта, стал политически грамотным и общественно активным рабочим. А сколько таких, как он, поднялось из темноты к свету? Миллионы. Вот какая сила у партии!

Только в последнюю минуту перед тем, как вскочить и увлечь за собой бойцов, Серых заметил звезды в небе. Показалось ему, вроде вдруг посветлее стало, он вскинул голову, а то, оказывается, не парашютный фонарь, сброшенный с какого-нибудь «хейнкеля», а отсветы далеких миров. Звезды! Чистые-чистые, как глаза Наташи.

Затем он посмотрел на часы, ощупал гранаты у пояса, взвел курок пистолета и выпрямился во весь рост...

— Рота, вперед! За мной!

Считай, как хочешь,— поселок, населенный пункт, а на самом деле это была господская экономия: сбоку от шоссе тянулись бревенчатые побеленные воловни, хозяйственные постройки и жилые домики. Сколько таких помещичьих владений встретили бойцы, переступив границы чужой земли! Как средневековые замки — тяжелый камень, крепкие, толстые бревна, узкие окна, словно бойницы. Нелегко бывало иной раз брать такое укрепление штурмом.

— Вперед! Вперед!

Треск автоматов, разрывы гранат, крики.

Добежали до белых стен, с ходу уничтожили расчет противотанкового орудия. Открылся большой двор, показались мечущиеся в темноте фигуры. Вперед! Но теперь уже без криков «ура!» — завязалась рукопашная.

У стен воловни разгоралась сильная стрельба; Серых, Колычев и Мележик кинулись туда через двор, но, едва они выбежали на открытое место, их ослепил и оглушил разрыв гранаты.

— Тьфу! — сплюнул Колычев, шагнул, шатаясь, к домику и привалился головой к стене. Грязь залепила лицо взводного, попала ему в рот, и он яростно отплевывался, пока не ощутил острой боли в темени, и тут только понял, что ранен в голову. Замполита тоже обдало грязью, оглушило, осколок гранаты впился в кисть левой руки. Вот и двадцать третье ранение. Мележик бешено строчил из автомата по грузовой машине, стоявшей во дворе. Граната была брошена оттуда.

— Что, сильно? — спрашивал Серых у Колычева и не давал ему сползти на землю.

— Не знаю...

Мележика в эту ночь хранила какая-то чудесная сила. Он остался невредим.

— Узнай, что у воловни, и доложи,— крикнул ему Серых и, когда Мележик исчез, повел Колычева на крыльцо домика. Там внутри кто-то зажег керосиновую лампу. Этого не сделал бы военный. Желтый свет узкой полоской пробивался в приоткрытую дверь.

— Зайдем, сделаем перевязку,— сказал Серых взводному,— не сдавайся.

Вошли. В полумраке, подальше от света лампы, сидела на низком диване чернявая женщина лет сорока и прижимала к себе троих маленьких, таких же чернявых, ребятишек. Они кричали, спрятав голову на груди матери. Но страшнее их крика было молчание этой женщины, не спускавшей широко раскрытых глаз с пистолета Серых и автомата Колычева. Вот так, видно, встречает обреченный приход смерти.

С головы Колычева текла кровь, он то и дело стирал ее с лица. Рука замполита, задетая осколком, тоже была в крови и начинала сильно ныть. Можно было, не обращая внимания на невыносимое стеклянное выражение глаз женщины, сделать друг другу перевязку и уйти. Но Серых вместо того, чтобы заняться раной Колычева и своей рукой, участливо заговорил с женщиной. Он улыбнулся ей и произнес:

— Вы венгерка? Успокойте детей. Мы советские воины. Поняли? Детей, говорю, успокойте! Мы вас не тронем!

Он показал пальцем на ребятишек.

Серых за годы войны убедился, что люди, разговаривающие на разных языках, в общем-то могут понять друг друга. Поэтому он говорил с чернявой женщиной по-русски и ждал, что та его поймет. Конечно, было бы хорошо, в подкрепление своих слов, протянуть ребяткам по куску сахара. Но замполит ведь не взял с собой ничего, кроме гранат и патронов.

— Ну что же ты молчишь, гражданка? — настойчиво обращался к ней Серых.— Мы ранены, зашли на минутку...

А Колычев в это время сам перевязывал себе голову. У него была густая шапка волос. Голова, уже затянутая бинтами, казалась непомерно большой. Серых подошел к столу и помог взводному закрепить бинты узлом. Затем он и себе перевязал кисть руки.

— Ну как? — спросил у взводного Серых.— Сможешь еще воевать или пойдешь на берег?

— Что вы? — обидчиво отозвался Колычев.— Кость у меня, кажется, не пробита. Я не уйду...

Серых крепко пожал руку молодому командиру.

Глаза мадьярки оттаяли, в них затеплилась жизнь. Словно впервые увидев советских командиров в комнате, она внимательно поглядела на них, именно на них, а не на их оружие, как прежде, и приветливо проговорила что-то на своем языке.

— Нелегкая у нас с тобой работа,— с горечью сказал Серых

взводному, выходя вместе с ним из домика.— Приводить людей в сознание. Иногда через кровь и муки!..

Всю ночь на горстку людей, захвативших поселок у шоссе, волна за волной наплывали тени атакующих солдат противника. Они появлялись из мрака, и опять возникала пальба и слышался крик Серых: «За мной!» Но скоро снова затихал треск выстрелов, и поредевшие тени вражеских солдат уходили обратно во мрак.

Незадолго до рассвета Забобонова вызвали по радио с командного пункта дивизии. Оказалось, ночью комдив на моторке пересек реку.

— Стоять на месте во что бы то ни стало! — требовал комдив.— Занять круговую оборону и держаться до подхода подкреплений. Сейчас их не ждите.

— А когда же, товарищ генерал?

— Когда позволит обстановка. А пока окопайтесь и держитесь до последней возможности!

Затем последовал неожиданный вопрос:

— Что у вас случилось с замполитом? Поступили сведения, что он ранен. Отправьте его на берег.

Окончив разговор с комдивом, Забобонов с недоумением посмотрел на Серых.

— У меня есть приказание отправить тебя в тыл.

— Что ты! — отмахнулся Серых.— Не выдумывай! Задета только кисть, да и рука-то ведь левая. А правой я все могу!..

— Ну смотри,— пожал плечами Забобонов.— Дело твое...

Оставаться без замполита он не хотел.

В сущности, батальон сделал свое дело. Он пробил оборону противника. В брешь вошли в течение ночи еще несколько рот из других батальонов. Они прикрыли с флангов вырвавшихся вперед бойцов Забобонова и Серых и прочно закрепились на захваченном клочке берега. Он был невелик, клочок, но как дорого стоил!

...Скоро батальон уже дрался на подступах к Будапешту. Здесь Серых снова ранило, и опять в левую руку. Слух о пехотинце-политработнике, имеющем уже двадцать четыре ранения, дошел на этот раз до командира корпуса, и, как ни упорствовал «Ружпульпарк», ему пришлось недели две пролежать в медсанбате, который, кстати, разместился как раз в том самом поселке, где батальону Забобонова выпало хлебнуть столько лиха.

Опять у Серых, пока он лежал в медсанбате, прибавились новые друзья.

С любым человеком он находил близко затрагивающую обоих тему для разговора и общий язык. Он был не так прост, как это могло с первого взгляда показаться. Жизненный опыт и природный ум делали его интересным собеседником и для тех, кто предпочитал сложные разговоры, но больше всего Серых были по душе бесхит-

ростные, простые разговоры — о работе, о женах, детях, о доброй дружбе, о том, как и где люди живут, и еще о том, как хорошо все-таки, что на свете побеждает правда, доброе, а не злое, и вот нынешняя война этому лучший пример: хотя и кровопролитна, а конец ее свято справедлив — ведь скоро капут фашистской свастике, угрожавшей миру страшными бедствиями.

Ночью Серых лежал и все думал, думал. Пройдена река, одна из многих за годы войны. Взят рубеж, а сколько их еще впереди! И сколько еще жертв должно понести человечество, пока одолеет силы зла! Любоваться Дунаем Серых не мог. Он знал, сколько стоит взятие этого очередного рубежа на пути советских войск...

Утром Серых зашел к чернобородому доктору — начальнику медсанбата и спросил, что такое презумпция? Тот озадаченно уставился на замполита:

— Почему это вас вдруг заинтересовало?

— Да вот хочу знать.

— Есть такое юридическое понятие — презумпция невиновности.— Тут доктор усмехнулся и продолжал: — Например, мы с вами оба честные, порядочные люди. Пока не доказано обратное, эта презумпция распространяется на нас так же, как и на всех других честных и порядочных людей. Вот и все, пожалуй.

— Что же это будет означать в политике?

— В политике? Не знаю... У меня нет времени передохнуть, а не то что думать о таких вещах. Пускай об этом думают дипломаты...

В то же утро Серых отправил письмо Мележику на передовую, и начиналось оно так: «Может, мое объяснение в сравнении с тем, как это делают юристы и дипломаты, будет не совсем точное, но понимаю я слово «презумпция» так: все мы люди, имеющие право на счастье, на труд и мир, а не поработители. Это так ясно, что не требует доказательств и никакой Гитлер не докажет обратное...»

За боевой подвиг при форсировании Дуная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года С. П. Серых, И. С. Забобонову и группе бойцов батальона были присвоены звания Героев Советского Союза.

Евгений
ВОРОБЬЕВ

ОКОПНАЯ НОЧЬ

До пулеметчика Вохминцева, несменяемого парторга третьей роты, мы добрались, когда стемнело. Связной, которого здесь называли «начальником штаба», пополз обратно, а я неловко спрыгнул в окоп и представился хозяину.

Можно было с трудом рассмотреть лицо Вохминцева и его соседей. Поспешный вечер уже затушевал румянец на щеках, обожженных морозным ветром. Не видно губ, не различить цвета глаз, все кажутся черноволосыми.

Иван Михайлович Вохминцев — человек приветливый. Он держит себя в окопе как домовитый хозяин, к которому пришел гость. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: окоп для Вохминцева на самом деле обжитой дом.

Он и двигается в окопе как-то по-хозяйски неторопливо, не суетится, знает, где что лежит, и на ощупь может найти в нишах, на дне окопа все, что нужно.

«Максим» расчехлен, и его сильное тело хорошо вычерчивается на фоне снега. Вечер успел окрасить снег в тот же серый цвет.

Вохминцев совмещает обязанности командира расчета и наводчика. Василь Лещенко — второй номер, а Мехтиханов и Егармин — подносчики патронов.

Лещенко больше всех заинтересован появлением в окопе нового человека, он общителен и даже не в меру словоохотлив. Поскольку пришел я из штаба батальона, Лещенко относится ко мне как к человеку из глубокого тыла и почти штатскому.

— Пулемет наш — кинжального действия,— солидно, стараясь говорить басом, объясняет Лещенко.— Конечно, если пятая рота попросит прикрыть ее огнем — какой разговор? Вот она, запасная площадочка. Почему не прикрыть? Но тогда мы уже получаем название — фланкирующий пулемет.

Даже в полутьме видно, как светятся его глаза. Лещенко упивается военными терминами, он жаждет прослыть завзятым пулеметчиком.

— А сколько вам лет, Лещенко?

Оживление собеседника сразу спадает.

— Девятнадцать скоро.

— Воюете давно?

— Третий месяц,— грустно говорит Лещенко, его ореол бывалого воина быстро тускнеет.

Он забыл, что для солидности пытался разговаривать басом, и теперь, даже когда Лещенко говорит вполголоса, угадывается его по-мальчишески звонкий голос.

— Уже третий месяц? Порядочно! — подбадриваю я.— Значит, не новичок...

Лещенко сразу веселеет.

Потом мы стоим на ступеньках, навалившись грудью на окопную стенку. Земля промерзла и совсем не осыпается. Где-то впереди, на расстоянии двухсот метров,— немецкие окопы. Но сейчас ничего не видно, кроме вспышек, мерцания и сполохов — света переднего края.

Слева от окопа и впереди — поле, укороченное темнотой. Справа виден строгий профиль сосны, а подальше — столб высоковольтной линии электропередачи. Верхушка столба с изолятором в виде петли — заморского покроя, у нас таких нет. Сейчас верхушка не видна, но я знаю, как она выглядит, потому что такие же столбы-близнецы остались за спиной.

Рядом стоит и наблюдает Егармин, он самый низенький. Ступенька у него повыше, чем у других.

— Тебе, наверно, и в кино за соседями не видно,— подшучивает Мехтиханов над Егарминым.— Тебе, душа моя, нужно в первый ряд с ребенками садиться. Во-первых — удобнее, во-вторых — дешевле.

На меня Егармин не обращает никакого внимания, он занят своим делом.

— Наш снайпер,— шепчет мне Лещенко, кивая на Егармина.— Свой личный счет содержит.

Справа начинают перепалку наши и немецкие пулеметы, к ним присоединяются автоматы. На ступеньку подымается Вохминцев и тоже вглядывается в серую мглу, подступившую к самому брустверу. Ничего не видно, кроме всплесков огня. Почему-то сразу зябнет спина, хочется втянуть голову поглубже в плечи, а еще лучше — спрятаться на дне окопа. Но все стоят и наблюдают.

Перестрелка стихает так же внезапно, как и началась.

У пулемета остается дежурить Лещенко, а Иван Михайлович продолжает хлопотать по хозяйству. Он перетряхивает слежавшуюся солому в углу окопа, там, где окоп сверху перекрыт плащ-палаткой. Это довольно уютный закуток: парусиновая кровля, с трех сторон — земля, а с четвертой — полог из той же плащ-палатки. Два патронных ящика служат здесь мебелью. В глубокой нише, рядом с гранатами, котелки.

Мы усаживаемся на ящики и скручиваем цигарки. Вохминцев

делает это ладно, со сноровкой, и можно поручиться, что он не просыпал в темноте ни крошки табаку.

Разговор завязывается не сразу. Вохминцев то и дело откидывает полог и настороженно прислушивается. Если он слышит что-нибудь подозрительное, то идет к пулемету, но быстро возвращается.

— Все в порядке! — кричит он.

А мне кажется, что где-то по соседству началось светопреставление.

Когда перестрелка затихает и снова можно говорить, а не кричать, я спрашиваю:

— А скажите, Иван Михайлович, сколько окопов сменили вы за войну? И где пришлось вам первый раз взяться за лопату? Или забыли тот день?

Вохминцев долго сидит в раздумье, прежде чем ответить.

— Солдата, который забыл свой первый окоп, нету. Для пехотного человека первый окоп — все равно что для летчика первый раз самому в воздух уехать или саперу первую мину своими руками разоблачить. На всю жизнь зарубка в памяти... В первый день взялся я за лопату и с непривычки руки попортил, а было это за деревней Скирманово, на Волоколамском шоссе. Деревня, можно сказать, подмосковная. Земля тогда мерзлая была, лопатка звенит, даже искры высекает. Все руки раскровенил... Кто их считал, окопы эти? Может, двести, может триста раз сменил я квартиру. Копал окопы под Белгородом. Та земля особо каменистая, будто в нее кто цементу подмешал. На Орловщине земля повеселее. До седьмого пота работал лопаткой на Смоленщине, земли там у нас незавидные — супеси, суглинки. Встречались и болотистые почвы, это в Белоруссии. Намаялись, когда к Неману подошли, одни пески. Ты окоп роешь, а он наподобие воронки, того и гляди пулемет песком засыпет. Котелками, касками песок выгребали, а стенки отдельно мастерили — ивовые прутья вязали... Доводилось в одном окопе по два месяца жить — каждый камешек заучишь, каждую травинку на бруствере. А когда немцев через Белоруссию прогоняли,— поверите ли? — ни разу окопа полного профиля не отрыли. Все некогда было, «максимку» катил и катил вперед. В Пруссии от Гумбинена почти до моря Балтийского дошли, только три раза лопатки доставали. Больше в немецких траншеях сидели. Земля твердая, а морозы такие, будто мы их сюда из Сибири привезли...

Вохминцев умолк и прислушался: ничего подозрительного.

— Между прочим, знаете? — продолжал Иван Михайлович доверительно.— Человек с окопом по-разному прощается. Лещенко уходит из окопа — даже не оборачивается. Мехтиханов тоже вперед торопится, но всегда при этом огорчается, когда напоследок из окопа выходит. Труда своего жалко? Или быстро к жилью привыкает? Все-таки земля эта уберегла его от пули, от осколков, а дойдет ли он

до нового окопа — еще неизвестно. Егармину, тому безразлично: если немцев из того окопа удобно было караулить — жалеет. Он у нас человек пристрастный к стрельбе. Скажу про себя. Прежде чем окоп покинуть, я его осмотрю, попрощаюсь с ним честь честью. Может, туда другие пехотные люди придут. Пусть живут в нашем окопе на всем готовом! Я даже, были случаи на Смоленщине, карточку стрелковую для пулеметчиков оставлял в окопе — ориентиры, расстояния обозначены... Ну а 18 октября прожитого года — особый день. Первый раз в немецкой земле окоп вырыли. Земля как земля, обыкновенный суглинок. Это Мехтиханов у нас думал, что немецкая земля — какая-то особенная, другого рецепта. Он ее, как границу переходили, даже в руках помял и понюхал.

Иван Михайлович снова свернул цигарку, достал огня. Лицо его показалось при свете спички сильно загорелым, бронзовым. Подымив вволю, он оживился.

— Сколько мы уже по этой чужой земле отшагали, сколько наших людей из каторги отвоевали! Недавно тут мужичок один смоленский прямо на батарею из рощи выехал, через фронт. От немецкого помещика на телеге ускакал, и дочери при нем. Тулупы на них все в латках, старые, домашние. Мужичок мимо войска едет и все шапку снимает, благодарит. Снег метет, пурга, а он без шапки, все благодарит. Невесты на телеге то плакать принимаются, то смеются. И ведь куда путь держит — в Дорогобуж-город! Чуть не с того света возвращаются... Несметная сила русского населения идет по дорогам. И все домой торопятся. Да и не одни наши русские. Разных наций люди шагают. Выходит, что самый-то первый освободитель Европы — наш брат, красноармеец. К примеру, моя дорога от Москвы пролегла, а Мехтиханов и вовсе от Кавказских гор сюда дошел. И может, каждый из нас сто раз мимо своей смерти прошел, может, локтем ее задел, а все-таки не отстал от дела. Ведь в чем вся суть? А в том, что мы торопились воевать, не мешкали, на привалах не засиживались больше, чем полагается, не хныкали, не симулировали и не искали чужой спины, которая пошире, чтобы за нее схорониться. Вот потому-то мы и поспели раньше всех союзничков. Освободили и девчат наших смоленских, и все европейские нации от колючей проволоки, от решетки, а кого от веревки... Между прочим, у меня в расчете еще Егармин в коммунистах находится и Лещенко на подмоге у него, комсомолец. А когда под Витебском на высотке 208,8 дело дошло до рукопашной и политрук наш кликнул клич: «Коммунисты, вперед!» — мы поднялись и побежали всем расчетом. Как раз после той высотки Егармин заявление в партию представил, а до того случая тоже в беспартийном звании воевал...

С тяжелым шелестом пролетает над окопом снаряд. Он разрывается с сухим треском. Земля промерзла, воронка будет мелкой,

а разлет осколков — большим. Вохминцев подымается и идет по окопу посмотреть, что и как, я иду следом.

Мрак окутал окоп со всех сторон. Немцы жгут ракеты, пытаясь раздвинуть черную толщу ночи. Кажется сверхъестественным, что в такую ненастную ночь светится одинокая звезда. Она похожа на трассирующую пулю, замершую в своем полете.

Пулеметчики 5-й роты ведут дуэль с немцами. Егармин бьет трассирующими пулями туда, где вспыхивает огневая точка немцев. Зеленые светлячки указывают цель.

Немцы, видимо, засекли Егармина, потому что пули поют на два голоса: те, что идут рикошетом,— более низкого тона.

Благословенна земля, верная защитница солдата, благословен глубокий окоп, в котором можно укрыться с головой!

— Опять наш Григорий вызвал немцев на откровенность,— говорит Вохминцев.— А может, они наш пулемет подозревают...

— Точно! Мы ведь на самом главном направлении стоим,— вмешивается Лещенко.— Соседи только фланги прикрывают, а всей группировкой командует наш комбат.

Солдату всегда хочется думать, что он находится на самом главном направлении, что именно у его окопа решается судьба всего боя.

Немцы еще не успевают угомониться, когда за нашими спинами раздается в темноте шорох и какая-то подозрительная возня. Рука невольно тянется к гранате и быстро нащупывает ее в темноте. Прикосновение к холодной рубашке гранаты сразу успокаивает.

— Стой, кто идет? — окликает Мехтиханов возбужденно, почти испуганно.

— Кто идет, кто идет,— ворчит некто в темноте, совсем близко.— Говорков идет, вот кто!

— Значит, пообедаем! — весело говорит Вохминцев.

Мехтиханов принимает термос, поданный с тыльного бруствера, затем в окоп спрыгивает Говорков. Слышно, как бренчит фляга, привязанная к поясу, и этот звук сразу вносит оживление — сегодня к обеду водочка.

В темном закуте из плащ-палатки при свете убогой мигалки начинается ночная трапеза. Щи наваристые, в них плавают большие куски мяса. Вохминцев собирается делить водку, предназначенную для четверых, на пять равных порций и разливает ее. Колпачок от немецкой фляги — это мерка. В дело идут две кружки, гильза мелкокалиберного снаряда, крышка котелка.

Но Говорков выдает мне отдельную порцию. В соседнем окопе убит какой-то Иванов, и я, по законам солдатского наследства, получаю его долю.

Первыми получают свои порции Вохминцев, Лещенко и я, на правах гостя.

Вохминцев ест молча, с мужицкой обстоятельностью, а Лещенко торопится. Не от жадности, но потому, что ему не терпится поговорить. Сперва он спрашивает у Говоркова, который час, но тот не знает. Я смотрю на часы — двадцать минут третьего.

— А в Москве сейчас сколько будет? — любопытствует Лещенко.

— Столько же.

— Так. А в Сибири, например?

— Смотря где. Часа на три, четыре вперед. А то и на шесть. Кому плохо спится — уже встал.

— Ну а Владивосток? — не унимается Лещенко.— Там уже развиднелось?

— А как же! Там на семь часов москвичей обгоняют. Добрые люди уже наработались сейчас.

— Вот действительно, согласно радио, широка страна моя родная...

Мы выползаем из укромного угла, а Мехтиханов и Егармин занимают наши места и достают свои ложки. Говорков с изрядно опустевшим термосом уползает, и в окопе становится тихо.

Потом Мехтиханов укладывается спать, а я устраиваюсь с ним рядом на соломе, под парусиновой крышей.

Куда-то через окоп с назойливым посвистом летят снаряды. Они летят далеко за наш передний край, в тыл. Приятно думать, что тебя они минуют, а о том, что где-то они все-таки разорвутся, думать не хочется.

Далекий свист снарядов мерещится и во сне. Я просыпаюсь, лежу с открытыми глазами и прислушиваюсь. Оказывается, это присвистывает, выдыхая воздух, спящий Мехтиханов.

После тревожного окопного сна я поднимаюсь, а на теплую солому валится Лещенко, подкошенный бессонной ночью.

Остаток ночи мы проводим с Вохминцевым, сидя на корточках у пулемета. «Максим» хорошо виден в предрассветном сумраке. Я с уважением смотрю на заслуженный пулемет, который намотал на свои маленькие колесики несколько тысяч километров — от подмосковных деревень до немецкого хутора Альтенберг, близ побережья Балтийского моря, у автострады Кенигсберг — Берлин.

А Иван Михайлович похлопывает «максима» по кожуху и говорит:

— Воюем с этим «максимом» давненько. Семь благодарностей носим от командования.

Узнаю, что Вохминцев награжден орденом Красного Знамени, и поздравляю его.

— У нас Лещенко орден Славы имеет,— говорит Вохминцев.— Только не носит, в платочке держит. Боится ленточку о глину измазать.

Напоследок я спешу узнать, откуда родом мои новые друзья, соседи по окопному ночлегу. Лещенко жил и работал в колхозе под Винницей, Мехтиханов — из какого-то аула, затерянного в каменной глуши Дагестана. Сам Вохминцев — смоленский, он работал в леспромхозе, близ станции Угра. Егармин — с горы Благодать на Урале, работал запальщиком на железном руднике.

— Ну вот, Егармин вас до батальона и проводит,— решает Вохминцев.— Тем более его там со вчерашнего дня ждет не дождется полковой фотограф со своим оптическим прицелом. Егармину надо и перевязку в санроте сделать, и партийный документ оформить по мирным правилам...

— Из окопа не высовываться, спокойно — снимаю!..— улыбнулся Егармин, вспомнив фотокоманду.

Я пожимаю на прощание большую шершавую ладонь парторга и неловко выбираюсь на бруствер. Нужно поторапливаться, пока огонь притих.

Ночь уже чувствует прикосновение утра. Такой длинной и зябкой бывает только ночь, проведенная в окопе.

Восточная Пруссия.
Февраль, 1945

Юлий
КРЫЛОВ

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

С парторгом батальона Иваном Федоровичем Афониным мне довелось служить недолго. Но я и сейчас с чувством признательности вспоминаю этого душевного, жизнерадостного человека, нашего партийного вожака. Не сведи меня с ним фронтовая судьба, кто знает, возможно, и моя жизнь сложилась бы по-иному.

Познакомились мы в ноябре 1944 года. В те дни шли ожесточенные бои на подступах к Будапешту. Нас, группу младших лейтенантов, выпускников Тульского пулеметного училища, направили в распоряжение штаба 68-й гвардейской стрелковой Краснознаменной Проскуровской дивизии. Встретивший нас начальник политотдела соединения гвардии подполковник Наугольный в двух словах объяснил положение, сложившееся в полосе наступления дивизии, и приказал нам немедленно отправляться в свои подразделения.

— Подробнее с боевой обстановкой познакомитесь на месте,— сказал он, пожимая нам руки.

По пути в 198-й гвардейский стрелковый полк, куда я был назначен командиром взвода, мне и пришлось впервые услышать от пожилого бойца-связного о парторге 2-го батальона гвардии младшем лейтенанте Иване Афонине.

— Три дня назад в этих местах был бой,— рассказывал боец, сопровождавший меня на передовую.— Перед четвертой ротой в атаке ожил разрушенный немецкий дзот. Вдруг откуда ни возьмись — парторг батальона. Собрал он группу добровольцев — и в обход. Подобрались с тыла и забросали огневую точку гранатами. А тут и вся рота ударила... Так что те позиции, куда мы сейчас идем,— закончил свой рассказ связной,— были взяты благодаря Афонину. Вот какой парторг во втором батальоне. Боевой...

Связной проводил меня до штаба полка, а дальше — в батальон и свою 4-ю роту — я уже добирался самостоятельно.

Сержант Ткаченко, временно исполнявший обязанности командира первого взвода, показал мне, уже в сумерках, позиции, представил подчиненных, ввел в курс выполняемой задачи. Далеко за полночь Ветров, мой ординарец, провел меня в полуземлянку, устроенную в боковом отсеке траншеи.

— Справа крайнее место свободно,— предупредил он.

Было еще темно, когда сквозь сон я услышал голоса и какое-то движение. С трудом проснулся, вылез из землянки и увидел такую картину: в траншее расположился старшина с термосами. К нему подходили бойцы, получали в котелки ароматную кашу и, чуть отойдя в сторонку, с аппетитом завтракали.

Заметив мое недоумение — ведь было еще очень рано,— один из бойцов, шмыгнув носом, произнес:

— А вы, товарищ лейтенант, не скромничайте, заправляйтесь на весь день.

Ветров снял с цепочки на ремне ложку и подал ее мне вместе с котелком:

— Кушайте, товарищ лейтенант. Нынче старшина мяса много наложил. Видать, провиант добрый получили.

— Спасибо,— поблагодарил я его и примостился с котелком в стрелковой ячейке. Есть не хотелось, но, помня совет бойца «заправляться на весь день», через силу поел.

— Ну, землячок, с таким аппетитом ты много не навоюешь,— неожиданно услышал над собой веселый голос.— На пустое брюхо ведь всякая ноша тяжела.

Подняв голову, я увидел довольно высокого человека в кубанке и с автоматом на шее. Грудь его плотно обтягивала короткая ватная телогрейка, туго перехваченная командирским ремнем с портупеей. Дружелюбно улыбаясь в короткие усы, он протянул мне руку:

— Афонин... С прибытием, значит?

— Вчера вечером,— уточнил я, вставая и пожимая его жесткую, в мозолях ладонь.

На вид Афонину лет тридцать, хотя, как узнал позже, он был моложе.

Я с любопытством всматривался в лицо парторга, как бы стараясь найти подтверждение тому, что услышал о нем.

— Ты что это на меня уставился, землячок? Или признать никак не можешь? — спросил Афонин.— Лучше скажи, как там жизнь в тылу. И знаешь, давай друг с другом на ты. Я ведь тоже взводом командовал.

Достав из вещмешка пачку «Беломора», я предложил закурить. Афонин дотошно расспрашивал, а под конец произнес:

— Хоть бы единым глазком взглянуть на родные рязанские места...

— А ведь, знаешь, упирается фашист хуже того барана из басни. Не хочет понять, что песенка его уже спета.

— И откуда еще у него этакая силища берется,— вслух подумал я, зная о последних тяжелых боях на будапештском направлении.

— Откуда... Прижали мы тут фашиста крепко, вот он и собрал сюда все, что у него осталось. Боится эти края потерять. Они ему

сейчас — во как нужны,— и Афонин провел ребром ладони по горлу.

— А что представляет в данный момент Венгрия для фашистской Германии? — продолжал развивать свою мысль парторг.— Она вроде подбрюшья у дикого зверя: проткни его — и капут зверюге. Через Венгрию лежит прямой путь в Австрию и южную Германию, а это — последний оплот Гитлера...

Многое узнал я в то утро от Афонина: о боевых традициях дивизии и нашего полка, о трехслойной системе укреплений вокруг Будапешта, названной звучным женским именем «Маргарита», о неудачной попытке наших войск с ходу овладеть венгерской столицей, о бойцах и командирах 2-го батальона.

Уходя, Афонин посоветовал:

— В твоем взводе самые опытные сержанты, да и некоторые бойцы воюют от Сталинграда. Командовать ими командуй, но и учись у них. И помни, что ты не просто командир, а еще и коммунист, с тебя спрос вдвойне. Значит, к людям ты должен особый подход иметь, чтобы они тебя знали как представителя партии большевиков и сердцем понимали твое слово.

Мне повезло: на фронте наступило относительное затишье, и я смог основательно познакомиться с подчиненными и своими командирами. Наш полк прочно удерживал свои рубежи. Время от времени то тут, то там противник предпринимал атаки силою от роты до батальона с целью вернуть утраченные позиции, но успеха не имел.

В беседах с бойцами мне часто помогал парторг. Не знаю, каким образом он узнавал про мои дела, но всякий раз, когда я заводил разговор с красноармейцами, Афонин оказывался рядом. Внимательно слушал, о чем я говорил, затем как-то незаметно сам вступал в разговор.

А беседовать с людьми Афонин любил и умел, чему старался научить коммунистов. Не раз он советовал мне: старайся так объяснять суть вопроса, чтобы слушатели не только сами глубоко и ясно понимали, но и других потом убеждали. Лишь тогда слово коммуниста обретет силу, ведет за собой людей.

— Настоящий большевик — руководитель или рядовой боец партии,— рассуждал он,— рождается не за книжкой, не в конторе, а в коллективе, среди товарищей, борющихся за общее рабоче-крестьянское дело.

Не случайно парторга можно было видеть в кругу бойцов или наедине с кем-то в любое время суток. Сколько раз, обходя ночью позиции взвода, я видел Афонина мирно покуривающим с пулеметчиком или стрелком. Как правило, после таких встреч он находил меня и делился своими впечатлениями.

— Какой же у нас золотой народ! — сказал он мне однажды.— Бойцу не сегодня-завтра в бой идти и еще неизвестно, уцелеет ли,

а он о колхозе рассказывает, письмо из дома читает. И такие планы строит, будто он вовсе и не на передовой, а у себя в правлении артели. Наш человек тем и силен, что всегда вперед смотрит, будущее свое зримо ощущает.

Я согласился с ним, заметив:

— Конечно, наш колхозник — это тебе не то, что местные крестьяне — забитые, напуганные, на иного просто смотреть жалко.

Мои слова почему-то Афонину не понравились.

— А чем нехорош тебе местный крестьянин или рабочий? — Парторг строго посмотрел на меня.— Мы с ним одним миром мазаны. Не надо забывать, что венгерский пролетарий первый пошел за Октябрем, за Лениным. В девятнадцатом году он установил тут Советскую власть. И не его вина, что мировая буржуазия оказалась сильнее...

В тот раз наш разговор на интернациональную тему не закончился: противник вдруг начал артобстрел. Вскоре Афонин вернулся к этой теме, проявив даже изобретательность.

В полутора километрах от передовой в небольшой деревеньке располагался штаб полка и кое-какие тыловые подразделения. Отправляясь однажды туда по делу, Афонин пригласил и меня. Помнится, неделю назад, когда мы взяли эту деревеньку, она была словно вымершей. И сейчас картина оставалась прежней. Жителей нет. Дома, где не располагались наши бойцы, стояли с закрытыми ставнями.

Когда мы возвращались, Афонин неожиданно свернул к одному из таких домов.

— Давай заглянем, погреемся да заодно посмотрим, как тут народ живет.

Подошли к длинному дому. С одной его стороны тянулась терраса, куда выходило несколько дверей. Афонин направился к той из них, что вела в жилую часть дома, и постучал. Потом он постучал в закрытые ставни, но никто не отзывался. Мы уже решили бросить нашу затею, как вдруг послышались осторожные шаги и старческий голос спросил, видимо, кто мы и что нам нужно.

Афонин, употребив, наверное, весь известный ему запас венгерских слов, объяснял, чего мы хотим: зайти просто так. За дверью раздумывали, затем звякнул засов. Мы увидели высокого худого старика в полотняной одежде и жилете из темной материи. Свисавшие до самых плеч седые волосы и длинные седые усы дополняли портрет этого венгерского крестьянина.

Все ли понял он из объяснения, но распахнул дверь и жестом пригласил войти.

Мы ожидали застать в доме что-то интересное, необычное: ведь другая страна, иной народ. А увидели самую обыкновенную бед-

ность. Она была заметна всюду, куда ни падал взгляд. В углу комнаты стояла широкая кровать с горкой подушек, рядом с ней — комод, потемневший от времени. Вдоль стен — лавки, на стенах — семейные фотографии в простых рамках. Возле двери — полка с посудой, домотканые полотенца. И наконец, печь с лежанкой.

За грубо сколоченным, выскобленным до желтизны столом собрались, видимо, все обитатели дома: подслеповатая старуха, женщина лет тридцати, закутанная в черный платок до самых глаз, и маленький мальчик. На столе горела коптилка, хотя еще стоял день.

— Здравствуйте, хозяева! — поздоровались мы, но все пугливо молчали. Мы присели на лавку, огляделись. Афонин, обращаясь к старику и подбирая нужные слова — венгерские вперемежку с русскими,— начал рассказывать, что на его родине, Рязанщине, крестьяне раньше тоже жили очень бедно. Но потом, когда колхоз окреп, достаток и счастье пришли в каждую крестьянскую семью. Перед войной колхозники кроме коллективного хозяйства имели приусадебные участки, скот, овец, птицу и жили неплохо. Этот путь нам указал Ленин.

Услышав имя Ленина, старик оживился. Он закивал головой, повторяя по-русски, но с сильным акцентом: «Ленин, Ленин — это хорошо, Ленин был для мадьяр большим другом...» Как мы поняли, старик находился в России в плену и был свидетелем рождения первого в мире социалистического государства. И тут Афонина проняло.

— Эх, отец, как же так? Нашу революцию своими глазами видели, а сейчас прячетесь от русских. От рабочих и крестьян Страны Советов, одетых в солдатские шинели. Вся наша армия состоит из сынов трудового народа. Вот он — Афонин показал на меня — из рабочей семьи, я — из крестьянской. А разве может русский рабочий обидеть венгерского или русский колхозник крестьянина-мадьяра? Да не бывает такого!

Старик весь напрягся, слушая его, потом в раздумье опустил голову и вдруг начал быстро-быстро говорить. Афонин как будто переводчиком стал, поглядывая на меня, толково и быстро пояснял: нас стращали русскими. Кто, дескать, останется, пусть приготовится к смерти: русские грабят, убивают, угоняют в Сибирь. Я хоть и не верил, но семья, ребятишки. Как вы пришли, не спускаю глаз с улицы. Но все спокойно. Вчера к родственнику ходил, у него стоят солдаты. Он уверял меня, что в жизни не видел людей лучше.

Старик умолк — трудно признаваться в своей слабости. Но Афонин и тут нашелся. Он достал из вещмешка (как будто специально положил туда для этой встречи) консервы, сало, хлеб, пачку чая и сахар. При виде сахара у мальчугана заблестели глазенки.

— Угощайтесь.

Женщины заговорили между собой, и в их голосах мы уловили

нотки удивления и радости. Старик что-то им сказал, они вышли и вскоре вернулись, постелили на стол холстину и поставили большой глиняный сосуд с вином.

— Ну, будет пир на весь мир! — воскликнул Афонин и произнес несколько слов по-венгерски. Домочадцы переглянулись и громко рассмеялись.

— Ты что им такое загнул? — я удивился парторгу: откуда это и когда успел узнать?

— Да присказку, вроде нашей: «Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец». Научил переводчик из штаба дивизии. В их языке тоже много забавных выражений.

Атмосфера изменилась, хозяева повеселели. Мальчуган, осмелев, подошел ко мне, что-то пролепетал. Я, конечно, ничего не понял и протянул ребенку кусочек сахара. Он взял охотно и с довольным видом убежал к своей бабушке.

Старик разлил вино.

— На здоровье! — произнес он по-русски и первый выпил.

— За победу! — добавил Афонин.— И за нашу крепкую дружбу после войны.

Когда мы собрались уходить, недоверия к нам не было. Женщина — жена старшего сына, служившего в армии,— скинула черное покрывало и оказалась молодой и милой. Старик, что-то вспомнив, быстро вышел во двор, раскрыл ставни и вернулся с красивой девушкой лет двадцати.

— Это наша дочка, самая младшая, на чердаке пряталась... от недоброго глаза... Теперь некого бояться. Русские — наши друзья.

Мы покидали простой этот дом с душевной теплотой и грустью. Кажется, удалось открыть еще одной венгерской семье глаза на окружающий мир, на суть событий в нем. А сколько вокруг запуганных фашистской пропагандой!

На повороте дороги мы оглянулись. Вся семья стояла у порога и приветливо махала нам, желая счастливого пути. А в окнах пылало солнце, оно как бы проникало внутрь крестьянского дома. «Пусть в вашей жизни будет так же светло, как сейчас с открытыми ставнями»,— были прощальные слова Афонина.

После памятного визита я по-иному стал смотреть на жителей. Они уж не казались мне робкими, безвольными. И эта перемена в моих взглядах произошла под влиянием человеческого таланта парторга Афонина.

Вот-вот должно было начаться новое наступление. Мы его ждали и тщательно готовились к нему. Нам в избытке завезли боеприпасы, выдали теплое белье, зимние портянки и шапки. Пополнили личным

составом и мой взвод — бойцами из Кировской области. Сержант Ткаченко, принимавший пополнение, доложил:

— Хлопцы дельные, работящие — одним словом, надежные. Вот только один бирюк бирюком. Не то сильно чем-то напуганный, не то религиозный...

— Ладно, потом разберемся, что он за человек,— махнул я рукой.— Учить их будем днем и ночью, пока время есть.

Вечером состоялось партийное собрание батальона. Когда оно окончилось, Афонин пошел со мной.

— Хочу к твоим бойцам заглянуть, не возражаешь?

— Всегда рад, а сейчас — вдвойне. Во взводе пополнение, ребята ничего, шустрые. Вот только один, Камешков, странно себя ведет. Как услышал про немецкие танки, забился в угол землянки, не ест, не пьет — смерти дожидается. Товарищи пробовали расшевелить — не помогло. Что делать?

— Занятно. Откуда он?

— Из Кировской области, как все.

— Комсомолец?

— Н-не знаю.

— Ай-яй-яй... Живой человек к тебе воевать пришел, а ты с ним даже не поговорил по душам.

— Так ведь он только вчера утром прибыл.

— Не «только вчера», а «еще вчера». Учти на будущее...

Афонин безошибочно нашел землянку 1-го взвода 4-й роты, откинул плащ-палатку и очутился в тесном нашем помещении, тускло освещенном коптилкой. Большинство отдыхало. Возле коптилки двое писали письма, третий зашивал гимнастерку.

Афонин сразу заметил Камешкова. Он лежал с краю, отвернувшись к стенке, рядом стоял котелок с пищей и горбушкой хлеба.

— Привет гвардейцам,— весело произнес парторг, пробираясь на свободное место возле Камешкова.— Как воюется? Слышал я, что ваш взвод чуть было «тигра» в плен не взял, а потом раздумал: к чему такую махину тащить, если все они и так на свалку будут отправлены?

Шутка понравилась. Кто лежал — приподнялся, и только Камешков не проявил никакого интереса.

— Но это, друзья, присказка, а главный сказ впереди. Все вы знаете наших дивизионных артиллеристов. Так вот, в минувшем бою, когда на позиции полка пошло до двадцати пяти «тигров» и «пантер», наш герой-артиллерист гвардии старший сержант Балдин, кавалер трех боевых орденов, участник Сталинградской битвы, поступил с этим зверьем так. Он не стал их беспокоить на дальней дистанции, а подпустил поближе и завел с ними откровенный разговор на прямой наводке. Ну а «наводка» у коммуниста Балдина известная на всю дивизию: что ни снаряд, то в цель. Сделал Бал-

дин аккуратненько три выстрела — и двух «тигров» как не бывало. Остальные, конечно, сразу поняли, что спуску им не будет, и побыстрее убрались восвояси.

Бойцы оживились, раздались голоса:

— Наш Махотин в том бою с тридцати метров бил по десанту, что на танке, всех на тот свет спровадил...

— А наша полковая разведка? Говорят, отправилась за «языком», а наскочила на танки. И «языка» взяла, и такой трам-тарарам в их тылу устроила...

Отважный поступок, подвиг издавна удивляли и восхищали. Афонин поддержал разговор о фронтовой дружбе, вместе со всеми шутил, вспомнил о Сталинграде, поделился своим боевым опытом и вроде бы между прочим сказал о возможном скором наступлении.

Тут Афонин почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и полуобернулся. На него смотрел Камешков. И светилось в его глазах, как показалось Афонину, одно любопытство.

Афонин пошарил по карманам и склонился к бойцу:

— Землячок, табачку не найдется? Где-то я посеял свой трофейный портсигар.

Камешков протянул расшитый бисером кисет с махоркой. Афонин подмигнул:

— От нее, что ли?

Камешков кивнул головой.

— Жена, конечно, рано. Ну, скажу тебе, девушка твоя рукодельница первой статьи. Молодчина, и только.

Боец улыбнулся. Афонин придвинулся и долго о чем-то с ним доверительно беседовал. К удивлению взвода, оба вдруг встали и вышли из землянки.

Вернулся Камешков и первым делом опорожнил котелок. А утром позвал земляков Агеева и Шевлякова, прибывших с ним в одно время.

— Ребята, айда покурим.

Приятели пошли за Камешковым. Они облюбовали свободную ячейку, присели на корточки, свернули цигарки, прикурили от «катюши» Агеева.

— А знаете, кто вчера был у нас в землянке? — заговорил Камешков.— Сам парторг батальона Афонин Иван Федорович. Хороший он человек, скажу я вам. Ну кто я для него? Боец, как и все вокруг. Так нет же, заметил, что я... ну, в общем, был не в своей тарелке, и с открытой душой ко мне подошел...

Камешков глотнул табачного дыма.

— А потом повел к подбитому «тигру», что вон там стоит,— Камешков махнул рукой вдоль передовой.— Долго лазили мы вокруг этого чудища, жуть какая громадина, а наш снаряд насквозь просадил. Выходит, наша-то сила немецкую одолела...

Рассказал, как парторг показывал ему приемы борьбы с немецким танком, наиболее уязвимые его места. Потому что не только снаряда он страшится, а и противотанковой гранаты, и бутылки с горючей смесью.

— Хотите верьте, хотите нет, но Афонин что-то во мне перевернул. И кажется мне, что не кто-то другой, а я танк ухлопал. Если «тигр» на меня попрет, я теперь знаю, что с ним делать...

Мы с сержантом Ткаченко не спускали глаз с Камешкова. Старались побольше оказать ему внимания и те, кто был рядом. Помогали, как говорится, найти самого себя.

Как-то я обходил взводные позиции, проверяя оборудование траншей, окопов, маскировку. Возле Камешкова задержался. Тот хлопотал в своем окопе. Как было приказано, он вырыл ячейку полного профиля, углубил ближайший к нему участок траншеи и теперь старательно его маскировал, набросав сухие кукурузные стебли на бруствер.

— Однако занятно, догадается противник, где у Камешкова оборона проходит? — послышался вдруг знакомый голос.

— Не-е, товарищ гвардии младший лейтенант, теперь комар носа не подточит,— с улыбкой отвечал Камешков, который обрадовался появлению парторга, будто ждал его.

Афонин авторитетно сказал:

— Порядок. Хороший окоп — почти победа в бою.

Он еще раз оглядел ячейку Камешкова, удовлетворенно хмыкнул:

— Послушай, землячок, одолжи-ка мне свою лопаточку...

— Возьмите.— Камешков протянул Афонину малую саперную лопату, которую держал в руке.— Только зачем она вам?

— А вот сейчас увидишь...

И Афонин метрах в пяти от окопа Камешкова начал вырезать ячейку, говоря:

— Ты что думаешь, землячок, сам вон как в землю зарылся, а другие пусть на лету хватают немецкие осколки да пули? Шалишь, брат, я тоже не хочу до срока без головы оставаться, она мне еще в колхозе пригодится.

— Давайте я вам помогу. Землю копать мы, кировские, с детства привыкшие, она у нас ой как трудна, земля-то...

— Спасибо, друг.— Афонин окинул бойца благодарным взглядом.— У рязанских рука набита не хуже, чем у кировских. А кроме того, на фронте мне столько этой землицы пришлось перекидать — одному богу известно. На войне ведь нормы нет.

И действительно, Афонин так быстро и ловко орудовал лопатой, что прошло полчаса, не более, и ячейка для стрельбы стоя была готова. Камешков смотрел на парторга, приговаривая: «Ну и мастак

мужик, ай да молодец... Я бы полдня ковырялся и того не сработал, а он...»

Замаскировав окоп, Афонин облегченно вздохнул:

— Ну вот и я готов к бою. А теперь, землячок, давай перекурим это дело.

Камешков тут же выхватил из кармана кисет. Они присели на корточки, скрутили цигарки, выпустили клубы дыма.

— Хорошо...— блаженно заметил Афонин.— Когда поработаешь вволю, тогда и курево слаще кажется... Особенно из такого кисета. А насчет сноровки — это дело наживное, главное — надо всегда помнить солдатскую науку: держись крепче за землю, и никакая сила тебя не одолеет.

— Что верно, то верно... Мне и маманя об этом говорила, на войну провожая. И талисман вот дала...

Камешков достал из нагрудного кармана маленький холщовый мешочек.

— Земля тут наша, вятская.

— Советская...— добавил парторг.

Камешков сделал глубокую затяжку, глянул на Афонина затуманенным взглядом.

— Маманя говорила: земля-кормилица все выдюжит, она и накормит, и укроет, и силы на войне прибавит. Только голыми руками ее не возьмешь. А вы вот... без лопатки ходите. В бою кто вам лопатку позычит?

Афонин залился смехом.

— Ну и солдат, ну и молодец, вот подкузьмил на радость, вот утер нос мне, старику.— Спасибо, земляк, за науку,— уже серьезно сказал парторг.— Верно мыслишь: перед присягой и совестью мы все равны — от генерала до рядового. Только не виноват я, что без лопатки оказался. Отдал в соседней роте новобранцу, что свою потерял еще до боя.

Над окопами, надрывно завывая, пронесся снаряд, второй, третий, десятый. Афонин и Камешков опустились на дно траншеи. Сверху на них падали комья развороченной земли, камешки, кукурузные стебли. Лицо бойца побледнело, взгляд забегал по стенкам окопа, он ожидал еще более страшного. Парторг, казалось, не обращал ни малейшего внимания на артобстрел, сдувал с автомата пыль. Поймав взгляд Камешкова, усмехнулся:

— Ишь, фашист разошелся, как холодный самовар. А того не поймет, что запоздал он со своим артналетом ровно на два часа.

— Это почему?

— А потому, что два часа назад у нас с тобой еще не было таких окопчиков. Вот если б тогда — погонял бы он нас по этому полю, как зайцев. А теперь мы — во! — Афонин поднял кверху большой палец.— Сидим, как в крепости!

В эту минуту, казалось, совсем рядом грохнул снаряд. Земля дернулась словно живая. Афонин вмиг ткнулся на дно, увлекая за собой и Камешкова. На них обрушился толстый слой грунта. Афонин сбросил с себя землю и стал разгребать Камешкова.

— Жив, землячок? Слышь, фашист перенес огонь в глубину, сейчас в атаку попрет. Теперь у нас с тобой одна задача: не дать ему дойти до наших позиций...

Над окопом посвистывали пули, и Камешков в каске не решался приподнять голову над бруствером и посмотреть, что там впереди делается.

— Как твоя крепость, земляк?

Афонин отодвинул бойца плечом, занял его место, с минуту наблюдал за тем, как разворачивается противник. Примерно в километре из укрытий выползли три танка и до десяти бронетранспортеров и устремились на позиции батальона.

— Смотри сюда, землячок,— Афонин притянул Камешкова к себе.— Видишь те кустики на краю поля? Как только танки достигнут их, из бронетранспортеров наверняка будет высаживаться пехота. Вот тут и начнется наша работенка. Если что — я рядом.

Танки замедлили ход у края кукурузного поля, а бронетранспортеры их догнали, и оттуда уже соскакивали темно-зеленые фигуры, они побежали за танками, стреляя на ходу.

Послышались винтовочные выстрелы по всей передовой, потом начали раздаваться короткие очереди из автоматов. Камешков, поняв, что пора и ему вести огонь, припал к прикладу и начал искать цель. Ближний фашист шел по полю и водил дулом автомата из стороны в сторону. «Как все равно на лугу траву косит...» Мушка «плясала», то опускаясь, то поднимаясь, и фашист на ней не держался.

Из окопа парторга слышались частые выстрелы, и это подстегнуло Камешкова. Он навел винтовку прямо в грудь автоматчика, сдержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Приклад ударил в плечо, но боец успел заметить, как тот, в кого он целился, взмахнул руками и рухнул на землю.

— Ага, получил свое! — возбужденно закричал Камешков.— Это вам только цветочки, а ягодки впереди...

Камешков стрелял все чаще, но число шедших на него автоматчиков вроде не уменьшалось. Бойца охватил страх, но он вспомнил про нишу, которую оборудовал в стенке окопа: гранаты! Трясущимися руками он схватил одну из них, выдернул чеку и размахнулся изо всей силы. Граната разорвалась там, где бежали трое, и все трое повалились на землю. Вслед бросил вторую и третью... Он и дальше бросал бы их, не раздайся голос Афонина:

— Стой, своих побьешь!

Наконец до Камешкова дошел смысл слов парторга. Впереди

уже не было, оказывается, ни автоматчиков, ни танков. А из наших окопов выскакивали бойцы.

— Пошли, Камешков, вперед,— крикнул Афонин.— Наступление!

Они помогли друг другу вылезти наверх и пошли рядом.

Взвод наступал в направлении длинного здания. Оно оказалось господской конюшней. В бою отличились солдаты второго и третьего отделений, в их числе Камешков. Он с другими бойцами смело зашел с фланга и подавил пулеметную точку.

Выбив противника из населенного пункта, батальон повел наступление на высоту 120,0.

Чем ближе мы подходили к высоте, тем огонь становился плотнее. Из лощинки вынеслись две «тридцатьчетверки» и самоходка, они обогнали нас, стреляя на ходу. Темп атаки сразу возрос. Вот мы бежим по отлогим скатам высоты, до вражеских окопов не более ста — ста двадцати метров. Вдруг по нашей цепи ударили пулеметы, расположенные где-то на флангах. Одновременно усилился минометный огонь. Настал такой момент, когда промедление, задержка смерти подобны. Мы лежим, кто встанет первым? Ко мне подполз Ветров:

— Товарищ лейтенант, передали, комбата ранило...

Весть вмиг прошла по цепи. И я замечаю, как на левом фланге кто-то пополз назад. А вдруг еще кто-то не выдержит?

И тут у всех на глазах решительно поднялся парторг батальона. Потрясая автоматом, Афонин крикнул что было сил:

— За Родину!

Секунду-другую цепь безмолвствовала. Но вот встали вслед за Афониным коммунисты, уже весь батальон, стреляя и крича «ура!», штурмует вражеские траншеи, выбивает из них фашистов.

Ночью мы закреплялись на новом рубеже. Чуть свет на позициях появился Афонин. Как всегда, он был деловит и энергичен. Принес листовки, написанные им за ночь и согласованные с замполитом батальона. Они посвящались бойцам и командирам, отличившимся в этом бою.

В моем взводе благодарности удостоились трое, и среди них Камешков. Афонин крепко пожал им руки.

— От лица командования батальона,— громко начал он,— горячо поздравляю вас с боевым крещением. Сражались вы славно, проявили мужество и гвардейскую доблесть, истребив немало фашистов. Уверен, что и в последующих боях вы будете биться с врагом не менее отважно...

Камешкова, смущенного и радостного, чествовали всем взводом. Но, казалось, больше других был доволен Афонин. Пряча улыбку в рыжих, прокуренных усах, он удовлетворенно приговаривал:

— Ну прямо на глазах рождается храбрый солдат Отечества...

В конце декабря сорок четвертого наши войска окружили Будапешт. Начался штурм. Некоторым бойцам и командирам не хватало умения драться на улицах, внутри зданий. Не было такого опыта и у меня. Я знал, что Афонин тоже не участвовал в уличных боях. Однако это его не смущало. Он организовал во взводах беседы сталинградцев. Но прежде сам многому у них научился и передавал опыт со знанием особенностей боя. А когда настала пора действовать нашим штурмовым группам, то первую из них возглавил парторг.

После взятия левобережной части города — Пешта — нашу дивизию перебросили на другой берег Дуная. Полки готовились к последнему штурму.

...30 января под вечер наши позиции пробомбили «юнкерсы», потом пошли танки. Дружно отозвалась наша артиллерия. Несколько танков и штурмовых орудий задымилось, но остальная лавина продолжала накатываться. Уже различались отдельный танк, штурмовое орудие. Их десятки. И еще больше бронетранспортеров. Неужели прорвутся?

Вот подошли к окопам, где укрылись истребители танков. Впереди гремят взрывы. Один из «тигров» окутывается дымом. Два танка вклиниваются в боевые порядки батальона на стыке рот. За ними — автоматчики. А танки уже утюжат окопы. Еще три «тигра» и несколько бронетранспортеров наваливаются на фланг батальона.

Артиллеристы выкатили пушки на прямую наводку. Танки стали маневрировать. Автоматчики остановились, залегли.

Я подал взводу команду:

— Приготовиться к рукопашной!..

На правом фланге батальона наши уже пошли в контратаку. Появился Афонин. Он был без своей красивой черной кубанки, весь грязный, закопченный, телогрейка на спине распорота, из нее торчали клочья ваты.

— Собирай всех, кто рядом, и — в контратаку! — крикнул парторг.— Твой ротный ранен, успели вынести... За него Грушницын, он окружен, надо выручать. Собирай всех... контратакуй...

Афонин привалился к стенке окопа и начал медленно сползать вниз.

— Афонин, ты ранен? — Схватил его за плечи. Он не отвечал, потерял сознание.

— Ветров,— позвал я ординарца,— помоги парторгу!

Грушницын быстро перераспределил остатки роты, усилил ручными пулеметами правый фланг, создал резерв из одного отделения с пулеметом и двумя ПТР.

На позиции моего взвода бой утих.

— Что с Афониным? — спросил я ординарца.

— Ранен. Мы перевязали, отвели в дом лесника. Там сборный пункт медсанбата.

За передним краем чадило до десятка танков и бронетранспортеров. Неожиданно стрельба вспыхнула в тылу батальона, где находился дом лесника. Ветрова как будто кто встряхнул. Он выскочил из окопа и, показывая рукой в сторону дома, крикнул:

— Товарищи, там же раненые! И парторг Афонин. Спасать надо!

Грушницын приказал мне взять из ротного резерва бойцов и поспешить на выручку.

У дома лесника фашисты нас встретили огнем. Пока мы их выбивали, там внутри раздавались выстрелы. Потом все стихло, и от этого заныло сердце: неужели поздно?

Остатки прорвавшейся группы немцев отошли. Мы увидели дымившиеся бронетранспортеры, десятка полтора вражеских трупов. Дверь в дом оказалась запертой изнутри.

Я с бойцами забрался в дом. В одной из комнат нашли троих. Они лежали так, как их застала смерть. Афонина среди них не оказалось.

Он лежал, привалившись к стене, широко раскинув руки, снаружи дома. Даже смерть не смогла погасить на лице парторга добрую улыбку. Бойцы внесли его в дом, опустили рядом с другими погибшими. «Не успели...»

Что же случилось? А вот что. К дому лесника на рассвете прорвались эсэсовцы. Афонин, сам еле держась на ногах, успел отправить большую группу раненых с санинструктором в тыл. Оставшись с тремя, тоже ранеными, решил задержать фашистов. Бились до последнего патрона. В документах Афонина была найдена записка: «Сдаваться в плен не намерен, умираю за Родину».

Похоронили мы своего парторга, когда батальон вышел из окружения и соединился с полком. Был короткий траурный митинг. Замполит батальона капитан Хамитов произнес речь:

— Прощай, боевой друг. Мы отомстим за твою гибель.— И бросил комок земли в открытую братскую могилу.

Прогремели залпы последних воинских почестей...

Неподалеку я увидел Камешкова. Он подошел к могильному холмику, достал из нагрудного кармана холщовый мешочек и высыпал бережно хранимую щепотку родной земли возле красного фанерного обелиска. По его обветренному лицу текли слезы, и все мы делали вид, что не замечаем их...

А вот теперь, через сорок лет, думаю: да ведь ему-то, вятскому, кировскому парню, всего-то восемнадцать лет в ту пору было, и такого человека он оплакивал... Ни тогда, ни теперь не вижу в тех солдатских слезах ни малейшего признака слабости. И в памяти моей они казались совместимы с образом сильного и доброго человека Афонина, незабвенного нашего парторга.

Марк
ИЛЬИЧЕВ

ВЕЧНЫЙ РОДНИК

Селение называлось Ой-Булак, что в переводе на русский означает «Родник в лощине». Горы упирались в небо, и мальчик не мог рассмотреть, откуда родник берет свое начало.

— Где рождается вода? — спрашивал мальчик отца.

Тот тоже поднимал глаза к вершинам и молча клал тяжелую от трудов, коричневую, как урюк, ладонь на узкое плечо сына. Что мог ответить неграмотный бедняк любознательному, смышленому юнцу? Калийнур в свои десять лет знал много такого, о чем в былые времена ведал не всякий бай.

Вечерами, возвращаясь с поля, Усенбек слышал, как сын учил наизусть стихи великого Токтогула:

Мы опутаны клеветой,
Мы замучены нищетой,—
Безлошадным, как ездить нам
На поминки, на свадьбы, к друзьям?

Усенбек помнил дни, когда за эти стихи холуи местных баев хватали людей, избивали, грозили каторгой. А сейчас отец перестал бояться. Он — колхозник. Это значит, что за него в любую минуту готовы заступиться, помочь жители всего Ой-Булака. Потому что теперь все служат ему, а он, Усенбек, служит всем людям — киргизам и русским, узбекам и уйгурам и многим другим народам Советской страны, о которых сам не знает, но о них каждый вечер читает Калийнур, водя пальцем по строчкам учебников.

— Твой дед был кочевником, не знал, что такое домашнее тепло зимой и прохлада в летний зной. Он ел что придется, пил воду откуда придется. Его дети умирали от желтой, тухлой воды, но он считал, что их забирал аллах. А ты пьешь родниковую воду, живешь под крышей, учишься в школе. За все это надо не только благодарить — все это надо уметь защищать. Вон сегодня в «Сабаттуу бол» («Будь грамотным») написано, что в Германии захватили власть фашисты. Ты знаешь, где эта Германия, сынок?

Калийнуру пошел тринадцатый год, когда происходил этот разговор. Он знал, где находится Германия, знал, кто такой Тельман и кто такие фашисты. Родительскую ненависть к темному

прошлому, к любым баям — киргизским, русским, немецким — он впитал с молоком матери.

В 1936 году Калийнур стал комсомольцем. Приближалось окончание школы, нужно было выбирать профессию. И снова постаревший Усенбек удивлялся и радовался:

— Что значит «выбирать профессию»? В наше время сын чабана становился только чабаном, сын хлопкороба — хлопкоробом. Сын хана знал, что он вырастет ханом, а сын батрака — батраком. А сейчас один хочет стать агрономом и едет учиться в Москву, другой уезжает в Ташкент, чтобы выучиться на доктора, третий вообще творит невероятное — он собирается летать. Мой задумал уехать в Пржевальск. Учителем будет...

В субботу 21 июня 1941 года в Пржевальском педагогическом училище был выпускной вечер. Директор училища произносил торжественную речь:

— Друзья мои, пройдет два месяца, и вы войдете учителями в школьные классы. В 1914 году в школах Киргизии обучалось всего семь тысяч сорок один человек. Это были дети баев да русских чиновников и кулаков. А сейчас в нашей республике имеется шесть высших и тридцать три средних специальных учебных заведения, сотни общеобразовательных школ. Запомните эти цифры, друзья! И когда 1 сентября вы войдете в школьные классы, повторите их своим ученикам. Пусть они их тоже запомнят. В добрый путь, товарищи учителя!

Директор начал вручать дипломы. Потом были песни, танцы, чаепитие. Потом...

В полдень 22 июня Калийнур Усенбеков сам пришел в военкомат. Двадцатилетний учитель молчал: просили его черные глаза.

— Погоди,— ответили ему,— сразу всем на фронт нельзя. Порядок нужен. Без порядка мы немца не одолеем. Работай. Когда надо, повестку пришлем.

Ждать пришлось до февраля сорок второго. А пока учитель Усенбеков уехал по распределению в Жеты-Огузовский район.

Трудней всего было на уроках истории. Ученики рвались творить ее сейчас, сами. Как учитель понимал этих шестнадцати-семнадцатилетних мальчишек! С какой радостью ушел бы он вместе с ними под Можайск, под Волоколамск, под Наро-Фоминск. Там сейчас вершилась история Отечества, решались судьбы мира!

Свободным днем он поехал в Ой-Булак. Село жило трудной жизнью. Молодых мужчин, его сверстников, почти не осталось — они уже в армии, многие на передовой. Зато приехало много нездешнего люда: из Прибалтики, Молдавии, Украины, Белоруссии, Ленинграда и Москвы, Ростова... Сердобольные жители теснились

в своих домах, делясь с эвакуированными крышей, едой, одеждой.

— Отец, неужели сдадут Москву? — спросил то, что мучило, будто старик не те же газеты читал, не то радио слушал.

Усенбек отрицательно покачал головой:

— Москву не сдадут. Москва — душа наша. Там — Ленин...

Это была их последняя встреча. 3 марта 1942 года Калийнур Усенбеков был призван в учебный батальон в Иркутск, а через полгода направлен со своей частью на войну, на Донской фронт.

Дни и ночи конца сентября — начала октября сорок второго... Донской фронт трудно вел активную оборону, стремясь ослабить удары врага по Сталинграду. Битва на Волге приближалась к решающему моменту, которому суждено было стать переломным и во всей Великой Отечественной войне. Но о планах командования красноармеец Усенбеков конечно же не знал. Тем не менее твердо верил и убеждал других:

— Сталинград никогда не сдастся! Из этого окопа Берлин надо видеть.

— Верно говоришь, друг! — поддержал стоявший рядом с ним на часах татарин Насыров — бывалый солдат, недавно вернувшийся на фронт после ранения.— Как я не догадался так сказать? Тебе, Усенбеков, политруком быть.

— Пока я еще комсомолец. Но уже подал заявление. Прошу, чтоб приняли в ряды ВКП (б),— ответил Калийнур.— Я уже три месяца на передовой. Хочу идти в наступление коммунистом.

С детства он привык все воспринимать всерьез. А с того дня, как надел солдатскую гимнастерку, стал особенно собранным, упрямым. Да, он готовился к трудным испытаниям, часто говорил о том, что подвиг должен быть осмысленным, подготовленным опытом всей предшествующей жизни — твоей и твоих предков.

«Привет с фронта, дети. Мы бьем фашистов изо всех сил...»

Из далекого киргизского аила шли ответные письма. Ребята, которым хоть и недолго довелось учиться у Калийнура, писали учителю-солдату о своих успехах и недетских печалях, заботах, о помощи фронту и перечисляли имена тех, кто не вернется уже никогда и за кого ему, бойцу Усенбекову, надо мстить проклятому врагу...

Видно, сумел юноша-педагог оставить добрый след в душах подростков, если не забывали они о нем и делились самым сокровенным. Получая исписанные детским почерком вырванные из тетрадей листки, Усенбеков в короткие часы фронтовых передышек давал прочитать эти письма однополчанам. «Шлем привет вам на фронт, дорогие батыры!..» И теплело от этих слов в сердцах фронтовиков. Точно прикасались отцы к своим детям, томящимся на оккупированных врагом Украине или в Литве, на Витебщине и Орловщине. Дети — везде дети. И обуреваемые любовью к ним,

ненавистью к фашистам, еще смелее делались солдаты, еще ожесточеннее дрались за каждый метр своей земли, за высоту безымянную, за поселок, от которого даже фундамента не осталось, за дом, где этаж наш, а другой — у фашистов.

Коммунисты батальона единогласно приняли Калийнура Усенбекова в партию. На том коротком, по-военному немногословном собрании говорили, что вчерашний учитель обладает прирожденным умением убеждать людей, поднимать их боевой дух, воздействовать на их настроение, вести за собою в бой. Не ждет, пока поднимутся другие. А на войне это важнейшие качества воина-большевика.

Вскоре послали молодого коммуниста на краткосрочные офицерские курсы, имея в виду в дальнейшем направить его на партийно-политическую работу.

Так и получилось: стал Усенбеков политработником, парторгом 1-го батальона 1008-го стрелкового полка. Это произошло в канун 1944 года.

Парторг батальона неутомимо искал и находил новые формы и методы работы с бойцами. Для него мало знать всех однополчан в лицо. И Калийнур стремился постичь душевный строй, характер каждого солдата, знать их так же, как свою биографию. Вместе с коммунистами во взводах, отделениях, с парторгами рот, батарей он делал все, чтобы укреплять дисциплину, поддерживать в солдатах, сержантах, офицерах батальона высокий воинский дух, мужество в борьбе со слабеющим, отступающим, но все еще сильным врагом.

...Пришло накануне боя из родных мест письмо, донесло печальную весть: умер отец. Не дожил до победы, не увидел сына старый чабан. Сломали могучий организм непосильный труд и болезни, военные лишения, волнения за судьбу сына.

Худое, скуластое лицо Калийнура к утру совсем осунулось, смуглые щеки словно пожелтели. Плакал украдкой. Всю жизнь свою с отцом вспоминал... А когда в тумане тускло взвилась сигнальная ракета, впереди атакующих цепей батальона, как всегда, оказалась невысокая, пружинистая фигура бесстрашного парторга.

— Вперед! За Родину! — не узнавая собственного голоса, кричал лейтенант Усенбеков, увлекая за собой солдат.

Видимо, было что-то яростное в этой атаке. Потому что, еще не достигнув вражеских окопов, он увидел, как из них выскакивают гитлеровцы и бегут, бегут...

За личную храбрость и вдохновляющий пример отваги и мужества в боях порторг был дважды награжден боевыми орденами.

Фашисты долго готовились к упорной обороне на Одере. Прочные доты, глубокие противотанковые рвы, обширные минные поля

должны были по замыслу врага остановить либо надолго задержать наши наступающие соединения на этом водном рубеже.

Был такой момент в бою. Под ураганным огнем удалось захватить важную высоту, но затем атака захлебнулась. В населенный пункт ворваться не удалось. Бойцы залегли за домами на окраине городка, начали спешно окапываться. И тут комбат майор Евсеев увидел в бинокль: немцы, не ослабляя огня, готовятся к контратаке. За домами, сараями, за каменными заборами накапливаются, вот-вот ринутся. Парторг понял комбата мгновенно. Сейчас же бросился к только что установленным пулеметам: «А ну-ка, молодцы-пулеметчики, дайте-ка по ним огоньку». Меткие очереди начали косить формирующиеся серо-зеленые цепи. Но на смену убитым вырастали новые шеренги. Выстрелом снайпера смертельно ранен комбат майор Евсеев. Приказав пулеметчикам не ослаблять огня, парторг достал «ТТ» и, не оглядываясь, рванулся вниз с холма, навстречу приближающимся врагам. На этот раз он ничего не кричал, но все увидели его знакомую фигуру с пистолетом над головой, признали, поднялись. Калийнур боковым зрением видел рядом с собой атакующих бойцов. Видел, как восемнадцатилетний парнишка, всего несколько дней назад прибывший с пополнением в батальон, вырвался вперед, прикрывая собой парторга. Вот он спрыгнул во вражескую траншею, кричит «ура!» и в упор расстреливает фашистов. Усенбеков тоже стреляет на бегу, кричит что-то призывное, яростное. Гитлеровец со «шмайсером» навстречу, очередь с хода. Парторг успевает пригнуться, и пули проходят мимо. А в это время тот боец, что прикрывал парторга, почти не целясь, свалил своей очередью фашиста.

— Молодец! Настоящий батыр! — крикнул парторг пареньку.

Молодой боец не понял нерусское слово, но, увидев довольное лицо парторга, догадался, почти точно понял, что сказал лейтенант Усенбеков.

А сзади уже подходила помощь. На плечах отступающего противника солдаты батальона заняли предместья населенного пункта. В политдонесении из полка значилось: люди двенадцати национальностей, предводимые парторгом Усенбековым, вырвались к городку.

Это уже была фашистская Германия...

На рассвете 31 января 1945 года передовые части 5-й Ударной армии форсировали Одер и, захватив плацдарм в районе города Кюстрин, заняли круговую оборону в ожидании подкреплений. Был здесь и 1-й батальон 1008-го полка.

Парторг Усенбеков хорошо понимал и военное и политическое значение предстоящих боев. Ведь от Кюстрина до Берлина — рукой подать.

Дивизии-победительницы шли по немецкой земле. Их встречали настороженные, испуганные взгляды. Геббельсовская пропаганда

изо дня в день внушала населению страх перед «зверствами красных».

А в колоннах советских войск шли и солдаты, чьи дома были порушены оккупантами, родители расстреляны или повешены, жены, невесты и дочери угнаны в фашистскую неволю. Воины освобождали узников концентрационных лагерей, и слезы ненависти к поработителям, слезы жалости к их жертвам выступали на глазах, казалось, отучившихся плакать бойцов.

Политработники, рядовые коммунисты вели в те дни и недели напряженнейшую воспитательную работу, разъясняя каждому солдату, что фашизм нельзя отождествлять со всем немецким народом, что гитлеры приходят и уходят, а народ остается.

Калийнур Усенбеков был убежденным интернационалистом. Он помнил аильский митинг в защиту Тельмана. Он знал, что басмачи убивали с одинаковым ожесточением киргизских и русских бедняков, взявшихся за коллективную обработку байских и кулацких земель. Он унаследовал от отца сознательную ненависть к эксплуататорам вне зависимости от их национальности. Он никогда не судил о людях по форме носа или разрезу глаз, а только по их делам.

Поэтому парторгу легко было находить нужные слова на собраниях или беседах во время привалов. Ему верили и потому, что видели, как он собственноручно раздавал ломти солдатского хлеба голодным немецким детям. У большинства солдат не было злобы к немецкому населению. Но все они ненавидели носителей нацистского зла.

Однажды только что взятый в плен фашистский офицер, недоуменно вглядываясь в скуластое лицо Калийнура, сказал на ломаном русском:

— Вы не есть официр русской армии. Вы — Азия.

— Я — офицер Красной Армии,— сдержанно ответил по-немецки бывший учитель, старший лейтенант Усенбеков.

И это слышали бойцы батальона. И это было правильно понято и оценено ими.

Пройдут годы, и Калийнур Усенбеков, вспоминая о далеком военном прошлом, скажет о главном, пожалуй, моменте в его боевой жизни — сражении за одерский плацдарм: «Почти месяц приходилось все делать на ходу. На ходу ели, на ходу спали, на ходу приводили себя в порядок. И, конечно, отдыха на плацдарме не было — все время были контратаки, приходилось отбивать их одну за другой...»

Из скромности он не рассказывал о том, какую напряженнейшую, ежечасную политико-воспитательную работу проводил на том «пятачке» под Кюстрином. В первый же день здесь состоялось короткое партийное собрание. Комбат Алексеев сказал четко:

— Запомните, товарищи: дороги назад за Одер для нас нет. Она появится только тогда, когда над Берлином будет реять Знамя Победы.

Парторг, выражая общее мнение коммунистов, добавил:

— Наш девиз: «Ни шагу назад!» Но того, что мы уже сделали, недостаточно. Скоро к нам на помощь переправятся другие подразделения. Им будет тесно на «пятачке». Значит, наша главная задача — не только удержаться, но и расширить плацдарм.

Утром следующего дня по сигналу «В атаку!» Усенбеков, подавая пример другим, первым вскочил на бруствер. Немецкие пулеметы из-за домов вели огонь.

— Не сбиваться в кучу! Вперед! — призывал парторг.

Он бежал под пулеметными очередями, но, казалось, они не могли сразить его. Калийнур ворвался в дом под красной черепицей и первое, что увидел, было направленное на него дуло парабеллума. Вскинул верный «ТТ». Выстрелы прозвучали почти одновременно. Немецкий офицер рухнул, а Калийнур бросился к стене и из-за нее швырнул гранату, заставив замолчать пулемет, который бил из окна дома.

К середине дня, значительно расширив плацдарм, бойцы стали торопливо окапываться. Комбат майор Алексеев придирчиво осматривал оборону, предвидя, что гитлеровцы попытаются окружить батальон, рассечь его, а потом уничтожить. Поэтому комбат разделил участок на три сектора: в случае прорыва противника каждый из них будет обороняться самостоятельно. Усенбекова направил на наиболее опасный — юго-западный.

...Танки врага приближались медленно — то ли опасливо, то ли самоуверенно. За ними двигалась пехота. Немецкие солдаты шли во весь рост — как в сорок первом. Видимо, не сомневались, что сомнут русских и сбросят в Одер. Командир роты, оборонявшей юго-западный сектор, лейтенант Розанов приказал:

— Танки пропустить, весь огонь по пехоте.

Прорвавшиеся через нашу оборону танки без поддержки пехоты становились доступными гранатометчикам. Вдруг в этот момент замолк наш пулемет, державший под прицелом фашистов. Калийнур бросился к нему и увидел побледневшее, искаженное болью лицо старого боевого товарища — Насырова, того самого, который когда-то в Донской степи угадал в Усенбекове будущего политработника.

— Что с тобой, друг?

— Ранен. В обе ноги.

— Минутку потерпишь? Я сейчас...

Калийнур продернул ленту, и «максим» заговорил. Огонь был точен, очередная контратака фашистов захлебнулась. Передав пулемет солдату Левину, Усенбеков перевязал раненого друга и на плечах отнес в укрытие; оставил его на попечении санинструктора, а сам вернулся к пулемету.

Бледное зимнее солнце уходило на запад. С Одера подул холодный ветер. Укрывшись в подвалах домов, в окопах, бойцы готовились к утреннему бою. От подвала к подвалу, от окопа к окопу всю ночь передвигался парторг. Пряча от солдат свое волнение, он старался выглядеть веселым. Это ему обычно удавалось: с кем-то перекидывался шуткой, кого-то угощал махоркой, с каждым старался поговорить не только о предстоящем бое, но и о планах на послевоенную жизнь, которая виделась уже близкой, прекрасной.

На рассвете основные силы полка попытались пробиться к окруженному батальону. Но опять немцы двинули танки, открыли массированный артиллерийский огонь. Соединиться не удалось.

Далее события развивались так: «14 февраля 1945 года, ранним утром, когда противник бросил новую роту, тов. Усенбеков, подняв наших бойцов в атаку, сам лично в рукопашной схватке уничтожил 7 гитлеровцев и двоих взял в плен. В этом бою парторг Усенбеков показал бесстрашие и стойкость большевика, проявил подлинный героизм». Эти строки из наградного листа на звание Героя Советского Союза, подписанного тогда командиром 1008-го стрелкового полка гвардии полковником Гриневым.

Вслед за первой атакой в тот день последовали вторая, третья... Батальон держался до тех пор, пока сюда не прорвался весь полк. Немцы недаром любой ценой пытались ликвидировать этот плацдарм. Отсюда, с «пятачка» на западном берегу Одера, началось последнее могучее наступление наших войск, закончившееся окружением и взятием Берлина, водружением Знамени Победы над рейхстагом.

С годами редеют ряды ветеранов, но время бессильно заслонить от нашего взора судьбу каждого человека, очищавшего от коричневой скверны землю. Среди них и славный сын киргизского народа Калийнур Усенбеков.

Есть своя историческая закономерность в том, что он, сын неграмотного крестьянина, после войны закончил Военно-юридическую академию, был заместителем прокурора Киргизской ССР, потом возглавил ЦК ДОСААФ республики, стал генералом.

Часто, приезжая в родной Ой-Булак, он подолгу смотрит в прозрачную воду родника, как в детстве постигая закон вечности. Закон, по которому, пока струятся родники, полнятся и великие реки. Закон, по которому из подвигов рядовых партии слагается ее неодолимая сила.

Василь
ХОМЧЕНКО

ШТУРМ ПО ВЕРТИКАЛИ

Зимой сорок пятого наша 36-я гвардейская Верхнеднепровская стрелковая дивизия вела бои за Будапешт. Сражались за каждую улицу, каждый дом, а в доме, случалось, за этаж и комнату. Больше месяца город сотрясался от взрывов, пулеметной и автоматной трескотни, дымился, горел, разбитые дома, как убитые солдаты, лежали на улицах.

Участвовала в уличных схватках и рота, где я был взводным командиром. Моему взводу было приказано взять один дом.

Дом этот походил на корабль. Так мне, двадцатидвухлетнему, тогда казалось. Острым носом он врезался в площадь, куда сбегались пять узких улиц; корма пряталась в скверике с редкими старыми платанами и акациями, а над крышей возвышалось нечто вроде корабельной трубы — красная кирпичная башня.

Дом задерживал наше наступление. «Корабль», превращенный в дот, стоял на пути полка. Немцы, засевшие в нем, держали под обстрелом площадь, сквер и все пять выходов с улиц.

Та зима в Венгрии была теплая, со слабыми морозами по ночам, туманами и частыми оттепелями днем. И почти ежедневно порошил снег, мягкий, липучий, как мокрая вата.

Я собрал свой взвод, шестнадцать человек, и мы стали раздумывать, как выполнить приказ. До этого мы штурмовали дома сверху: захватывали крышу, чердак, а оттуда уже атаковали нижние этажи. Так делали, когда дома стояли впритык. Тут же высился он один, как каменный остров,— с чердака не начнешь. Во взводе моем в числе шестнадцати — четверо молодых солдат, новобранцев, бывалых двое — сержант Котов и ефрейтор Геращенко Андрей Макарович, парторг роты, коммунист с двадцатилетним стажем. Мой земляк, белорус. Остальных бойцов не назовешь ни бывалыми, ни новичками. Сидели, думали, каждый свое предлагал, подсказывал. Только Геращенко молчал, сопел в торчащие, как две щеточки, усы, отмахивал от себя дым самокрутки.

— Ну, а вы что скажете? — спросил я.

— Танк бы сюда,— сказал Геращенко.

— На каждый дом танков не хватит,— повторил я слова комбата.— Для них есть дела поважнее.

А вокруг гремело, трещало, ухало, в небе ревели самолеты —

шел воздушный бой. В дальнем конце одной из пяти выходящих на площадь улиц горела наша самоходка, красным парусом трепетало над ней пламя, валил густой черный дым.

— Фаустпатроном подожгли, гады! — зло сказал Котов.

Он и предложил ворваться в дом со стороны скверика. Его предложение я принял.

Под утро, когда город притих и сон валил всех живых с ног, мы в белых маскхалатах через скверик по-пластунски подползли к тыльной стене дома. Небо одарило нас погодой со снегом. Он сыпал всю ночь, облепил нас, словно одел в белые шубы, притрусил следы позади, пригасил неосторожные звуки. Возле стены мы, как снежные холмики, замерли. Прислушивались какое-то время, присматривались, а потом я первый вскочил в окно. Поначалу все шло тихо, а уже в доме, в темноте, мы наделали такого шума, что немцы с первого этажа, бросив пулемет, убежали к своим, повыше. Котов с отделением ворвался за ними следом на второй этаж и захватил там целые три квартиры и одну лестничную клетку.

Теперь дом получился «слоеный», как пирог: над нами немцы, в подвале венгры, жители дома. О них доложил ефрейтор — он успел проверить подвал: «Женщины да дети в большинстве». Когда мы выбивали немцев из дома, люди выходили на улицу, шатаясь от голода.

— Шестьдесят шесть человек. Две недели сидят,— сказал Геращенко.— Свое все давно съели.

Я пожал плечами: как им помочь, где взять продуктов? Еще неизвестно, сколько сами будем в этой западне.

— Что-нибудь отнеси им,— сказал я ефрейтору.— Детям хотя бы.

Минуло двое суток. Немцы нас не выпускали из дома, а мы — их. А выходить надо было: за боеприпасами, продуктами. Мы не ели горячего, мечтали о каше и борще. Ели сухари и тушенку. Но нам можно было терпеть, о немцах не беспокоились, а каково приходилось венграм в подвале, особенно ребятишкам? Правда, солдаты им тогда кое-что отнесли — куски сахару, сухари, три банки тушенки. Капля в море...

На третьи сутки мы с Геращенко спустились в подвал. Он был длинный, как тоннель, с низким потолком, холодный и сырой. Свет процеживался сквозь узкие окошки с железными решетками. Люди сбились в одном конце подвала. Я спросил, понимает ли кто по-русски. Вышел, опираясь на палку, старик.

— Товарищ, помогите детям,— сказал он.

Венгры перестали бояться и доверчиво окружили нас. Что-то говорили. На матрасе у стены стонала девушка. Хныкали дети. Мальчик лет пяти, в оранжевой шапочке, просил у меня: «Хлеп, дай хлеп». Я сказал старику, что у нас у самих ничего нет.

— Умрут дети...

— Вам надо выйти из дома к нашим. Там накормят. Наши накормят. Обязательно.

Старик перевел мои слова. Все молчали, даже дети. А потом заговорили, замахали руками:

— Нет, нет...

— Не пойдут,— вздохнул старик,— боятся: немцы станут стрелять.

Венгры опасались не зря. Недавно на моих глазах фашисты перестреляли группу женщин, пытавшихся перебежать улицу.

— Тогда еще пару дней продержитесь,— сказал я.

— Но дети...

Ефрейтор Геращенко шагнул к мальчику в оранжевой шапочке, чтобы погладить его по голове. Мальчик схватил его за руку, разжал пальцы. Наверно, подумал, что в руке есть хлеб. Видеть это было нестерпимо.

— Попробуйте сначала выйти маленькой группой. А мы покричим немцам, чтоб не стреляли,— предложил я нашему переводчику.

Старик на это согласился и сказал, что попробует один. Я поднялся на второй этаж, и мы начали кричать у окна немцам, чтобы не открывали огня, будут выходить жители дома. Кричали по-немецки и по-русски. Немцы не отвечали.

— Неужели по своим будут стрелять? Это же их союзники,— говорили солдаты.

— Были союзники, теперь нет.

Вскоре старик вышел из дома. Один, с белым флагом. Худой, дряхлый, седой, как иней, с красным шарфом на шее, он шел осторожно, припадая на клюку, будто каждый шаг причинял ему боль. Не оглядываясь, не останавливаясь, он отошел от дверей подъезда и направился по площади туда, где были наши. Немцы, конечно, видели старика, но не стреляли. Я вздохнул с облегчением: пропускают. И вдруг сверху, с четвертого этажа, резанули сразу два автомата. Старик приостановился, вскинул вверх белый флаг, затем дернулся, присел, грудью упершись в палку, и рухнул на заснеженную и запорошенную взрывами мостовую. Навзничь упал. И больше не шевельнулся.

— Как стемнеет, пойду в батальон,— угрюмо, но решительно сказал Геращенко.— Проскочу. Надо, сами понимаете, командир!

— Проско́чите,— сказал я. Это означало, что дал разрешение.

В комнате, где мы сидели, все было, как оставили хозяева. Одежда висела в незапертых шифоньерах, стояли книги на стеллажах. Постель застелена, на столиках и полках расставлены флакончики, баночки, вазы с искусственными цветами. Все аккуратно, со вкусом. Только в одном углу, детском, был беспорядок: игрушки свалены в кучу, цветные книжки изорваны, потрепаны. Геращенко взял из

этой кучи резинового мальчика-голыша с подрисованными красными усами, покрутил его в руке, похмыкал, пальцем попытался стереть усы.

— Проскочу,— сказал Геращенко.

— Можете взять с собой еще кого-нибудь.

— Нет, люди здесь нужнее, лейтенант. Оттуда возьму.

— Патронов, гранат побольше. И термос каши.

При воспоминании о каше у меня даже голова закружилась — так явственно почуял ее горячий дух.

— Их тоже имейте в виду,— показал я вниз, на подвал.

— Имею.— Он все вертел в руках резинового мальчика. В уголках губ вздрагивала улыбка.— Надо же, усы подрисовал, озорник.

Вечером, как обычно, в городе наступило затишье. Тишину разрывали только редкие выстрелы.

Ночь была светлой. На звездном небе всплыла луна, полная, чистая, нестерпимо яркая, как прожектор. Стоял небольшой морозец. Редкий снежок, который прошел вечером, еще больше выбелил мостовую, крыши домов. На площади и улице не было ни следа. А убитый старик, заносимый снегом, показался бы просто белым бугорком, если б мы не знали...

Геращенко стоял у окна, готовый к броску. Автомат — на груди, нож на поясе. Он был молчалив, подтянут. Ржаные усы-щеточки топорщились еще упрямее.

— Кажется, вон облачко появилось,— показал я на мутное пятно в небе.— Может, до луны доползет?

— Не дождемся,— сказал Геращенко.— Да ладно, не впервой под пулями бегать.

Он неслышно, по-рысьи, соскочил на тротуар и, пригнувшись, без топота, как по вате, побежал через площадь. Сорокачетырехлетний, грузноватый, он бежал удивительно легко и быстро. Его все же заметили, открыли огонь. Геращенко стал вилять из стороны в сторону и успел добежать до противоположного дома. Приостановился под окном и снова побежал, прижимаясь к стенам. Дальше он нам не был виден. В него стреляли уже где-то там, на другой улице.

В ту ночь я не уснул ни на минуту. А луна торчала в небе. Хоть ты стреляй в нее, разбей на осколки. И звезды ей подмигивали.

Под утро стало еще тише. Это время и выбрал Геращенко для возвращения. Шел он вдвоем с солдатом, оба несли за спиной по термосу и вещевому мешку. Одна сторона улицы была теперь в тени, они ее и держались. В нишах, подъездах останавливались. Так незамеченными дошли до соседнего с нами дома. Постояли, прижавшись к стене под балконом. Оставалось перебежать улицу и небольшой угол площади. Хороший бегун пролетит это расстояние за

десяток секунд, конечно, налегке, без таких вот термосов и мешков.

Собравшись у окон, мы следили за Геращенко и его спутником, готовые поддержать их огнем. Вот Геращенко что-то сказал своему товарищу, махнул рукой, и оба побежали.

Автоматная очередь взорвала тишину, едва бегуны ступили на площадь. Строчил немец из нашего дома. Пули, ударяясь о камни мостовой, выбивали искры.

А они бежали. Подпрыгивали термосы, на полусогнутых локтях болтались вещевые мешки. Солдат, который бежал впереди, уже поравнялся с убитым стариком. Отпрянул в сторону, метнулся влево, вправо и успел вскочить в подъезд.

А Геращенко не добежал. Упал у самой витрины. Оставшиеся пять шагов я протащил его уже волоком.

Он был ранен в живот. Когда его перевязывали, сказал:

— Термос пробит. Заткните... Каша вытекает. Это детям.

Был он бледен той зеленой бледностью, которую я видел не раз: это когда пуля пробивает живот навылет. Смертельная бледность. Геращенко попросил всех уйти. Солдаты послушались, остались я и санинструктор. Ефрейтор тяжело дышал.

— Ну, чего морщишься? — сказал он.— Впервой, что ли, смерть видишь? Иди... корми солдат и мадьяр...

Ухватившись за край одеяла желтыми пальцами, он натянул его на лицо. Я вышел из комнаты.

В обоих термосах была каша. В том, что принес Геращенко,— манная, со сгущенным молоком. Ясно: повар специально сварил ее детям. По просьбе ефрейтора. В термосе — четыре пробоины, кто-то заткнул их красными тряпочками. Пробоины были, как раны.

Когда я спустился в подвал, мадьяры сидели полукругом. Женщина обходила этот полукруг и большой ложкой-половником делила кашу. Никто не ел. Дети тянули руки к каше, но им не давали, ждали, пока всю не разделят. Вторая женщина резала хлеб на маленькие ломтики. Увидев меня, протянула кусочек хлеба.

— Кровь,— сказала она.— Кровь вашего солдата. Это мы не забудем.

В тот же день мы овладели домом. Всеми пятью этажами. Бой был отчаянным до безрассудства — таких я больше не припомню.

...Не знаю, стоит ли тот дом-корабль сейчас, существует ли та площадь, не знаю, где живут те люди, которых мы кормили в подвале. И помнят ли они нас.

Если мне удастся попасть в Будапешт, я обязательно отыщу тот дом, побываю в нем. Помяну ротного парторга, белорусского дядькá Геращенко и пятерых солдат, которые беззаветно шли на последний свой штурм по вертикали.

Василий
СУББОТИН

РУССКИЙ СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ БЕРЕСТ

Берест! Само слово это означает вяз. Я узнал об этом уже после войны. Когда я пожимал его руку, моя рука терялась в его удивительно большой, всегда очень горячей ладони. Он был крупный. Очень большой и очень добрый, как все люди высокого роста и большой физической силы.

Алексей Берест! Одна из самых колоритных фигур, связанных со взятием рейхстага.

Немногие знают, что вместе с Кантарией и Егоровым, водружавшими на рейхстаге Знамя Победы, был лейтенант Алексей Прокофьевич Берест. Я писал об этом в свое время в «Правде».

Мы беседовали с ним в рейхстаге. Я нахожу сейчас в своем блокноте эту запись среди других, наспех сделанных:

«Ему только двадцать лет. Орден Красной Звезды. Гимнастерка, брюки — все на нем пробито осколками. Мы сидим под продырявленным куполом... Рассказывает, как брали дом Гиммлера, последний рубеж перед рейхстагом.

— Уже стемнело, когда мы сделали бросок вперед... Ворвались в рейхстаг. Лазил на крышу вместе с ребятами, ставившими знамя. Потом сунулись в подвалы, но оттуда полетели гранаты и началась стрельба. Тогда мы закрепились до самого утра, поставив бойцов с автоматами и гранатами на входах. Утром спустились в подвалы к немцам. Неустроев пошел, взяв лейтенанта Герасимова и Прыгунова. Про переговоры вы уже знаете... Начался пожар, и вечером меня ранило».

Тут нет ничего нового, я об этом уже писал в книжке «Как кончаются войны»:

«Из глубины подвала вдруг выкинули белый флаг.

На лестнице, на нижней площадке, появился офицер. Шинель распахнута, в руке — парабеллум. Он заявил, что немецкое командование готово начать переговоры. Но с офицером в высоком ранге.

На лестницу к немцам отправился Берест...

Берест — замполит батальона. Лейтенант. Да и в этом звании он лишь несколько дней: приказ пришел, когда мы вступили в Берлин. Только вчера Берест был младшим. Но уже несколько месяцев

работал заместителем у Неустроева... Вот только не знаю, как они «срабатывались», очень уж это были разные, крепкие и твердые характеры.

Алексею Бересту было двадцать... Всего двадцать лет. Совсем недавно он ходил в комсомольцах...

Сам собой пал на него выбор. Скорее всего, это Берест и сказал, что пойдет он.

Солдат полил ему из фляги, и он смыл копоть с лица. Всегда он выглядел подчеркнуто аккуратным. Даже после этих двух ночей белела у него полоска подворотничка. Вчера, на площади, он лежал в одной воронке с бойцами... Теперь, вот уж сутки, он был здесь, вместе со всеми.

Поверх гимнастерки Берест надел чужую чью-то кожаную длинную куртку. Капитан Матвеев, политотделец, отдал свою фуражку — новую, с малиновым околышем.

Неустроев тоже пошел. Но не стал ничего надевать, а даже телогрейку с себя сбросил, чтоб ордена были видны. У Береста наград было не густо, а у Неустроева — много... Так солиднее!..

Третьим они взяли с собой солдата из недавно освобожденных на Одере военнопленных. Он знал по-немецки.

Внизу их уже ждали. Здесь было светло. Горели факелы. Сразу их окружили немецкие солдаты. Парабеллумы в руках. На касках маскировочные сетки.

К Бересту и его спутникам подходил немец. Берест вгляделся: оберст! Полковник. С ним были двое моряков. Курсанты. И переводчица — женщина в желтой куртке.

Солдаты-немцы расступились, дав им дорогу.

Полковник протянул было руку. Но Берест поднес свою к фуражке и сказал:

— Полковник Берест.

И так, в черной своей кожанке, приподняв голову, он стоял, высокий, молодой... Заместитель командира — комиссар! Видный. Широкоплечий. Уверенный в себе. Кто-то из немцев сказал:

— Молодой, а уже полковник!

На Неустроева они почти не смотрели. Он стоял незаметно. Только ордена блестели. И немцы поглядывали на его грудь. (Рядом с Берестом низкорослый Неустроев выглядел маленьким.) Когда Берест к нему обращался, комбат старательно щелкал каблуками...

— Я предлагаю вам сдаться! — сказал Берест немцам.— Вы находитесь в подвалах. Положение ваше безвыходное.

Но те ответили:

— Еще неизвестно, кто у кого в плену... Вас здесь триста человек... Нас — в десять раз больше.

— Сложите оружие,— сказал Берест.— Мы вас отсюда не выпустим...— И взглянул на часы, показав, что он на этом желает закончить разговор.

Представитель немцев опять стал доказывать Бересту, что это он, Берест, у них, у немцев, в «клещах»... И неожиданно потребовал, чтобы им дали возможность уйти в район Бранденбургских ворот...

Берест с трудом себя сдерживал. Он был молод — ему было только двадцать. И он забыл, что он дипломат!

— Зачем мы пришли в Берлин,— спросил он,— чтобы вас, гадов, выпустить?.. Если вы не сдадитесь, мы вас переколотим!..

Немецкий оберст запротестовал:

— Господин полковник! Так не полагается разговаривать с парламентерами!

Берест его не слушал...

Моряки молчали, желтая переводчица нервничала.

Полковник-немец заговорил вдруг по-русски, и даже сносно:

— Нам известно наше положение, и мы хотим сдаться... Но ваши солдаты возбуждены... Вы должны их вывести и... выстроить. Иначе мы не выйдем!

— Нет! — ответил Берест ему.— Не для того я пришел в Берлин из Москвы, чтобы выстраивать перед вами своих солдат... Даже если вас две тысячи, а нас двести человек...

Задерживаться дольше не имело смысла. Берест козырнул. Неустроев — тоже.

Солдат-переводчик и Неустроев, следом за Берестом поднимаясь по лестнице, слышали, как «полковник» Берест бормотал про себя: «Гадюка! Гадюка!»

Немцы, оставшиеся в подземельях рейхстага, сдались той же ночью. К утру».

Рассказ называется «Полковник» Берест», потому что Берест, как сказано, ходил на эти переговоры, обряженный в чужую куртку, в такую же чужую офицерскую фуражку. Он был лейтенант, и у него были только ватник и пилотка.

...Прошло много лет, и я увидел Береста снова, на этот раз в Ростове.

Он вошел в мой узенький, прогретый и пропыленный номер гостиницы. На нем была трикотажная рубашка с раскрытым воротом и парусиновые ботинки. Когда я ему позвонил, он только что закончил смену.

Мы проговорили с ним весь первый день, но дня нам не хватило. Назавтра, после работы, Берест приехал за мной, и мы отправились к нему. Я познакомился с его детьми и с его женой — доброй женщиной, медицинской сестрой.

Когда через день я уезжал, Алексей зашел ко мне попрощаться, и мы снова засиделись допоздна, а потом еще стояли долго на улице, и, когда пришли на остановку, трамвай уже не шел. Тогда мы разыскали остановку такси, но тут была очередь.

Стоявшие впереди нас парни — их было человек пять или шесть — заспорили. Назревал скандал.

— А ну-ка, вы, тише,— сказал Берест.

И хотя он сказал это негромко и очень спокойно, никто не возразил ему ни слова, и стало тихо. Только двое, те, что стояли к нам спинами, искоса и как-то осторожно оглянулись.

Подошла машина. Моя рука опять потонула в его руке. Берест торопился в свой поселок. Ему надо было рано с утра заступать на смену.

А потом он приезжал ко мне в Москву. Не все у него ладилось, и жизнь складывалась негладко. Но Берест оставался самим собой. Тем, каким я его знал на фронте. Поделился с товарищем по цеху жильем, и в его маленькой тесной квартире теперь жила еще одна семья. Это был все тот же Берест...

...Берест — это вяз, род вяза. Белый берест. Наш Берест и был таким, такой же белый, светлый... Огромный человек с могучими руками молотобойца, высокий гигант.

Один из его однополчан говорил мне о нем еще до взятия рейхстага, что Берест всегда впереди, всегда идет на самое опасное и что он себя не щадит. Он и остался, каким он был...

И вот письмо. Вернее, телеграмма, а потом письмо: Берест погиб.

«Алексей Прокофьевич шел домой вблизи железной дороги, около завода «Ростсельмаш», и увидел на путях девочку, лет пяти-шести, на которую шел поезд. Алексей Прокофьевич бросился к ребенку, его вытащил, а сам погиб. Он прожил после этого еще два часа и умер по дороге в больницу».

Это написали мне дети, учащиеся школы № 54 города Ростова-на-Дону. Восьмой «А» класс. «Людмила Федоровна и вся ее семья до сих пор не могут опомниться от горя. Мы стараемся ее не забывать, помогать, чем можем».

Это случилось 3 ноября, перед самыми Октябрьскими праздниками.

Он как жил, так и умер — героем.

Все совпало. И жизнь и смерть его. И его подвиг — тот, в день взятия рейхстага, и в этот день — 3 ноября 1970 года, через двадцать с лишком лет, когда он погиб, спасая жизнь ребенка.

Слава тебе, Алеша Берест, вечная тебе память, русский солдат!

Герои и в дни мира остаются героями.

13 Заказ 4650

Федор
ШЕРШНЕВ

НЕСЕМ СВОБОДУ И МИР

САМОХОДЫ

— Эй, самоходы, где тут у вас лейтенант Климов воюет?

На громкий веселый окрик открылся люк боевого отделения ИСУ-122. Из него вылез и повернулся к владельцу веселого голоса не очень уж молодой, хоть и не старый, учительского вида старший офицер. Смешливый лейтенант-пехотинец взял под козырек:

— Виноват, товарищ майор. Я тут синеглазого одного ищу, который мою роту на Сандомирском плацдарме фашистским «пантерам» подавить не позволил, четыре «пантеры» сжег...

— Очень нужен тебе гвардии лейтенант Климов?

— Очень, товарищ гвардии майор!

— Поговорить?

— Само собой. И этот трофейный бальзам передать.— Из широких складок брюк, сшитых из германской пятнистой плащ-палатки, извлек флягу, булькнул...— А живой он, здоровый?

— Давай, передам! — свесился майор.— Живой-то живой, а здоровый — этого нет. Ранило. Под Лаубаном. 8 марта. А подарок передам... врачу, для поднятия тонуса у раненого, вместе с лекарством...

Майор Спрыгин прибыл в полк за год до победы под Корсунь-Шевченковским, когда часть была вооружена «тридцатьчетверками» и КВ и звалась «Сорок девятый тэпепе». Наверняка, замполиту, воевавшему с начала Великой Отечественной и все в бронетанковых (это потом узнали), незачем было объяснять, что ТПП — тяжелый танковый полк прорыва. Больше того, сказали майору: «Тяжелый — это потому, что жизнь нелегкая, в самые трудные места суют». На что он ответил: «Посылают, а не суют,— потому что надеются, это честь большая, когда полк на ответственные задания командование направляет, значит, высокий моральный дух, боевой настрой. Так или не так?»

Это была первая, краткая, но внятная, доходчивая политбеседа нового замполита полка Спрыгина. А в Польше, после Сандомира, полк стал зваться длинно и внушительно: 383-й гвардейский Киевско-Житомирский тяжелый самоходно-артиллерийский полк прорыва.

Стало быть, и «тяжелый» и «прорыв», шутил Владимир Геор-

гиевич, остались, только теперь «тяжелый» скорее относилось к вооружению, нежели к «судьбе». Полк сформировали из могучих многотонных самоходных установок, вооруженных 122-миллиметровыми орудиями — ИСУ-122. Пехота уважительно звала их «зверобоями», сами самоходчики — доверительно-любовно «исушками». От их страшных пушечных ударов раскалывались наподобие перезревших гороховых стручков сверхтяжелые машины, выпущенные германским Руром,— «тигры», «фердинанды», «пантеры», не говоря уже о железном зверье помельче.

ЛЕЙТЕНАНТ КЛИМОВ

Раньше, чем зайти в палату к тяжело раненному и перенесшему трудную операцию лейтенанту, замполит Спрыгин и начштаба Фомин прошли к врачу. Тот сказал сначала профессионально:

— Помимо слепого осколочного ранения контузионный синдром. Делал трепанацию черепа под местной анестезией. Правый глаз удален. Жить будет ваш геройский лейтенант, но...

Майоры слушали чутко, как о родном человеке. Военврач тогда все понял: не к каждому майоры приедут вот так, и доверительней говорить стал, мягче. Поправляется Климов быстро. Тайком от персонала учится будто заново ходить, хотя мутит, как кисейную барышню, и потом пьет воду, которая якобы спасает от обмороков. Почему торопится? Заставляет себя вставать, двигаться? Очень хочет вернуться в родной полк. Не командиром машины (куда он годен без глаза!), а ремонтником, даже каптером в хозроту... Набрел на меня в коридоре, думал шуметь буду, но я сказал:

— Что, больной, не можете лежать? Ладно, через пару дней вместе пошагаем. И зашагали вместе...

И вот чудесный апрельский день в городе Гляйвиц. Дверь палаты широко растворилась, решительно вошел военврач, капитан медслужбы, за ним майоры танкисты Спрыгин и Фомин в наброшенных на плечи госпитальных халатах. Михаил хотел встать, но капитан и майоры дружно не разрешили. Соседи из деликатности вышли, остались они вчетвером, да еще безногий капитан-пехотинец — на кровати в углу лежал лицом к стене.

Замполит достал из полевой сумки белую коробочку и торжественно произнес:

— От имени Президиума Верховного Совета... за бои в районе Зорау... гвардии лейтенант Климов... орденом Отечественной войны второй степени. А за Лаубан... Ну, об этом рано говорить. Будь здоров, Михаил, поправляйся и ни о чем не думай...

— Что, для меня война кончилась, товарищ замполит?

Спрыгин, хоть мягкий, голоса не повысит даже в крайнюю, суровую минуту, отвечает не криводушно, честно:

— Да, Климов, ты свое отвоевал, мы уж без тебя до конца придавим Гитлера и его шайку, чтоб фашистские скорпионы не ожили никогда... А ты, Миша, совсем молодец,— добавил Спрыгин.— Хоть сейчас на самоходку.

— Как там? — загорелся Михаил.— Скоро на Берлин пойдете?

— Скоро, Миша,— ответил замполит.— План города уже получили. Ждем приказа.

— А можно я с вами поеду? — как-то непривычно жалобно попросил Михаил.— Разрешите, товарищ комиссар, в последний раз погляжу на всех. Вы же сами говорите: хоть в самоходку...

Добросердечный Фомин молча, одними глазами показал на замполита. Тот оглянулся, будто понял: «Поговорю с главным врачом». И они вышли с капитаном. Тогда Михаил прямо из постели сунулся к шкафу и, хотя шумело в висках и мутило, вытащил обмундирование, торопливо надел на себя и сверху накинул халат.

Вернулся замполит, заметно повеселевший:

— Бумагу не дал, но разрешил туда и обратно! Я сказал: «Эх, в начале войны на такое я б не решился». А сегодня, как наши самоходчики говорят: «Влезь на боевое отделение — а с него Берлин видно!» Сейчас привезем тебя в полк, пусть люди знают: героям, которые создали славу 3-й гвардейской танковой армии, в родную часть путь не заказан, даже раненным-перераненным. И у тебя быстрее заживет, когда увидишь товарищей, самоходку свою. Едем!

Вот он, тихий интеллигентный довоенный учитель, а четыре военных года — комиссар и замполит части. «Эт-то надо же! — засмеялся Фомин.— Я сам бы не додумался. Ну, комиссар, твое лекарство самое верное, что там бальзам трофейный того пехотного лейтенанта...»

Вышли к проходной. Знакомый «виллис», по-фронтовому обшарпанный, заляпанный грязью, ждал внизу. На машине знакомая опознавательная эмблема: три кольца и внутри тройка, а рядом полковой номер — 383. У Михаила защемило сердце.

— Давай в машину! — сказал замполит Михаилу.— Пока главврач не передумал, вон в окно через свои окуляры смотрит...

«Виллис» с места рванулся прочь от госпиталя.

Весна была в разгаре. В голубом воздухе одуряюще пахла, свешиваясь из придорожных садов, здешняя фиолетовая сирень. Климов, перевязанный от макушки до носа, сидел бледный, счастливый. Фомин обнял за плечи:

— Ну, Миша, до победы один шаг остался!

В небе, надежно прикрыв наступающие войска, непрерывно барражировали наши истребители. Их было много. «Мессеры» и «юнкерсы» почти не показывались.

А по шоссе шла, все на Берлин, к фашистской столице, победоносная Красная Армия. В несколько рядов двигались танки, само-

ходки, бронетранспортеры и машины с пехотой; тягачи и грузовики везли пушки разных калибров, вплоть до длинноствольных, никогда не виданных громадин. То был грозный и впечатляющий марш армии-освободительницы. На одной «тридцатьчетверке» увидел Михаил задорную надпись белой краской по борту: «У меня заправка до самого Берлина!» Ну, додумались ребята! До фашистского логова меньше сотни километров...

ЖАРКОЕ ЛЕТО НА ВИСЛЕ

Запомнилось Спрыгину формирование: полк перебирался с Т-34 на ИСУ-122, спешно все переучивались на самоходчиков. Было это, когда в Польшу пришли, после горячего сандомирского лета. Вислу форсировали, но потом противник так принялся контратаковать, что небо с овчинку казалось. Вот в ту пору на плацдарме Михаил Климов и сжег четыре «пантеры», помог пехоте удержаться на плацдарме. За это из полка посылали на Героя — получил орден Ленина: руководство решило — молодой еще, обкатается, слава от лейтенанта Климова не уйдет...

В один из дней формирования собрал замполит в полку митинг. Получил лейтенант Иван Фоменко от сестры из дому письмо. Оно пришло еще перед Львовской операцией и непростым путем — через партизан. Замполит Спрыгин сообщил о нем в политдонесении, а когда письмо попало в руки члена Военного совета армии, тот передал его в политуправление фронта. Там его издали в виде листовки. И вот митинг, каре танкистов. И письмо читает коренной волжанин майор Спрыгин, до этого не знакомый с мягкой, звонкой украинской речью, читает по-нижегородски «окая» — и, как ни странно, именно это придает словам особую силу и значимость.

«Дорогие друзи, товарищи танкисты, и ты, братку Иване, якщо ты живый,— гремел твердый голос замполита в лесной трепетной тишине над шеренгами парней в черных комбинезонах и шлемах, выстроившихся в живой огромный квадрат возле боевых машин.— Пише тоби сестра Марийка. Иване, не торопись до дому, бо вже нема нашего дома, як и всего села. Нема нашей ридной матери, нема нашой любой сестрички Галины и брата Андрюшки. Як узналы, что ты танкист и в партии пребываешь, немецко-фашистськи звири их замучили: повыкололи очи и видризалы вухи и кинули усих в колодезь. Хату запалили, а надо мною теж надругались. Хустку (платок), яку ты подарив мне на день народження, забралы. Прийдыть же и ты, братку Иване, в их зверине лигво и видомсти фашистським гадам за их злочин. Твоя сестра Марийка».

Замполит кончил читать и отступил назад, дрожащими руками свернул листовку и неловко стал прятать ее в нагрудный карман. Над поляной повисла жуткая тишина.

— Слово брату Марии,— сказал парторг полка капитан Лобудько.

Молоденький, смуглый, с красными пятнами на щеках младший лейтенант начал говорить о мести фашистским убийцам и насильникам, и вдруг у него перехватило дыхание, сдавило горло, а выступившие на глазах парня слезы обожгли сердца всех, кто увидел их. На место Фоменко стал высокий худой кавказец и проговорил, что он, механик-водитель танка товарища Фоменко сержант Ибрагимов, дает священную комсомольскую клятву отомстить гитлеровским коричневым шакалам за семью своего командира.

— Хочет обратиться к боевым товарищам капитан Малеев,— объявил парторг.

Маленький серьезный офицер от имени первой роты просил командование послать его в разведку. В подразделении, в экипаже младшего лейтенанта Фоменко, находится святыня полка — знамя, и танкисты клянутся безжалостно уничтожать коварного врага огнем и гусеницами, а знамя с честью донести до Берлина.

— Слово лейтенанту Климову. Давай, Михаил!

— В своем танке мы возили стальные наручники.— Голос лейтенанта дрожит, вот-вот сорвется.— И будем теперь в самоходке их возить до конца войны. В Германию приедем и покажем немцам: вот какой «новый порядок» нес фашизм. А потом сдадим в музей, пусть хранят как экспонат с надписью: «В Славутском лагере двуногие звери надевали их на военнопленных». Как рабочий-металлист свидетельствую: наручники сами — орудие пытки; чуть шевельнешь рукой — замок впивается в тело. Если меня убьют, эти кандалы должен довезти до фашистского логова другой экипаж. У меня все!

— Прошу повторять за мной слова клятвы,— громко произносит майор Спрыгин.— Клянусь мстить ненавистному врагу...

— Клянусь! — отзываются шеренги танкистов.

Польский лес притих и тоже слушает.

— За муки и раны моего народа клянусь мстить жестоко и беспощадно фашистской нечисти...— грозно выговаривает строй.

Вечером на партийном собрании командир полка подполковник Веремей, замполит Спрыгин и другие говорили о завтрашнем бое, о том, что в полку народ смелый, инициативный, хорошо растет партийная организация, хотя очень тяжелые потери в каждом бою несут коммунисты. Все они смело смотрят смерти в глаза, не жалеют себя ради того, чтобы приблизить победу.

Еще на Висле замполит прочел краткое обращение Военного совета армии: «Дальше будут Одер и Шпрее. Вперед, освободители!»

Авангардное подразделение капитана Малеева было нацелено на польский городок Мелец. Машины ушли лесами и перелесками

на запад. Гитлеровцы, обнаружив авангард, стали подтягивать танки, подвели по железной дороге бронепоезд.

Малеев с автоматчиками на броне, не ожидая подхода полка, атаковал вражеские танки и пехоту на нескошенном ржаном поле. И на его несколько машин навалились тяжелые танки и самоходки. «Тигры» и «фердинанды» стояли в ряд и били по Малееву. Артиллерийская дуэль затягивалась, уже с обеих сторон горели машины, а вся суть действий передового отряда — в быстроте, внезапности. Тогда капитан на своей машине зашел противнику в тыл и один за другим зажег их танки. Вот тут-то и подоспели четыре «тигра» и бронепоезд. У пушки малеевской машины отбило снарядом дульную часть ствола. Младший лейтенант Фоменко был легко ранен. Полк торопился на выручку, но не поспел. По рации Малеев передал:

— «Береза», я — «Береза — один», «орехи» кончились, иду на таран бронепоезда.

Полк шел на предельной скорости, уже слышал пушечную стрельбу, видел дымные столбы над полем боя. И вдруг прозвучал по переговорному устройству громкий, отчетливый голос:

— Я Малеев. Поезд таранили, сбили с рельсов. «Лапти» соскочили. Двигаться не можем, фашисты наседают. Иван «платок» принесет. Прощайте, товарищи! Мы не сдадимся. Прошу считать меня коммунистом.

Когда полк подоспел — пожгли, разметали «тигров». Подошли к железной дороге. Навстречу бежали Иван Фоменко со спасенным знаменем и его механик-водитель Фазиль Ибрагимов. Они сели на броню замполитовской машины и пошли на ней по полю боя, по ясно видимому на стерне гусеничному следу.

После тарана у Малеева слетели обе гусеницы. Капитан приказал командиру машины Фоменко спрятать знамя под комбинезон и с Ибрагимовым уходить, а сам задраил люк и стал прикрывать их отход. Младший лейтенант вытащил знамя и отдал замполиту.

Машина Малеева сгорела, он был убит, когда выбирался из нее. Привезли завернутого в плащ-палатку капитана в освобожденный Мелец. «Виллис», окруженный хмурыми самоходчиками, остановился на площади у костела. Быстро выкопали могилу. Пришли поляки с охапками роз и поверх двух танковых траков и шлема погибшего капитана положили на могилу кроваво-красные цветы.

«Прощай, уралец Леонид Малеев. Мы считаем тебя коммунистом. И никогда не забудем. Мы отомстим за тебя!» На листе из полевой книжки эти слова вывел замполит Спрыгин. Оглянулся: кому бы из поляков отдать? Близко стоял ксендз. Но майор передал листок пожилому человеку, по виду рабочему. «Напишите эти слова на могиле по-русски, сможете?» — «Обязательно, пан офицер!»

Придет от командарма генерала Рыбалко радиограмма: «Капитана Малеева Военный совет представляет посмертно к ордену Красного Знамени. Вечная слава герою!»

Замполит полка майор Спрыгин, парторг капитан Лобудько, комсорг старшина Лукин, парторги и комсорги артиллерийских батарей не уставали повторять самоходчикам, что за рубежом Родины каждый из них становится агитатором. За Советскую власть. За дружбу между народами СССР и Польши. Вот и в Мельце на площади возникла беседа-митинг. Посыпались на смешанном русско-украинско-польском языке вопросы к освободителям. Верно ли, что на Гитлера было покушение? Когда кончится война? Правда ли, что высадились союзники? В самом ли деле вместе с Красной Армией воюют поляки?..

Вдруг от ксендза вопрос:

— Ходят слухи, что поляков сошлют на Урал и в Сибирь, а на их место придут якуты — зачем так делать?

Последний этот вопрос достался лейтенанту Климову, и он загорячился, стал отвечать. У него в экипаже воевал якутский парнишка, комсомолец сержант Васильев. Погиб на Житомирщине во время атаки. Был добрый и смелый человек, но такой провокационный вопрос его бы разъярил. Не меньше, чем поляки свою страну, он любил Якутию, а погиб за освобождение Украины. А капитан Малеев разве вынес бы, что на его родной Урал вдруг ни за что ни про что сослали невинных людей из другой страны?..

Сладко улыбаясь, возразил ксендз:

— А сколько поляков погибло в вашей снежной и морозной Сибири, вы знаете, пан лейтенант?

И лейтенант теряется — на этот вопрос он ответить не может, да, к счастью, на выручку приходит замполит Спрыгин:

— Как же вы забыли, господин священник, что вместе с поляками боролись с царизмом за свободу, шли на каторгу и на виселицы русские революционеры...

Самоходчики покидали Мелец под приветственные крики, в открытые люки женщины бросали цветы. Полк шел навстречу новым боям. До Берлина таких крупных водных преград, как Висла, кроме Одера, уже не было. Тогда до Берлина оставалось пятьсот километров.

Для вручения наград приезжали в полк командарм и член Военного совета 3-й танковой.

Когда вызвали из строя лейтенанта Климова, командующий армией генерал Рыбалко сам вынул из красной коробочки орден Ленина и прикрепил его к гимнастерке офицера. Внимательно посмотрел на лейтенанта: худые плечи, узкая грудь, тонкая шея.

— Это ты, Климов, русский богатырь, как писали о тебе политработники в армейской листовке?

Лейтенант молчал.

— Чего молчишь? — спросил член Военного совета генерал Мельников.— Может, не ты четыре «пантеры» подбил, а кто-то другой?

— Подбил я, товарищ генерал.

— Заговорил наконец,— сказал Рыбалко.— Значит, воюешь неплохо, хоть с виду и не богатырь.

— Партийный документ он получил? — спросил Мельников.

— Еще в боевых условиях, на плацдарме,— отвечал майор Спрыгин.— Политотдел корпуса выдачу партдокументов не задерживает.

Командарм потрепал лейтенанта по плечу и, когда тот спросил: «Разрешите идти?» — легонько подтолкнул:

— Иди, сынок. Желаю новых боевых успехов!

— Благодарю, товарищ генерал,— не по-уставному ответил Климов.

Генералы посмотрели вслед лейтенанту. Так глядят вслед сыну, которому можно поручить самое трудное дело...

— Капитан Малеев,— позвали из-за стола.

— Пал смертью храбрых в боях за нашу Советскую Родину.— И хотя прозвучали суровые ответные слова, многим казалось: выйдет из строя маленький лобастый серьезный капитан Малеев за орденом. Но чудес не бывает даже на войне. Со стола убрали коробочки с наградами и листочки временных удостоверений — их отошлют семьям погибших.

Раздалась команда «Вольно, разойдись!», и парни в черных комбинезонах с танкошлемами в руках окружили генералов. Как всегда, посыпались вопросы:

— Скоро пойдем в наступление?

— Будет армия участвовать в штурме Берлина?

— Почему союзники в Арденнах отступают?

— Что это за новое оружие, которым грозит Геббельс?

— Почему тут дома под железом, у нас много под соломой?

Рыбалко, служивший до войны военным атташе в Польше, затруднился ответить, с молчаливой просьбой поглядел на своего комиссара.

Семен Иванович был агрономом, стал партийным работником, а перед войной взят в армию на политработу, воевал на Халхин-Голе. Большой жизненный и партийный опыт развили в нем природное умение говорить с людьми, делать ясными, доступными каждому сложные социальные проблемы.

Мельников и тут нашел что сказать, напомнил самоходчикам об эпизоде с постройкой дома для обездоленной войной украинской семьи.

— Так вот,— хитро сказал Семен Иванович,— мы ту хату

соломой покрыли. А здесь — железо. Так? Так! Теперь давайте арифметикой займемся — посчитаем. Панскую Польшу Гитлер за три недели разгромил, а мы страну эту освобождаем, фашиста гоним, со дня на день ждем приказа идти на Берлин...

Солдаты, офицеры, генерал Рыбалко — все слушали комиссара с великим интересом.

— Или вот еще цифры,— продолжал член Военсовета.— На одну крышу идет двести пятьдесят килограммов листового железа. Значит, тонны хватит покрыть четыре дома. А сколько весит наш танк? Тридцать тонн. Выходит, вместо одной «тридцатьчетверки» мы могли бы иметь железные крыши на сто двадцать домов. У нас в армии восемьсот танков и самоходок. А сколько пушек, минометов, грузовиков, автоматов? Сочтите по всем шести танковым армиям — это сотни тысяч крыш, ставших грозным для врага оружием. Вот вам наша советская арифметика. А теперь,— с улыбкой, под смех и аплодисменты закончил он,— вижу, по российской привычке руки некоторых потянулись затылки чесать. Значит, я этих товарищей убедил!..

К ОДЕРУ, К ОДЕРУ!

И вот мчится на запад машина замполита. Привезли Михаила Климова в полк. А вскоре был получен боевой приказ. Раздалась громовая команда:

— К машинам!

Побрел гвардии лейтенант Климов вслед за бегущими товарищами к бывшей своей самоходке. На его месте во главе экипажа САУ стоял молоденький русый младший лейтенант, только-только прибывший из училища. Звали комсомольца Иван Сухов. Это сын командира корпуса. Генерал Сухов, как и Рыбалко, не считал возможным идти на сделки с совестью, мешать единственному сыну быть там, где велит ему комсомольский долг.

Младший лейтенант сделал шаг в сторону, уступая покалеченному, перевязанному лейтенанту Климову командирское место на правом фланге. Михаила шатнуло — то ли от слабости, то ли от волнения. Механик-водитель старшина Зубков подставил ему плечо, остальные сделали вид, что ничего не заметили. Михаил слушал боевой приказ: полк шел на северо-запад, к Берлину.

— Выступаем немедленно, по готовности.— Командир полка сделал маленькую паузу и закончил: — Машина номер двадцать четыре, климовская самоходка, пойдет головной.

А замполит добавил: «Написать на броне: «Мстим за рану нашего командира».

...Подписывая через несколько дней после падения Берлина наградные листы, член Военного совета армии генерал Мельников

увидел знакомое по политдонесениям Спрыгина имя: Климов Михаил Ильич, 1924 года рождения, член ВКП(б). В боях потерял глаз. Ранее награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени. Адрес семьи: город Москва, 33, Рабочая улица, дом 29/2, квартира 5. В боях вместе с экипажем своей ИСУ-122 подбил двенадцать фашистских танков (из них один «королевский тигр»), много техники и живой силы противника.

Член Военного совета написал под реляцией: «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза» — и протянул бумагу командующему. Тот подвинул к себе наградной лист:

— Тот самый лейтенант, о котором была листовка: «Гвардеец, русская душа, коммунист Климов сжег 4 «пантеры». Из полка специально звонили: «Такие, как Климов, создали славу нашей армии». Спрыгин делает все, чтобы подвиги героев-коммунистов звали комсомольцев, беспартийных следовать их примеру.

А майор Спрыгин перед самым началом движения со свежим номером «Правды» в руке пришел к климовской самоходке, влез на броню.

— Послушайте, товарищи, прекрасные агитационные стихи поэта Суркова.

И, не очень привычно, принялся читать. Низко проревело звено «ИЛов», пронесшихся в сторону Берлина, замполит чтения не прервал:

К Одеру, к Одеру, к Одеру
Волжская мчится пурга.
Страхом и смертною одурью
Сводит и корчит врага...

И пошла Красная Армия на Берлин. До краев заполнив дорогу, выплеснувшись за обочины, широко шла нескончаемая армейская силища. Оглушительно лязгая, ползли громадные, с деревенский дом, танки и самоходки. Влекомые рычащими тягачами, двигались мощные орудия. Катила на грузовиках, на броне, неторопливо, но споро шагала неутомимая, веселая, грозная российская пехота; над касками, фуражками, шапками торчали, воздетые к серому немецкому небу, стволы противотанковых ружей, тупые рыльца «максимов», самоварные трубы минометов. Проплывали грузовики с поднятыми ввысь рельсами — то были знаменитые «катюши». Шустро обегали колонны верткие командирские «виллисы» и «эмки». Вся эта мощь, эта несокрушимая силища Красной Армии устремилась только в одну сторону — на северо-запад, к Берлину.

Из остановившегося за кюветом грузовика соскочило несколько солдат и офицеров — политотдельцев 3-й гвардейской танковой. Вытащили громадный фанерный плакат — серо-зеленая родимая «тридцатьчетверочка» ломала полосатый столб с надписью:

«Третья империя». На плакате алела зовущая надпись: «До логова фашистского зверя меньше ста километров».

И рванулась, точно разжатая пружина, грозная для врага танковая армия. Резали коммуникации. Врывались в города, где их не ждали. Наводили ужас на тылы врага, не успевавшие убраться на запад. Армия вершила то, ради чего явилась на свет.

Ночью самоходный полк вошел в спящий городок. Тихо. Какой-то штатский с нацистской свастикой на нарукавной повязке высоко поднял ладонь: «Хайль Гитлер!» Он убежден, что в таком грозном порядке могут идти только войска вермахта... Стали на отдых и заправку самоходки. Ночь, тишина. Поели, уснули. Только часовые ходят у машин.

И вдруг стрельба, крики на немецком, на русском. Грозный приказ:

— Задержать! — Это гневный голос обычно тихого, спокойного замполита Спрыгина.— Обыскать! Сюда, к свету его. Где схватили этого фашиста? Скажите, пусть ведет нас туда, где совершил преступление.

Решительные парни в комбинезонах с автоматами наизготовку ведут человека в эсэсовской форме по середине улицы. Вот и убитый им старик немец.

— Варум? — жестко спрашивает замполит. Эсэсовец молчит.— Антвортен! — гремит Спрыгин. Фашист наконец поднимает голову и, запинаясь, отвечает, почему убил соотечественника.

— Старик выбежал навстречу советским самоходкам, кричал, размахивал кепкой. Что-то вроде «ахтунг, минен» кричал,— прерывает бормотание эсэсовца командир самоходной батареи капитан Севастьянов.

И по мере того как разъясняется эпизод, светлеет лицо замполита. Так старик хотел спасти наши машины, а фашист из засады его убил.

— Саперов сюда! — приказывает замполит.

Приходят со своими щупами и миноискателями саперы и очень скоро на обочине дороги, ведущей на северо-запад, появляются откопанные железные тарелки противотанковых мин. Теперь они не страшны, а могло быть такое... Спас старик. Кто он? Рабочий, антифашист, просто человек, которому надоело нацистское хозяйничанье в стране и русские видятся избавителями от Гитлера?..

— Оставим выяснение подробностей советскому коменданту городка,— говорит Спрыгин,— но раньше напомню одно: иные из нас считали, что в Германии нас ждут одни враги... А куда зачислим этого человека, который спас кого-то из наших, пожертвовав собственной жизнью? — Все молчали, а замполит подозвал командира взвода автоматчиков: — Лейтенант Давыдкин, я сейчас составляю политдонесение, отвезете в корпус. Вместе с этим фашистом.

С него глаз не спускать. Лично начальнику политотдела корпуса сдадите пленного и мое письмо вручите. Прошу разрешения похоронить старика с военными почестями. А те, кто думал, что нас тут одни враги подстерегают, пусть поразмыслят над этим случаем. Езжай, лейтенант, двух солдат тебе для охраны эсэсовца хватит. А теперь всем до утра отдыхать. Нам завтра к Одеру прорываться. А за ним и до Берлина рукой подать...

— Как с немцем быть, товарищ комиссар? Ведь спас он многих, выходит...

— Утром похороним. Кто это сказал: живые закрывают глаза мертвым, а мертвые открывают глаза живым. Кажется, кто-то из великих немцев-философов. Никто не помнит? Ничего, после Победы сядем за парты учиться. Верно, самоходчики?..

«ПО БЕРЛИНУ — ОГОНЬ!»

Три зеленых ракеты, лопнув в вышине, опадают вяло, беззвучно. По этому сигналу прикрытые авиацией и артиллерией самоходчики и родные их братья — танкисты развертываются в боевой порядок. Подлетают грузовики, бронетранспортеры — с них ссыпаются верткие, умелые пехотинцы. Ползут громадные самоходки ИСУ-122 полка Веремея, позади — орудия потяжелее, ИСУ-152. Огненным шквалом должны они расчищать дорогу войскам, направляя огонь в просветы между возглавляющими атаку танками.

Серия красных ракет — сигнал к атаке!

Танки ведут за собой стрелковые цепи.

— Ур-ра! — несется оттуда слитный грозный крик.

Пехотинцы, влезая на самоходку, суют в люки любопытные головы.

— Ох, братцы, и тесно у вас! — скажет кто-то.

— Просторно,— засмеется какой-нибудь лейтенант.— В танках было тесновато. Кто, ребята, хочет под броней в атаку?

— Не-ет, мы лучше сверху...— под смех самоходчиков и мотострелков ответит пехотинец.

Так привычней. Для пехоты. А танкисты, самоходчики чувствуют себя беззащитными без брони.

А вот замполит Спрыгин — где ему лучше воевать: на броне, в боевом отделении? Да разве удобно спрашивать такое у комиссара?..

— Товарищ замполит, у меня заряжающий выбыл из строя.— Это высунулся из боевого отделения младший лейтенант Иван Сухов.

— Отправил в госпиталь?

— Так точно.

— За чем загвоздка?

— Так заряжающий-то...

— Я сажусь. Не впервой.

— Ой здорово, товарищ майор, вот спасибо.

— Сухов, младшие старших по званию не благодарят.

— Виноват, товарищ майор.

Конечно, замполиту полка никто не вменяет в обязанность садиться в самоходку заряжающим. Но разве для настоящего боевого политработника есть какие-то запреты! И майор Спрыгин влезает на климовскую самоходку.

— Командуй, младший лейтенант Сухов!

— Слушаюсь, товарищ майор.

Новые разноцветные ракеты. Грозный тяжелый рев штурмовых орудий сотрясает все вокруг. Самоходки прикрывают танки и пехоту.

— Заряжающий — снаряд! — не отрываясь от перископа, командует младший лейтенант Сухов.

— Есть снаряд! — отзывается майор Спрыгин.

Из-за домов бьют немецкие танки и штурмовые орудия. Высунутся, пальнут — и скорей убираются. У тяжелого штурмового орудия «фердинанд» выстрел резкий, оглушительный, у танка «пантера» — поскромнее. Наши «зверобои» побасовитее. И посмелее — бьют наповал. Вылезает «хорошая знакомая» — пятнистая «пантера». Но первой ухает климовская самоходка. «Пантера», тяжело дрогнув от удара, окутывается прозрачным пламенем, а когда загорается краска, дымит и взрывается рыжим вулканом.

— Заряжающий, снаряд!

— Есть снаряд!

— Водитель, стой! Впереди речка — солидолом замажем щели и нарастим выхлопные патрубки. Экипаж, из машины. Товарищ майор, вы можете остаться.

— Отставить, младший лейтенант Сухов, я действую в составе экипажа. Командуйте!

Быстро заделали щели, и, волоча по земле, потом по воде брезентовые гофрированные патрубки, точно доисторический мамонт, вдвигается в речку самоходка. Потом, скатывая с себя целые водопады воды, выбросилась на берег. В люках довольные результатом «купания» лица лейтенантов.

И тут, ослепляя, заставляя похолодеть, от кустов плеснуло красно-белое длинное пламя.

— Фаустники подстерегли, гады... Огонь по кустам!

Содрогнувшись, ахнула климовская самоходка — в упор, с сотни метров; заливисто, скоро заговорил пулемет. Ударили по кустам другие установки. Фаустники не стреляли, нелюдским воплем отзывались на выстрелы лес и речной серый простор.

Стало тихо. В тишине резанули истошные крики из кустов, даже как будто плач. Это было непонятно и оттого требовало выяснения: на войне все должно быть ясным.

— Пошлю Сенотрусова разобраться? — спросил Сухов.

— Давай,— отозвался замполит.

— Володя, дойди до кустов, мотор не выключай,— велел водителю старшине Зубкову Сухов. И первому заряжающему: — Сенотрусов, выясни, что там происходит. Расчет остается в самоходке, в случае чего — прикроем тебя огнем.

— Слушаюсь.

Пригнувшись и держа наготове автомат, как это делают пехотинцы, Сенотрусов прокрался к кустам и остановился, видно пораженный. Покрутил над головою рукой: «Давайте ко мне». Самоходка подъехала вплотную к поляне. За ветвями вечнозеленых деревьев скучились мальчишки в гитлеровской военной форме, в пятнистых маскхалатах. Всем лет по двенадцать — пятнадцать. Один был ранен, но вопили и стонали все, топчась возле, неумело стараясь помочь или растерянно наблюдая за истекающим кровью товарищем. Фаустники, выкрашенные в белую камуфляжную краску, «шмайсеры», гранаты позабыто ненужно валялись на молодой травке.

— Хенде хох! — махнул автоматом сержант Сенотрусов.— Руки вверх! Сдавайтесь!

Мальчишки рук не подняли, но, к удивлению, завопили уже все, запричитали, иные заплакали, размазывая слезы.

Сержант растерянно опустил автомат — разжалобили немецкие пацаны. Старших нет, бросили сопляков на убой. Делать нечего, перевязывать придется этого желторотика, а то он на глазах загнется.

Спрыгин и Сухов вышли из самоходки. Заряжающий, стеснительный, неразговорчивый парень, вытащил из-за пояса финский нож с наборной пластмассовой рукоятью (мальчишки отпрянули, раненый с писком откинулся на спину), ловко взрезал штанину вокруг раны (юнцы разом облегченно вздохнули), ощупал ногу:

— Хреново его дело, товарищ майор, кость задета. Надо бы что-то вроде шины приспособить.

— Давай скорей, вон возьми от их гранат отвинти рукоятки, обложи ими ногу и забинтуй потуже.

Один из мальчишек услужливо протянул невольному медику гофрированный бумажный бинт, употреблявшийся для перевязок в гитлеровской армии; Сенотрусов попробовал обмотать им рану, но порвал и отбросил:

— Не могу ихним эрзац-бинтом, своим индивидуальным пакетом привычнее.

Нарастая, катил могучий гул — мимо пошли к Берлину самоходки. Мальчишки застыли, собираясь бежать, плакать, кричать. Сухов крикнул: «Руиг!» — «Спокойно!» И солдатики стихли. Сержант скомандовал:

— Взять раненого, оружие и форвертс шагом марш. Поворачивайтесь, гитлерюгенды паршивые.

— Не надо их ругать, сержант,— сказал замполит.— Лучше выясним, как они здесь оказались.

Подъехала кухня, самоходчики забренчали котелками. Замполит, лейтенант и сержант, используя ограниченные запасы немецких слов, выяснили. Мальчишек взяли прямо из берлинской школы, чуть ли не с уроков. Дали «шмайсеры», фаустпатроны и объявили: идут русские, надо спасать фюрера и Германию. Сначала школяров сторожили эсэсовцы, потом они незаметно исчезли, а мальчишки раз выстрелили в русскую машину...

Их по приказанию замполита покормили. Дали супу в его котелок и раненому мальчишке. Грязными дрожащими руками взял котелок, ложку складную солдатскую достал, сказал сержанту Сенотрусову «данке» и стал жадно хлебать.

...Мутная капелька дрожала на кончике носа и упала в котелок. Мальчик ничего не заметил — ел русскую еду.

Майор сказал:

— На всю жизнь запомнят, кто их от смерти спас и накормил — эсэсовцы или русские самоходчики...— Не удержался — добавил, глядя на своих парней: — Краса и гордость танковых войск Красной Армии.

Младший лейтенант Сухов стал говорить, что первым военным летом в Москве был ровесником этих горе-вояк из Германии сорок пятого года. Московские мальчишки не размазывали по лицам слез, когда сыпались фугаски и зажигалки. Одного парня, дежурившего с ним, ожгло фосфором — сыпанули на зажигательную бомбу сырым песком, и она пыхнула в ответ огнем. Напарнику опалило руку, но и звука жалобы не услышал от него. Нет злости к немецким пацанам, нет и желания карать их за чужие грехи.

— Так бывает, когда дерутся за правое дело,— сказал замполит.— Сейчас сдадим мальчишек в ближнюю комендатуру и — вперед, на запад. Скоро будет команда самоходчикам: «По Берлину — огонь!»

«РУДА АРМАДА, НА ПОМОЦ!»

Едва закончились бои в Берлине, в которых особую роль сыграла 3-я танковая, командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев отдал приказ воинам генерала Рыбалко: Надо идти на помощь восставшей Праге. Предстоит не просто преодолеть Рудные горы, а в буквальном смысле слова чуть ли не перелететь через них.

И двинулись через горы советские армии, а в авангарде — 3-я гвардейская танковая.

Сбивая вражеские заслоны, преодолевая минированные завалы на узких, скользких от дождей горных дорогах, упрямо шли на Прагу танкисты, самоходчики, артиллеристы, мотострелки, конники.

Рации работали на прием. В сердца бил вырвавшийся из забитого командами, морзянками, весенними разрядами эфира голос:

— Руда Армада — на помоц! Красная Армия — на выручку! Руда Армада! Руда Армада!

Надрывно ревели на крутых горных дорогах танки и самоходки. Закипала вода в радиаторах грузовиков. Горели тормоза на спусках с перевалов. И не затихал тревожный голос, просил, умолял:

— Руда Армада — на помоц, на помоц!

Такой блистательный финал войны мог быть предназначен только армии-освободительнице, в которую людям, ждущим свободы и мира, нельзя не верить.

Всю войну на открытой ветрам, буранам, дождям бортовой броне проехал комиссар, теперь замполит Владимир Спрыгин. В посеченной осколками и пулями одежде, пропахший пылью и бензином, обвеянный ветрами грозной войны, обожженный ее огнем, теперь двигался на грозной самоходке навстречу страстному, доверчивому зову восставшей Праги. Ехал навстречу Победе.

Майор Спрыгин двигался на головной — климовской — самоходке. Перед выступлением в поход он сказал на митинге части:

— Да, верно было написано на броне: «У нас заправка до самого Берлина!» И не только боевая заправка, но и идейная, духовная, нравственная. А теперь мы должны даже перевыполнить собственные планы, как во время пятилеток брали план: «в четыре года». Заправка у нас и до Берлина, и до Праги, до полной победы. Вперед, освободители!

Федор
СЕРЕЖКИН

ШКОЛА ЗУБЕНКО

Сопки Дальнего Востока. Сюда прибыл наш 6-й автобатальон. Помнится, в этот солнечный день, 6 августа 1945 года, в расположение части приехал представитель политуправления 1-го Дальневосточного фронта. На партийном активе он изложил задачу части в связи с предстоящим началом военных действий. Для ее осуществления, сказал он, от автомобилистов потребуются стремительность, четкость, оперативность действий. Вам, военным шоферам, придется подвозить по бездорожью, болотам, зарослям к боевым позициям боеприпасы, продовольствие, снаряжение. Командование уверено: автобатовцы на великолепной новой технике выполнят ответственное задание. Недаром у вашей части особые заслуги на Дороге жизни по спасению голодающих ленинградцев в жестокую зиму 1941/42 года. Вы, военные шоферы, прошли дороги Великой Отечественной войны с первого дня и до победы над гитлеровской Германией и теперь также выполните свой патриотический долг. Успеха вам, герои Ладоги!

Выступали на активе коммунисты. Сержант Дмитрий Токарев, парторг 1-й роты, сказал:

— Нам не страшны бездорожье, непроходимые топи и таежные заросли. Мы прошли огни и воды в прямом смысле слова, бывали под бомбежками, пулеметными обстрелами, изъездили ледяную Ладогу, но ни в воде не утонули, ни в огне не сгорели, ни во льду не замерзли, мы закаленные!

Старшина роты водитель Михаил Москальцев отметил, что японская военщина много причинила нам бед. В страшную для нас пору, когда гитлеровцы рвались к Москве и Ленинграду, Япония всерьез готовилась напасть на Советскую страну, и нам пришлось держать в постоянной готовности немалые вооруженные силы здесь, на границах с Маньчжурией. Огнем и мечом устанавливали всегда японские милитаристы свои порядки. Их звериный лик проявился в жуткой расправе над раненым командиром приморских партизан Сергеем Лазо. Мы должны навсегда погасить очаг империалистической агрессии на Дальнем Востоке.

Последним выступал замполит батальона капитан Зубенко. Петр Григорьевич своим певучим украинским говорком сказал:

— Товарищи военные шоферы! Ваши подвиги в победной войне с фашистской Германией заслужили высокую оценку. Вы все наг-

граждены орденами и медалями. Теперь нам предстоит разгромить милитаристскую Японию, освободить от оккупации и колониализма народы Китая и Кореи. Перед шоферами стоит сложная задача. И от того, как мы выполним ее, будет зависеть успех боевых операций. Я надеюсь, храбрые хлопцы батальона с честью справятся со своими обязанностями. Иначе быть не может!

Решение актива было единодушным: выполним приказ Родины. Это явилось началом партийно-политической работы здесь, на востоке страны. В ротах проводились открытые партийные и комсомольские собрания, на них с докладами выступали командиры и политработники. Напоминали о фанатизме японцев, в частности о камикадзе (смертниках). Разъяснялась обстановка и тактика боевых действий неприятельской армии, знакомили нас с расположением населенных пунктов и особенностями жизни этого края, с народами которого придется вступить в контакт.

Забегая вперед, скажу: почти всюду в Маньчжурии нас встречали как освободителей. Стремились помочь нашему брату, фронтовому водителю, вытащить машину из топкого места, угощали чем могли; да и шоферская привычка относиться к окружающим по-свойски, по-простому развеяла всякое недоверие между русскими и китайцами.

Завершающим этапом подготовки к боевым действиям была вторая половина дня 8 августа: грузовики загружены боеприпасами и сосредоточены близ границы. Солнце светило ярко, затем пошло к закату, стало красновато-оранжевым. Сумерки. Тревожная ночь. Утомительное ожидание. Шоферы в кабинах автомобилей за рулем. Часовые и связные все время в движении. Не спят командиры, политработники проводят индивидуальные беседы с водителями. Нервы напряжены.

И вдруг!.. Все небо в зарницах, раскат грома, перешедшего в сплошной гул. Ожидание кончилось. Слышим, как могуче работает артиллерия, «катюши», в предутренних сумерках двинулись «тридцатьчетверки». С места сражения тянет пороховым дымом, бензиновой и соляровой гарью. Батальон весь день беспрерывно подвозил боеприпасы на передовую, а к вечеру случилось следующее. Обнаружив маршрут движения колонны, японцы открыли по ней артиллерийский огонь; снаряды рвались со всех четырех сторон. Водители стали маневрировать, пытаясь вырваться из зоны обстрела. Но пользы от этого было мало, наоборот, беспорядочное движение машин в редком мелколесье больше демаскировало грузовики, чем укрывало. Вот в эту критическую минуту к попавшим в беду шоферам под огнем примчался на грузовике замполит Зубенко. С ним был командир взвода лейтенант Степан Гончаренко. Замполит, несмотря на обстрел, внешне спокоен.

Находясь в этом районе с начала боевых действий, он неплохо

знал местность и тропы, по которым боевые части вели наступление.

Быстро оценив обстановку, капитан приказал Гончаренко выбрать самого опытного и смелого водителя и по указанной им тропе вывести первую автомашину из зоны обстрела. Таким водителем был Владимир Панков. К нему в кабину сел лейтенант, и они рванулись вперед, уводя за собой всю колонну в безопасное место.

Замполит пропустил колонну и сел в последнюю машину. Все водители почувствовали его уверенность, твердую волю, а главное — бесстрашие под огнем и без потерь вырвались из зоны обстрела.

Опыт Великой Отечественной, знание военного дела и психологии бойца помогли капитану своевременно предотвратить, казалось, неминуемую беду. А что могло случиться — и думать не хочется: попади снаряд хоть в один грузовик с боеприпасами, от детонации взорвались бы снаряды, находящиеся в кузовах других автомашин,— тогда гибель людей, боеприпасов, срыв боевой операции.

...Движемся по плохой, изрытой снарядами дороге. Справа, на отрогах сопки,— артиллерийская и пулеметная перестрелка, слева — только что занятый нашими частями поселок. Короткая остановка. Замполит разрешает войти в китайские дома, посмотреть, как живет здешний народ. И вот взору открылась жуткая картина: окна выбиты, двери сломаны и еле висят на петлях, внутри все разбросано, а в углу на старенькой деревянной кровати на тряпках лежит худенькая, точно сжатая в кулачок, старушка и смотрит жалобным умоляющим взглядом. Когда я и водитель Иван Лукашов увидели ее, мы даже остановились от изумления. Что было в этом взгляде — мольба о пощаде или дума о последнем часе жизни? Я вспомнил блокадный Ленинград: тогда умирающие от голода так же молчаливо смотрели на солдат и думали: спасут или нет? Мы тоже были голодны, но, если у кого оказывалась хоть крошка суррогатного блокадного хлеба или кусок сахара, не задумываясь отдавали. Ведь боец не жалел жизни, сражаясь за этого человека.

Пройдя длинный путь по дорогам войны, мы всякое видели. Беспощадны мы были только к врагам, точнее, вооруженным врагам. К беспомощным, беззащитным людям, даже к жителям Германии, мы относились гуманно, после победы возили продукты вчерашним врагам... И вот теперь Лукашов спрашивает, глядя то на старушку китаянку, то на меня: что будем делать, парторг,— я был парторгом 4-й роты,— покормим ее?

Спрашиваю по-русски: «Вы одна или кто-то еще тут?» Помотала головой: то ли не понимает, то ли никого. Не увидев в доме продуктов, положили около бабушки полбуханки хлеба и немного сахара.

Мне показалось, что в ее глазах промелькнула радость. Выехали на дорогу. Впереди нас только машина замполита, мы устремились вслед, а за нами другие. Неожиданно с ближней сопки японцы начали пулеметный обстрел автомобилей, движущихся по проселку. Был хмурый денек, и струи трассирующих пуль, хорошо заметные, пронеслись над первой автомашиной. Она резко остановилась. За ней затормозили восемь автомашин с боеприпасами, ставшие неплохими мишенями. Сейчас японцы воспользуются этим и накроют из орудий и минометов. Так и случилось. Но замполит предвидел это и до огневого налета приказал рассредоточиться, головным грузовикам — вперед, жать на акселератор... А тут и братья-артиллеристы, находившиеся поблизости, не дали нас в обиду. Открыли мощный, сосредоточенный огонь по вражеским орудиям.

Завязалась артиллерийская дуэль. Мы мчались по дороге, вокруг рвались снаряды и мины, осколки со свистом и визгом проносились над нами, с треском и звоном ударялись о металлические части автомобиля. А где наш замполит? Кажется, наступила критическая минута для него самого: его машина стоит на обочине дороги, а он пропускает все грузовики, пока последний не умчится, не сядет в машину. Вот уже обогнал колонну, указывает место, где можно укрыть автомобили. Уютная сопка за поворотом дороги, сюда пулеметный огонь не достигает. Замполит направил машины по крутому спуску обочины за насыпь дороги. А когда на проселке не осталось ни машин, ни людей, спустился к нам и с улыбкой, как будто ничего не случилось, произнес:

— Хлопцы, неужели мы не понравились японцам? Вот бисовы души как лупят...

Потом стрельба прекратилась, наступило затишье, которое японцам, видимо, показалось подозрительным. Они направили в нашу сторону своего разведчика — собаку. Повадки этого тренированного на людей зверя мы знали еще по войне с фашистами: при встрече с людьми громкий лай — это сигнал хозяину, что разведчик встретил неприятеля. В других случаях собака бросалась на человека. Иногда ее перепоясывали ремнями со взрывчаткой, и она слепо лезла под наш танк и взрывалась.

Замполит приказал Ивану Лукашову:

— А ну-ка, ворошиловский стрелок, покажи снайперское искусство!

Лукашов взял мою полуавтоматическую винтовку и метров за сто с первого выстрела уложил набегающего на нас зверя.

— Молодец, сержант,— сказал замполит.— А теперь, хлопцы, по машинам.

Вырвались мы на дорогу и умчались из-под обстрела. А замполит Зубенко остался. И только позднее мы узнали, что вывел он с опасного участка дороги за день не одну группу автомобилей. Потерь в ротах не было.

В нескольких километрах от населенного пункта Пограничный мы попали в непроходимые чащобы. В густых зарослях и болотах специальные подразделения наших войск и китайское население стали прокладывать колонный путь. В зарослях на сопках прорубались просеки, подрезались пни, и мы хоть и с трудом, но продвигались вперед. В заболоченных местах просека устилалась кустарником, камышовым тростником, принесенным китайцами. Не привезенным, а именно принесенным. Машины, покачиваясь, проходили, как по волнам. Такие дороги прокладывались быстро и весело. Китайцы активно помогали вытянуть автомобиль, если он застревал или сползал с обочины в болото. Население с любопытством рассматривало нас и нашу технику. Многие пожилые китайцы говорили по-русски. Некоторые даже хвастались: «Моя была Владивосток, Хабаровск, Чита, Иркутск». И так вплоть до Москвы. Многоголосый людской гам, перемежающийся с четким русским «раз, два — взяли!» и китайским протяжным «у-ли-че», разносился повсюду. Мы понимали друг друга. Особая, только китайцам присущая улыбка, частое «шибко шанго» с поднятым вверх пальцем руки (очень хорошо!) убеждали нас в добром отношении местного народа к советскому солдату.

На пути наступления наших войск к городу Мулину мы не раз попадали в такие перепалки, из которых с трудом выбирались живыми. Как-то командир 4-й роты капитан Василий Сергеев приказал шоферам выехать на задание тремя группами. Две он повел сам с командирами взводов, а третья группа из шести автомашин вышла последней. Ее возглавил замполит Зубенко. Попал в нее и я с водителем Чикановым. Пробиваясь по просеке, устланной хворостом и тростником, мы медленно приближались к редеющим зарослям на окраине населенного пункта. Вдруг раздались треск выстрелов и крики. Мы поспешили вперед, зная, что там должны быть наши автомобили и, возможно, нужна помощь.

Перед нами стояло машин восемь 1-го автобата нашего 51-го полка. При машинах ни одного водителя. Я взял «самозарядку» и сказал Чиканову: «Бери винтовку, Валерий, укройся и жди здесь»,— а сам, пригнувшись, пошел вперед. Оказалось, что водитель и старшина автобата, ничего не подозревая, ехали, как и мы, в направлении Мулина. Смертельная опасность возникла молниеносно. С первого выстрела был в упор застрелен водитель; пока старшина брал винтовку с подвески, вторым выстрелом был убит и он. Двигавшиеся следом затормозили, схватили винтовки, автоматы. И наш замполит выскочил первым, мгновенно оценил обстановку и приказал осторожно окружить предполагаемое место засады. Японцы яростно отстреливались. Когда наше кольцо сжалось, а патроны у них кончились, с винтовками наперевес и с криком «банзай» враги бросились врукопашную. Но у всех нас был опыт

Великой Отечественной войны. Мы не дрогнули. Так благодаря находчивости нашего замполита в течение нескольких минут было уничтожено несколько смертников — камикадзе.

Когда въехали в первый на нашем пути крупный китайский город Мулин, мы особенно почувствовали дружеское расположение к нам. Недалеко от рыночной площади машины окружили толпы людей. Предлагали семечки, арбузы, помидоры, огурцы — все, чем богат в этот период здешний рынок.

К нашей роте подъехал капитан Зубенко и попросил собрать личный состав: он выступит с важным сообщением. И капитан, обращаясь к нам, сказал:

— Товарищи бойцы и командиры! Наше наступление продолжается успешно. Советская Армия освободила от японских захватчиков много городов и населенных пунктов Маньчжурии. Однако враг оказывает упорное сопротивление, это вы чувствуете сами. Нам предстоят еще жестокие бои. Среди местного населения прячутся засланные японцами лазутчики. Поэтому будьте осторожны и бдительны!

Мы внимательно слушали.

— Перед военными шоферами автобата,— продолжал замполит,— поставлено сложное боевое задание. Для нового наступления нужно подвезти передовым частям не только боеприпасы, горючее, снаряжение и продовольствие, но и средства переправы через реку Муданьцзян — плоты, понтоны, рыбачьи лодки. Командование уверено, что испытанный водительский состав, не жалея сил и даже жизни, отлично выполнит боевой приказ.

Кажется, не такое выдающееся событие: приезд в роту замполита, он часто бывает в подразделениях. А вот его простое, правдивое слово и горячий призыв вызвали новый прилив сил. И снова по болотам и топям, крутым перевалам и зарослям повели водители машины к передовым позициям. Везли понтоны, лодки, фашины, проволоку, тросы, веревки — все необходимые материалы для сооружения переправы. Везли боеприпасы, горючее, продовольствие. С утра до ночи военные шоферы за рулем. Японская авиация почти не показывалась. Но и без нее трудностей нам хватало.

Автоколонна из пятнадцати грузовиков с боеприпасами и продовольствием на пути к реке Муданьцзян увязла в непроходимой топи. Попытки выбраться на больших оборотах успеха не имели, машины буксовали и глубже зарывались в вязкую почву. Объезда нет, кругом болотистая топь, поблизости ни кустарника, ни камыша. Старшим в группе офицером был замполит Зубенко, к нему и обратились шоферы:

— Товарищ капитан, что будем делать?

Он ответил:

— Если бы вы ехали домой, что бы стали делать в такой ситуации?

Водители переглянулись, улыбнулись. И тут капитан, тоже с улыбкой, подал команду:

— Все бойцы и командиры, к первой машине шагом марш!

Около грузовика собралось человек двадцать, подошел замполит, посмотрел на здоровых молодых шоферов и сказал: «Такой силищей можно танк поднять со дна моря, а вытащить маленький автомобиль не составит труда. Навались!..»

Машину окружили с трех сторон и: «Раз, два — взяли!» Грузовик потихоньку, потом быстрее пополз вперед. Провожали его метров двадцать, пока не выехал на твердую почву. Так действовал конвейер, пока не прошла последняя автомашина.

Однако самое трудное ждало впереди. Предстояло преодолеть три километра зарослей и топей, чтобы пробиться к переднему краю на реке Муданьцзян. Замполит предупредил шоферов и командиров, что враг находится на противоположном берегу, может заметить наше движение и открыть огонь.

— Приказываю,— твердо произнес капитан,— соблюдать дисциплину движения. При всех обстоятельствах никакого крика и лишнего шума. А теперь — вперед!

И первый автомобиль, на подножке которого стоял замполит, медленно въехал в проложенную танками колею, погружаясь колесами в грязь, наклонился на левую сторону, но все же пополз вперед. С трех сторон, по колено в крутой жиже, водители толкали грузовик вперед. Второй бросок оказался более трудным. Враг, услышав гул моторов, открыл огонь. Снаряды рвались впереди и по сторонам. С подходом других автомашин шум увеличивался, в ответ усиливался и вражеский обстрел, снаряды рвались все ближе, поднимая столбы черной грязи. Танковая колея покрывалась сыпью воронок, они быстро заполнялись водой, и дорога стала совершенно непроезжей. Очередной разрыв обрушил на водителей и замполита фонтаны грязи.

Но еще один рывок, еще — и последнюю автомашину буквально вынесли на плечах в укрытие...

Военные водители, их командиры и политработники не ходили в атаки, редко вступали в бой. Их доблесть — в транспортном обеспечении войск.

...Уже было объявлено о капитуляции врага, но на нашем направлении Квантунская армия не сдавалась. На фронте — бои. В тылу совершались бандитские нападения. И так продолжалось до конца сентября. В этом районе почти полностью отсутствовали железные и автомобильные дороги. Вспомнили мы 1941 год, когда автобат пробивался в глубоком снегу дремучим лесом с продовольствием для блокадного Ленинграда. Только опыт и закалка военных шоферов позволяли и тогда и теперь безукоризненно выполнять задания командования. Автомобили находились в постоянном дви-

жении на обширной территории боевых действий. Оказывали мы помощь в перевозках продовольственных грузов и местному населению.

Как парторг роты, я напоминал шоферам: душевность и искренность советского солдата, его гуманность и доброжелательность помогали в последние недели войны с Германией понять друг друга нам и местному населению. Случалось, вместе с немцами мы смотрели советские фильмы; они с удивлением спрашивали нас: «Неужели под Москвой и Сталинградом немецкие солдаты ходили в соломенных чунях и валяных опорках, на улице укрывались ватными одеялами и женскими платками? Неужели они так вели себя в России? Неужели убивали невинных женщин, детей, стариков? Неужели пытали и вешали, жгли села и разрушали города, грабили и насиловали?» Мы отвечали: «Да, все это правда, однако мы не собираемся мстить вам за это. Вы видите, мы возим вам продукты, мыло, спички, керосин. Мы кормим из ротных кухонь ваших детишек». Когда мы покидали город Родеберг, уже многие видели в нас своих друзей, освободителей.

В Китае население угнеталось своими эксплуататорами и японскими захватчиками. Нищету, бедность, унижение народа видели мы на каждом шагу. Мы, коммунисты, политработники, непрестанно учили своих солдат интернационализму на деле, беседовали с населением.

Китайцы с нетерпением ждали мира. Им хотелось спокойно пахать деревянным плугом землю и сеять рис, чумизу, гаолян, подсолнух. Китаец хотел свободно работать и торговать. Даже продав несколько стаканов семечек и выручив несколько юаней, он становился гордым. Он мог что-то купить на базаре и принести домой для семьи. Однажды Иван Лукашов сказал одному из них: «Какой же ты купец, если тебе самому есть нечего и семью кормить нечем?» Китаец обиделся: «Я торгую, значит, я купец!»

А нам, советским, было непонятно: зачем он в купцы лезет?.. Однажды, возвращаясь в расположение части вместе с капитаном Зубенко, мы заглянули к такому «купцу». Дом у него — жалкая мазанка. На земляном полу невысокие нары, застланные циновками. Чтобы было теплее спать, под ними проложен дымоход. Выводится он наружу внизу, а не вверху через крышу, как у нас. В хате были жена и четверо детей — действительно главное китайское богатство. Хозяин дома угостил нас хорошим душистым китайским чаем, а мы его — русским хлебом и сахаром. Потом мы встали и вслед за капитаном по-китайски, низким поклоном, поблагодарили хозяина за гостеприимство, а он и жена — нас за хлеб-соль, вернее, хлеб да сахар...

Наш капитан был человеком неугомонным, но не шумливым. Вроде неторопливый, замполит всегда успевал туда, где был

нужен, а его певучий украинский говор словно украшал беседу.

Помню, водитель Валерий Чиканов, ротный балагур, возвращаясь с задания, привез семечек, помидор, огурцов. Поставив машину, подошел к сидящим шоферам. Увидев замполита, по форме доложил:

— Товарищ капитан, задание выполнено, возвратился в роту. Разрешите присутствовать?

— Садитесь,— ответил Зубенко.

Шофер попросил разрешения угостить всех присутствующих семечками. Замполит сказал: «Добро». Когда Чиканов принес покупки, солдаты с удовольствием начали есть кто помидоры, кто огурцы, а кто лузгал семечки. Все с одобрением отзывались об угощении. В этой дружеской обстановке Чиканов не преминул прихвастнуть: «Товарищ капитан, а каких я видел китаянок... Черные волосы, карие глаза в узких щелочках, слегка отвернутые пухлые губки, ох...» Капитан посмотрел на Валерия и сказал: «Та ты що, свихнувся?» Подумали мы, что сейчас Чиканов получит нахлобучку. А капитан продолжал: «Та лучше моих полтавских дивчат нет на всем билом свити. Румяны, стройны, ясны очи, алы губы, гордые красавицы. Ай, хлопец, ай, Чиканов! Пол-Европы проехал, Гитлера победил, а дивчат выбирать не научился. Люди добры, помогите ему!» Конечно, все рассмеялись. Замполит любил жизнь и воспитывал у солдат не только любовь к жизни, но и чувство долга, учил быть патриотом своей Родины. Только истинный патриот может любить красоту своего народа. Наш капитан Зубенко таким и был, этому учил и нас.

Последним этапом боевого пути автобата в Маньчжурии был путь в Харбин. Мы находились в сотне километров от города, когда там высадился наш десант. Вскоре увидели колонны японских солдат, сдавшихся в плен. По накатанной грунтовой дороге догнали одну численностью тысяч в десять, растянувшуюся на два километра. Я был на передней машине, и, когда подъехали вплотную к колонне, японский офицер приказал солдатам освободить дорогу. В это время сержант конвоя подошел ко мне и сказал: «Колонна движется шестой час, солдаты не ели с утра, обойдите их стороной». Я подумал: замполит поступил бы именно так — и повел грузовики в объезд колонны. Выехали на дорогу и продолжали движение по своему направлению. Школа Зубенко не пропала для меня даром.

...Отгремели бои. На общебатальонном сборе Зубенко объявил:

— Товарищи, война закончилась! Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Советская Армия оправдала доверие своего народа. Выполнен приказ Родины по разгрому опасного врага на Дальнем Востоке.

Победой закончена война.

Иван
РЫБАКОВ

В ОТБЛЕСКЕ ПОБЕДЫ

На рассвете разом ударили сотни орудий. Застонала тайга, вздрогнула земля, редеющая мгла заметалась в отблесках залпов. Могучее эхо прокатилось по сопкам и, сорвавшись со скалистых сахалинских берегов, потонуло где-то в морской дали. Более двух часов грохотала канонада над островом и бушевал огненный смерч. Затем, словно от усталости, орудия смолкли, и в проходы, проделанные в минных полях и проволочных заграждениях, лавиной устремились танки, самоходные орудия, пошла пехота.

Натиск наших войск был настолько могуч и стремителен, что казалось, нет такой силы, которая могла бы их остановить. Каждый боец знал, что впереди последний враг, а за ним мир, к которому мы шли четыре года трудными дорогами войны.

На главном направлении Хандаса-Котон наступал второй батальон 165-го стрелкового полка. Бойцам предстояло преодолеть глубоко эшелонированный укрепленный район Южного Сахалина Харамитогэ.

— Вот и граница,— воскликнул командир батальона капитан Светецкий, указывая на полосатый столб.— Старший сержант Буюклы, вырвите его с корнем,— приказал он. Затем достал блокнот и неторопливо записал: «11 августа 1945 года в 9.45 батальон перешел госграницу».

Парторг 5-й роты старший сержант Буюклы находился в первых рядах атакующих. «За мной, братушки!» — кричал он, устремляясь вперед по мшистому болоту. Братушками Буюклы называл всех бойцов, олицетворяя этим словом болгаро-советскую дружбу, рожденную и закаленную еще в боях на Шипке и под Плевной, когда русские войска освобождали болгарский народ от турецкого ига.

Буюклы любил родину своих предков — Болгарию, гордился ее народом и часто рассказывал товарищам о своем мужественном прадеде, который в те далекие времена создал партизанский отряд и смело громил турок. Прадед был могучего телосложения, обладал исполинской силой и носил длинные пышные усы. Турки охотились за партизанским вожаком. Но они знали лишь то, что местные жители зовут его «усачом», по-турецки «буюклы».

Поработители назначили за голову «буюклы» большой выкуп, но поймать его им так и не удалось. Вскоре болгары с помощью русских «братушек» избавились от иноземных захватчиков. Прозвище «буюклы» закрепилось за прадедом и позднее превратилось в его фамилию. К этому времени он уже обзавелся семьей и первоначально поселился в Бессарабии, а потом переехал в Запорожскую область. Там у него появилось многочисленное потомство, в том числе в 1915 году родился правнук Антон Буюклы, который теперь героически штурмовал японские укрепления, увлекая за собой весь батальон.

Местность в районе Харамитогэ была пересеченная, лесистая. Справа простирался неприступный Камышовый хребет, слева — непроходимые болота. Грунтовые воды, повсюду сочившиеся из земли, струились ручейками, обильно пропитывали почву. Техника застревала. Да и пехоте продвигаться вперед было чрезвычайно трудно.

Однако бойцы 5-й роты, прошедшие суровую армейскую выучку, наступали успешно. Они скрытно переползали в высокотравье, умело маскировались багульником и курильским бамбуком, надежно укрывались в сахалинской гречихе, достигавшей здесь высоты двух-трех метров. Каждый из них теперь благодарил в душе старшего сержанта Буюклы, который научил их ведению боя в местных условиях.

До войны Антон Буюклы служил на Сахалине в погранвойсках и износил не одну пару сапог, охраняя государственную границу СССР. Он прекрасно ориентировался в тайге, знал все тропинки, горные речушки, прибрежные лагуны. Не раз приходилось ему вступать в схватки с врагом. На его счету девять задержанных диверсантов. За время службы старший сержант полюбил этот край и после увольнения в запас поселился неподалеку от родной заставы.

Когда грянула война, Буюклы призвали в армию, и тут пригодилась его пограничная выучка.

Однажды на соревнованиях по стрельбе 5-я рота показала неплохие результаты. Командир полка похвалил бойцов и рассказал, как в гражданскую войну в их части воевал пулеметчик, который мог несколькими очередями из «максима» свалить любое дерево.

— С тех пор я не встречал таких стрелков,— сказал он с сожалением.

— Разрешите мне попробовать, товарищ полковник,— обратился Буюклы к командиру полка, указывая на полузасохшую вековую ель, стоявшую на краю стрельбища.

— Ну, попробуйте. Только едва ли это у вас получится,— подзадорил полковник.

Старший сержант быстро установил свой пулемет, вставил

ленту и, тщательно прицелившись, дал несколько очередей. Ель дрогнула, накренилась и с треском, похожим на крик, рухнула.

— Молодец! — похвалил полковник.— А теперь вот научите всех бойцов роты стрелять так же.

И Антон Буюклы учил товарищей. Учил не только метко стрелять, но и умело преодолевать препятствия, колоть врага штыком, разить гранатой. Вскоре коммунисты роты единогласно избрали его парторгом.

Старший сержант еще более подтянулся, старался служить примером, быть первым во всем. Это вошло у него в привычку, превратилось в обязанность.

Вот и сегодня, когда началось наступление, он первым бросился вперед. От Буюклы не отставал его друг сержант Павел Решетов. Успешно продвигаясь, они поддерживали огнем друг друга.

Японцы сопротивлялись, но устоять не могли и оставляли одну позицию за другой. В нескольких дотах, разбитых артиллерией, наши бойцы обнаружили смертников, прикованных цепями к пулеметам.

Во второй половине дня передовые бойцы роты натолкнулись на огонь японского снайпера и вынуждены были залечь. Буюклы и Решетов заметили, что снайпер стрелял из леса. Пришлось ждать, когда он вновь себя проявит. Вскоре из густых ветвей старого кедра дважды сверкнул огонь. Выстрелы потонули в общем гуле боя. Буюклы стало ясно, что снайпер находится именно там. Старший сержант осторожно выкатил пулемет и несколькими очередями снял «кукушку».

К вечеру роте удалось вклиниться в оборону противника на три километра и занять небольшой поселок, в котором жили японские полицейские. За день боя рота потеряла трех человек убитыми и пять ранеными. Это были ощутимые потери.

С наступлением сумерек бой затих. В 5-й роте состоялось партийно-комсомольское собрание. На нем присутствовал заместитель командира батальона по политчасти капитан Котенко. Он выступил первым и похвалил личный состав роты. Бойцы приободрились, повеселели. Командир роты капитан Аксенов сказал, что назавтра роте предстоит штурмовать главные вражеские укрепления. Бой будет более жестоким. Но он не сомневается, что бойцы достойно проявят себя и в этом бою.

Антон Буюклы выступил очень кратко. Он заверил, что коммунисты и комсомольцы будут в первых рядах и не подведут.

После собрания бойцы быстро поужинали и расположились на отдых под деревьями. Накрапывал мелкий дождь. Ночью в сторону противника выслали группу разведчиков. В их составе находился и старший сержант Буюклы, хорошо знавший эту местность. Разведчикам пришлось пробираться сквозь таежные

заросли. Упругие ветви маньчжурской аралии и лимонника то и дело цеплялись за одежду, словно пытались стащить ее. Под ногами чавкала раскисшая земля. Темень стояла — хоть глаз коли. Но, несмотря на все трудности, разведчикам удалось углубиться на территорию противника до двух километров и незамеченными вернуться обратно. Буюклы доложил, что за сопкой находится небольшая роща, а за ней тянется километра на два заболоченная падь. В конце пади они слышали японскую речь и видели редкие огоньки. Справа и слева простирались сопки, покрытые множеством пней. Буюклы объяснил, что когда-то здесь шумела кедровая тайга. Но японцы беспощадно вырубали леса, и теперь на Южном Сахалине ценных пород деревьев почти не осталось.

Командир батальона принял решение наступать вдоль пади по склонам сопок, где бойцы смогут укрыться за пнями и в высокой траве.

К рассвету с моря надвинулся теплый туман. Он полз по прибрежным террасам, перекатывался через сопки, повисал седыми клочьями на деревьях. Вскоре в нем потонуло все: деревья, сопки, люди. Он настолько плотной пеленой окутал землю, что в трех шагах ничего не было видно. Солнце просматривалось, как тусклое пятно. Звуки тоже тонули. Артиллерийская стрельба доносилась глухо, словно шла откуда-то из-под земли.

Но наступление началось точно в назначенное время. Бойцы рассредоточились по фронту и медленно двинулись вперед. Рядом с Антоном Буюклы снова шагал Павел Решетов.

— Не нравится мне что-то этот чертов туман,— сказал Павел.

— Теплые туманы на Сахалине обычное дело. Думаю, через часок погода разгуляется. А пока что этот туман нам на руку. Японцы-то нас не видят.

Противник безмолвствовал, как бы подтверждая слова Буюклы. Вот уже около часа продвигались бойцы 5-й роты, но не раздалось ни одного выстрела. С моря неожиданно потянуло ветерком. Затем он подул сильнее, с шелестом пронесся по сопкам, просвистел в ветках багульника. Туман стал таять на глазах. Не прошло и десяти минут, как он исчез бесследно. Они уже находились в конце пади. Впереди, метрах в двухстах у подножия сопки, вилась речка, а за ней высился крутой берег с кустарником. Между кустов отчетливо просматривалось серое пятно дота с черной пастью амбразуры. В воздухе повисла напряженная тишина.

Вдруг в амбразуре засверкало пламя, тишину прорезали выстрелы. Рядом с Буюклы упало несколько бойцов, сраженных пулями.

— Ложись! — прокричал старший сержант и распластался на земле.

Бойцы поспешно укрылись за пнями и валунами, часть отползла за бугор. Буюклы пришлось тоже отползти в укрытие.

— Что там? — спросил командир взвода лейтенант Михайлов.

— Напоролись на дот,— ответил Буюклы.— А самураи, видать, перепугались. Ишь как строчат!

Теперь уже и справа и слева раздавалось тарахтенье японских пулеметов, слышался треск наших автоматов, рвались гранаты. Но автоматные очереди гремели все яростнее, а стрельба японских пулеметов постепенно стихала. Батальон наступал.

Подошел командир роты капитан Аксенов. Лейтенант Михайлов доложил ему обстановку и предложил атаковать дот одновременно с двух флангов. Другого выхода не было, так как рота уже и так отстала от соседей. Но ни первая атака, ни вторая успеха не принесли. Из строя вышло около четверти бойцов.

Капитан Аксенов был мрачен: такие потери... Начало смеркаться. Атаковать третий раз бессмысленно. Надо было связаться с командиром батальона, выяснить обстановку и получить задачу на следующий день.

Вместе с командиром роты в штаб батальона сходил и Буюклы. Старший сержант вернулся расстроенным. Павлу Решетову он рассказал, что в рукопашной схватке погиб его друг парторг батальона сержант Пашин.

— Вот это я взял у него из кармана.— Буюклы потряс бланками «боевого листка», простреленными пулями.— Я поклялся, что выпущу к утру «боевой листок» на этих бланках,— добавил он.

Буюклы просидел почти всю ночь и сделал «боевой листок». Передовица называлась так: «Только вперед». А заканчивалась она словами: «И прежде чем вражеская пуля оборвала жизнь парторга Пашина, она пробила этот «боевой листок». Сержант погиб геройски, он дрался до последнего вздоха. Будем же достойны его светлой памяти и отомстим за него в сегодняшнем бою».

Рассвет запаздывал — снова надвинулся туман. И опять рассеялся за каких-нибудь несколько минут. Павел Решетов клял туман, ругал тринадцатое число и вообще был не в духе. Буюклы же, хотя почти не спал — чувствовал себя бодрым.

— Я не верю в приметы,— сказал он.— Тринадцатое число, наоборот, мне всегда приносило счастье.

Шурша плащ-палатками, подошел взвод 2-й роты. Капитан Светецкий прислал его на подкрепление 5-й роты. С ними прибыл замполит капитан Котенко. Он приказал собрать офицеров роты на совещание. Парторг Буюклы также был приглашен.

Капитан Котенко без обиняков объяснил собравшимся ситуацию. Соседи справа и слева вышли вперед. Но отставание 5-й роты

их задерживает. Дот, который теперь все зовут «чертовой пастью», ведет огонь по их флангам. И это дорого обходится батальону. На пути других рот тоже встречались доты. Но там бойцы не растерялись, скрытно подползали и забрасывали их гранатами.

— Вот и вам надо сейчас послать туда своего бойца. Пусть-ка он закидает эту «чертову пасть» гранатами,— заключил Котенко.

Буюклы стоял рядом и, слушая этот разговор, торопливо засовывал в карманы гранаты. Затем, выкатив пулемет из укрытия, прокричал:

— Я это сделаю!..

И не успел Котенко ответить, как он исчез за бугром. Все растерянно смотрели ему вслед. Из дота раздались пулеметные очереди. Первым пришел в себя командир роты капитан Аксенов.

— Огонь по доту! — скомандовал он пулеметчикам.

Три «максима» разом ударили по амбразуре. Но японцы продолжали стрелять. Буюклы быстро полз по траве, толкая впереди себя пулемет. Он делал лишь короткие остановки около кочек и пней. Когда до дота оставалось не более ста метров, японцы стреляли уже только по нему. Пули заставили Буюклы замереть за пулеметом.

— Товарищ капитан,— обратился к командиру роты сержант Решетов.— Разрешите я зайду с другого фланга?

Но в это время, улучив удобный момент, Буюклы вскочил и стремительно бросился вперед. Мгновение — и он исчез в речушке. Рота затаила дыхание... Ранен? Убит? Наступило томительное ожидание.

— Жив! Смотрите, смотрите! — воскликнул Павел Решетов, указывая на каменистую осыпь на том берегу.

Буюклы лежал на камнях и медленно перетаскивал веревкой пулемет через речку. Теперь он находился в «мертвом пространстве», и пули летели над ним. Бойцы с волнением наблюдали, как он поднял своего «максима», поставил на берег и, прикрываясь щитком, пополз вверх. Оставалось каких-то тридцать метров. Из дота бросили гранату. К счастью, она скатилась под гору и разорвалась, не задев Буюклы. Старший сержант приподнялся на локте и тоже швырнул гранату в амбразуру. Раздался взрыв, у дота взметнулась земля, пулемет замолчал. Буюклы подполз чуть поближе и бросил еще две гранаты.

По пади прокатилось «ура-а-а!», и бойцы, выскочив из укрытий, устремились к доту. Но «чертова пасть» внезапно ожила, из нее снова хлынул поток пуль. Снова падали убитые и раненые бойцы.

Гранат у Антона больше не было. Тогда он поднялся и, толкая впереди себя пулемет, побежал к доту.

— Вперед, братушки!..— крикнул он и, закрыв амбразуру пулеметом, рухнул на него грудью.

Старший сержант не видел пламени, которое вырвалось ему навстречу. Он не слышал, как за его спиной понеслось по сопкам «ура-а-а!», как навсегда замолчал дот. Ничего этого он не видел, не чувствовал и не слышал.

После боя сержант Павел Решетов и командир роты капитан Аксенов осторожно сняли Антона Буюклы с амбразуры и положили на траву. Достали из кармана гимнастерки партбилет. В нем лежали два пожелтевших листочка. На одном было написано:

«Только вперед, только на линию огня, и никуда иначе. Н. Островский».

На другом: «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека. Ф. Дзержинский».

...В тот день рота отомстила за своего парторга старшего сержанта Буюклы и за парторга батальона сержанта Пашина. К ночи Харамитогский укрепленный район пал. А через несколько дней японцы капитулировали и война закончилась.

Прошли годы. Каждый вечер в 5-й роте 2-го батальона 165-го стрелкового полка на вечерней поверке торжественно произносится имя Антона Буюклы, где он навечно записан правофланговым.

Посмертно старшему сержанту Буюклы присвоено звание Героя Советского Союза. Сооружены три бюста: на родине в селе Александровке Запорожской области, в Софии и на Сахалине, где происходил бой. Именем героя в Софии названо профтехучилище, на Сахалине — поселок. Имя Буюклы носит океанский пароход, многие улицы городов, школы и пионерские дружины.

О подвиге парторга Буюклы слагают песни и пишут стихи, но, пожалуй, самые проникновенные строчки написал о нем однополчанин в 1945 году:

Общими были беды,
Ненависть и любовь.
В отблеске нашей Победы
Есть и болгарская кровь.

14 Заказ 4650

...И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ



Камил
ИКРАМОВ

ВСЕГДА НА ЛИНИИ ОГНЯ

Письма с фронта — святая святых! Счастлива семья, которая дождалась автора.

Марат, младший сын бывшего заместителя политрука Худояра Латыпова, получил свое имя не по созвучию или писарской путанице с исконными узбекскими Муратами или Мураталии. Он назван в честь конкретного Жана Поля Марата, так решил отец. Марат очень гордится тем, что коммунистом стал в двадцать один год.

— И папа в этом же возрасте. Только...

Мы оба понимаем, что разница огромная. Мы сидим за столом, и Марат помогает мне разбирать ветхие листки. Письма и документы.

«Боевой счет» Худояра Латыпова. «Разрушил 4 дзота, убил одного немца». «Разрушил 9 дзотов, 1 наблюдательный пункт». «Разрушил 4 дзота, 2 огневые точки». «Уничтожил пулемет и 2 немцев». Подписи, печать 25-го воздушно-десантного стрелкового полка, где служил заместителем политрука, а еще и старшиной, командиром орудия Худояр Латыпов.

Сначала Худояр попал в 99-ю национальную бригаду. Формировались недалеко от дома, родные навещали, писем писать нужды не было. Первые «треугольники» начали приходить из Семипалатинска, потом из-под Москвы. Иногда он писал их в стихах. Как-то само получалось, хотя поэтом себя не считал. Любил стихи, знал наизусть тысячи старинных бейтов, а писал только для себя и читал прежде самым близким.

В армии у стихов впервые появились жадные слушатели — кишлачные узбеки и таджики, для которых заместитель политрука перекладывал в рифмы самые важные новости, самые главные лозунги.

«Смерть фашизму — это конец войне» — так в переводе с узбекского звучит одна из строчек агитстихов Латыпова. Удивительно просто объединил он суть войны и мечту каждого воина. Таких строк у Латыпова много.

...— Вы это искали? — спрашивает Марат, протягивая листок.

«Прощание». Много слов, которые в переводе не нуждаются, а

вот и четыре строки, где реалии важнее второстепенных слов. И сердце щемит от них:

Ботинка-ла кук обмотка,
Бошимизда зар пилотка,
Кигиз шинель, мовут погон,
Бир ер бурсак кизил вагон.

Это о том, что ботинки были с зелеными обмотками, шинель суконная, на плечах погоны и что погрузились солдаты в красные вагоны.

А вот письмо и стихи из только что освобожденного Калинина. И в стихах и в прозе — трагедия невиданного: сожженные дома, трупы, вокзал, от которого остались одни стены, но уже идут эшелоны, а он, Худояр Латыпов, со своей батареей шагает вперед. И слышится мне в его стихах ритм этого движения...

Стихотворение «До свиданья, Узбекистан» датировано февралем сорок третьего, когда 25-й гвардейский воздушно-десантный полк был уже в составе Ленинградского фронта, шел к Новгороду. Озеро Ильмень. Может, оно, заснеженное, бескрайнее, простреливаемое фашистами и зияющее полыньями, навело на мысль о родном Джуйлангаре, о горных лесах, где на воле растут дикие яблони, груши и алыча, где так много ореховых рощ, где никем не пуганные поют птицы, а именно теперь все готовится к весне и, очень может быть, уже зацветает фиолетовым цветом миндальное дерево. Об этом стихи прощания. И о том, что ваш сын Худояр вернется, обязательно вернется с победой.

Потом Худояр прислал другое письмо и новые стихи. Повторялись в них строки «Смерть фашизму — конец войне» и было еще одно обещание встречи. «Молодость — рай жизни, до встречи, мама и отец, до встречи, сестренка моя Ойниса, до свиданья, друзья мои и мой край, сады и поля, горы и степь. Если еще раз увижу вас, то без сожаления, без горя готов навсегда с вами проститься».

Была в этом треугольничке и фотография, такая же, как на первом партбилете, который именно в тот день предстояло получить. В приписке, сделанной для сестренки, сказано: «Стихи мои сохраняй, положи в мою тумбочку, читай молодым, если я не вернусь. Если будут спрашивать, кто написал, покажи мою фотографию». Дата — 13 марта 1943 года.

Это был длинный день. Утром возле деревни Рита хоронили погибших.

Потом пришло пополнение, заместитель политрука вновь был среди новичков. На двух языках толковал с ними, читал и переводил газету, знакомил с последней сводкой Совинформбюро.

А вечером в блиндаже, который только в тот день и построили, Худояра Латыпова приняли в партию. Он ждал этого часа, знал,

что прием приурочен к большому наступательному броску. И думал о завтрашнем дне, о предстоящем форсировании реки Ловать.

Я еще раз посмотрел боевой счет Латыпова.

Итак, семнадцать дзотов, огневые точки и пулемет. Это только учтенное, занесенное в реестр...

Конечно, из сегодняшнего дня это все можно себе представить: зима и ранняя весна сорок третьего, середина войны, пейзаж северо-западной исконной России. Можно представить... Ведь не только многие нынешние взрослые никогда не видели войну, но и дети нынешние так хорошо знают все по кино и телевизору, художественно и документально. В общем каком-то виде мне тоже легко представить и не так уж трудно написать, как худенький, черноглазый и чернобровый узбек поднял в атаку за город Калинин отделение, а потом, перейдя в артиллерию, командовал орудием, выводил его для стрельбы прямой наводкой. Не сохранилось тех «боевых листков», которые регулярно выпускал для узбеков и таджиков заместитель политрука, но и это можно увидеть из сегодняшнего дня. Можно, только всего не увидишь и все увидишь не так.

Я, например, не воевал. Только из литературы и кино знаю, что дзот разрушить непросто, что именно в феврале того же года у дзота погиб Александр Матросов, потому что амбразура изрыгала смерть. Эх, если б артиллерия смогла подавить тот дзот, эх, если бы... В то самое время, когда Худояр Латыпов стрелял из своей пушки, я делал снаряды, мне было пятнадцать лет, и все мы, ученики ремесленного училища при большом, как тогда говорили, оборонном заводе, стояли у станков наравне со взрослыми. Очень хочется думать, что наши снаряды пополняли боезапас его батареи.

...Писатель Владимир Тендряков, воевавший под Сталинградом и Харьковом, рассказал мне про случай, который кажется весьма поучительным. По одному из военных рассказов Тендрякова снимался художественный фильм. Режиссер старался быть точным во всех деталях и подробностях. Вся тогдашняя одежда, все предметы военного быта, все оружие были воспроизведены скрупулезно, но когда автор сценария смотрел на студии отснятый материал, то вдруг увидел, что кадры будущего фильма как-то неуловимо отличаются от того, что должны показать. Что-то совсем не так. Автор попросил еще раз прокрутить пленку, еще несколько раз вглядывался в изображение, но так и не нашел ошибки. Понимание пришло позже. «Мы, солдаты того времени, были много меньше ростом, чем нынешние актеры, играющие солдат. Не так смотрелись мы у орудий, не так висели на нас автоматы. И двигались мы как-то не так».

Я привел этот случай, чтобы еще раз отметить: далеко не все, что сохраняет наша память, мы можем воспроизвести и передать следующим поколениям.

Память остается памятью, она свята. А долг потомков даже за короткой строкой, за моментальной фотографией стараться увидеть всю ту жизнь, которой они обязаны жизнью собственной.

...Мы пронеслись по мосту. Гор не было видно, а тут Голодная степь, гладкая, как стол, но если долго ехать с большой скоростью, то начинает казаться, что она слегка выпуклая — ровно настолько, чтобы наша планета в конце концов могла принять форму шара. Шоссе похоже на взлетную полосу, по обе стороны до горизонта — хлопок, хлопок, хлопок... Еще вчера в Ферганской долине я проезжал по дорогам, вдоль которых тянутся дома и пристройки. Нет здесь древних мазаров с лазурными куполами, проросшими зеленой травой, нет великих минаретов, на которых аисты столетиями вьют гнезда. Железный Хромец не строил здесь дворцов и усыпальниц, мудрый Улугбек — медресе и обсерваторий.

Это совсем новая земля. И проблемы здесь тоже новые.

Но вообще-то в Голодной степи я оказался еще и потому, что в качестве специального корреспондента газеты «Правда» должен был написать очерк об освоителях тогдашней хлопковой целины.

С широкой бетонной дороги мы свернули на другую, почти такую же широкую, и въехали на территорию совхозного поселка. По существу, это современный благоустроенный городок. Двухэтажные дома типовые, новые, но уже обжитые. Училище механизации, детский санаторий, баня, прачечная с высокой трубой, школа, краснокирпичное здание конторы, над входом в которую висит портрет моего отца. Отец молоденький, в косоворотке. Я его таким никогда не видел. Это задолго до моего рождения. Кажется, двадцать первый год. X Всероссийская конференция РКП(б)...

— Портрет не очень хороший,— сказал крепко сбитый человек с очень смуглым лицом.— С почтовой марки рисовали. Мы потом лучше сделаем.

Это первые слова, которые я от него услышал. Представился чуть позже: «Латыпов. Директор совхоза имени вашего отца».

Так мы познакомились. Поражало в этом человеке многое: он экономист, разработавший систему безнарядной организации и оплаты труда в хлопководстве и защитивший на эту тему диссертацию; он автор нескольких приспособлений для уничтожения сорняков; интересные мысли высказывал он тогда и о типах жилищного строительства, о школьном образовании и трудовом воспитании...

В тот первый приезд у нас не было разговора о военном прошлом, не говорили мы об этом и после, когда Латыпова перевели директором другого совхоза, который он поднимал и вывел в число

передовых в республике. Видел я Латыпова и в момент триумфа, и в дни тревог и огорчений, без которых ни один настоящий хозяйственник не обходится.

...Летом 1975 года Худояру Латыпову вручили удостоверение Почетного гражданина города Новгорода и памятную медаль. Я узнал это из газет, и только тогда при новой нашей встрече Худояр-ака в ответ на мои расспросы вытащил папку с документами и старыми письмами.

— Вы были заместителем политрука?

— Я всю жизнь на этой должности себя числю, самая высокая должность — помогать партии. Нет для меня важнее дня, чем тринадцатое марта сорок третьего, и нет для меня дороже награды, чем медаль «За отвагу», которая шла ко мне тридцать лет из того времени, когда мы перешли реку Ловать и громили фашистов... Вот, Камильджан, тут все документы. И тетрадь эту внимательно смотрите, тут все правда, это я для детей и внуков писал. Если что будет непонятно, Марат поможет разобрать.

— А ездили вы в те места, где сражались?

— Собираюсь, никак не хватает времени. Думаю, на тот год... Это уже сколько лет думаю. Давайте вместе съездим.

— Я недавно был там, Худояр-ака. Если бы знал, что вы на этой земле пролили свою кровь...

Вот несколько абзацев из тетради, которую Худояр Латыпов решил оставить своим близким:

«...В четыре часа ночи артподготовку начали «катюши». Снаряды летели над нами, а там, куда они попадали, все горело — и земля, и все, что на земле. Потом включилась дальнобойная, а в шесть утра нам дали команду наступать, перейти через Ловать. (Она больше, чем Сырдарья.)

Я командовал противотанковым орудием, семь человек и четыре лошади. Наступали мы по всему фронту, но я видел только реку подо льдом, по этому льду шли тысячи людей. Шли и шли вперед. Вдруг в небе появились фашистские самолеты. Они бомбили реку и все, что было на ней,— все стало проваливаться под лед. Вода стала красной. Просто красной от крови.

Снег, метель, огонь взрывов, и когда наша батарея вышла на берег, то казалось, что и земля качается и ломается, как лед на реке. Фашисты к этому времени уже поняли, что надо закапываться. Они били из своих дзотов; пулеметы, минометы, пушки били по нас.

Наш политрук командовал батареей вместо раненого командира, а мои комсомольцы все оказались ребятами крепкими. Мы закрепились на берегу, вели огонь, и впереди было не так страшно, как на реке за нашими спинами.

...Лошади кричали больше людей. А в воздухе начался бой, подоспели наши истребители. Горящие фашистские стервятники падали в черном дыму, а лошади кричали страшно, и вода становилась все красней... Из всех боев, где я участвовал, от Москвы до Новгорода, не видел я такого ужаса.

Немцы отступили. Мы заняли железнодорожный узел Козлово-Кудрино и пошли дальше. Мы спешили вперед, и вдруг раздались выстрелы, один наш товарищ упал. Я пополз к доту, оттуда стреляли. Вижу — два немца, дал очередь, один упал, а другой... ему лет семнадцать, стоит, дрожит. Я на него посмотрел: совсем молодой, наверно, ни разу еще не брился. Мы его взяли в плен. Он даже не солдат, мальчик, не знает, за что борется...

Ранили меня восемнадцатого апреля на поле, откуда был виден Новгород, осколки попали в правую ногу и левую руку. Лечили в полевом госпитале, потом в городе Люберцы и в городе Кирове...»

— Марат, почему я ни разу не видел папу с орденами и медалями? Сколько их у него? — спросил я.

— Я сам один или два раза видел,— ответил сын.— Орденов пять, медалей больше десяти. Он и планки не носит. Такой человек.

В Узбекистане его знают хорошо; один из руководителей республики сказал о нем коротко:

— Людям верит, хлопок знает.

— Своевольный,— неодобрительно отозвался человек, который прежде был начальником Латыпова, а теперь работает в другой области.— Кому хочешь может возразить, дисциплину не понимает, десять выговоров или, может быть, девять, но будет десять. За перерасход фонда заработной платы. В год по совхозу то пятьсот, а то и восемьсот тысяч.

Последний раз нечто подобное о своем старом знакомом услышал я примерно за полгода до XXVI съезда партии. Потому очень обрадовался, когда в дни его работы в моей московской квартире зазвонил телефон. Я сразу узнал голос.

— Камильджан? Вот приехал.

За строптивость и своеволие на съезд не выбирают, а вот то, что бывший замполитрука и сейчас на линии огня, это точно. Ведь линия огня, линия атаки и сегодня требует смелости и стойкости.

Мы встретились в гостинице «Россия». Латыпов говорил о своем совхозе так, будто и я только что оттуда, засыпал меня выкладками, цифрами сравнительного анализа, соображениями о рентабельности, а я любовался молодостью директора, его оптимизмом. Казалось, он вовсе не постарел с тех пор, как мы познакомились.

— Летом, я слышал, у вас неприятности были?

Узнав, что я имею в виду, рассердился. Рассердился, а не огорчился.

— Каждый год ревизия, каждый год выговор, а в конце каждого года после уборочной — премия и благодарность. Надо же им разобраться в конце концов, как вы думаете?

Суть вот в чем: лет пятнадцать назад первым в республике Латыпов решительно перевел все бригады и звенья совхоза на безнарядную оплату, аккордно-премиальную систему.

— Самое главное,— доказывал он и до сих пор не устает доказывать всем,— нету при такой системе обмана, покончено с приписками, коллективизм получается, товарищество получается. Вот посмотрите по документам...

Эти документы он комментировал примерно так: раньше поливов вдвое больше было, культивации вдвое больше и ручную кетменную обработку делали, а урожай получался меньше. Почему? Потому что все это лишнее делали на бумаге. А как иначе объяснить? Вот еще скажу: раньше у меня очередь стояла. «Дай новый трактор». «Дай удобрений побольше». «Добавь семян»... Горючее брали — половину на землю лили. Теперь я говорю: возьми трактор, а он говорит: не надо. Понимает, амортизация машины ему в минус пойдет. По горючему экономия, по удобрениям и семенам тоже, а урожай растет! Потому что коллективизм, товарищество, друг перед другом в бригаде стыдно плохо работать, себя уважают и общество.

— Фонд зарплаты растет, говорят,— настаивает на своем Латыпов,— а про то, что прибыль при этом увеличивается в четыре раза, не говорят, что тонна хлопка обходится хозяйству вдвое дешевле, про это забывают.

Его очень смуглое и слегка асимметричное лицо самой природой создано для выражения сарказма. Но черные глаза смеются по-доброму. Я представил себе, как не просто было спорить с Латыповым, когда он по своему разумению и вопреки тогдашним установкам то боролся с квадратно-гнездовым методом, то менял норму высева и густоту стояния растений... С ним всегда было и будет трудно, а это умеют ценить те, кто печется о деле, а не о раздувании собственного авторитета.

— Худояр-ака, а что было самое тяжелое в вашей биографии? Ведь было?

Он долго молчит.

— Зачем тебе? — за все знакомство впервые сказал «ты».

— Сам не знаю. Просто задумался, откуда в вас столько жизненной силы.

Ответил после нового молчания.

— С фронта вернулся по ранению в августе сорок третьего. Возвратился и думал, что все страшное осталось позади. Не увижу больше городов, в которых нет домов, сожженных деревень, не услышу, как кричат лошади, идущие под лед, не буду больше

хоронить тех, с кем ел из одного котелка. Думал, что не будет никогда, даже во сне не увижу. Так буду работать, чтобы и сны никакие не снились. Приехал в Голодную степь, в родной Джуйлангар. Герой! Сразу избрали меня председателем сельсовета...

Сколько песен сложено про возвращение героя-фронтовика, но тут было еще страшней, чем в знаменитом стихотворении М. Исаковского «Враги сожгли родную хату».

Перед самым приездом Худояра скончался отец фронтовика, на его руках в одну неделю умерли сестренка Ойниса, которой он писал стихи, и мать. Сначала думали, что только от голода, потом смерть пошла косить страшней, чем на фронте. В историю медицины это вошло как джуйлангарский энцефалит. Район оцепили, даже в армию перестали отсюда брать. Со всего Союза съехались лучшие врачи-эпидемиологи, искали источник инфекции.

— Травка у нас растет, кампыр-чапан называется, листочки зеленые, красивые, семена черненькие. Она среди пшеницы попадалась. Чистое зерно тогда все сдавали для фронта, а местные жители лепешки пекли из того, что на току оставалось, на ручных мельницах мололи и с мякиной, и с теми черными семечками. Кто знал, что это яд? Ученые и то не сразу поняли. Каждый день умирали люди — женщины, старики, особенно много детей.

...Я уже знал, как воевал Латыпов, знал, что в боях за Новгородчину стал коммунистом, а про смертельную травку и про возвращение совсем молоденького паренька на пепелище услышал впервые лишь через тридцать восемь лет после трагедии.

Вечный замполитрука вновь читал мне по-узбекски в гостинице «Россия» свои простые стихи о войне, о детстве, о родных краях и вновь о войне, о победе, о том, что смерть фашизму — конец всякой войне. А потом опять говорили о совхозных делах.

— Сейчас серьезно занимаются благоустройством и развитием подсобных хозяйств. Кто не хочет скот держать, за садом не ухаживает — выселяем из коттеджей в двухэтажки.

Унылый когда-то поселок теперь похож на парк. Вокруг каждого из двадцати семи полевых станов совхоза по гектару сада, двадцать семь гектаров винограда, абрикосов, черешни, груш, айвы.

...А сегодня Худояр-ака у меня в гостях проездом в санаторий. Прошлый год совхоз завершил отлично, к новому сезону готов.

— Все кончаем к январю. Хлопкороб должен ждать весну, как кошка ждет мышку,— одними глазами он показывает это и смеется.— Люди имеют право хорошо жить. Они заслужили.

Счастья вам, дорогой Худояр-ака, Почетному гражданину нового узбекского села и древнего Новгорода! Счастья вашим детям, двадцати девяти внукам и будущим правнукам! Счастья вам, вечный замполитрука, счастья и мира!

Ахмед
ИСАЕВ

СРАЖАЮСЬ, ВЕРЮ И ЛЮБЛЮ!

Листая архивные материалы и старые подшивки в библиотеке, я увидел в республиканской газете «Коммунист» за 9 января 1944 года письмо—обращение к фронтовикам. Оно остановило мое внимание: написано в Кировабаде, моем родном городе, древней Гандже, а фамилия под письмом — Эминбейли — была мне знакома.

Я перечитал письмо. Такие послания печатались в те годы нередко, но все же... «Расскажите, где погиб мой отец. Где сейчас сражается его дивизия? Мне уже 14 лет. Я сильный. Я умею стрелять. Хочу в действующую армию вместе с вами сражаться и отомстить фашистам за отца».

Обыкновенные слова, но я уже почувствовал, что это письмо меня не «отпустит». Что я не успокоюсь, пока не узнаю всего, что с ним связано. Как сложилась судьба подростка, охваченного жаждой мщения? Кто он, его отец? В газете помещена фотография офицера Наджафа Эминбейли. Под фотографией — несколько строк. Говорится, что Наджаф был старшим лейтенантом, артиллеристом. Сражался бесстрашно. Погиб в боях за Днепр. Вот, собственно, и все. И я стал искать.

Эминбейли — фамилия довольно распространенная, но мне повезло. Вскоре в моих руках был адрес с данными того, кого я искал.

Поколебавшись, а вдруг это совсем другой человек, я все же пошел старой улицей Низами, свернул в один из переулков и постучал в двери дома, номер которого я получил в справочной.

Открыл мужчина средних лет. Поглядел испытующе. Кивнул:

— Прошу...

На Востоке не принято спрашивать, зачем пришел гость. А я не спешил — приглядывался. Конечно, поговорили о городских новостях, конечно, нашлись общие знакомые, а потом беседа сама как-то свернула к годам минувшим, и стали говорить о войне. Тут-то я и решился рассказать о цели своего визита.

Заур Наджафович задумался, замолчал. Потом, ни слова не говоря, поднялся, ушел на веранду, увитую цветущим вьюном, и вер-

нулся с большим пакетом, завернутым в старую пожелтевшую газету.

— Вы правы: то письмо писал я. А здесь вот — отцовские письма с фронта. Ни одно не пропало... Хотите прочесть?

Писем много. Большие конверты и маленькие треугольники. Одни написаны на аккуратных листах бумаги, другие — на картонках, на оборотных сторонах фотографий, на клочках газет. Почерк четкий, разборчивый, выразительный.

Автор писем — Наджаф Эминбейли — родился в 1904 году в Гандже. Образование получил в Петрограде. Блестяще говорил на русском, свободно владел французским. После революции работал в Кировабаде на производстве, в партийных, советских и хозяйственных органах. На фронт ушел 23 июня 1941 года с должности секретаря горкома партии.

Фамилия эта была мне знакома потому, что в Кировабаде одна из улиц носит имя Идаята Эминбейли. Известный революционер, Идаят вскоре после Октябрьской революции был направлен в Астрахань. Здесь по заданию партии он создал иранскую коммунистическую ячейку. Там же, в Астрахани, в марте 1919 года погиб в бою с белогвардейцами. В одной из книг, изданной в те далекие годы в Москве, я прочел: «Идаят был не только инициатором, организатором этой ячейки, он был ее руководителем и душой». Этим человеком и был воспитан Наджаф Эминбейли. В Идаяте Эминбейли жила несокрушимая вера в победу революции, за которую он отдал жизнь. Та же несокрушимая вера в победу над фашизмом жила и в Наджафе Эминбейли с первого дня войны.

Наджаф — вначале командир минометной роты, затем парторг артдивизиона в 223-й Азербайджанской дивизии — отважно сражался в боях за Грозный, Моздок, Армавир, Сталинград, в битвах на Украине. Письма сохранили многое. Сто одно письмо — жене, сыну, брату... И еще — обагренные кровью документы.

Я читал эти письма в доме сына Наджафа Эминбейли и о многом думал в те минуты.

Вот некоторые из них в переводе на русский язык.

3 января 1942 года

«Душа моя, дыхание мое, Амада! Прими мои приветы, их столько, сколько звезд на небе, сколько цветов на земле. Я чувствую себя хорошо... Все время думаю о вас. Ради бога, береги себя и не позволяй маме нервничать. И о детях заботься...

Родная, чуть не забыл, у нас сейчас праздник. Наверное, ты знаешь, что сыну тетушки Гюльсум Исрафилу присвоено звание Героя Советского Союза. Понимаешь ли ты, что это значит? Исрафил Мамедов стал первым Героем из нашего Азербайджана. Теперь мы можем гордо шагать по земле. Молодец! Я тебя очень

прошу: сразу, как получишь это письмо, зайди к тетушке Гюльсум. Поцелуй ее от меня. Скажи, что поздравляю. Пусть тысячу лет живет! Шутка ли, такого храбреца взрастила! Пусть высоко держит голову, как гора Капаз, пусть душа ее будет чистой и прозрачной, как вода Гек-Геля. Пока передай эти слова, а на днях я ей сам напишу подробное письмо.

Детям пребольшущий привет.

Верно любящий тебя Наджаф».

5 февраля 1942 года

«Мой цветочек, дорогой сынок, вдали от Ганджи думаю о тебе. Мне кажется, что ты, как прежде, учишься в школе на «отлично». Учителя, наверное, тебя любят. Учись, узнавай побольше, будь ученым. Приноси пользу народу. Сыночек, я так хочу, чтобы ты исполнил все мои желания! Ты сам выберешь себе профессию. Только не забывай об одном: будь верным сыном своей Отчизны».

20 мая 1942 года

«Заур-джан, мама мне подробно написала о садике, который ты посадил. Знаешь, как я обрадовался! Большое спасибо! Ты сделал важное дело. Ничего, что тяжек был труд, когда соберешь урожай, все забудется. Цвети, мой малыш!

Только смотри, родной, не огорчай мать и сестренку. Будь к ним внимателен. Ты ведь сейчас мужчина в доме. Целую тебя...»

27 мая 1942 года

«Надежда, вера моя! Прочти это письмо про себя, детям его читать не нужно. Не огорчай их. Завтра отправляемся в путь. Свидимся ли когда-нибудь — не знаю... Но если нет — мне бы только увидеть вас в последний мой миг. Душа полна слов. Нет, смерти я не боюсь. Моя жизнь принадлежит Родине. Но эта разлука с вами так мучительна!..

Не спускай глаз с детей, боже тебя упаси называть их несчастными. Нельзя им ходить с низко опущенной головой. Что бы со мной ни случилось, не будь к ним слишком строгой. Береги мать, она легкоранимый человек, стань ей опорой... Держи голову выше, будь горда, моя честь, доблесть, мое достояние».

16 июня 1942 года

«Пишу тебе совсем немного. Извини. Вот уж несколько дней мы в пути. Куда? Не знаю. Знаю только одно, что это дорога на фронт. Только бы дойти. Только бы сразиться с врагом. Только бы вернуться с победой. Дорогие мои, очень скоро вернусь. Будьте здоровы. Целую всех, всех, всех...»

22 сентября 1942 года

«Любимая моя Амада! Получил твое письмо. Читаю его под деревом. Спасибо за теплые слова. Мне даже хотелось заплакать... Может быть, я только теперь узнаю тебя по-настоящему. Выше нос, милая! Живи тысячу лет! Как ты чудесно справляешься с детьми, как ты здорово меня поддерживаешь!..

Несколько раз я перечитывал твое письмо, сердце переполнено радостью. Милая, не переживай из-за меня. Я был немного не в себе, но сейчас все прошло. Все у нас хорошо — одеты, обуты, кормят сытно. Ни в чем не нуждаюсь.

Береги себя, детей. Милая, о матери не забудь! Постарела она, ослабла, не позволяй ей грустить. Скажи ей, что я вернусь, обязательно вернусь...»

28 октября 1942 года

«...До праздника, до дорогого Октября недолго ждать осталось. Живите весело, радостно. Жизнью своей, кровью своей мы защищаем завоевания Октября.

Враг слабеет, скоро конец ему. Двери Кавказа станут для фашистов кладбищем! Победа будет за нами, обязательно за нами, моя дорогая Амада!»

15 ноября 1942 года

«Заур, мальчик мой! 12 января тебе исполнится 13 лет. Зарежьте того барана, что для меня бережете. Пируйте, считайте, что я с вами. По-настоящему веселитесь. Если сосед наш ашуг жив, позовите и его, пусть сыграет «Янаг Кереми» [1]. Звуки саза дойдут до моего слуха. Я тоже присоединюсь к вашему веселью.

Заурчик, есть такой обычай. Отец на день рождения делает сыну подарок. Как мне быть? Я, кажется, нашел выход. Я обещаю тебе, что ко дню твоего рождения я подобью 13 танков. Я тебе об этом сообщу особо. На каждый твой год по одному танку. Понравится тебе мой «подарок»?..»

14 декабря 1942 года

«...Я жив и здоров. Враг отступает, он не в силах противостоять мощным ударам нашей армии. И никогда не сумеет противостоять...

Не ленись, пиши мне чаще. Каждый раз, когда я получаю весточку из дома, радости моей нет предела.

Дядя Идаят всегда говорил, что орел мужает в полете, а человек в труде. Милый, не бойся работы, труд тебе поможет. Наш народ испокон веков трудолюбив, мы — певцы свободы и справедливости. И ты будь таким.

---

[1] «Янаг Кереми» — азербайджанская народная мелодия.

Чем ты сейчас занимаешься? Как помогаешь матери, бабушке? Не обижаешь ли ты сестренку?! Что ты читаешь, помимо школьной литературы? Пиши подробнее, мой маленький мужчина.

До свидания, будь здоров.

Скучающий по тебе отец Наджаф».

23 января 1943 года

«Душа моя, прости, никак не мог найти время написать тебе. Письмо, начатое 5 января, допишу только сегодня. Я получил важное задание. День и ночь сражались. Сколько деревень, городов, железнодорожных станций мы отбили у врага! Фашисты не выдержали. Разбежались кто куда. Амада, когда я вижу радость, веселье освобожденных нами людей, я вспоминаю тебя. Вспоминаю детей. Сердце поет. Боже мой, сколько зла причинили народу эти звери! Гнев, бешенство душат меня. Хочу отомстить им во сто крат сильнее. И мы отомстим. Не дадим ни минуты покоя врагу... До последнего клочка земли — все очистим от них...»

17 февраля 1943 года

«Милая, поздравляю! Вчера меня повысили в звании. Стал старшим лейтенантом. Знаю, что теперь я должен сражаться еще мужественнее. Поверь, что ради Родины я готов на все. Если нужно, в огонь пойду глазом не моргнув. Думаешь — он, мол, все о себе да о себе. Нет? Что же, такова действительность, дорогая, уж пойми меня правильно. Иначе сейчас быть не может. Этого требует Родина.

Если со мной что-нибудь случится, мои товарищи тебе напишут. Но ты не бойся, будь спокойна, мужественна, моя бесстрашная Амада. Родина никогда не оставит вас в беде. Выучи детей, пусть растут грамотными и самое главное — честными».

7 марта 1943 года

«Жизнь моя, здравствуй!

Я сидел в окопе. Мне сообщили, что мне пришла посылка. И с ней мне передали письма Заура и Занбаг.

Вот уже несколько дней льет дождь, ветер не стихает. Всюду грязь, слякоть. Ваши теплые слова согрели мой окоп, обогрели мое сердце. Так я соскучился по ласке! Эти строки я пишу в окопе. Идет сильный дождь — он мешает, и еще залпы вражеских орудий мешают тоже. А все-таки сердце мое прямо прыгает от радости. Я рад, что от детей получаю такие теплые письма. Но ты, моя прекрасная Амада, меня обидела. Я ведь просил тебя ничего мне не посылать, не отрывать от детей. Милая, больше не делай этого. У меня все есть, все мы получаем. Думайте о себе. Лишь одного я хочу от вас: писем и еще раз писем. Вот и все.

Завтра женский праздник. От всей души поздравляю тебя. Во дворе я посадил розы. Цветут ли они? Я хотел бы усыпать ими всю землю под твоими ногами. Будь счастлива!

Целую твои ждущие глаза.

Наджаф».

13 марта 1943 года

«...Ты не можешь себе представить зверства фашистов. Они способны на все. Собрали сотни 15—17-летних юношей и девушек, чтобы угнать в Германию. Нас отправили спасать их. Мы нанесли внезапный удар. Фашисты растерялись. Чтобы не отдавать нам, они решили сжечь людей заживо. Но мы, к счастью, успели помешать. Враг не смог выполнить этого чудовищного замысла...

Придет время, когда кровопийцы-палачи ответят за свои грязные преступления, получат по заслугам».

5 мая 1943 года

«Заур, сыночек мой... Если б ты знал, как ты обрадовал отца присланными фиалками. Только посмотрел и сразу подумал, что ты их собрал в Багмане. Как будто всю Ганджу ты мне подарил... Живи и здравствуй, опора дома моего!

У меня к тебе есть одна просьба, милый. Ты же знаешь, как твой отец любит стихи. Найди мне томик стихов Самеда Вургуна, пошли их в часть. Это, по-моему, нетрудно».

20 июня 1943 года

«Куда я ни иду, куда ни посмотрю, всюду вижу своих шалунишек Заура и Занбаг. Смотрю, как легко ступают они по земле. И с каждым их шагом сердце мое переполняется гордостью, оно готово взлететь.

Ты пишешь, что дети тебе помогают по хозяйству. Ты мне как будто целый мир подарила. Не бойся загружать их, пусть растут трудолюбивыми. Уроков пропускать не разрешай, постарайся, чтобы они хорошо учились. Не спускай с них глаз! Не знаю отчего, но я так боюсь за детей...

Я и в школу написал письмо. Вчера получил ответ. Когда узнал, что дети мои отличники, верь, готов был взлететь от радости. Умница, свет моих очей, это твое воспитание, твоя работа. Всем родным, соседям передай привет. Радости вам».

22 июня 1943 года

«Сынок, ты молодец, что сдал экзамены на «отлично». Будь счастлив, живи тысячу лет! Сынок, мне пишут, что ты, как настоящий мужчина, заботишься о семье. Живи и здравствуй! И не тревожься, осталось так немного... Отцы и сыновья, мы сражаемся плечом к плечу.

Заурчик, тигренок мой, опекай Занбаг. Девочки очень любят ласку, заботу. Будь ей и мудрым братом, и ласковым отцом. Вместо меня заплетай ей косы, только хвостики оставляй незаплетенными. Помнишь, как я Занбаг заплетал косы?.. Не скучайте, мало уж осталось.

Отец Наджаф».

7 сентября 1943 года

«Многоуважаемый брат Гаджи!

Мы сидим со старшим сержантом Абдулали в окопе. Над головой со свистом пролетают снаряды. Мощные залпы «катюши» внушают врагам страх... И в промежутках между боями я пишу короткие наблюдения в ответ на твое письмо. В письме к героическим бойцам азербайджанского народа от 28 апреля не зря сказано: «Передайте наш горячий привет украинскому народу». Вот так мы помогаем освобождать братскую землю. Будь здоров. Сейчас очередь за нами. С другом Абдулали мы должны идти на передовую. До встречи.

Твой брат Наджаф».

12 сентября 1943 года

«Свет моих очей, Амада!

Я послал фотографию, дошла ли она? Сфотографировались все в полной форме. Ты только посмотри, каких сыновей произвели на свет матери! На фотографии я выгляжу худым — не обращай внимания. Я молод и силен, как пехлеван...

Настроение хорошее. Проучили врага. С каждым днем мы отгоняем фашистов на запад. Как отцы говорили, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет...

Хотя бы издалека, совсем издалека взглянуть на вас. Хотя б краешком глаза...»

Это было последнее письмо нашего земляка. Вслед за ним пришла похоронка: «Старший лейтенант Наджаф Эминбейли геройски погиб 29 сентября 1943 года...»

А вот еще одно письмо. Его прислал Герой Советского Союза Мамед Мамедов — верный фронтовой друг Наджафа Эминбейли. Они с мая 1942 года до последних дней жизни Наджафа были рядом. Майор Мамедов в то время был комиссаром, а впоследствии замполитом артиллерийского дивизиона, в котором воевал парторг Наджаф Эминбейли. До конца своей жизни он остался самым близким другом осиротевшей семьи Эминбейли.

«Утрата Наджафа была для нас особенно тяжелой. Горькая весть потрясла всех наших бойцов, потому что Наджаф был дорог всем. Жаль, что не сумели его сберечь.

...Было 29 сентября 1943 года. На Украине шла борьба не на жизнь, а на смерть. Отвоевывая каждый клочок земли, мы подошли к берегам Днепра. Вот-вот должны были переправиться.

В полдень бодрым шагом ко мне подошел Наджаф, с гордостью сообщил, что есть хорошие новости, он получил из Ганджи письмо, дети живы-здоровы. Очень он был радостный. Ушел улыбаясь. А вечером в самый жаркий момент схватки мы потеряли его навечно. Мы похоронили его с погибшим в этом бою Абдулали Абасовым вблизи деревни Богдановка. Прошу вас, не горюйте. Мы отомстим за нашего друга, геройски погибшего в боях за Родину. Находим утешение лишь в уничтожении оголтелых фашистов. Если останусь жив, обязательно навещу Заура и Занбаг».

Прошло много лет.

Однажды Заур Эминбейли сел за руль. Рядом сидел белый как лунь дядя Мамед. Машина проделала путь от Гек-Геля до берегов Днепра. Когда проезжали Моздок, дядя Мамед разложил на коленях потрепанную старую военную карту. По дорогам войны, минуя места былых сражений, они прибыли на украинскую землю. Вот место последнего привала Наджафа Эминбейли: деревня Кулеши Петриковского района. Все вокруг переменилось, узнать невозможно. Построены гидроэлектростанция, водохранилище, зеленеет молодой лесок.

Как хорошо, что ту поляну не тронули! Дядя Мамед все смотрел, высматривал. Гордо стояли стройные ели. Он подошел к одной из них, измерив шагами поляну, сказал:

— Здесь!

Через 34 года после гибели прах двух бойцов прибыл на родную землю: Наджафа — в древнюю Ганджу, Абдулали — в Баку, на берега Хазара. В 1941 году Наджафа провожали в путь жена и двое детей. Встретили на родной земле девять внуков. Шестеро из них были детьми Заура, трое — Занбаг.

И вновь я еду в древнюю Ганджу. Я гость Заура Эминбейли. Мы говорили о судьбе его отца, о счастливой жизни детей. В это время кто-то постучал в дверь. Открыли.

— Наджаф пришел,— сказали нам.

— Наджаф?..— невольно вырвалось у меня.

Заур объяснил:

— Это мой старший сын. С занятий вернулся.

Внук парторга-артиллериста Наджафа — студент Наджаф!

Жизнь не по кругу движется — восходит по спирали. Будь счастлив больше, чем дед твой, Наджаф Эминбейли, но оставайся таким же надежным и верным, как он!

Александр
СГИБНЕВ

«ВСТАНЬТЕ, ДЕТИ!..»

— Встаньте, дети!..

Во всех классах этой школы одинаково проникновенно звучат слова, зовущие ребят в торжественной тишине прослушать рассказ о советском герое, павшем неподалеку отсюда в бою с ненавистными гитлеровцами.

За окнами багряная осень. За окнами свободная земля и народ свободный. И эту свободу, этот покой принес сюда Григорий Кунавин, его друзья принесли.

— Встаньте, дети!..

Учителя начинают рассказ о герое и подвиге, который должен волновать внуков так же, как всколыхнул их дедов подвиг Кунавина в невозвратном праздничном сорок четвертом.

Деды хорошо помнят, как все было.

Рассвет 26 июля 1944 года, ясный и чистый, обрушился на землю огнем и грохотом, смешал все в ураганной круговерти. Герасимовичи — польская деревушка — сжались в испуге и надежде: «Слава богу, свобода близка, русские идут!..»

Свободу нес человек в красноармейской гимнастерке, в солдатских кирзовых сапогах, пропотевшей линялой пилотке с красной звездочкой.

Григорий Кунавин — один из освободителей, ефрейтор, парторг стрелковой роты.

И он не из новичков. У старых коммунистов, у комиссаров научился говорить с людьми просто и убедительно, так, чтобы слово становилось силой. Накануне боя Григорий, как и другие партийцы, рассказывал, какую страшную судьбу изведала Польша, оказавшись в неволе. Пепелища вокруг: «Мы их видим своими глазами». Нищета: «Дети не знают, что такое сахар, отказываются от него, когда угощают красноармейцы». Концлагеря на каждом шагу: «Один Майданек, о котором писали вчера газеты, хуже любого ада!»

Парторг доставал из планшета тетрадь с выписками:

— Послушайте, товарищи, что заявил гитлеровский наместник в Польше генерал-губернатор Франк: «Отныне политическая роль польского народа закончена... Мы добьемся того, чтобы стерлось навеки само понятие — Польша».

Сам Григорий Кунавин потерял под Москвой брата Ивана, второй брат, Андрей, писал ему с фронта — из-под Воронежа, Курска, с Украины: храбро дрался, три боевых награды имеет.

А Григорий не сразу ушел на фронт: не отпускали, потому что бронь имел,— трудился на железной дороге. «И не приходи больше,— отчитал Кунавина военком.— Здесь тоже война!» Но Григорий написал всесоюзному старосте Калинину: «Помогите, чтобы отпустили в действующую армию». Еще добавил в конце: «Дорогой Михаил Иванович, и чтобы не было сомнения, что тут без меня обойдутся, докладываю, что я обучил себе замену...»

— Так что, ребята, утром наступаем! — говорил Кунавин.— Гитлеровские оборонительные позиции преграждают нам путь в Германию. Задача очень ответственная. Не подкачаем?

— Не подкачаем! — отвечали солдаты, преисполненные веры в свою силу и святость дела освобождения от фашизма.

Обошел всех, кто сидел в окопах, готовый к броску через реку. Потом пришел к командиру своей роты, доложил, что задание замполита батальона выполнил, настроение во взводах боевое. Капитан разглядывал карту, хотя и без карты хорошо представлял путь роты на высотку, прозванную Островерхой. Она — в центре нашего наступления, а на ней, почти соседствуя, дремлют укрытые пулеметные гнезда, дзоты тщательно замаскированы. Разведчики докладывали: у всех блиндажей оборудованы площадки для станковых пулеметов, минометов, тут могут быть и фаустники.

Вот два свидетельства, запечатлевшие тот рассвет и последующий бой:

«Тишина,— пишет полковник Войска Польского Януш Пшимановский, который находился на нашем участке в качестве офицера связи от польской части, действовавшей рядом.— Легкий плеск воды ленивой Сидерки не вызывает подозрений у гитлеровского часового. Вода обхватывает ноги, доходит до пояса, затем до груди. Взвод под прикрытием темноты и тишины спокойно и осторожно переправляется. Кунавин — впереди. Он высоко поднял автомат и гранаты, чтобы не замочить. Командир взвода — замыкающий, следит, как бы кто не отстал, не сбился с брода.

И вот берег. Травянистые кочки, кустарники ольхи и болото. Опершись грудью о травянистые кочки, воины минуту молча отдыхают. Доносится шепот: «Вперед!»

Теперь из политдонесения, хранящегося в архиве Советской Армии: Короткий огневой налет артиллерии. Красная ракета над головой.

— За Советскую Родину! За братскую Польшу! — понеслось от бойца к бойцу.

До деревни — двести метров. Сто пятьдесят. Сто... Сопротивление вялое, но тут с высоты, господствующей над лугом, над полем,

над перелеском, ударил пулемет. Еще один, еще. Солнце выкатилось, и как на ладони стали видны падающие в траву солдаты. Один пулемет ближе всех других к Кунавину. Парторг бросается вперед, перебегает, припадает к земле среди кустарника, быстро ползет к огневой точке, он одержим одним: не дать врагу погубить роту! не допустить срыва атаки!

По ложбинке, скрывающей его, Григорий подползает все ближе. Ловко, тренированно брошена одна граната. Другая — вслед. Пулемет замолк, а когда рота поднялась, он вновь ожил. Сейчас на поле боя словно бы двое — фашистский пулеметчик и советский воин коммунист Григорий Кунавин. Далеко — на Урале, на станции Синарская — мать и жена, здесь, совсем близко, польская деревня, ждущая их, советских солдат.

И тогда ефрейтор Кунавин, который ближе всех к вражескому пулемету, обеспечит успех родной роте, иного выхода нет, кроме как броситься на вражеский пулемет и накрыть его своим телом. Иначе он выбьет всю роту... Так и было — пулемет захлебнулся. Использовав этот момент, рота, как один человек, поднялась в атаку, стремительно ворвалась в деревню.

Чуть раньше кто-то из бойцов красным флажком атаки прикрыл мертвое лицо героя на высотке.

А потом состоялся сельский сход. Не было длинных речей, общие чувства были выражены в постановлении, написанном на двух языках — польском и русском. Вот его полный текст:

«Мы, жители польской деревни Герасимовичи, узнали имя героя, который сердцем своим прикрыл пулемет врага, чтобы быстрее пришла свобода в наш дом, чтобы вырвать нас из лап немецкого зверя.

Григорий Павлович Кунавин пришел к нам, на нашу землю, с далекого Урала воином-освободителем.

Его сердце пробили пули врага. Но он проложил таким же, как сам, отважным бойцам Красной Армии дорогу к победе. Он сражался за наше счастье, за то, чтобы враг никогда не ступил на порог нашего дома.

Мы поднимаем имя русского солдата Григория Кунавина как знамя великого братства русского и польского народов.

Мы собрались в селе, где еще дымятся развалины наших домов, где вместо жилищ — страшные пепелища. Это следы разбойничьих дел немцев. Но сквозь дым пожарищ и слезы наши глаза видят завтрашний день, залитый ярким солнцем...

Имя русского воина Григория Кунавина будет для нас всегда озарено светом этого солнца как имя человека, отдавшего жизнь, чтобы навсегда разогнать тучи.

В знак благодарности русскому брату-освободителю общее собрание жителей деревни Герасимовичи постановляет:

1. Занести имя русского воина Григория Павловича Кунавина навечно в список почетных граждан польской деревни Герасимовичи.

2. Высечь имя его на мраморной плите, которую установить в самом центре деревни.

3. Просить присвоить школе, где учатся наши дети, имя Григория Кунавина.

4. Учителям каждый год начинать первый урок в первом классе с рассказа о воине-герое и его соратниках, чьей кровью для польских детей добыто право на счастье и свободу. Пусть их сердца наполнятся гордостью за русского брата, воина-славянина. Пусть их понимание жизни начнется с мысли о братстве польского и русского народов».

И сегодня, спустя десятилетия, польские крестьяне свято чтут память русского героя. В 1966 году недалеко от места, где шел ожесточенный бой, был открыт памятник советскому солдату, совершившему подвиг, который стал символом интернационализма и братства. Под изображением звезды высечена надпись на русском и польском языках:

«Здесь покоятся погибшие геройской смертью в борьбе с гитлеровскими захватчиками за свободу польского народа Григорий Кунавин и его боевые товарищи. Июль 1944 года».

Год спустя, когда была построена новая школа, ей присвоили имя Григория Кунавина.

...Памятник в центре деревни; первый урок, посвященный Кунавину; поиск документов и воспоминаний о герое; переписка с земляками Кунавина — все это зримые свидетельства глубокой благодарности и сердечных чувств, которые не гасит время. И тут важно отметить, что в пору разгула контрреволюции, антисоветских вакханалий честные поляки не дали себя сбить с толку. У памятника Кунавину не исчезали живые цветы. Ни один сентябрь не начинался без рассказа о светлом и великом подвиге воина-интернационалиста.

— Встаньте, дети!..

За школьными окнами — 1 сентября 1984 года. Однако все происходит, как в восьмидесятом, шестидесятом, сорок четвертом. Я не раз бывал в Герасимовичах и сцена в школе живет во мне. В класс приходит молодая учительница, которая родилась в мирную, послевоенную пору. И она говорит:

— Посмотрите, ребята, в окно. Русский брат со своими товарищами бежал в атаку во-о-н там... А пулемет швабов, проклятых фашистов, бил по русским жолнежам, красноармейцам, с той горки, на которой мы с вами сегодня посадим молодые деревца...

Тут голос учительницы, должно быть, срывается: прошлое, о котором она знает только из книг, фильмов, воспоминаний отцов,

рисует девушке страшную картину, и она небывало волнуется. Потом продолжает:

— Он, Григорий Кунавин, под огнем все же преодолел этот путь... Смотрите, дети,— путь от новой библиотеки до памятника... Тогда, конечно, тут было голое место и гитлеровский пулеметчик все отлично видел. Но он видел только тех, кто бесстрашно атаковал его. А русский Кунавин видел будущее и потому ради него без страха пошел на смерть. И навсегда остался с нами, не вернулся на родной Урал, к своей семье — жене, детям. Настоящие воины-коммунисты, такие, как Кунавин, и сегодня мешают врагам разъединить два наших славянских народа-брата. И никогда, прошу вас, дети, во время рассказа об этом не садитесь. Пусть будет так всегда

Давид
НОВОПЛЯНСКИЙ

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ....

Много лет дочь разыскивала могилу отца, погибшего в сорок первом где-то в районе Новочеркасска. Много лет получала она одинаковые ответы: «не значится», «сведений не имеется», «ничего не известно». И, уже теряя надежду, написала в Новочеркасский гороно: не помогут ли школьники?

Узнала об этом письме учительница английского языка седьмой школы Зоя Александровна Смольская, классный руководитель 7-го «Д», и попросила: «Дайте нам». Класс мечтал о таком деле — серьезном и трудном. Учились там обыкновенные ребята, для которых сопереживать, действовать, искать — живая потребность. И семиклассники отправились к братским могилам, отыскали старожилов. Думаете, двадцатый, сороковой, сотый поход увенчался успехом? Ничего подобного. Тем временем Полина Жукова, Наталья Занина, Светлана Калинина, другие ученицы достали в военкомате адреса бывших воинов 339-й стрелковой дивизии, в которой служил Михаил Румянов. Но старые солдаты, живущие в Новочеркасске, ничего не могли рассказать о комиссаре.

Что ж, попросили у них адреса других ветеранов. И стали слетаться письма. В них оживали грозные дни конца сорок первого с пылающими донскими станицами и городами, с шумными толпами у военкоматов, с пронзительным воем сирен воздушной тревоги. В первые месяцы войны в Ростове и области было создано шестьдесят девять истребительных батальонов, семьдесят партизанских отрядов и групп. Осенью сформировалась Ростовская дивизия — 339-я. Большинство ее воинов — жители Дона и Кубани. В ней были полки Таганрогский, Сальский, Ростовский. Военкомом Ростовского — 1137-го — стал Михаил Михайлович Румянов.

Родился он в 1900 году в Шуйском уезде. С шестнадцати лет работал Михаил на местной мануфактуре, где сблизился с революционерами и вскоре стал убежденным большевиком. В девятнадцатом году вступил одновременно в партию и в Красную Армию, получив разом партийный билет и боевое оружие. Воевал до конца гражданской и уже больше не снимал армейской шинели — защите Родины была отдана вся его жизнь.

После окончания Военно-политической академии служил Румянов на Украине, сначала в полку, а с 1936 года начальником

политотдела дивизии. Прославленной дивизии, с большими традициями. «Краснознаменная, смелее в бой» — так начиналась песня, сложенная о соединении, где служил Михаил Румянов. Сам он с началом Великой Отечественной рвался в бой — не хотел оставаться при штабе в аппарате политотдела. Семь раз подавал он рапорт: отпустите на передовую, в полк. Из Москвы пришло на Южный фронт предписание: удовлетворить просьбу. Михаил Михайлович приехал из политуправления фронта и в тот же день принял боевое крещение. Дивизия вела под Ростовом неравный бой с танками генерала Клейста, прошедшими по Польше, Франции, Балканам и не знавшими пока поражений.

Быстро подружился Румянов с красноармейцами, коммунистами — посланцами ростовских заводов, фабрик, вузов, школ... К его полку присоединилась молодежь окрестных городков и поселков, станиц и хуторов. Комиссара полюбили, за ним готовы были идти на любые испытания.

Наши войска остановили продвижение врага в сторону Новочеркасска, и 9 ноября Ростовская дивизия заняла рубеж обороны. В понедельник 17-го был получен приказ атаковать противника. Полк комиссара Румянова начал бой за село Кутейниково. Оно дважды переходило из рук в руки. А дальше? Как освободили это село? Не там ли погиб комиссар полка? Если там, то почему в Кутейникове нет и никогда не было его могилы?

Этими вопросами задались красные следопыты.

Теперь поиск продолжался в селе Кутейникове Родионово-Несветайского района. Как рассказать о следопытах сельской школы, которыми руководил бывший фронтовик Федор Николаевич Коновалов? О мальчиках и девочках, родившихся тут через двадцать пять лет после гибели комиссара Румянова. Об их горячих сердцах. О непреклонных характерах. Вот пример.

На традиционном уроке мужества шестиклассник Коля Кириленко вдруг объявил: «А у моей бабушки — солдатская ложка». Все заинтересовались: Откуда? Какая? Выяснилось, что однажды в занятое врагом Кутейниково проникла наша разведка и один красноармеец был убит. Колхозницы похоронили его, а найденную в кармане металлическую ложку сберегли... И вот на ней теперь ребята разглядели точечный пунктир: «В. Г. Сазонов, гор. А». Конечно, загорелись: надо найти этот город, разыскать семью отважного разведчика! Массу писем написали: в Астрахань, Алма-Ату, Ашхабад, Абакан... Велика наша страна, городов на «А», пожалуй, сто — не меньше. Пришло свыше пятидесяти неутешительных ответов. Но поиск настойчиво продолжался. Города на «А» получали запросы год, второй, третий и в свою очередь связывались с местами, куда, возможно, переехали родные...

И, кто ищет, тот всегда найдет, как поется в старой доброй

песне. Внезапно из Сочи примчалась в Кутейниково сестра Владимира Георгиевича Сазонова — Раиса Георгиевна, участница Великой Отечественной войны. Почти одновременно приехали из разных мест еще две сестры и брат. Все они жили когда-то в Армавире. Оттуда, из Армавира, призван Владимир на войну, туда же пришли его письма с Дона. Солдата считали пропавшим без вести где-то в районе Новочеркасска. Лишь теперь сестры и брат узнали, как он погиб, нашли могилу, которую тщетно искали много лет. В школьном музее появился портрет бесстрашного разведчика, любовно собранные материалы о его жизни.

На счету следопытов Кутейниковской школы оказалось немало таких дел. Копился опыт. И вот теперь ребята по крупицам воссоздавали этапы фронтового пути комиссара Румянова. Участники боя рассказали, что ночью комиссар повел батальон в обход села и на рассвете поднял бойцов в атаку: «Вперед, за Родину!» Одним из первых ворвался Румянов в Кутейниково и здесь геройски погиб. Председатель совета ветеранов 339-й дивизии Иван Иосифович Сцепуро написал, что военком Ростовского полка был похоронен с почестями в присутствии заместителя начальника политотдела дивизии Басова. Юные следопыты вскоре разыскали Василия Ивановича Басова. Он хорошо помнил: тело Михаила Михайловича Румянова предано земле на краю хутора Гребцово — это в нескольких километрах.

Действительно, здесь — безымянная братская могила. Ее свято бережет колхоз имени Чапаева. Воздвигнут памятник. Поставлена ограда. В День Победы сюда приходят рабочие, колхозники. «В этой могиле,— подтвердил В. И. Басов,— вместе с военкомом части похоронены другие воины 1137-го полка. Список я передал тогда колхознице и просил сохранить...»

Список? Значит, записаны были фамилии? Директор школы Ф. Коновалов выступил по колхозному радио и попросил всех — молодых и старых — поискать, не сохранился ли список. И вот что рассказала старая колхозница Раиса Михайловна Кравченко: «Моя старшая дочь — Нина принесла список и велела беречь как зеницу ока. Мы спрятали его в икону. Когда попал в нашу избу снаряд, все было разбито, но список мы отыскали, сохранили. А вскоре после войны внучка отнесла его, кажется, в сельсовет. Но мы переписали...» Женщина показала листок, на котором кроме фамилии Румянова перечислены погибшие в том бою Д. Н. Шишов, И. С. Сумской, Суслов, Болгарей, Поперечный... К сожалению, не все фамилии переписаны с инициалами, подлинник надо еще отыскать...

Уезжая в Ростовский полк, комиссар Румянов оставил семью — жену и дочь — в Днепропетровске. Им предстояло эвакуироваться на Урал, как будто в Челябинск, и Михаил Михайлович послал туда

до востребования две открытки. Затем написал в Москву для передачи по радио: «Прошу откликнуться жену комиссара Румянова — Анну Петровну и дочку Клару...» Когда диктор Юрий Левитан читал по Всесоюзному радио эти письма, комиссара уже не было в живых. Анна Петровна слушала и не верила похоронке, не смогла и не захотела поверить. Михаил жив, он просит откликнуться, он ждет писем! И она подробно описала мужу, как эвакуировалась на восток, как везла с собой семьдесят пять малышей — детей вольнонаемных работников госпиталя. Этим малышам коммунистка Анна Петровна Румянова стала второй матерью.

Трудное путешествие кончилось за Уралом. «Детский сад» нашел приют в деревне Большая Погорелка, близ Шадринска, нынешней Курганской области. Анна Петровна не только вывезла, спасла детей, но и три года их растила, воспитывала. Ее наградили за это орденом «Знак Почета». Она в тылу делала то, что муж вершил на передовой,— сражалась за наше будущее! Многие ее подопечные стали потом хорошими рабочими или инженерами; среди воспитанников жены комиссара полка — композитор, известный врач, полковник ракетных войск, офицеры Военно-Воздушных Сил и Военно-Морского Флота...

А дочь комиссара?

Клара после войны закончила школу, поступила во ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии. Она снялась в кинокартине «Воскресение» по роману Л. Н. Толстого, а затем в других фильмах. Особую популярность киноактрисе Кларе Михайловне Румяновой принес многосерийный «Ну, погоди!» — мультипликационный фильм, полюбившийся малышам и взрослым и отмеченный в различных странах мира. Миллионам советских зрителей знакомы голоса неуловимого зайца из «Ну, погоди!», а также всеобщей любимицы Чебурашки. Это голос Клары Румяновой. Успешно выступает она и в концертах. В 1979 году К. М. Румяновой присвоено почетное звание заслуженной артистки РСФСР.

А однажды — лет за шесть до этого — школьники Новочеркасска вдруг увидели на красочной афише ее имя: в Ростове-на-Дону шел киноконцерт «Товарищ кино». Как раз в то воскресенье собирались ребята-следопыты написать Кларе Михайловне, что поиск продолжается и след, кажется, найден. Ведь она все еще на запросы об отце получала стандартные: «Ничего не известно». И вот поздно вечером, когда последний гастрольный концерт уже начался, у входа в ростовский Дворец спорта появился паренек без билета. Он предъявил конверт — письмо от юных следопытов, и его пропустили за кулисы. На строгие вопросы взрослых настойчивый красный следопыт деловито отвечал: «Прибыл лично к товарищу Румяновой!» Потом Сережа Смольский вручил дочери комиссара

пакет, она распечатала и — зарыдала... К ней прибежали друзья. Артисты протягивали мальчику руки, благодарили. Его обнимали, целовали. Его угощали самым вкусным, что имелось в буфете, а домой признательные товарищи Клары отправили Сережу на легковой машине. На другой день участники киноконцерта уехали в Москву, а Румянова — в Кутейниково, Гребцово. Туда, где сражался и остался навсегда ее отец.

Так в 1973 году завершилось одно из скромных, но славных дел следопытов: братская могила на краю хутора перестала быть безымянной. Здесь открыта мемориальная доска с фамилиями погибших героев. Первая строка гласит: «Румянов М. М.— комиссар полка». В селе Кутейникове вслед за улицей имени разведчика Владимира Сазонова появилась улица имени боевого военкома Михаила Румянова. Это имя присвоено и пионерскому отряду. Уже три поколения «румяновцев» сменились в этом отряде. А в школьном музее боевой славы — большой портрет комиссара 1137-го Ростовского полка. Ему посвящают школьные сочинения и стихи. О комиссаре, его жене и дочери тут сложена песня. Много новых забот у молодых следопытов, у их наставника Ф. Коновалова, которому ныне присвоено звание заслуженного учителя школы РСФСР.

Не так давно в районе решили перенести братскую могилу из скромного хутора Гребцово в колхозный центр Кутейниково. Хуторяне дружно воспротивились: «Наш комиссар! Мы давно породнились с ним, с его семьей и не отдадим священной для нас могилы». Женщины написали в область письмо: «Сюда, на могилу комиссара, мы приходим плакать над своими мужьями и сынами, над односельчанами, над теми, кто погиб под Сталинградом и Берлином. Не отдадим могилы своего комиссара!..» Как быть? В Ростове посоветовали обратиться к семье М. М. Румянова — пусть за ней будет последнее слово. Жена и дочь телеграфировали: «Мы согласны с жителями хутора Гребцово».

Могила комиссара и его однополчан осталась на месте. Колхоз имени Чапаева построил здесь новый памятник. Растет, богатеет земля, где в неравном бою Ростовский полк, вооруженный лишь винтовками и пулеметами, связками гранат да бутылками с бензином, остановил продвижение фашистских танков. Земля, где комиссар поднял за собой в атаку своих бойцов и за которую первым отдал свою жизнь.

Подрастают школьники, обновляются пионерские отряды, и один из них всегда будет с гордостью носить имя комиссара Михаила Румянова. Ребята знакомятся с его жизнью, берегут его могилу. Они стремятся как можно больше узнать о тех, кто не вернулся с войны, как можно лучше, достойнее продолжить их дело.

Да, помнит мир спасенный...

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ...

ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

НИ ШАГУ НАЗАД!

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, МЫ ПОБЕДИЛИ!

...И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

КОМИССАРЫ
НА ЛИНИИ ОГНЯ.
1941—1945.
На земле.

Заведующий редакцией *К. К. Яцкевич*
Редакторы *В. Н. Светцов, А. В. Горенков*
Художник *Ю. Н. Маркаров*
Художественный редактор *Г. Ф. Семириченко*
Технический редактор *Е. В. Васильевская*

ИБ № 4541

Сдано в набор 25.06.84. Подписано в печать 05.11.84. А00198.
Формат $60 \times 84^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 29,30. Уч.-изд. л. 29,87. Тираж 200 тыс. экз. Заказ № 4650.
Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



...ш (9881) ...трального Комитета и МК ВКП(б).

1 р. 30 к.

Среда, 9 мая 1945 г.

ЦЕНА 20 КОП.

Ве... нар... побе... Да зд... ПРАЗ...

Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил

Акт о военной капитуляции

...Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Коман-
...соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил
...море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под
...мандованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и од-
...рховному Командованию Союзных экспедиционных сил.

...ское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем не-
...ющим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам,
...германским командованием, прекратить военные действия в 23-01
...-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих
...дятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их
...цество местным союзным командующим или офицерам, выде-
...и Союзного Верхов юго Командования, не разрушать и не при-
...ений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпу-
...акже машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще
...вам ведения войны.

...е Командовачие немедленно выделит соответствую-
...выполнение всех дальнейших приказов, изданных
...м Красной Армии и Верховным Командованием...
...препятствием к замене его...
...нным об'единенным...
...м вооружен...

дол... боёв... крупн... УЦ — немцев. В боях отличили... РОЧКИНА... КО, генера... лейтенанта... ГОНЧАРОВА... ЕВА, генерал-... майора БРИЛ... ДЕЕВА, генерал... майора ТЕРТЫ... ОЗИМИНА, генер... нерал-лейтенанта... рал-лейтенанта БО... ора БУШЕВА, генер... генерал-майора ШИ... генерал-майора Ж... та МЕДВЕДЕВ... ДОВА, б... нера...


НА ЗЕМЛЕ
КОМИССАРЫ НА ЛИНИИ ОГНЯ
ИПЛ